Виктор Афанасьев

ЖУКОВСКИЙ



ЖУКОВСКИЙ

Виктор Афанасьев

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ





Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ

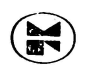


ВЫПУСК 10

(665)

Виктор Афанасьев

ЖУКОВСКИЙ



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1987

ББК 83.3Р1
А 94



Рецензенты:

научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинский Дом) АН СССР,
кандидат филологических наук
С. А. КИБАЛЬНИК,

кандидат филологических наук
Н. А. МИЛОНОВ

Второе издание

А $\frac{4702010200-196}{078(02)-87}$ 159 — 88

Великий русский поэт, учитель Пушкина, учитель всех русских лириков не только первой, но и второй половины XIX века, человек, действенная доброта которого не имела границ, величайший труженик, Жуковский был и образцом гражданина, воспитавшим целое поколение своим примером. Бесстрашие Жуковского, говорившего властям правду, сродни бесстрашию декабристов, вышедших на Сенатскую площадь. Наряду с Пушкиным и Рылеевым Жуковский — один из замечательнейших людей своей эпохи. В нем соединялись мягкость и энергия, утонченность духа и несокрушимость бойца. Вместе с тем это был человек высоконравственной жизни, освещавший и облегчавший трудный жизненный путь многим людям, соприкасавшимся с ним, и столь же высоконравственного творчества, во всей красоте этого понятия, ставшего традицией для русской классики. Это человек жизни в одно и то же время трагической и счастливой, так как он не бежал от трудностей и несчастий и неустанно, смолоду, воспитывал сам себя... Много еще можно сказать о Жуковском хорошего, но вот — книга о нем, в которой автор стремился соблюсти правду во всей ее возможной полноте и сложности, выдвигая на первое место документ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

(1770—1797)

В XVIII веке такие истории случались нередко. Они пахли порохом, железом штыков, пылью российских дорог. В них было немало горечи и душевного страдания. Страдали женщины. Среди них была крымская турчанка Са́льма, мать русского поэта Василия Капниста. И Са́льха, родившая вьюжной северной зимой другого Василия, другого поэта — Жуковского.

Один бравый майор, обрусевший немец, послал после взятия Бендер своему старому приятелю двух сестер-турчанок — Сальху и Фатьму. Приятель с 1759 года был в отставке с чином секунд-майора и служил воеводским товарищем в Калуге. Это был Афанасий Иванович Бунин, владелец многих поместий в Тульской, Калужской и Орловской губерниях. Турчанок ему доставил возвратившийся с южных полей сражения крестьянин-маркитант, оброчный крепостной его.

Турецкие женщины, отправляемые в Россию, считались пленными![1]. Сальха была привезена в имение Бунина в 1770 году вместе с сестрой Фатьмой, — Сальхе было шестнадцать лет, Фатьме — одиннадцать (она скончалась через год). В 1786 году Сальхе была выдана официальная бумага под заглавием: «К свободному в России жительству». Тут говорилось, что она «взята была при взятии города Бендер с прочими таковыми же в полон и досталась майору Муфелю, и того же году оным майором по выезде в Россию отдана им Бунину на воспитание, и по изучении российского языка приведена была в веру греческого исповедания, при чем восприемниками были жена Бунина Марья Григорьевна и иностранец, восприявший же веру греческого исповедания Дементий Голем-

---

[1] Бабка братьев Аксаковых по материнской линии — Игель-Сюма — была взята в 12-летнем возрасте при осаде Очакова. Жена актера М. С. Щепкина (Е. Д. Щепкина) тоже турчанка, в двухлетнем возрасте была подобрана русским солдатом при осаде Анапы в 1791 году.

бевский». И стало ей имя — Елисавета Дементьевна Турчанинова. Эта бумага была для Сальхи и паспорт, и история ее жизни в кратком виде. Указаны были там и ее приметы: «Росту среднего, волосы на голове черные, лицом смугла, глаза карие». Стала она православной, матерью русских детей, хотя и не крепостной, но целиком отданной на чужую волю. О прежней ее «турецкой» жизни не сохранилось ни черточки. Видимо, она не рассказывала о ней. Однако она была не простая бендерская горожанка.

Один из близких к Жуковскому людей, связанных с ним дружбой, литературными интересами и постоянной перепиской, Петр Александрович Плетнев, в 1849 году писал (в частном письме) следующее: «Бунин был помещик Белёвский... Жена его, приживши с ним несколько детей, оставила супружеское ложе и дала ему свободу в выборе потребностей Гимена. Какой-то приятель Бунина, участвовавший во взятии Силистрии, переслал ему оттуда, из гарема паши, одну премилую женщину, которая долго полагала, что мужчина везде имеет законное право на нескольких женщин. Поэтому она в полной невинности души предалась любви к Бунину и от ложа с ним родила ему сына: это был славный ныне поэт». Все это Плетнев слышал от самого Жуковского. Бендеры в его памяти заменились Силистрией, но указание на происхождение Сальхи из гарема паши, видимо, достоверно.

Какой перелом произошел в жизни Сальхи! Вместо замкнутого пространства сераля — простор лугов и лесов, открывающийся с холма, на котором стояла господская усадьба села Мишенского. Другая одежда. Новый язык. Открытое лицо. На пути от Днестра до Оки все надежды на возврат былого смыла стихия русской жизни. Но так и не смоет она смуглоты прекрасного лица, печали кротких очей, восточной грусти напеваемых ею мелодий. Луговая, холмистая даль с пониманием станет вслушиваться в них... Навсегда осталась у нее и привычка сидеть, поджав под себя ноги (Жуковский так и изобразил ее впоследствии по памяти). Была она поселена в усадьбе в особом домике. Никто не препятствовал ей ходить на кладбище, ставшее ей родным, — поплакать над еще свежей могилкой Фатьмы. Бесшабашные русские празднества скоро перестали изумлять ее. Дворовые девушки на святках приглашали ее погадать. Барин и барыня были ласковы с ней. Отечески заботливо старался угодить ей во всем Андрей Григорьевич Жуковский, друг Бунина,

давно живший у него на усадьбе. А старая ключница Василиса снабжала ее всем необходимым и приучала к домоправительской службе, так как Бунин готовил Сальху ей на смену.

У Афанасия Ивановича Бунина и его жены Марьи Григорьевны, урожденной Безобразовой, было одиннадцать детей. К 1770 году, когда в Мишенское прибыла Сальха, детей в живых осталось лишь пятеро: дочери Авдотья (родилась в 1754 году), Наталья (1756), Варвара (1768) и Екатерина — грудной младенец, а также сын Иван, родившийся в 1762 году. Бунин был вельможей старого закала. Некогда водил он дружбу с фаворитом императрицы Екатерины Григорием Орловым. Был он в приятельских отношениях с тульским наместником Михаилом Кречетниковым. Бездельничал, пировал, охотился. С размахом благоустраивал имение — чего только там не было: обширный парк, цветники, пруды с рыбой, двухэтажные оранжереи, где росли абрикосы и лимоны, шампиньоны и всякие цветы. С балкона господского дома открывался вид на златоглавый Белёв, стоящий на берегу Оки. По сторонам дома были два флигеля с крутыми кровлями и светелками. Местность холмистая, изрезанная оврагами; по склонам — то пашни, то рощи. Поместье Бунина — на одном холме, село Мишенское — на другом, между ними речка Семьюнка, бегущая в Выру, укрытую ивняком, а Выра — в Оку.

Из Белёва на юг идет тракт, от имения его отделяет покрытая соснами и дубами Васькова гора, таинственная — тут некогда, как говорит предание, скрывался разбойник Васька, по прозванию Кудеяр... В доме Бунина — просторные горницы, портреты предков, выходцев из Польши, рыцарей Буникевских. Людская полна челяди. Над кухней дым столбом — обеды Бунина привлекали всех соседей — Лёвшиных, Черкасовых, наезжал из Тулы Михайло Кречетников, влюбленный в дочь Бунина Наталью.

Неизвестно, был ли Бунин любителем чтения, но супруга его, не знавшая иностранных языков, выписывала из Москвы и Петербурга чуть ли не все изданные на русском языке книги и журналы. Она любила как переводные романы, так и творения российских стихотворцев — Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Державина. Таким образом в Мишенском собралась русская библиотека, где, помимо прочих, были все издания Новикова. А письма она писала без всякого соблюдения грамматики угловатой

скорописью XVIII века. Сохранились ее письма и к Жуковскому в Москву от 1800-х годов, где она нередко просит выслать ей ту или иную книгу, сведения о которых она находила в газетных объявлениях. Она любила стихи и, как вспоминают современники, заставляла мальчика Жуковского читать себе, например, эпическую поэму Хераскова «Россияда». Марья Григорьевна была искусная рукодельница и занималась вышиванием и плетением кружев — она знала секреты и тонкости выделки знаменитых даже и в Европе белёвских кружев. Под ее наблюдением работали в девичьей крепостные кружевницы. Рукодельницами стали и почти все дочери Буниных: в частности Екатерина Афанасьевна (по мужу Протасова), которая по собственным рисункам вышивала картины, в основном пейзажи.

Сальха была сначала нянькой младших дочерей Буниных Варвары и Екатерины, потом, по смерти ключницы, домоправительницей, распоряжавшейся слугами и всеми хозяйственными делами по усадьбе. Для этого нужны были расторопность и твердый характер, они, очевидно, были у турчанки. Каждое утро она должна была являться к Марье Григорьевне за приказаниями. Старшие дочери Буниных учили Сальху читать и писать по-русски. Что касается Афанасия Ивановича, то он соблюдал сначала некоторые приличия, более или менее скрывая свою связь с пленной красавицей, а потом, как истый русский самодур, рванул по живому: перебрался на глазах супруги и дочерей в домик Сальхи, обставив его как можно роскошнее. Так жил он несколько лет. Трижды у турчанки рождались и умирали в младенчестве девочки. Тем временем дочери Буниных — Авдотья и Наталья — выданы были замуж и уехали, первая со своим мужем Алымовым в Кяхту (он был там начальником таможни), вторая, ставшая Вельяминовой, — в Тулу.

Младшая дочь Буниных, Екатерина, уехала с Алымовыми в Кяхту. Сын Иван учился в Лейпцигском университете. Он был влюблен в некую девицу Лутовинову, собирался жениться на ней по возвращении в Россию, но, когда приехал, отец объявил ему свою волю, что он-де должен сочетаться браком с дочерью графа Григория Орлова. Это было в 1781 году. Споры ни к чему не привели. Юноша погиб. По официальной версии — умер от простуды. По воспоминаниям одного из членов семьи — с ним случился удар от нервного потрясения (у него якобы «лопнула жила»). Но может быть, молодой Иван

Афанасьевич последовал примеру гётевского Вертера, — слава романа Гёте была в разгаре и особенно в Германии, откуда приехал юный Бунин. Похоронен он был в Мишенском.

Когда Афанасий Иванович переехал в домик Сальхи, Марья Григорьевна приказала не пускать в большой дом турчанку и запретила своей дочери Варваре, которая еще оставалась в усадьбе, всякое общение с ней. Бунин часто уезжал — в Белёв, (он был здесь городничим и предводителем дворянства), в Тулу, в Москву, где также имел дом, великолепно обставленный, с обширным садом, — в приходе Неопалимой Купины, прилегавшем к Пречистенке. Здесь и получил он известие о том, что Елизавета Дементьевна 29 января (по старому стилю) 1783 года родила мальчика. Он был крещен в усадебной церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Священник записал в книге: «Вотчины надворного советника Афанасия Ивановича Бунина у дворовой вдовы Елизаветы Дементьевой родился незаконнорожденный сын Василий». Бунин попросил своего приятеля, обедневшего киевского помещика, прижившегося у него в усадьбе, крестить и усыновить этого младенца. Мальчик получил отчество Андреевич и фамилию Жуковский, а вместе с тем и дворянское звание. Дочь Буниных Варвара совершенно потрясла Марью Григорьевну неожиданной просьбой, сопровождаемой слезами, разрешить ей быть крестной матерью. Чуть было не грянули громы, но вдруг старуха, сама не зная почему (по доброте, видно, природной), согласилась.

Ребенок внес мир в семью Буниных. Сальха понимала, что Марья Григорьевна видит в нем как бы замену своему несчастному Ивану, единственному сыну. И она сделала решительный шаг, поступив истинно мудро. Когда Бунин — это было уже весной 1783 года — снова отлучился куда-то, она взяла ребенка, принесла его прямо в дом и положила на пол у ног Марьи Григорьевны. Сальха не сказала ни слова и лишь выражала всем своим видом беспредельную покорность.

— Подай-ка мне Васеньку-то, — строго сказала Бунина Варваре, потихоньку плакавшей от радости у нее за спиной. Та подала.

— Ну что ж, Лизавета, — сказала Марья Григорьевна, — ты не виновата. Будь по-старому в доме. А Васеньку воспитаю я. Как родного.

В честь рождения сына Афанасий Иванович приказал разобрать ветхую деревянную церковь, из бревен ее сло-

жить часовню на кладбище, а церковь выстроить новую, каменную. Были призваны хорошие мастера — каменщики, резчики, живописцы. Древние образа из прежней церкви водворились в новой. Андрей Григорьевич Жуковский, любивший музыку, игравший на скрипке, взял на себя руководство хором певчих...

Последняя дочь Буниных — Варвара Афанасьевна — была против ее воли выдана за Петра Николаевича Юшкова, имевшего дома в Туле и Москве, и уехала. Мальчик остался в Мишенском единственным ребенком. Женщины — а их был полон дом — наперебой баловали его. Рос он барчонком. Сальхе лишь изредка удавалось на ходу приласкать его — всё вокруг него няньки, мамки, тут же и Андрей Григорьевич, обожавший крестника и приемного сына своего.

В 1785 году Бунин записал сына сержантом в Астраханский гусарский полк; шести лет мальчик сделался прапорщиком и был внесен в дворянскую родословную книгу Тульской губернии.

В 1789 году Бунин привез в Мишенское учителя-немца, но он оказался тупым и самоуверенным шарлатаном, какими наводнена была в то время Россия (немецкие и французские парикмахеры, кучера, портные и лакеи выдавали себя за учителей, и им верили на слово). Звали немца Еким Иванович (всех немцев на Руси почему-то звали Ивановичами). Учить он стал немецкому чтению и арифметике. Ученик и учитель жили вместе во флигеле, за стеной их комнаты помещался Андрей Григорьевич Жуковский.

Учитель походя бил мальчика линейкой по пальцам, беспрестанно ворчал и топал ногами. Вася плакал. Ни счет, ни немецкие слова не лезли ему в голову. Андрей Григорьевич неодобрительно покачивал головой, но молчал. Однако не прошло и недели, как за стеной поднялся ужасный шум. Андрей Григорьевич, хотя это и было запрещено предварительным условием, открыл дверь в классную комнату и остолбенел: мальчик, стоя в углу голыми коленями на горохе, плакал, а немец бешено вопил и размахивал розгой, держа в другой руке немецкую книжку...

Жуковский тут же позвал Буниных, и учитель был прогнан. Он сам стал заниматься со своим приемным сыном — учить его тому же счету, а также русскому письму и рисованию. Туча прошла. Еще резвее носился Вася по старому парку, играя с девочками в рыцарей. Уже вез-

де побывали они — и на лугу между усадьбой и деревней Фатьяново, и на опушке бора, спускающегося с Васьковой горы, и у речки Семьюнки, бегущей по оврагу в пруд и далее в Выру, и у родника Гремячего с его часовней. За деревней на реке блестит на солнце драночная крыша мельницы. Вверх по косогору — избы села Мишенского, окруженные огородами, яблоневыми садами... Он был похож на свою мать — кареглаз и смугл, длинные черные волосы вились по плечам. Он уже не боялся ни быков, ни лошадей, ни разбойника Васьки, которым пугали детей и на барской усадьбе, и в крестьянских дворах.

В ноябре 1790 года Бунин был вызван Кречетниковым на службу в Тулу. Он нанял там, на Киевской улице, особняк, принадлежавший начальнику оружейного завода генерал-поручику Жукову, и тотчас переехал туда со всей семьей, включая Васю с матерью и двух Анют, которых Марья Григорьевна не отдавала родителям. Этой зимой Вася учился в пансионе Христофора Филипповича Ро́де, — он был полупансионером, и после занятий его каждый вечер забирали домой. Для домашних занятий с ним был приглашен один из преподавателей Главного народного училища в Туле — Феофилакт Гаврилович Покровский, который был своим человеком в доме Юшковых.

Покровский был и литератором — он печатал брошюры и статейки в журналах Москвы под десятью псевдонимами. Ему было двадцать семь лет, и он полон был вдохновенной любви к словесности — восторгался Херасковым и Руссо, трагедиями Расина и романами Жанлис. Живя в городе, ненавидел все городское, мечтал о сельском философическом уединении. Однако по бедности своей он во всю жизнь не смог осуществить своих руссоистских мечтаний. В своих сочинениях он призывал людей к благотворительности, к горячему сочувствию бедным. Но как педагог он был резок, требователен, детские шалости выводили его из себя. Васе скучновато было учиться, он все ждал, когда ему наконец разрешат побегать. И Покровский раз и навсегда решил, что он не только лентяй, но и лишен хороших способностей. Мальчик стал дичиться его.

В марте 1791 года Афанасий Иванович скончался в Туле в возрасте семидесяти пяти лет. Перед смертью он успел составить завещание, по которому все, что имел, разделялось на четыре семьи, по числу его дочерей, включая умершую Наталью Вельяминову, — но разделялось

не тотчас, а по кончине Марьи Григорьевны, которая до конца своих дней должна была считаться правительницей имений, однако без права продавать или закладывать что-либо. Елизавету Дементьевну с сыном он в завещании обошел полностью, но сказал:

— Барыня! — так звал он всегда жену. — Для этих несчастных я не сделал ничего, но поручаю их тебе и детям моим.

— Будь совершенно спокоен, — отвечала Марья Григорьевна. — С Лизаветой я никогда не расстанусь, а Васенька будет моим сыном.

После смерти мужа она с каждой из четырех доль взяла по две с половиной тысячи рублей — всего десять тысяч — и отдала эти деньги Елизавете Дементьевне, чтоб хранила для сына.

Тело Бунина было перевезено в Мишенское и положено в родовую усыпальницу-часовню. Переехала в Мишенское и вся семья. Осенью снова направился в Тулу обоз с припасами на зиму. Вася был опять помещен к Христофору Филипповичу Роде, но уже полным пансионером — теперь дома он оставался только в субботу и воскресенье. Однако весной 1792 года пансион закрылся. Знаний в нем мальчик не получил почти никаких, а чтобы учиться дальше — надо было поступать в Главное народное училище. Феофилакт Гаврилович Покровский объявил, что Вася не готов и что ему все лето нужно заниматься, а не шалить и играть в рыцарей. Марья Григорьевна совсем оставила тульский особняк. Вася снова оказался в родном Мишенском. Приехали сюда и Юшковы всей семьей. Девочек, ровесниц Васи, стало пять. Но с Юшковыми явился сюда и учитель Покровский, нанятый для занятий с девочками и для подготовки Васи в тульское училище. Изучались русский язык, арифметика, история и география. Одно только событие скрасило однообразие этого лета — свадьба прибывшей из Кяхты младшей дочери Буниных Екатерины с тульским помещиком и губернским предводителем дворянства Андреем Ивановичем Протасовым. Она признана была первой красавицей губернии. Молодые сразу уехали в деревню Сальково, как и Мишенское, Белёвского уезда. Екатерине Афанасьевне было страшно ехать в чужое место, и она взяла с собой Васю погостить на несколько дней.

Осенью Юшковы увезли Васю с собой в Тулу. Он поступил в Главное народное училище, но проучился там недолго. Покровский, сделавшийся главным наставником,

неустанно преследовал его и, наконец, исключил собственной властью «за неспособность», так как Вася под пристальным взглядом наставника забывал, сколько будет дважды два и куда впадает Волга. И Покровский и Вася были немало смущены, встретившись снова на уроке в доме Юшковых... Варвара Афанасьевна присоединила мальчика к своим четырем дочерям и еще нескольким детям (тут были «воспитанница» гувернантки, некая «бедная дворянская девица» Сергеева, дочь какого-то чиновника Павлова и дочь тульского полицеймейстера Голубкова), составившим домашний учебный класс. И снова — таблица умножения, российские реки, Юлий Цезарь и Владимир Красное Солнышко... Учеников прибывало. Пожелали заниматься вместе с детьми три взрослые девицы лет по семнадцать, еще один мальчик — сын домашнего доктора Юшковых Риккера. После занятий детям давалась свобода, — мигом поднимались шумные игры.

«Спутником» и «хранителем» своего детства называет Жуковский хозяйку дома Варвару Афанасьевну. Она и ее муж, Петр Николаевич Юшков, просвещенный человек, близко знакомый с книгоиздателем Н. И. Новиковым, устраивали в своем доме музыкальные вечера и литературные чтения. Сюда по определенным дням собиралось тульское общество.

На домашнем театре ставились драмы. Устроители Тульского общественного театра, завсегдатаи дома Варвары Афанасьевны, обратились к ней за помощью. Она помогла выбрать пьесы для первых представлений (это были «Цинна» Корнеля, «Британик» Расина и «Магомет» Вольтера). Провела в своем доме несколько репетиций с актерами новой труппы. Варвара Афанасьевна словно торопилась жить — уже начинала она чувствовать усталость, покашливала, слабость и озноб охватывали ее иногда. Медленная чахотка подтачивала с ранней юности ее силы.

Детям разрешалось присутствовать на репетициях. Когда приходили актеры, Вася забирался в уголок. Необыкновенная декламация и необыкновенные жесты потрясали его. Скромный актер в потертом сюртуке преображался (даже не сменив одежды) в гордого патриция, полного царственного достоинства, в военачальника, один вид которого способен увлечь солдат в огненные бездны... В зиму 1794/95 года впервые вспыхнуло в Жуковском желание быть автором, сделаться новым Расином или по крайней мере Сумароковым. Варвара Афанасьевна посо-

ветовала ему обратиться к Плутарху, русский перевод которого 1765 года («Житие славных в древности мужей») был в ее библиотеке. Во втором томе нашелся нужный ему герой — Фурий Камилл, освободитель Рима, разбивший в пятом веке до нашей эры полчища галлов. В библиотеке на столе всегда были наготове перья, чернила и бумага. Жуковскому хотелось написать трагедию в один присест, но быстро удалось придумать только заглавие: «Камилл, или Освобожденный Рим». Окружив его кудрявыми росчерками, он задумался, ища первых слов. Первых в жизни будущего великого поэта... Поздно вечером Варвара Афанасьевна разбудила его — он спал, положив голову на руки, за столом. Рядом лежали исписанные листы. Трагедия, сочиненная в прозе с суровой лаконичностью, уместилась на двух страницах, хотя в ней было четыре действия.

Постановку трагедии взяла на себя Варвара Афанасьевна. Она распределила роли, помогла детям сделать костюмы, позаботилась о том, чтобы было побольше зрителей, и, наконец, устроила в гостиной сцену при помощи стульев, ширм и горшков с цветами. Перед сценой была сделана рампа из восковых свечей. Камилла играл, конечно, автор. Он сам склеил себе из золотой бумаги шлем, прицепив к нему два страусовых пера. Красная женская мантилья почти ничем не отличалась от древнеримского пурпурного плаща. Еще был сделан панцирь из серебряной бумаги. И целый арсенал оружия: деревянный меч, обвитая цветной лентой пика, лук из можжевеловой ветки и колчан со стрелами.

Все обитатели дома собрались посмотреть спектакль. Аплодисменты и возгласы одобрения не умолкали... Жуковский принялся за сочинение второй пьесы. Это была мелодрама. Сюжет ее был взят из книги, которая читалась в доме Юшковых кем-нибудь постоянно, — потрепанный экземпляр побывал в руках и старших детей и лакеев, он был закапан воском и слезами. Книга эта в русском переводе с французского называлась «Павел и Виргиния», и написал ее в 1787 году один из последователей Руссо — Бернарден де Сен-Пьер. Книга получила всемирное признание и была переведена на многие языки. Злоключения двух семей, пытавшихся жить вне общества на одном из далеких островов, любовь юноши и девушки — Поля и Виргинии, — борьба с вторгшейся в их жизнь цивилизацией, их гибель — все это трогало сердца читателей. Никому не мешал надуманный сюжет, никто

не искал правдоподобия в эпизодах. Дело было в чувствах.

Совершенно удивительно, что уже со второй попытки Жуковский нашел сюжет, гармонирующий с его будущими литературными устремлениями. Не менее удивительна и оригинальность выбранного аспекта событий книги, — он положил в основу драмы трагедию матери, а не историю гибели двух влюбленных.

Тем временем родные раздумывали о его будущем. Надо было продолжить учение. Заехавший как-то к Марье Григорьевне в Мишенское майор Постников, сосед по имению, предложил:

— Ему надо вступить в полк своим чином прапорщика. Да вот хоть в Нарвский, где я служу. Он теперь в Кексгольме.

— А и в самом деле! — подхватила Марья Григорьевна. — Это Афанасия Ивановича полк. Ведь помнят его там?

— Не думаю. Много воды утекло с тех пор. Однако я возьмусь присмотреть за молодым человеком. Будет ладно служить — чины пойдут. С хорошим чином можно и в статскую выйти.

Вася, когда ему объявили новость, пришел в восторг. Вскоре ему сделали полную офицерскую экипировку. В ожидании отъезда он не расставался с треуголкой, сапогами и шпагой, расхаживая по дому во всем параде.

В ноябре 1795 года Жуковский и майор Постников прибыли в Петербург. Впечатления стремительным вихрем вскружили голову подростка. Он свободно вздохнул лишь тогда, когда выехал в Кексгольм, по направлению к Ладожскому озеру.

Сто сорок верст охлестывали их возок позднеосенние дожди и снега. Жуковский кутался в толстый плащ, мерз, но отказывался от дорожной фляги, которую иногда, забывшись, протягивал ему майор. На станциях слуга Жуковского, Григорий, бросался хлопотать о чае, устраивал ему постель на ночь и долго сидел возле спящего, заботливо подтыкая одеяло.

Кексгольм, бывшую русскую Корелу, в XVII веке взяли шведы. Петр вернул крепость, но чуждое название закрепилось. В устье Вуоксы, впадающей в Ладожское озеро, на берегах и скалистых островках расположились ее строения. Пронзительный ветер, серый день, серый снег с дождем, падающий на серые дома города, серые камни крепости на гранитном островке, мрачная башня

(«шлот») на отдельно стоящей скале — вот что увидел здесь Жуковский. Вскоре он узнал, что в шлоте вот уже скоро четверть века содержится какой-то крупный государственный преступник, имя которого неизвестно даже коменданту. Ходят слухи, что он из царского рода. Здесь же недавно еще находились две сестры Емельяна Пугачева — теперь они выпущены на безвыездное житье в городке. Жизнь города была полна тишины. Даже воинственные звуки барабанов и флейт на плацу не нарушали ее.

Жуковский писал в Мишенское: «Милостивая государыня матушка Елизавета Дементьевна!.. Здесь я со многими офицерами свел знакомство и много обязан их ласкам. Всякую субботу я смотрю развод, за которым следую в крепость. В прошедшую субботу, шодши таким образом за разводом, на подъемном мосту ветром сорвало с меня шляпу и снесло прямо в воду, потому что крепость окружена водою, однако по дружбе одного из офицеров ее достали. Еще скажу вам, что я перевожу с немецкого и учусь ружьем». И уже перед Рождеством: «Милостивая государыня матушка Елизавета Дементьевна! Имею честь вас поздравить с праздником... О себе имею честь донести, что я слава богу здоров. Недавно у нас был граф Суворов, которого встречали пушечною пальбою со всех бастионов крепости».

Юный прапорщик не получил разрешения на вступление в полк. Павел Первый, сменивший на российском престоле Екатерину Вторую, запретил брать на действительную службу несовершеннолетних офицеров. Вася возвратился в Тулу и без малейшего сожаления снял мундир. Еще целый год он прожил у Варвары Афанасьевны Юшковой, принимая участие в домашних — уже взрослых — спектаклях, проводя долгие часы в библиотеке, присутствуя на литературных вечерах, занимаясь с гувернерами французским и немецким языками. «Из посторонних лиц этого времени, — писал впоследствии Жуковский, — самое памятное и любезное для меня есть лицо Болотова... Он посещал нас в Туле, он был мне самый привлекательный человек и сильно на меня действовал своею многосторонностью». Андрей Тимофеевич Болотов увлекал своих собеседников, в том числе и Жуковского, рассказами не о каких-нибудь необыкновенных приключениях, а об устройстве разных парков в Европе и в России, о том, как человек, учась у самой природы, может создавать великолепнейшие пейзажи путем пересадки растений и про-

ведения ручьев. Сам Болотов создал единственный в своем роде парк у себя в имении. Страстный любитель природы, он знал всех птиц и животных, свойства всех растений; крестьянский труд был известен ему до малейших мелочей. Только он мог вести речь о коровах, лошадях и овцах так, что даже дети бросали игрушки и жадно слушали его. А сверх того он знал наизусть оды Ломоносова, Хераскова и Державина, служил в армии, бывал на разных должностях и немало поездил по России. Всем известно было, что он пишет мемуары... Он-то и присоветовал родным Жуковского отвезти его в Московский университетский благородный пансион. Осенью Петр Николаевич Юшков отправился в Москву, благо инспектор пансиона был ему хорошо знаком.

В январе 1797 года Марья Григорьевна повезла Жуковского в Москву. Она остановилась в своем доме на Пречистенке, в приходе Неопалимой Купины. Заваленная снегами зимняя Москва с ее заборами, голыми деревьями садов, особняками, санным скрипом и колокольным звоном была хорошо знакома Жуковскому — вот только в доме Афанасия Ивановича, который всегда очень не любила Бунина, он не бывал. Дом этот, одноэтажный, но вместительный и роскошно отделанный внутри, после смерти своего хозяина, любившего пиры, музыку, гостей, — стоял тих и уныл. В залах спущены были шторы, на мебель накинуты чехлы. Один старый дворецкий да двое лакеев оставались тут — все остальное Бунина разослала по своим имениям. Пренебрегая парадной частью, она поселилась с Жуковским в верхних низеньких комнатах черной половины. Вообще дом этот решено было вскорости продать.

Антон Антонович Прокопович-Антонский жил во флигеле, стоящем во дворе пансиона. Это был худощавый и сутулый человек в мундире профессора. Движения его были нерешительными, голубые глаза полны доброты. Он встретил приехавших по-домашнему просто, усадил за чай... Марья Григорьевна наслышана была об Антонском. Он занимал в университете непонятные для нее кафедры энциклопедии и натуральной истории. В молодости учился он в Киевской духовной академии, а потом в Московском университете. Он писал и переводил для просветительских изданий Новикова, председательствовал в университетском литературном обществе. В 1791 году, оставаясь университетским профессором, он сделался инспектором благородного пансиона. Эту аристократическую

школу, где почти ничему не учили, Прокопович-Антонский превратил в разумно устроенное, крепко поставленное учебное заведение, готовящее пансионеров не только в студенты, но и в статскую или военную службу. Он добился отдачи под пансион многих строений, составлявших вместе с домом бывшей Межевой канцелярии почти целый квартал, разработал программы, собрал библиотеку, привлек к преподаванию профессоров и студентов университета, которые писали и учебники. У него был подлинный педагогический дар, «глаз, проникавший в душу», как говорит современник. Он, как правило, угадывал способности и склонности учеников и каждому давал возможность учиться преимущественно тому, что он любит, что ему дается.

Словом, Болотов дал хороший совет.

Как бы между прочим и немного заикаясь, Антонский задал несколько вопросов Жуковскому. Беглый экзамен удовлетворил его вполне. Оказалось, что Жуковский хорошо знает французский и отчасти немецкий языки. Это было для поступающего необходимо, ученики должны были говорить между собой во все дни, кроме неучебных, на одном из них. Узнав же, что Жуковский читал Виланда, Сен-Пьера, Жанлис, Руссо и в особенности Карамзина, что ему хорошо известны «Московский журнал», «Детское чтение» и «Приятное и полезное препровождение времени», где публиковалось все лучшее из произведений московских литераторов, просто пришел в восторг. Он подал ему книжечку под названием «Взрослому воспитаннику Благородного при Университете пансиона для всегдашнего памятования». Красным карандашом на первой странице был отчеркнут абзац: «Цель воспитания. Главная цель истинного воспитания есть та, чтоб младые отрасли человечества, возрастая в цветущем здравии и силах телесных, получали необходимое просвещение и приобретали навыки и добродетели, дабы, достигши зрелости, принесть отечеству, родителям и себе драгоценные плоды правды, честности, благотворений и неотъемлемого счастия».

— Возьми, дома дочтешь, — сказал инспектор.

ГЛАВА ВТОРАЯ

(1797—1801)

В пансионе было шесть классов — два низших, два средних, два старших. Жуковский был принят в первый средний. В одной из общих спален ему отведена была деревянная кровать, покрытая суконным одеялом, столик на двоих с соседом. В комнате десять человек, одиннадцатый — надзиратель из немцев, — он спит у самых дверей (его дело наблюдать за учениками и о всякой малости доносить Антонскому). В пять часов утра загремел в коридорах колокольчик — Жуковский впервые проснулся так рано (и с этого дня всю жизнь будет вставать в пять часов). К удивлению своему, он очень спокойно принял столь крупную перемену в своей жизни. Надев форменный синий фрак, он пригладил щеткой уже отросшие, мокрые после умывания волосы. Служители убирали постели. За морозными окнами еще темнела ночь.

От шести до семи в специальной комнате — приготовление уроков, тут у каждого свое место с ящиком для тетрадей; в шкафу стояли общие учебники. В семь часов надзиратели ведут учеников, выстроенных попарно, в столовую. После молитвы и чтения вслух небольшого отрывка из Евангелия подается чай. От восьми до двенадцати — классы. Полупансионеры (те, которые не ночуют в пансионе) приезжают к восьми. В двенадцать — обед. С часу до двух — свободное время: кто бежит во двор играть в чехарду, кегли или свайку, кто в спальне учится играть на флейте, читает, пишет письма. С двух до шести снова лекции. Потом полдник и приготовление уроков, а в восемь — ужин. В девять — после молитвы и чтения Библии — гремит вечерний колокольчик, призывая пансионеров ко сну. В комнатах горит по одной свече, скрытой под колпаком. В коридорах тишина — лишь изредка слышатся осторожные шаги дежурного надзирателя.

Учились по четырехбалльной системе. Ученику разрешалось выбрать себе несколько предметов для изучения из тридцати пунктов программы, охватывающих словесность, историю, военное дело, искусства, разные науки и

иностранные и древние языки. Пансионеры отпускались домой по субботам и воскресеньям, а также по праздникам и летом — на июль месяц. Жуковскому в пансионе понравилось все — чистые комнаты, натертые полы, большие аудитории, где скамьи уходят ярусами вверх, доброжелательный вид надзирателей и сердечная улыбка вездесущего Антонского. В свободные часы он бежал в библиотеку. Это была гордость инспектора Антонского. В простенках между огромными окнами стояли высокие шкафы, где за стеклами поблескивало золото кожаных книжных корешков. Обширный дубовый стол, покрытый лиловым бархатом, был завален горами русских и иностранных журналов. Как-то само собой сложилось, что Жуковский отдал предпочтение среди прочих наук истории, словесности, французскому и немецкому языкам и рисованию.

Вскоре он подружился с Александром Тургеневым, сыном директора университета. Он был полупансионер и после занятий шел домой — квартира Тургеневых была в здании университета на Моховой. В эту зиму старший брат Александра Андрей поступил в студенты. Другие братья — Николай и Сергей — были еще малы, восьми и пяти лет. Александр был младше Жуковского на год, — у них было много общего — высокий рост, доброе сердце, заливистый детский смех (у обоих оставшийся таким на всю жизнь). Одно и то же читали они до пансиона (Виланд, Руссо, Сен-Пьер, Жанлис, Херасков, Державин, Карамзин...). В пансионе оба они оказались словесниками — завсегдатаями библиотеки и поклонниками Михаила Никитича Баккаревича, молодого и пылкого преподавателя русской словесности. На его лекциях Жуковский и Тургенев садились у самой кафедры. На верхнем ярусе — попансионскому «Парнасе» — затаивались с посторонними книжками любители физики и математики, ничего не желавшие понимать в «просодии» (то есть слогоударении) русского стиха.

Баккаревич проникновенно вещал с кафедры, что поэзия «есть одна из приятнейших наук», которую можно считать «усладительницею жизни человеческой». Он говорил, что «рифмы почитаются от некоторых пустыми гремушками, и это сущая правда, когда в стихах только и достоинства, что рифмы, когда в них нет ни огня, ни живости, ни силы, ни смелых вымыслов, составляющих *душу* поэзии, одним словом — когда в стихотворце нет дара».

— Русская просодия создана Ломоносовым и под-

креплена Державиным, — говорил Баккаревич. Он декламировал стихи, давно известные Жуковскому, но подавал их так, что они начинали сверкать новыми гранями. — Стихотворный язык есть музыка, — продолжал преподаватель. — Иногда одна нота, нестройно, неправильно взятая, портит всю симфонию.

Это особенно врезалось в память Жуковского. Да, музыка... Хорошие стихи, помимо слов и их смысла, несут в себе необъяснимое очарование звуков и ритма. А очарование чувств! Подымающий все твое существо ввысь одический восторг: меланхолия, сладко сжимающая сердце и вызывающая слезы; тревога, страх и дикие порывы студеных стихий северных поэм барда Оссиана... А очарование картин! Луна и туманное кладбище, развалины мрачного замка на скале, блеск весеннего солнца в лазури неба и вод, сонм богов среди мощно клубящихся туч Олимпа, хижина чувствительного философа на берегу лесного ручья... Так начало вырастать в душе Жуковского чувство разлитой в мире поэзии. Лира, арфа, цевница — были для него одновременно и реальность и символы. Прошумел ветер, прогремел гром, прокатившиеся звуки долго отдаются в душе, сладко трепещут в ней замирающие звуки: это божество Поэзии играет на Цевнице, Арфе, Лире. Может быть, оно — горделиво-обнаженное, в лавровом венке, как Аполлон, а может быть, обросшее длинными седыми космами, с угрюмым, вдохновенно-пронзительным взглядом, как Оссиан... Мильтон, Гомер, Камоэнс, Юнг, Поп — имена, обозначенные на корешках книг пансионской библиотеки. Их в России переводили не раз, и если не выходило стихами, так прозой. В томиках журнала «Приятное и полезное препровождение времени», издаваемого Василием Подшиваловым, литератором и педагогом (до Баккаревича он читал в пансионе российскую словесность), — апология чувствительности в духе Карамзина и его «Бедной Лизы», философского уединения среди «сельской натуры», сочувствия к страждущему человечеству. В отрывках, переводах и переделках тут возникала и сплеталась в единое целое мировая литература — философы, историки, писатели, поэты всех европейских стран и всех времен (но по большей части все же современные — XVIII века) словно бы сошлись на этих страницах во имя торжества в России нового литературного стиля, новой школы, обозначенной именем Карамзина, автора стихотворений, повестей и путевых писем. Подшивалов был карамзинист. Журнал его Антон-

ский сделал обязательным чтением для пансионеров. Тургенев и Жуковский увлекались им столь же страстно, как иные ученики многотомным «Всемирным путешествователем» аббата де ла Порта в переводе Булгакова.

В грустном настроении приехал Жуковский в Мишенское на свои первые каникулы — в мае этого года, месяц тому назад, скончалась в Москве Варвара Афанасьевна Юшкова, которой исполнилось только двадцать восемь лет. Овдовевший Петр Николаевич Юшков с девочками тоже приехал в Мишенское — оно было завещано Буниным его семье, однако он не мешал Марье Григорьевне мирно жить тут вместе с Елизаветой Дементьевной и хозяйствовать. Обе они нашли, что в Жуковском совершенно ничего не осталось детского, что он возмужал, посерьезнел, стал говорить почти уже басом, но все такой же добряк и душа нараспашку. Его поселили во флигеле, в бывшей классной комнате. По его просьбе тут сооружены были простые сосновые полки — он решил составить собственную библиотеку. На стол он положил — для ближайшего чтения — двухтомные «Нощные размышления» английского поэта Юнга, переведенные в прозе Алексеем Кутузовым и изданные Типографической компанией Новикова в 1785 году. Юнг был родоначальником так много повлиявшей на развитие лирической поэзии темы «прогулок на кладбище», которая пришлась по сердцу и русским сентименталистам, — она пересеклась в русской поэзии с двумя другими: мрачными и возвышенными фантасмагориями Джеймса Макферсона — его «Поэмами Оссиана» с ночными северными пейзажами, призраками, битвами, скальдами, поющими о былом, — и с учением Руссо, отрицавшего цивилизацию и восхвалявшего доброго от природы «естественного» человека, живущего крестьянской жизнью. С шестидесятых годов XVIII века эта тройственная тема входила в русскую поэзию, пронизывая все литературное сознание читателя.

В Мишенском Жуковский сочинил стихотворение «Майское утро» и прозаический отрывок «Мысли при гробнице». Стихотворение получилось ученически-робким. Он подражал в нем и Державину и Дмитриеву (его стихотворению «Прохожий и горлица», которое не раз цитировал в аудитории Баккаревич). Однако и Юнг внес сюда свою долю, продиктовав начинающему поэту такой конец его первого произведения: «Жизнь, мой друг, бездна слез и страданий.. Щастлив стократ Тот, кто, достигнув Мирного брега, Вечным спит сном». По примеру Ка-

рамзина, введшего эту новую моду, он сделал стихотворение безрифменным, белым. «Мысли при гробнице» — произведение в жанре поэтической прозы, рожденном прозаическими переводами стихов. Такие вещицы в изобилии печатались тогда в карамзинистских журналах. О них говорил Баккаревич: «Есть много сочинений, которые писаны без рифм и даже без стоп, то есть прозою. Тем не менее их можно считать поэтическими».

В августе снова пошла пансионская жизнь, круговорот уже привычных событий дня от пяти утра до девяти вечера. Радостно обнялись после первой разлуки Жуковский и Александр Тургенев. Жуковский прочитал ему свои первые сочинения.

— Надо показать Баккаревичу, — решил Тургенев, восхищенный и стихотворением, и прозаическим отрывком. Баккаревич счел их достойными обнародования и передал редактору «Приятного и полезного препровождения времени», в 16-й части которого они и появились.

Жуковский и Тургенев сделались заправскими литераторами. Они все свободное время сочиняли и переводили. Рядом с ними в библиотеке корпели над стихами другие сочинители — Кириченко-Остромов, Гагарин, Петин, Чемезов, Родзянко, Нахимов, Костогоров... Их басни, прозаические отрывки и речи, оды, драматические сцены, эпитафии и надписи в стихах нередко попадали в журналы «Приятное и полезное препровождение времени» и «Иппокрена, или Утехи любословия».

Однажды Тургенев сказал:

— Брат Андрей хочет с тобой познакомиться. Велел тебя привести.

В субботу Александр пришел к Юшковым, где проводил свободные дни Жуковский. Они отправились на Моховую пешком — по Пречистенке и Ленивке, мимо дома Пашкова, который, как греческий храм, возвышался на холме против Кремля. Наконец пришли, разделись, оттерли замерзшие щеки. В комнатах встретил их Андрей, старший из братьев Тургеневых. Ему было шестнадцать лет, но он показался Жуковскому совсем взрослым, — серьезный, уверенный в себе, но в то же время быстро вспыхивающий. Никогда еще Жуковскому не приходилось так много говорить — о себе, о своих мыслях, о литературе. Андрей тоже мечтал стать писателем. Он называл свои любимые произведения: «Ода к радости» (это прежде всего!), трагедия «Коварство и любовь», «Разбойники» и «Дон Карлос» Шиллера, роман «Страдания молодого

Вертера» Гёте и его драма «Эгмонт», роман Виланда «Агатон» и его поэма «Оберон». Роман «Вертер» уже переводили на русский язык, но это все вялые, скучные переводы. Тургенев сказал, что мечтает сам перевести его. Он начал переводить «Оду к радости».

— Правду говорит мой Шиллер, — сказал он, — что есть минуты, в которые мы равно расположены прижать к груди своей и всякую маленькую былинку, и всякую отдаленную звезду, и все обширное творение!

У Жуковского дух захватило. Обнять весь мир! «Обнимитесь, миллионы!» Вот это «чувствительность»! Андрей начал говорить о Шиллере.

— Карл Моор! Бурная, мятущаяся душа, — говорил он. — Иным кажется, что Шиллер создал неестественного героя. Но автор вовсе не хотел рисовать обыкновенного человека. Может ли быть неестественным то, что потрясает нас?

— Эгмонт! — восклицал Андрей, переходя к Гёте. — Писатель изобразил его так, что он ожил! Я, читатель, как будто знал этого героя, говорил с ним!

Жуковский не читал ни «Разбойников», ни «Эгмонта». Гёте и Шиллер, как сказал Тургенев, — «сладостные мучители сердец», — им он обязан «величайшими наслаждениями ума и сердца». Они — поэты *чувства*.

— Чем сильнее чувство, — говорил Андрей, — тем достовернее поэтическое слово. А есть и такое особенное, «разбойническое», чувство, совершенно шиллеровское. Оно состоит, как бы сказать, — из раскаяния, вернее — из чувства несчастия, смешанного с чем-то приятным и возвышенным... Вот, например, когда Моор любовался заходом солнца, а сам уже знал, что счастие его сгинуло безвозвратно. Смесь страдания и радости!

И это навек легло в сердце Жуковского...

Он стал каждую субботу бывать у Тургеневых. Его изумляла талантливость Андрея, который первый год студентом, а уж знает латынь, немецкий, французский, итальянский и английский языки и столько с них перевел! И столько успел прочитать. И стихи пишет... И ведет дневник. Жуковский также завел себе дневник. Подналег на латынь и немецкий. Немецкий он знал неважно, а ему захотелось читать Гёте и Шиллера... Андрей Тургенев словно передал ему часть своего энтузиазма. Он понял, что нужно не журналы почитывать, не убивать время на чтение корявых переводов, а *работать* так, как крестьянин на пашне: до упаду. Стараться узнать все изящное и глу-

бокое на тех языках, на которых оно существует. Тургенев дал толчок, отныне и всю жизнь Жуковский трудился так, как многим писателям и не снилось...

Пансионские годы мелькнули быстро. Трижды прошли весенние экзамены и трижды публичные декабрьские акты, то есть те же экзамены, но показательные, при огромном стечении гостей, главным образом родных пансионеров. В большом зале за зеленым столом рассаживалось начальство — надзиратели, профессора университета, директор Иван Петрович Тургенев, кураторы университета — Михаил Матвеевич Херасков, знаменитый поэт, «староста российской литературы», как его называли, и Павел Иванович Голенищев-Кутузов, тоже поэт, переводчик с древних языков.

По сути, был не экзамен, а спектакль. Ученики были тщательно одеты, причесаны и бледны от волнения. Родители и родственники их волновались не меньше детей и тихо переговаривались друг с другом. На акте 19 декабря 1797 года Антонский произнес речь, которую слушатели приняли с восторгом, — она была в духе времени, чувствительной и заканчивалась так:

— Ах! Время, время почувствовать, что просвещение без чистой нравственности и утончение ума без исправления сердца есть злейшая язва, истребляющая благоденствие не одних семейств, но и целых наций!

Затем оркестр, составленный из воспитанников, исполнил маленькую итальянскую симфонию. После этой увертюры началось действие: ученики произносили речи на заданные темы, сыграли целую пьесу — устроенное преподавателем российского законоискусства «судебное действо»; показывали рисунки и картины, протанцевали балетную сюиту с гирляндами (старик Морелли ставил ее уже не один год), потом фехтовали и читали стихи собственного сочинения на темы, заданные Антонским. Александр Чемезов прочитал стихотворение «К счастливой юности». Василий Жуковский — оду «Благоденствие России, устрояемое великим ее самодержцем Павлом Первым». От великого смущения читал он слишком тихо. Херасков, сидевший в центре зеленого стола под собственным портретом, делал вид, что слушает, но силы его явно ушли на борьбу со старческой дремотой. Он оживился и закивал лобастой головой в парике лишь тогда, когда Родзянко начал читать стихи к его портрету:

Феб древних таинств ключ тебе вручил своих,
Ты «Россиядою» стяжал венец нетленный.

В декабре следующего года, на очередном акте, Жуковский декламировал стихотворение «Добродетель» (оно было напечатано в «Приятном и полезном препровождении времени»). Через час он же читал речь — и тоже о добродетели, то есть о добрых, человеколюбивых делах. Это была декларация выбранного им пути.

Он обличал гордыню, неправду, коварство, лесть, алчность и призывал слушателей «стремиться мудрых по стезям». В речи он обрисовал образ человека, близкого к семье Тургеневых, одного из соратников Новикова — Ивана Владимировича Лопухина, которого Москва уважала как великого человеколюбца.

Когда-то, будучи студентом университета, Антонский председательствовал в Собрании университетских питомцев, литературном обществе, труды участников которого охотно печатал в своих журналах Новиков. Теперь он решил создать такое общество в пансионе. С начала 1799 года стало действовать Собрание воспитанников университетского благородного пансиона. Жуковского Антонский назначил бессменным председателем. Он должен был открывать заседания, происходившие по средам с шести часов вечера, назначать ораторов, наблюдать за порядком и вообще вести все дело. Члены общества должны были вести себя «благонравно».

После нескольких заседаний Жуковский почувствовал, что секретарский энтузиазм его иссякает: тягостна была тишина, скучен механический порядок. Антонский и Бакаревич собрали для издания отдельной книгой сочинения пансионеров и отдали на просмотр Ивану Петровичу Тургеневу.

В сборнике были стихи, басни, прозаические и драматические отрывки Жуковского, Александра Тургенева, Петина, Гагарина, Костогорова, Родзянки и других записных литераторов пансиона (сборник под названием «Утренняя заря» был напечатан в 1800 году, когда Жуковский уже окончил пансион).

Весной 1799 года Андрей Тургенев окончил университет. С августа 1798 года он числился на службе в Иностранной коллегии московском архиве титулярным юнкером, теперь вступил туда переводчиком. В архив он являлся редко, так как продолжал посещать лекции в университете. Жуковский так привязался душой к Андрею, что ему казалось: он без него вовсе жить не мог бы. В субботу он просыпался с мыслью, что вот он сейчас побежит на Моховую к Тургеневым... И если не заставал

Андрея, то сидел мрачный, вяло беседовал с Александром и прислушивался — не идет ли кто. Не он один так любил Андрея. Несколько раз встречал Жуковский у Тургеневых Алексея Мерзлякова, университетского товарища Андрея. Мерзляков давал уроки восьмилетнему Николаю Тургеневу. Ему было девятнадцать лет, он уже был бакалавр, знал древнегреческий и латынь, французский, немецкий и итальянский языки, писал стихи и многие сочинения свои напечатал уже. Он был из купеческой семьи, внешность имел простонародную и даже говорил, немного заикаясь и на «о», но когда речь заходила о поэзии — он весь загорался и становился блестяще красноречивым. Как и для Жуковского, для него главным авторитетом был в литературных вопросах Андрей. Все чаще появлялся у Тургеневых и Андрей Кайсаров, который окончил университет в 1797 году, служил в полку, но мечтал ехать учиться в Геттингенский университет. Жуковский был знаком с его братом Петром Кайсаровым, учившимся в старших классах пансиона, который был стихотворец, переводил пьесы Коцебу и печатался в московских журналах. Третий брат их — Михаил — окончил пансион в 1795 году и также занимался литературой, в частности переводил Стерна. Позднее узнал Жуковский и четвертого из братьев Кайсаровых — Паисия. Скоро стало привычным для молодых литераторов собираться у Тургеневых. Мерзляков и Андрей Тургенев начали переводить драмы Шиллера — «Коварство и любовь», «Разбойники», «Дон Карлос». Они хотели и Жуковского привлечь к этой работе. Он, однако, принял участие только в переводе «Дон Карлоса».

В этом году Андрей приступил наконец к переводу «Вертера» Гёте. Скоро он привлек к этой работе Мерзлякова и Жуковского. Вот где возникал тот литературный союз, который нужен был Жуковскому, — замечательная школа самообразования. В сюртуках и шляпах а-ля Нельсон они бродили по всей Москве. Бывали у Симонова монастыря, где похоронены Пересвет и Ослябя, герои Куликовской битвы; в Марьиной роще; взбирались на Мытищинский водовод. Стали сидеть и в кофейне Муранта на Ильинке, где собирались актеры, студенты и профессора университета...

Наступили последние вакации. Жуковский повез в Мишенское «Дон Карлоса» и «Вертера», чтобы переводить свою долю. Быстро мелькнул краткий летний отдых. Осенью все съехались в Москве. Тургеневы вернулись из

своей симбирской деревни, Мерзляков — из городка Далматова Пермской губернии, куда ездил к родителям, Кайсаров — из деревни на Воробьевых горах, где нанимал для отдыха избушку вместе с Семеном Родзянко. Осенью у Тургеневых появился новый гость, новый член молодого кружка — Александр Воейков, конногвардеец, года два-три тому назад окончивший университетский пансион. Военная служба не пришлась ему по душе, и он вышел в отставку. Он был шумен, говорлив, любил выпить чего-нибудь крепкого, но Андрею Тургеневу понравился открытостью характера, простотой обращения, а главное, тем, что был талантлив и образован, сочинял стихи, в основном переводил с французского. Воейков предпочитал звать друзей к себе, у него был ветхий деревянный особняк на Девичьем поле. Мерзляков и Андрей Тургенев побывали у него и рассказали потом со смехом, что он им славную пирушку задал...

В июне 1800 года, после выпускных экзаменов, Жуковский получил именную серебряную медаль. Имя его было помещено и на мраморной доске, в списке отлично кончивших пансион в разные годы, — доска висела в вестибюле главного входа. Окончил пансион и Александр Тургенев, который вступил юнкером в Иностранной коллегии московский архив, где служил его брат. Этот архив был местом весьма привилегированным — служба в нем открывала хорошие перспективы. Жуковский, не имевший никакой протекции, задолго до выпускных экзаменов был назначен в Главную соляную контору — с 21 февраля 1800 года он числился уже в бухгалтерском столе приказным с жалованьем по 175 рублей в год. Указом было предписано его «переименовать из прапорщиков городовым секретарем» и «отобрать данный ему на воинский чин патент». В декабре этого года Жуковский должен был еще участвовать в публичном акте — последнем для него в пансионе.

Он жил у Юшковых, где ему отвели две комнатки на антресолях. По привычке просыпался в пять часов, пил чай и начинал работать. До начала службы выкраивалось около трех часов. К концу 1800 года у него сложился немалый объем литературных дел. Он перевел комедию Августа Коцебу «Ложный стыд» и предложил ее в дирекцию московских театров. Пьеса выдержала несколько постановок. Мерзляков свел его с книгопродавцем Зеленниковым, который, стоя на грани банкротства, решил попытаться поправить дела изданием увлекательных переводных ро-

манов и повестей. Он прямо сказал Жуковскому, что будет платить за переводы при случае и столько, сколько сможет, но сверх платы будет давать книги, из неходовых. Жуковский начал переводить с немецкого роман Коцебу «Мальчик у ручья, или Постоянная любовь». Библиотека его пополнялась. Тридцать пять томов большой французской энциклопедии Дидро подарила ему в честь окончания пансиона Марья Григорьевна Бунина (это было приобретение Афанасия Ивановича). У Зеленникова в счет будущих переводов взял он «Естественную историю» Бюффона в тридцати шести томах на французском языке. Он купил несколько исторических сочинений на французском и немецком языках, переводы греческих и латинских классиков, полного Лессинга готическим шрифтом. Адам Смит, Шарль Бонне, аббат Баттё, Несторова летопись, изданная в Петербурге в 1767 году, философские труды лорда Шефтсбери — книга за книгой становились на его полки, прочитанные, с многочисленными пометами и закладками.

Как только входил он в мутную атмосферу конторы, его охватывало омерзение: расшатанные и ободранные конторки, потрескавшиеся шкафы и облупившиеся стулья — все чуть ли не времен царя Алексея Михайловича, все полно серых и синеватых бумаг, папок, облитых клеем и закапанных воском от свеч. В помещении стоял какой-то особенный, отвратительный канцелярский запах — мышей, бумаги и плесени. Конторские чиновники почти все были в годах. Жуковский с грустью думал об Иностранной коллегии архиве, где он бывал, — и там старые шкафы и облака бумажной пыли, но зато одна молодежь! И свобода. Можно работать кое-как. Можно не ходить. А коли есть охота, интерес — можно рыться в грамотах и актах, как это с азартом делает сейчас Александр Тургенев, который от литературы все более склоняется к истории... В Соляной конторе среди говора и шарканья, прелых запахов и чернильных пятен Жуковский, положив лист бумаги на груду шнуровых книг, писал: «Надежда, кроткая посланница небес! тебя хочу я воспеть в восторге души своей. Услышь меня, подруга радости!.. Сопутствуй мне на мрачном пути сей жизни». Летом он переписывался с Мерзляковым. Тот жаловался на усталость души, на несбыточность мечтаний. Жуковский, обложившись штабелями папок, писал ему: «Тот бедный человек, кто живет на свете без надежды; пускай будут они пустые, но они всё *надежды*... Я пишу всё это в гнилой конторе, на куче больших бухгалтерских книг; вокруг

меня раздаются голоса толстопузых, запачканных и разряженных крючкоподьячих; перья скрипят, дребезжат в руках этих соляных анчоусов и оставляют чернильные следы на бумаге; вокруг меня хаос приказных; я только одна планета, которая, плавая над безобразною структурою мундирной сволочи, мыслит au-dessus du vulgaire[1] и — пишет тебе письмо».

Андрей Тургенев и Жуковский все более сближались. В ноябре 1800 года Тургенев подарил Жуковскому две книги: «Ироическую песнь о походе на половцев удельного князя Новагорода-Северского Игоря Святославича» — найденное и опубликованное графом Мусиным-Пушкиным древнерусское эпическое произведение, с такой надписью: «Песнь древнего барда новому трубадуру дарит Андрей Тургенев в знак дружбы, на память любви», и лейпцигское 1787 года издание «Вертера» Гёте. На форзаце этой книги Тургенев поместил стихотворную надпись к портрету Гёте:

Свободным гением натуры вдохновленный,
Он в пламенных чертах ее изображал
И в чувстве сердца лишь законы почерпал,
Законам никаким другим не покоренный.

Чуть ниже — обращение к Жуковскому: «Ей-богу, ничего лучше вздумать не могу, как того, что я вечно хотел бы быть твоим другом, чтобы дружба наша временем укрепилась, чтобы я был достоин носить имя друга, и твоего друга!!»

20 декабря 1800 года произошел такой разговор между Жуковским, Мерзляковым и Андреем Тургеневым.

— Будет ли следующий век более обилен писателями? — начал разговор Жуковский. — Будут ли великие?

— Писателей будет больше, — отозвался Андрей. — Но, скорее всего, это будут сочинители мелочей, пусть даже превосходных: отрывков, стишков...

— Почему? — удивился Жуковский.

— Карамзин, наш любимый Карамзин, готовит это.

— Карамзин приучил всех писать изящные мелочи, — поддержал Тургенева Мерзляков.

— Если бы он явился на век или два позже, когда в России выросла бы серьезная литература, — продолжал Андрей, — тогда и он пусть бы вплетал свои цветы в дубы и лавры.

— Но он сделал эпоху у нас, — сказал Жуковский.

[1] Выше обыкновенного *(франц.)*.

— Он не согласовал своего дарования с русским характером, климатом и прочими суровыми условиями. Слишком склонил читателей и авторов к мягкости и нежности... Почему не сказать этого? Я сам его ученик. И все лучшее идет за ним: Дмитриев, Василий Пушкин, вот ты, Жуковский. Много он сделал и для просвещения. Но где же эпическая поэма, достойная его таланта? Где главное?

— «Россияда»? — усмехнулся Жуковский.

— «Россияда» написана не поэтом, а варваром; она пуста, как и все поэмы Хераскова, — возвысил голос Андрей. — Но что ж, если Карамзины не пишут эпических поэм? Ты, Мерзляков, говоришь, что Херасков трудолюбив и не устает вносить в свое творение поправки, что он не гонится за ложной славой. Пусть так. Но к трудолюбию надо бы прибавить огня и вдохновения карамзинского! Поэтому-то Карамзин более вреден литературе нашей, чем Херасков. Вреден, потому что хорошо пишет!

— О! — воскликнул Жуковский в изумлении.

— Пусть бы русские поэты продолжали писать необработанным слогом, но пускай бы они продвигались вперед в важнейших родах литературы, — продолжал Андрей. — Слог со временем все равно бы очистился. Если смотреть с этой точки зрения — Херасков сделал для нас больше, чем Карамзин.

— Чем же Карамзин-то виноват? — спросил Жуковский, чувствуя, что он не может согласиться с Андреем.

— Он не виноват. Виноват случай, произведший его слишком рано. Он пишет так, как велит его натура. Мы любим его. И мы правы в этом! Но пусть бы сегодня писали хуже, медленно, но верно совершенствуясь. Чем медленнее ход успехов, тем они вернее.

— Можно и быстро, — сказал Мерзляков. — Надо, чтоб явился второй Ломоносов и все своротил!

— Можно, — подтвердил Андрей. — Но надо, чтоб это был писатель, напитанный оригинальным русским духом, с великим и обширным разумом. Он дал бы другой оборот русской литературе.

Жуковский опять вступился за Карамзина:

— Может быть, Карамзин переменится? Ведь начал же он «Илью Муромца». Ты сам говоришь, что он теперь занимается русской историей, читает летописи... Не задумал ли он что-нибудь?

— Как он сказал о себе: «По уши влез в русскую историю, сплю и вижу Никона с Нестором», — ответил Андрей. — Он пока и сам не знает, к чему это приведет.

Сидя в Соляной конторе, Жуковский вспоминал этот разговор. «А мы? — подумал он. — Андрей, Мерзляков и я? Других корим, а у самих нет дерзости. Вот что забыл я сказать Андрею». Главный директор Соляной конторы — Николай Ефимович Мясоедов — взял нового приказного на заметку. Часто о нем справлялся. Рассматривал бумаги, переписанные Жуковским, далеко отставя руку с листом и брезгливо щурясь. Кланялся Жуковскому сухо, почти незаметно. Жуковскому до отчаяния хотелось покинуть контору совсем, чтоб не видеть физиономии «пресмыкающегося животного», как называли Мясоедова в Москве. Мечтал уехать в Петербург. Написал об этом Елизавете Дементьевне. Она отвечала: «Отъезд твой в Петербург не принес бы мне утешения: ты, мой друг, уже не маленький. Я желала бы, чтобы ты в Москве старался себя основать хорошенько... Мне кажется, зависит больше от искания. Можно, мой друг, в необходимом случае иногда и гибкость употребить: ты видишь, что и знатней тебя не отвергают сего средства». Жалость к матери сжимала сердце Жуковского: с детства научена она покоряться силе. Да и сейчас-то что она? Не служанка и не барыня. Вся в зависимости от Марьи Григорьевны Буниной. А плохо зависеть — даже и от доброго, порядочного человека! Нет, «гибкость употреблять» Жуковский никак не собирался. Письмо матери все о деньгах: «Прошу тебя, мой друг, оставить мундир свой делать до приезда нашего. Это прихоть, Васинька, не согласующаяся с твоим состоянием... Не мотай, пожалуйста».

Но «мундир», то есть фрак и панталоны по моде, были необходимы — без них на люди не выйдешь. Особенно в дом Соковниных, куда ходил он с Тургеневыми. У Сережи Соковнина, его пансионского товарища — сестры-красавицы — Анна, Катерина, Варвара. Все вместе они бывали в театре, на гуляниях... Много денег уходило на книги. «Вы, конечно, меня в том простите, — писал он матери, — я уверен в этом совершенно, ибо, учивши меня столько времени тому-сему, вы не захотите, чтоб я это забыл, и все деньги, которые вы за меня платили в пансион, были брошены понапрасну». А Елизавета Дементьевна, полная страха перед будущим, снова упрекает сына: «А ты, мой друг, все еще не перестаешь мотать. Вспомни, как ты, рассчитывая оставленные у тебя деньги, полагал, что будет довольно и на книги. А ныне принялся за новую трату». Жуковский снова жаловался матери на свою службу, говорил, что продвинуться вперед в по-

добном месте он не сможет. «Ибо я хотя и пустился в статские скрипоперы, — писал он, — но ничего такого написать не умею».

В 1801 году вышел в свет переведенный Жуковским роман Коцебу, в четырех небольших томах. Поэт Михаил Дмитриев — племянник Ивана Дмитриева — рассказывая о том, что читали у них в доме в те времена, не забыл этой книги: «Вся семья по вечерам садилась в кружок, кто-нибудь читал, другие слушали... «Страдания Ортенберговой фамилии» и «Мальчик у ручья» Коцебу — решительно извлекали слезы!» Посредником между Зеленниковым и Жуковским был Мерзляков. В том же году была переведена и издана повесть Коцебу «Королева Ильдегерда». «Вот «Ильдегерда», — писал Мерзляков Жуковскому при начале этой работы. — Дни четыре как она у меня, — но с кем послать к тебе? Ты знаешь, что у меня нет челяди. Я уже условился с Зеленниковым о деньгах по 5 р. за лист: больше не дает. Это придется 80 р.». Исполнив эту работу, Жуковский начал перевод (тоже для Зеленникова) двух повестей Жан-Пьера Флориана — «Вильгельм Телль» и «Розальба», которые в одном общем томе вышли в следующем году.

Двоюродный брат Дмитриева Платон Бекетов, просвещенный барин, собиратель книг и гравюр, завел в своем роскошном доме на Кузнецком мосту типографию и книжную лавку с типографщиками и книгопродавцами из числа собственных крепостных, чтобы, по примеру Новикова, содействовать отечественному просвещению. В 1800-х годах он издал в большом формате четыре альбома «Пантеон российских авторов», где гравированные портреты писателей сопровождались текстом, написанным Карамзиным. Бекетов напечатал полное собрание сочинений А. Н. Радищева, переводы и сочинения Дмитриева и Карамзина. По совету этих последних он обратился к молодым литераторам — Гнедичу, Мерзлякову. Его просьба — выбрать для перевода какие-нибудь значительные произведения — была передана через Тургеневых к Жуковскому. Дома, раздумывая об этом, Жуковский взглянул на книжные полки, и его осенило: да вот же оно — шесть томиков «Дон Кишота» Михайлы Серванта во французской переделке Флориана! Бекетов одобрил выбор. Обещал издать перевод на лучшей бумаге, с гравюрами и портретами.

В один вечер Жуковский перевел «Предисловие» Флориана, где сказано, что «Дон Кишот — сумасшедший делами, мудрец мыслями. Он добр; его любят; смеются ему

и всюду охотно за ним следуют». Потом принялся за статью Флориана «Жизнь и сочинения Серванта», которая следовала за предисловием. Эта работа Жуковского растянулась на несколько лет (первый том вышел в 1804-м, последний — в 1806 году). Он был счастлив. «Никто еще в России не знает Дон Кишота таким, каков он есть!» — думал он. В русских корявых и неполных переводах Дон Кихот выглядел дураком и сумасбродом, всех занимали только его нелепые приключения. Но Флориан дал понять, и Жуковский хорошо почувствовал, что книга Сервантеса не грубый фарс, а великое творение мудреца, поборника справедливости, добродетели...

Жуковский продолжал писать стихи. Его все так же занимали Юнг и Грей. Он сделал перевод элегии Грея «Сельское кладбище» и повез Карамзину в Свирлово, где тот жил на даче. Карамзин с этого лета начал редактирование нового журнала под названием «Вестник Европы», который решил издавать при университетской типографии книгопродавец Иван Васильевич Попов. Перевод «Сельского кладбища» (это был первый вариант) Карамзину не понравился. «Однако, — сказал он, — у вас может получиться великолепная вещь». Он указал удавшиеся строки. Убеждал продолжить работу. В это же время Жуковский написал оду «Человек», в которой и эпиграф из Юнга, и мысли из Юнга, но тем не менее — размышления его о собственной жизни. Эта ода отразила целый период «борьбы с Юнгом» в душе Жуковского. Не уничтожения Юнга, а преодоления. Отчаяние автора «Ночей» Жуковский дополнил тем — пусть и меланхолическим — чувством достоинства человека перед Смертью, которое подало ему руку надежды в «Элегии, написанной на сельском кладбище» Грея. Жуковский начал вырабатывать свои представления о мире и человеке. Постепенно усложняясь, этот процесс будет длиться у него всю жизнь. «Ах! кто с сей жизнию без горя разлучился?» — говорит он в первом варианте перевода элегии Грея, признавая все земное родным, даже страдания. Сюда вошло и «разбойническое» чувство, о котором говорил Андрей Тургенев...

Борьба с отчаянием была борьбой Жуковского за собственную душу — ему казалось, что он «никому не нужен», его одолевали мрачные мысли о матери (ее полурабской жизни), о своем странном положении «приемыша» в семье Буниных, о катастрофическом бесперспективном начале службы в Соляной конторе. Ода «Чело-

век» и первый перевод «Сельского кладбища» — обретение достоинства, веры в себя, начало той особенной элегичности, которая так покоряла потом читателя в стихах Жуковского.

Вскоре возникло литературное общество. Мысль о нем подал Мерзляков. Андрей Тургенев и Жуковский загорелись, наметили членов: Андрея Кайсарова, Александра Тургенева, Воейкова. Вскоре Кайсаров предложил принять своих братьев Михаила и Паисия. Мерзлякову поручили написать «Законы дружеского литературного общества». 12 января 1801 года в доме Воейкова на Девичьем поле состоялось организационное собрание. Воейков был счастлив. Он приказал расчистить в саду засыпанную снегом аллею, хорошо натопить комнаты, поправить ступеньки на расшатанном крыльце. В одной комнате расставил кресла вокруг большого стола, в другой все было приготовлено для дружеского ужина. Жуковский пришел пешком, в сумерках, когда уже не видны были башни Новодевичьего монастыря. Когда все расположились в креслах, Мерзляков встал и начал читать по-немецки «Оду к радости» Шиллера. Это произвело на всех необыкновенное действие.

— Друзья! — воскликнул Мерзляков. — Что соединило нас? Дух дружества! Что значим мы каждый сам по себе? Почти ничего. Вместе преодолеем мы трудности и достигнем цели. Вот рождение общества! Один человек, ощутив пламя в своем сердце, дает другому руку и, показывая в отдаленность, говорит: там цель наша! Пойдем, возьмем и разделим тот венец, которого ни ты, ни я один взять не в силах! В нашем обществе, в этом дружественном училище, получим мы лучшее и скорейшее образование, нежели в иной академии.

Мерзляков разложил перед собой листы и стал читать статьи законов общества:

— Цель общества — образовать в себе талант трогать и убеждать словесностью: да будет же сие образование в честь и славу Добродетели и Истины целью всех наших упражнений. Что должно быть предметом наших упражнений? Очищать вкус, развивать и определять понятия обо всем, что изящно и превосходно. Для лучшего успеха в таких упражнениях надобно: первое — заниматься теорией изящных наук... Второе — разбирать критически переводы и сочинения на нашем языке. Третье — иногда прочитывать какие-нибудь полезные книги и об них давать свой суд. Четвертое — трудиться над собствен-

ными сочинениями, обрабатывая их со всевозможным рачением.

Решено было собираться по субботам вечером. Порядок принят был следующий: заседание открывает очередной оратор речью на какую-нибудь «нравственную» тему; затем секретарь читает сочинение одного из членов общества, не объявляя его имени (иногда и сам автор); потом чтение вслух какого-нибудь образцового произведения. Сочинения членов общества должны отдаваться для лучшего прочтения и приготовления к их разбору на дом. Дело пошло очень хорошо. Принятый порядок, к счастью, беспрестанно нарушался. Говорил оратор; все говорили разом; поднимался спор (а спор не был предусмотрен...). Иной раз брань, хотя и дружеская. Начались обиды, объятия, пожимание рук, хохот... Никогда, ни одно заседание не обходилось без шампанского и громогласных песен.

На очередных встречах Мерзляков произнес еще несколько речей: «О деятельности», «О трудностях учения». Александр Тургенев выступил с «Похвальным словом Ивану Владимировичу Лопухину», Андрей Кайсаров — с речами «О кротости», «О том, что мизантропов несправедливо почитают бесчеловечными», Михаил Кайсаров — «О самолюбии», Воейков — «О предприимчивости». Блестящие речи о поэзии и русской литературе произнес Андрей Тургенев.

— Русская литература! Русская! — говорил он. — Можем ли мы употреблять это слово? Не одно ли это пустое название?.. Есть литературы французская, немецкая, есть английская... Но есть ли русская? Читай английских поэтов, и ты увидишь дух англичан. То же французы и немцы — по произведениям их можно судить о характере их наций. Но что можешь ты узнать о русском народе, читая Ломоносова, Сумарокова, Державина, Хераскова и Карамзина? В одном только Державине найдешь очень малые оттенки русского. А в поэме Карамзина «Илья Муромец» — русское название, русские слова, но больше — ничего!

Поднялся спор. В принципе соглашаясь с Андреем, ему возражали Андрей Кайсаров и Жуковский, они говорили, что Карамзина, стоящего на верном пути, компрометируют многочисленные подражатели, вроде Шаликова. Русская литература у истоков. Не может она сразу стать оригинальной. Нужно делать то, что и делает Карамзин, — смело заимствовать форму, дух, мысли, даже слова. Учиться. Ведь так складывались и крепли и дру-

гие литературы в Европе. Нужно смело вливаться в это огромное дружеское общество — в человечество! Не надо ожидать «второго Ломоносова» сложа руки... Нужно каждому стремиться сделаться им по мере сил. Надо работать!..

Жуковский в разное время — зимой и весной — 1801 года произнес три речи: «О дружбе», «О страстях» и «О щастии». В первой он философ, он и поэтически обосновал и укрепил тот культ дружбы, который возник около братьев Тургеневых.

— Я буду говорить с вами о дружбе, — так начал он свою речь 27 февраля. — Что больше и приятнее может занимать нас в эти минуты, посвященные всему доброму, как не дружба — небесная, благодатная, услаждающая горести, оживляющая радости и наслаждения житейские?.. Дружба не боится ни злобы, ни предрассудков, никакая сила не может разлучить сердец, соединенных самою природой... Она есть чистый, неразрывный союз двух сердец, рожденных одно для другого... Человек без человека был бы самою бедною, беспомощною тварью на свете!.. Счастлив тот, кто нашел себе друга испытанного, постоянного, кто нашел его тогда, когда он более всего нужен. Не довольно того, чтобы уметь выбирать друга, должно уметь всегда быть ему другом... Эгоизм не может существовать вместе с дружбой — перестаньте быть эгоистами, и вы исполните все, чем обязаны друзьям своим...

Жуковский цитировал стихи Карамзина, изречения Пифагора, высказывания аббата Бартелеми из популярного тогда его «Путешествия младшего Анахарсиса». Он говорил, что излишняя короткость в дружбе так же вредна, как и рассудочная холодность, что не бывает дружбы без откровенности, но что грубо «резать» правду другу в лицо тоже нехорошо — надо все говорить «без закрышки», но осторожно, с тактом. Прекрасно, когда друзья — разные по натуре люди и притом умеют управлять собой, то есть спорят не из упрямства, а в поисках истины...

Все это было не ново. Он и подчеркивал это, цитируя древних и новых писателей, приводя суждения философских школ. Множество стихотворений и прозаических отрывков о дружбе, о «щастии» напечатано было тогда и в русских журналах. Подобные мысли там было найти легко. Новое было то, что члены дружеского литературного общества (пусть и не все), а особенно — Жуковский и братья Тургеневы — стали этим *жить*. Это были их личные судьбы, страсти, дружба, любовь, добродетель. И ка-

кой высокой нравственностью озарились их души — отныне и на всю жизнь!

В речи «О щастии» Жуковский высказывает все те же мысли — о безумцах, которые спешат «расстаться с жизнью как с мрачной темницей», о том, что без «горестей» не может существовать счастья («свет не был бы светом без тени»), что «на самом краю бед есть для нас наслаждения», так как и в величайшем блаженстве существует для нас «горесть». Он говорит, что человек не *отомат* (автомат) и «имеет неограниченную волю действовать», а между тем сам налагает на себя оковы.

— Кто препятствует мне сделать себя независимым от людей, посреди которых рождаются беды и горести? — говорит Жуковский. — Кто препятствует мне, не отделяясь совершенно от мира, отделить от него свое счастие, очертить около себя круг, за который бы житейские беды преступить не дерзали?.. Мое счастие во мне, оно будет жить, несмотря на все превратности, которые принужден буду я испытывать в бурном океане света... Друзья мои! Свобода, любовь, дружба — вот законы счастия... Не будем терять времени — положим основание будущему своему счастию и укрепимся мужеством и силою против бед, которые, может быть, скоро на нас обрушатся.

...В марте 1801 года был убит император Павел. Москва почти открыто праздновала это событие. Указы, отменяющие всякие стеснительные нововведения Павла, посыпались как из рога изобилия, многие головы, жаждущие гражданских свобод, поневоле вскружились...

Обманчиво было утро нового царствования. Как ни либерален был молодой царь, как ни добра была его «ангельская» улыбка, начал он с насилия — он способствовал убийству своего отца, Павла Первого. И об этом сразу же узнали все — все общество.

...Андрей осенью этого года после безуспешных попыток прикомандироваться к Лондонской миссии был переведен по службе в Петербург. 12 ноября Жуковский вместе со всей семьей Тургеневых провожал его до станции Черная Грязь. Обнимая Андрея на прощанье, он плакал. Они дали друг другу слово переписываться. После его отъезда Жуковский почувствовал себя одиноким. С Александром Тургеневым, а тем более с Мерзляковым, у него не было такой близости. С отъездом Тургенева он как бы терял опору. Но он решил во что бы то ни стало стоять на своем — и выстоять.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

(1802—1805)

Андрей Тургенев в Петербурге тоже чувствовал себя одиноким. Ему не хватало московских друзей, особенно Жуковского. «Вспомните этот холодный, сумрачный день, — писал он Мерзлякову и Жуковскому, — и нас в развалившемся доме, окруженном садом и прудами... Вспомните себя, и, если хотите, и речь мою; шампанское, которое вдвое нас оживило; торжественный, веселый ужин, соединение радостных сердец; вспомните — и вы никогда позабыть этого не захотите. Вы отдадите справедливость нашему Обществу. Его нет, но память о нем вечно будет приятнейшим чувством моего сердца».

Грусть Андрея увеличивалась тем, что он теперь был разлучен с семейством Соковниных — он влюблен был в одну из сестер, Екатерину Михайловну (в другую сестру — Анну Михайловну — был влюблен его брат Александр). Третьей сестре — Варваре Михайловне — Андрей Тургенев посвятил перевод «Вертера».

Тургенев шлет Жуковскому письма для Екатерины Михайловны, которая тоже его любит, — передача должна была совершаться тайно от всех. Жуковскому Андрей доверял настолько, что пересылал ему копии писем Екатерины Михайловны. «Я знаю вам цену, — писала Екатерина Михайловна Андрею, — поверьте этому, и знаю также, что я ни с кем так счастлива быть не могла бы, как с вами... Но ежели судьба нас определила на другое, то мы заранее к тому приготовимся... Вас еще другая эпоха ожидает: слава! Стремитесь за ней, и она вас утешит... Но не огорчайтесь обо мне. Надежда еще не умерла в моем сердце».

В доме Соковниных весело — молодые люди читают, ездят в концерты, любят игры, пишут шутливые стихи (особенно Жуковский и Анна Михайловна). К этой же компании принадлежала Мария Николаевна Вельяминова, племянница Жуковского (она дочь его сводной сестры, имевшей связь с тульским наместником Кречетниковым).

Он читает с ней Руссо, пытается воспитывать ее, но, в конце концов, они увлекаются друг другом. В 1801 году произошла катастрофа, углубившая общее печальное настроение Жуковского: Мария Николаевна была выдана замуж за нелюбимого, но «хорошего» человека, некоего Свечина, и уехала с ним в Петербург. Как раз поехал туда и Андрей Тургенев. Он стал посредником между Жуковским и Марией Николаевной, вошел в семью Свечиных и обо всем подробно писал другу в Москву. «Муж и она, — пишет он, — два инструмента совсем на разных тонах: он — балалайка, может быть — очень стройная и звонкая, она — арфа. Я смотрел на них вместе и чувствовал, что не так бы должно быть, если бы в этом мире царствовала гармония. Я знаю другой инструмент, который мог бы аккомпанировать, но... вздохнем оба от глубины сердца». Жуковский пишет Марии Николаевне о Руссо, а муж «восстает против Руссо». Тургенев сообщает Жуковскому слова Свечиной о нем, о Жуковском: «Какой он милой (с чувством и неизъяснимой приятностью)!.. Только как часто бывает задумчив!» Тургенев пишет, что при этом в лице ее «было что-то небесное... она была в белом. Какая-то томность при свечах делала ее пленящею». Он зовет Жуковского в Петербург: «Ты должен приехать и быть здесь... Между вами самая святая и невинная связь»; передает слова Свечиной; «Боже мой, как мне жаль, что здесь нет Василия Андреевича». Годом позднее Александр Тургенев, уже учившийся в Геттингенском университете, записал в своем дневнике: «Сегодня Бутервек на лекции описывал характер Петрарки и платоническую любовь его к Лауре. Какое разительное сходство с характером Жуковского! Кажется, что если б мне надобно было изобразить характер Жуковского, то я бы то же повторил, что Бутервек говорил о Петрарке. И Жуковский точно в таком же отношении к Свечиной, в каком Петрарка был к Лауре».

Жуковский набирался решимости повернуть свою жизнь так, как, ему казалось, диктовала судьба. Он страстно возмечтал о сельском уединении — о своей комнате во флигеле, в Мишенском, среди книг, холмов и рощ. Там он будет писать письма Свечиной с сладким чувством безнадежности. Работать, вести дневник... Жить переводами (уже почти окончен первый том «Дон Кишота»). С самого начала года он то упаковывал, то снова раскладывал книги, не решаясь подать в отставку, — мать и Марья Григорьевна Бунина были против таких

его планов. Но — вот она, судьба! — помог ему случай. Мясоедов, давно третировавший Жуковского (он знал, что у молодого чиновника нет нигде крепкой поддержки), сделал ему очередной выговор особенно грубо. Впервые в жизни Жуковский вспылил, надвинулся, весь бледный и со сверкающими глазами, на своего обидчика и сказал какие-то слова, от которых Мясоедов съежился и молча ретировался. Жуковского тут же охватило чувство раскаяния и стыда. Как-никак — ему не хотелось начинать новую жизнь с бунта! Но было поздно. Один из членов правления конторы — Николай Иванович Вельяминов, отец Марии Николаевны Свечиной, — посоветовал Жуковскому принести извинения Мясоедову и обещал свое содействие. Но Вельяминов был и сам неприятен Жуковскому как человек, за деньги прикрывавший позор своей жены. Он решил молчать. Мясоедов через старшего приказного объявил, что ему запрещен отныне вход в контору и что дело он передает московскому полицеймейстеру. Последовал домашний арест. Жуковскому за нарушение присяги (как и всякий тогдашний чиновник при вступлении в службу, он был приведен к присяге, где был пункт об уважении к начальству) грозил суд. За него хлопотали Прокопович-Антонский и Иван Петрович Тургенев.

«Сейчас, брат, я получил твое письмо об аресте, — пишет Жуковскому Андрей. — Меня это возмутило. Что сказать тебе? Я не рад, очень не рад этому, что ты будешь в отставке, но что же было делать на твоем месте? Если все еще можно поправить, я бы этого очень желал, но если тут оскорбится чувство твое, если будет хоть тень оскорбления для твоей чести, то делать нечего». Жуковский написал ему, что он непременно пойдет в отставку, что он будет есть один хлеб, но служить отечеству будет только тем, чем может, — пером сочинителя. «Право, можно и служить и заниматься нашим предметом, — неуверенно отвечает Андрей. — На что жить в отставке? Можно искать службы, если сама не представится, потому что можно искать и благородным образом».

Жуковский написал матери и Буниной отчаянные письма, прося разрешения поселиться в Мишенском. 4 мая Бунина отвечала: «Нечего, мой друг, сказать, а только скажу, что мне очень грустно... Теперь осталось тебе просить отставки хорошей и ко мне приехать... Всякая служба требует терпения, а ты его не имеешь. Теперь осталось тебе ехать ко мне и ранжировать свои дела с господами книжниками».

В конце мая 1802 года Жуковский выехал из Москвы. Впереди лежало — через Малый Ярославец, Калугу, Перемышль и Козельск — 279 верст, и последняя верста кончалась у белёвской почтовой станции. Когда на заставе раздалась команда «Подвысь!» — и полосатое бревно шлагбаума взлетело, пропуская экипаж, Жуковский, чтоб ничего не видеть, надвинул на глаза картуз. Усевшись поглубже, он не то задумался, не то задремал... В Мишенском были все Юшковы, младшие Вельяминовы, их гувернантки-француженки — Дорер, Жоли, Меркюрини. Елизавета Дементьевна и Марья Григорьевна встретили его с искренней радостью, не стали поминать о неудачной его службе. Андрей Григорьевич Жуковский сразу же рассказал ему о грандиозном пожаре, который был в Белёве прошлым летом: половина домов сгорела; в Спасо-Преображенском монастыре рухнули все кровли, колокола на большой колокольне сплавились в массу в 296 пудов; два дня бушевал огонь. Ока шипела от летящих в нее головней и горящих бревен.

— Ну, прямо литовская осада! — говорил Андрей Григорьевич. — А нынче, вот ты увидишь — обстроились лучше старого. Да не как-нибудь, а по генеральному плану, утвержденному в Петербурге! К зиме пожара уж и следов не осталось. Каков магистрат новый! А купцы-то, теперь в таких домах живут — истинно за́мки. И колокола заново отлили...

Была в Мишенском и сводная сестра Жуковского — Екатерина Афанасьевна Протасова. Она вышла замуж в 1792 году за Андрея Ивановича Протасова и жила с ним в деревне Сальково на Оке. У нее родились две дочери, в 1793-м — Маша, в 1795-м — Саша. Екатерина Афанасьевна и ее муж страстно любили друг друга. Но Андрей Иванович, хотя и был богат, крупно играл в карты. В 1797 году он скончался от чахотки, оставив много долгов. Молодая вдова его продала Сальково и приехала со своими малолетками в Мишенское к матери. Отныне вся ее жизнь посвящена была дочерям. Еще молодая и красивая (ей не было тридцати), она с этих пор всю жизнь носила белый чепец и черное платье — знак непреходящего траура по супругу... В 1800 году белёвский магистрат отвел ей место для постройки дома на Дворянской улице. Дом был выстроен... Сюда Протасова перебиралась на позднюю осень и зиму, у нее здесь бывали все мишенские. Статная, высокая, с горделивой походкой, в строгом одеянии, с решительным выражением лица, она

походила на королеву Марию Стюарт. Ее дочери, две миловидные, тихие девочки, быстро привязались к Жуковскому. Он, словно гувернер или учитель, стал гулять с ними в парке, в поле, рассказывать о своем детстве, читать с ними повести Жанлис, рисовать с натуры цветы и деревья. Машу он уговорил вести дневник — откровенный, чтоб видеть в нем себя как в зеркале и потом избавляться от всего нехорошего. Он был ласков с ними, добр. Им нравился его густой, бархатистый голос, задумчивый взгляд, неожиданный веселый смех... Он подолгу работал у себя в комнате, и они ждали с нетерпением, когда он придет, возьмет их за руки, и они пойдут в парк, в лес у Васьковой горы...

Жуковский переводил «Дон Кишота» и занимался самообразованием. Сшив тетрадь из больших синих листов, он сделал заголовок: «Историческая часть изящных искусств. 1. Археология, литература и изящные художества у греков и римлян» Начал делать сюда выписки. В другую тетрадь делал выписки из книг по философии. Третья предназначалась для упражнений в немецком языке. В черновой книге — альбоме с застежками — делал планы будущих сочинений, намечал, что перевести.

Вскоре из Москвы прислана была ему изданная Поповым книжка: «Четыре времени года. Музыка сочинения г. Гайдена». Здесь было напечатано переведенное Жуковским либретто немецкого писателя Ван Свитена для оратории Гайдна, сделанное по мотивам поэмы Томсона «Времена года». И Томсон и Гайдн горячо любимы были в молодом тургеневском кружке. Андрей Тургенев, ездивший по службе в Вену, писал оттуда, что ему посчастливилось видеть Гайдна, который дирижировал в концерте своими произведениями: «Я с величайшим наслаждением слушал, чувствовал и понимал все, что выражала музыка». Андрей прислал Жуковскому и Мерзлякову портреты Шиллера и Шекспира (он увлекся Шекспиром и начал переводить «Макбета»). Александр Тургенев, уехавший учиться в Геттингенский университет, послал брату Андрею «для раздачи друзьям» экземпляры шиллеровской «Орлеанской девы», написанной в 1801 году. Потом Андрей был в Лейпциге и написал Жуковскому, что он был там на представлении новой драмы Шиллера «Die Jungfrau von Orleans» («Орлеанская дева») и сокрушался, что ее «нельзя никак представлять на русском театре, первое потому, что не позволят, второе, что у нас нет актрис для Иоанны». На-

конец, Андрей прислал драму Жуковскому, который, конечно, сразу стал думать о ее переводе. Андрей мечтал съездить в Веймар, где, как он пишет Жуковскому, «живут теперь Шиллер, Гёте, Виланд, Гердер: тамошний герцог им покровительствует».

Андрей прислал Жуковскому свои стихи. Жуковского они поражали — совершенством слога, мрачной силой мысли.

Свободы ты постиг блаженство,
Но цепи на тебе гремят;
Любви постигнул совершенства
И пьешь с любовью вместе яд.
И ты терзаешься тоскою,
Когда другого в гроб кладешь!
Лей слезы над самим собою,
Рыдай, рыдай, что ты живешь!

«Это будет великий поэт, — думал Жуковский. — Ему открылось что-то такое, что еще никому не ведомо». В июле 1802 года в очередной книжке карамзинского «Вестника Европы» обнаружил он новое произведение своего друга под названием «Элегия». Карамзин сопроводил ее примечанием: «Это сочинение молодого человека с удовольствием помещаю в «Вестнике». Он имеет вкус и знает, что такое пиитический слог». Чудесно преображен был в стихотворении дух Юнга и Грея, — это был совсем не перевод и не подражание, — это было оригинальное, собственное Тургенева сочинение. Жуковский сразу понял, что Тургенев вышел в новое поэтическое пространство, — меланхолию карамзинистов он преобразил в чувство трагическое, сильное.

Жуковский вспомнил, какими страстными и даже злыми слезами плакал Андрей, положив голову на руки, когда приходил он из московских трущоб домой... «Да, мы все — добрые! — восклицал он. — Но и самого доброго из нас пусть да грызет совесть». В «Элегии» — грозный — вселенский образ Осени, похожей па конец света. — «бурная осень», равнозначная разверстой Могиле, символу всепоглощающего Времени, беспристрастная жестокость Природы, обусловливающая равенство всех людей — равенство перед Смертью... Единственное *вечное* в человеке — любовь! Любовь заставляет сострадать — то есть создавать братство людей; любовь уничтожает зло; всякое горе она лишает его злобной силы:

И в самых горестях нас может утешать
Воспоминание минувших дней *блаженных!*

Все то доброе, что есть в жизни человека, пусть его бывает чаще всего и слишком мало, — перевешивает и побеждает злую стихию бытия, если оно *помнится с любовью*... Отсюда как презренна погоня за богатством, чинами, всякое тщеславие...

Жуковский нашел тут всю программу для нового перевода «Сельского кладбища» Грея. Собственно, его уже сложившаяся жизненная позиция полностью согласная с Андреевой, отразилась как в зеркале в его «Элегии». Можно было бы и не повторять Андрея в новом переводе, но Жуковский чувствовал, что Андрей не до конца сделал начатое: его произведение разбросанно, хаотично (как и первая попытка перевода «Сельского кладбища»...), не отточено в стиле. Надо бы показать, какова в своей форме должна быть *русская элегия,* прояснив все возможности, заложенные в «Элегии» Тургенева... Философски ясное и простое — счастливо найденное — содержание «Элегии, написанной на сельском кладбище» Томаса Грея дает прекрасную схему для развития всех нужных идей. Правда, у Грея слишком много конкретных примет бытия, чем он невольно приземляет общую мысль (вроде *крытого соломой сарая*), а читателя нужно *поднимать* — устремлять к небесам на крыльях *чувства*... Кроме того, стих должен звучать напевно, как музыка Гайдна, а не отрывисто — подобно английской речи Грея и его «героическому» английскому стиху, пятистопному ямбу. Стих «Элегии» Тургенева — александрийский, то есть французский (давно уже и для русских привычный) шестистопный ямб, — как раз напевен, и его можно сделать еще более плавным, если соблюсти в каждой строке цезуру и обратить внимание на столкновение звуков, на самую музыку слов...

Собственно, задумывался опыт. Жуковский хотел сделать этот перевод для Андрея Тургенева (ему он и посвятит его), вступая с ним в общую работу. Его «Элегию» и свой новый перевод он представлял себе как бы единым произведением. Бурность, дисгармоническая резкость, мрачная сила одной должны быть уравновешены стройностью, мелодичностью, подобной пению небесных сфер, меланхолией другого.

На холме, между парком и Васьковой горой, Жуковский часто сидел с книгой или просто так, размышляя. Ему здесь так было хорошо, что он решил построить на этом месте беседку для работы. Он сделал чертеж, и два плотника соорудили нехитрое здание: подсыпали повыше

холм, утрамбовали землю, ошкурили несколько сосновых бревен, изготовили свежей осиновой дранки на крышу. Чудесно пахла эта беседка, и как весело было в ней, когда пришли сюда на «новоселье» все шесть девиц Юшковых и Вельяминовых и Екатерина Афанасьевна с Машей и Сашей! Они нарвали цветов на широких валах городища и увили ими всю беседку, и на столик, где Жуковский собирался писать, насыпали цветов...

Высокий, худой, в белой рубашке с большим воротником, с черными, длинными — почти до плеч — волосами, темноглазый и загорелый, Жуковский каждое утро приходил сюда, неся под мышкой несколько книг и тетрадей. Он прижимал страницы от ветра гладким речным камнем и смотрел вокруг, словно шкипер с корабельной палубы. Слева тянулся вверх к усадьбе парк. Внизу белела глинистая дорога. За церковью пруд блестел под ивами. За большим лугом раскинулись домики деревни Фатьяново по берегам затененной ивняком Выры. Далее круто вверх поднимается поле: там — полосы посевов, рощи. За этим полем скрыт Белёв, часть которого — как раз золотые главы монастыря над Окой — выглядывает справа. Наглядевшись, Жуковский начинал работать. Налетит ветер, спутает ему длинные волосы, он нетерпеливо откинет их назад и снова за карандаш. А то выйдет из беседки и задумчиво ходит по городищу, срывая травинки. Кричат петухи, слышится мычание коров и далекий звук пастушеской жалейки. Недвижно стоят легкие облака. На Болховской дороге тарахтит экипаж — в клубах пыли скачут не то четыре, не то шесть лошадей... Распевают дрозды в роще у Васьковой горы... На одном из столбиков беседки Жуковский начертал карандашом: «Всякий пишущий человек может писать что ему угодно, только надобно садиться за работу с упрямой, твердой решимостью работать во что бы то ни стало!» — и поставил подпись: «Доктор Сэмюэл Джонсон». Это были слова одного из величайших тружеников в литературе — английского писателя и лексикографа.

Весь август Жуковский отдал «Элегии, написанной на сельском кладбище» Грея. Думая над ней, он ходил по лесу, «под кровом черных сосн и вязов наклоненных» слушал «ранней ласточки на кровле щебетанье», смотрел, как в поле «серпы златую ниву жали»; сидел на берегу Оки, «под дремлющею ивой, поднявшей из земли косматый корень свой»... На сельском кладбище, где были похоронены его отец и сестра Варвара, он подолгу

стоял у бревенчатой часовни, слушая, как журчит на запруде речка Семьюнка. Стихи элегии пели в нем, мучая его сладким восторгом. Он приходил к целебному ключу за селом — там собирались крестьянки с коромыслами и деревянными ведрами. Над источником легкая часовенка с крутой крышей и крестиком. «Турчонок идет», — слышал он ласковые слова. Наклонив деревянную бадейку, он пил ключевую воду, благодарил. На улице села кланялся стодвадцатилетнему старику, который сидел — всегда в зимней шапке — на завалинке... Жуковский думал о тех крестьянах, которые из поколения в поколение пахали окрестные поля. Он всей душой был с ними:

Пускай рабы сует их жребий унижают,
Смеяся в слепоте полезным их трудам,
Пускай с холодностью презрения внимают
Таящимся во тьме убогого делам;

На всех ярится смерть — царя, любимца славы,
Всех ищет грозная... и некогда найдет;
Всемощныя судьбы незыблемы уставы:
И путь величия ко гробу нас ведет!

А вы, наперсники фортуны, ослепленны...

Все обитатели Мишенского знали, что он переводит Грееву элегию. Уже тогда они — это девицы Юшковы и Вельяминовы — прозвали беседку Жуковского «Греева элегия». И вот, уже к осени, когда в листве сильно запестрели желтые и красные цвета, Жуковский закончил перевод и прочитал его в беседке всем, кто захотел слушать. Слушали Анна и Авдотья Юшковы, обе будущие писательницы и верные друзья поэта, слушала Маша Протасова, еще не зная, что судьба щедро наградит ее и поэта общими радостями и общими страданиями... С восторгом и пониманием приняли все они, чтобы навеки сберечь в душе это проникновенное поэтическое поучение. Без сомнения, после этого слушания души их стали зрелее. Уже тогда ничего иного не хотелось им в жизни более как «в слезах признательных дела свои читать». Все они были скромные, правдивые, чистые натуры. С этого момента Жуковский стал для них духовным отцом и учителем. Здесь, в месте, где родился поэт, прозвучал его голос. Прозвучала Греева элегия. Об этой элегии он всегда потом говорил: «Первое мое стихотворение...» Она в том же году заняла в карамзинском «Вестнике Европы» семь страниц. Заголовок ее был таков:

«Сельское кладбище. Греева элегия, переведенная с английского (переводчик посвящает А. И. Т-у)».

Осенью Жуковский был в Москве. Надо было посетить пансион (он не забывал его), издателя Бекетова, Соковниных, Мерзлякова. Он побывал и у Ивана Петровича Тургенева, у которого, по совету Андрея, взял на прочтение новую книгу Шатобриана, только что присланную Андреем, «Гений христианства», на французском языке. «Я недавно изорвал слабое изображение любви своей к Отечеству, увидя те же самые чувства, но изображенные сильным пером в Шатобриане», — писал Андрей. Приятно ему было здесь получить письмо из Мишенского от Екатерины Афанасьевны, которая писала о Маше и Саше: «Дети тебя без памяти любят. Маша очень гордится, что ты уже ей даешь комиссии, и она себя считает от этого порядочным человеком. Собиралась к тебе писать, но я спешу и не дала ей... Журнал ее записывается порядочно, и она очень радуется, что ты его будешь читать». Большеглазая, полная тихой грации, добрая и робкая девочка... Открытая до дна души... Жуковский вдруг чего-то испугался, даже за сердце рукой схватился. Он понял, что каждое его слово (как и слово своей матери или бабушки...) Маша принимает как истину, святую истину... Он перебрал в памяти все, что говорил ей. Успокоился. Ему захотелось поскорее вернуться в Мишенское, чтобы прочесть ее журнал, то есть дневник... И об этом он написал Андрею. О том, что теперь уже насовсем едет в родные места.

«Ты, брат, едешь в деревню; нет, еще больше, ты едешь туда, где провел свое детство! Счастливая, завидная участь!» — отвечал Андрей. Мерзляков дал ему письмо Андрея, адресованное им обоим. Андрей мечтал хотя бы ненадолго поселиться с друзьями в деревне...

В конце января в Мишенском Жуковский написал стихотворение в честь собственного двадцатилетия — «К моей лире и к друзьям моим», обращенное главным образом к Андрею Тургеневу. Это был безнадежный призыв:

...Не нужны мне венцы вселенной,
Мне дорог ваш, друзья, венок!
На что чертог мне позлащенный?
Простой, укромный уголок,
В тени лесов уединенный,
Где бы свободно я дышал,
Всем милым сердцу окруженный,
И лирой дух свой услаждал, —

Вот все — я больше не желаю,
В душе моей цветет мой рай.
Я бурный мир сей презираю.
О лира, друг мой! утешай
Меня в моем уединеньи;
А вы, друзья мои, скорей,
Оставя свет сей треволненный,
Сберитесь к хижине моей...

Друзьям некогда было ехать к нему. Мерзляков готовился в университетские профессора и ночи проводил над книгами. «Житье с тобою конечно почитаю я выше, нежели житье с чинами и хлопотами, — отвечал Мерзляков, — но, друг мой, у меня есть отец и мать: они не могут быть довольны одним романическим моим житьем. Они давно уже спрашивают, имею ли я чин и состояние». Александр Тургенев учился в Геттингене. Андрей вернулся из Вены в Петербург и тянул служебную лямку. «Вчера писал до того, что спина и глаза заболели, — жаловался он Жуковскому. — Здесь, брат, не то, что в Москве: когда велят, то надобно делать». Стихи «К моей лире и друзьям моим» показались и ему и Свечиной слишком печальными. «Говорит Мария Николаевна, что ей жаль, что ты все грустишь, и стихи такие написал, из которых видно унылое и горестное твое расположение духа... Ты должен быть доволен состоянием своим; я сужу по твоему образу мыслей: свит укромный уголок да Руссо в руках; а у тебя все это есть... Перестань, брат, грустить». Жуковскому досадно стало: так ли надо понимать стихи? Так ли надо понимать его самого? Что же надо сказать Андрею, приславшему вот такие стихи:

Всех добрых дел твоих в заплату
Злодеи очернят тебя.
Врагу ты вверишься, как брату,
И в пропасть ввергнешь сам себя...

Не горесть, не уныние, не грусть, а *отчаяние* тут. Но Жуковский и не собирался спасать Андрея от такого отчаяния. Он восхищался. Если отчаяние рождает гениальные стихи — пусть оно вдребезги разбивает душу поэта... Жуковский вспомнил то состояние, которое целыми неделями не отпускало его во время работы над элегией. Если это и была меланхолия, то многоголосая, деятельная, отзывающаяся на каждый порыв ветра, как крылья птицы... Разве мог бы он быть бездеятельно-унылым? Столько в мире занятий, которых просит душа! Поэзия... Книги... Добрые дела... Вот что такое одиноче-

ство человека с дарованием! И тоска, сладкая, как небесная музыка, тоска, — это мечта о неизвестном, бог знает о чем...

В Мишенском Жуковский беседовал с Екатериной Афанасьевной о Карамзине. Карамзин в 1801 году женился на младшей сестре ее покойного мужа. Он был счастлив и иногда писал Екатерине Афанасьевне как родственнице краткие письма. В марте 1802-го у Карамзиных родилась дочь Софья. Но не прошло и месяца, как слабая здоровьем жена его скончалась, не оправившись от родов... Екатерина Афанасьевна была на похоронах. Она не раз ездила к Карамзину, который считал ее своим ангелом-утешителем. Ее отзывчивость и решительный характер, а также ее траурная одежда — знак ее братства с ним в горе, — помогли ему. *Отчаяние* не помешало ему трудиться для «Вестника Европы» — писать повести, стихи, доброжелательно напутствовать молодых гениев — Тургенева и Жуковского. В феврале 1803 года Екатерина Афанасьевна привезла из Москвы подаренный ей Карамзиным список его нового сочинения — рассуждения «О счастливейшем времени жизни».

Жуковский был поражен, как полно выразил Карамзин его, Жуковского, смутные представления о жизни! Карамзин называет ее «училищем терпения», где «живейшее чувство удовольствия имеет в себе какой-то недостаток; возможное на земле счастье, столь редкое, омрачается мыслью, что или мы оставим его, или оно оставит нас. Одним словом, везде и во всем окружают нас недостатки». Он указывает *возраст,* в котором человек может быть счастлив: «Как плод дерева, так и жизнь бывает всего сладостнее перед началом увядания... Сия истина доказывает мне благородство человека. Если бы умная нравственность была случайною принадлежностью существа нашего (как некоторые утверждали) и только следствием общественных связей, в которые мы зашли, уклонясь от путей натуры, — то она не могла бы своими удовольствиями заменять для нас живости и пылкости цветущих дней молодости; не только заменять их, но и непосредственно возвышать цену жизни: ибо человек за тридцать пять лет, без сомнения, не пылает уже так страстями, как юноша, а в самом деле может быть гораздо его счастливее... Дни цветущей юности и пылких желаний! Не могу жалеть о вас. Помню восторги, но помню и тоску свою; помню восторги, но не помню счастья: его не было... Но не в летах кипения страстей, а в

полном действии ума, в мирных трудах его, в тихих удовольствиях жизни единообразной, успокоенной, хотел бы я сказать солнцу: *остановись!* если бы в то же время мог сказать и мертвым: *востати из гроба*!» Карамзин этим рассуждением показал Жуковскому смысл бытия *человека с дарованием,* — он не призывал его к оптимизму, но убеждал, что в жизни много прекрасного *и без счастья.* Он не отнимал у него меланхолии, но давал ему силу для совершения своего пути... Это был толчок, задавший ритм всей жизни Жуковского.

Весной 1803 года Жуковский задумал съездить к Карамзину в Свирлово, где он жил на даче под Москвой. Долго не мог решиться, но ему помогла Екатерина Афанасьевна. «Вообразите, какое блаженство, и порадуйтесь вместе со мною, — писал он ей из Свирлова. — Его знакомство для меня — счастье, и верно мой добрый дух сказал вам, чтобы вы послали меня с письмом к нему: без того я бы к нему от своей глупой застенчивости не поехал». Карамзин встретил его ласково, говорил с ним откровенно, хотя и поучительно. Он был невысок ростом, черноглаз, в коротких волосах его начинала серебриться седина. В утренние часы оба они работали. Перед вечером шли гулять в Останкино, которое граф Шереметев только что великолепно обстроил. Они подходили к огромному пруду, осененному липами и вязами, садились на поваленное дерево. Карамзин снисходительно одобрил желание Жуковского *изучить все* — то есть всю мировую литературу, а потом приняться за какое-нибудь *важное,* то есть значительное, произведение...

— Однако, — сказал он, — не забывайте, что нет разницы между мелочными и важными делами. Делайте что и как можете, только любите добро и советуйтесь со своей совестью.

Карамзин рассказал Жуковскому, что он только что выдержал баталию с Прокоповичем-Антонским — Антонский был цензором «Вестника Европы» от университета, ему показалось, что повесть Карамзина «Марфа Посадница» — призыв к бунту, ни более ни менее; и он не пропустил ее.

— А я еще горяч, — сказал со смехом Карамзин. — Я поехал к куратору Коваленскому и объявил, что, если повесть будет запрещена, я не останусь в России. Тут поняли они, что будет скандал, а дело-то всего в двух-трех словах. И что же? Поменял я слово «вольность» на «свободу» и напечатал повесть.

На прощанье Карамзин пожелал ему «возвышаться душой» при любых неблагоприятных обстоятельствах. А они не замедлили явиться...

В середине июля Жуковский получил письмо от Ивана Петровича Тургенева. Предчувствуя недоброе, распечатал, выхватил взглядом из середины: «Занемог покойный от простуды... болезнь страшная и крутая... похитила ево у нас». Схватился обеими руками за голову, выронил письмо. Выскочил из флигеля в цветник, не помня, как письмо снова оказалось у него в руках. Побежал в парк... «Лечил лучший медик государев... А мой цвет увял в лучшую пору! Скосила его жестокая смерть!» — читал он дальше... Умер Андрей. Иван Петрович судорожно ищет себе утешения: «Он жив, жив любезный Андрей! Как ему быть мертву, когда ничто не умирает, а только изменяется. Природа то доказывает, разум утверждает... Что есть смерть? Переход от времени в вечность... Так, мой друг, все живет, ничто не умирает, а только изменяется и другой вид и образ приемлет... Как умереть Андрею? Как погаснуть его искре?.. Чем долее, тем пламя его будет чище».

До ночи бродил Жуковский по окрестностям усадьбы, вернулся, не помня себя от душевной муки. Если бы не побывал он у Карамзина незадолго перед тем... «Вот то отчаяние, которое как пламя обвивало его стихи! — думал он. — Это предчувствие! Как всякий гений, он чуял бездну, ожидающую его!» При первых проблесках утреннего солнца закончил Жуковский письмо к Ивану Петровичу. «Не думаю и не хочу утешать вас, — писал он. — Только нынче узнал я о своем нещастии. Что делать? Мое сердце разрывается, но горесть и слезы его не возвратят... Он так был достоин жизни! Теперь, признаюсь, жизнь для меня потеряла большую часть своей прелести: большая часть надежд моих исчезла. Мысль об нем была соединена в душе моей со всеми понятиями о щастии». Вскоре вылились из-под его пера три строфы короткой элегии «На смерть незабвенного человека», — он так и оставил их необработанными, безыскусными, но сильными по чувству, как вопль, вырвавшийся из могилы...

Сраженный несчастием, Иван Петрович Тургенев оставил службу и купил дом в Петроверигском переулке на Маросейке. Тяжело переживал утрату в Геттингене Александр Тургенев. Жуковский писал ему об Андрее: «Он был бы моим руководцем». Жуковский сообщил обо всем Мерзлякову в деревню. Тот примчался в Москву и

сразу явился к Ивану Петровичу. Потом писал Жуковскому: «Ивану Петровичу стало гораздо лучше... Он говорил со мною об Андрее очень трогательно, сказывал, что от тебя получил письмо... Ах, он умер очень тяжело... Он первоначально простудился, быв вымочен дождем. Пришедши домой, уснул в мокром мундире, которого поутру на другой день не могли уже снять. Этого мало: в полдень ел он мороженое и вдобавок не позвал к себе хорошего доктора с начала; после это уже было поздно; горячка с пятнами окончила жизнь такого человека, который должен был пережить всех нас».

Александр Тургенев, Мерзляков, Жуковский строили разные планы увековечения памяти Андрея: несколько лет обсуждали некий памятник, сделанный в нескольких экземплярах, который находился бы в кабинете у каждого из них. («Надобно, чтоб он был даже не мрачен, чтоб он возбуждал одни только сладкие чувствования», — писал Мерзляков Жуковскому.) Жуковский собирал сочинения и письма Андрея, чтоб издать их с биографией его и разными объяснениями. Это затянулось... Но он тотчас приписал посвящение Андрею к еще не оконченному «Вадиму Новгородскому» и отослал Карамзину. Это был плач о друге, поэма в прозе, реквием. «О ты, незабвенный! — восклицает он. — Ты, увядший в цвете лет, как увядает лилия, прелестная, благовонная! где следы твои в сем мире? Жизнь твоя улетела, как туман утренний, озлащенный сиянием солнца... Где мой товарищ на пути неизвестном? Где друг мой, с которым я шел рука в руку, без робости, без трепета... Все исчезло! Никогда, никогда не встретимся в сем мире... Я, несчастный, я разлученный с тобою в решительный час сей — не слыхал твоих стонов, не облегчил борения твоего с смертию; не зрел, как посыпалась земля на безвременный гроб твой и навеки тебя сокрыла!» Карамзин, печатая повесть в журнале, сопроводил посвящение примечанием: «Сия трогательная дань горестной дружбы принесена автором памяти Андрея Ивановича Тургенева, недавно умершего молодого человека редких достоинств».

Жуковский оставался в одиночестве. Дружба его с Александром Тургеневым, поостывшая было после пансиона, только начинала налаживаться в переписке. Смерть Андрея снова сблизила их. «Помнишь ли, брат, — писал Александр, — что я первый познакомил вас? Может быть, вы бы и никогда друг о друге не узнали,

если бы не я, если б наше пансионское товарищество не свело меня с тобою. Помнишь ли еще, брат, что уже с другого свидания вашего с ним вы уж узнали и полюбили друг друга?» Дружба с Мерзляковым, наоборот, разлаживалась. Андрей был для Мерзлякова тем же, что и для Жуковского. Но между Жуковским и Мерзляковым росла пропасть. Мерзляков, как писал Жуковский Тургеневу, «не был со мною таков, каким бы я желал его видеть; например, между нами не было искренности; если мы и говорили друг с другом, то вообще всегда говорили о посторонних материях. Одним словом, мне всегда казалось, что я мало для него значу, и от этого он мало имел на меня влияния... Он никогда мне не открывался даже в самых безделицах... Между нами не было ничего общего».

Зимой 1804 года Жуковский в Москве. В типографии Бекетова печатается первый том «Дон Кишота», нужно читать гранки. В январе он пишет стихотворное послание к Александру Тургеневу: «Увы! протек свинцовый год...» с намеренным отзвуком из «Элегии» Андрея: «Как хладной осени рука...» (в «Элегии» Тургенева: «Угрюмой Осени мертвящая рука...»). «Здравствуй, милый и бесценный друг Василий Андреевич! Ты в Москве и один, — пишет ему в феврале Александр. — Каково тебе было приехать туда, где ты живал с другом твоим, где ты в первый раз познакомился с ним и навеки расстался?.. Будь, мой милый друг, чаще с батюшкой и братьями. Напиши мне об них, как они переносят горе свое».

Наконец выпущен был первый том «Дон Кишота» — изящная книжка с гравюрами, — Жуковский переплел несколько экземпляров и отослал в Мишенское. Была в Москве свадьба Карамзина — он женился на побочной дочери князя Андрея Ивановича Вяземского — Екатерине Андреевне Колывановой. «Вестник Европы» он оставил. С помощью близкого ко двору Михаила Муравьева, поэта, теперешнего попечителя Московского университета (он жил в Петербурге), Карамзин добился звания *государственного историографа* и ежегодного пособия для работы над историей России. И хотя это пособие было в два раза меньше, чем доход, приносимый ему журналом, Карамзин был доволен: исполнилась мечта последних его лет! Тот же Муравьев помог ему получить разрешение брать на дом книги, рукописи и документы из всех монастырских библиотек, а главное — из архива Коллегии

иностранных дел. Много книг присылал ему из Петербурга сам Муравьев. Мусин-Пушкин, Бутурлин, Бантыш-Каменский и Бекетов предоставили в его распоряжение свои собственные богатейшие библиотеки. «Десять обществ, — писал Карамзин, — не сделают того, что сделает один человек, совершенно посвятивший себя историческим предметам». С начала 1804 года Карамзин жил в основном в имении Вяземских под Подольском — Остафьеве. Там он начал работу над первым томом капитальнейшей «Истории государства Российского».

Жуковский думал о Карамзине. Ему, как, впрочем, и многим писателям, ясно было, что он — отец нового русского слога. Он совершил почти невозможное. Конечно, говоря о том, что Карамзин приохотил всех пишущих к «мелочам», отвратил от эпоса, Андрей Тургенев не забывал о главном, о том, что Карамзин создал язык, в частности, и для него, для Тургенева. «Меланхолический» и созерцательно-размышляющий Карамзин очень решительно и совершенно сознательно взялся за тяжкий руль и — один! — повернул его... Пора было разделаться с теорией Ломоносова, с делением языка на «высокий» и «низкий» слог, с неуклюжестью «долго-протяжно-парящих» слов, с узостью мышления, затиснутого в классицистские формы... Он сразу же стал искать соратников. Он даже прямо раскрыл секрет своего искусства: «Русский кандидат авторства, недовольный книгами, должен закрыть их и слушать вокруг себя разговоры, чтобы совершеннее узнать язык. Тут новая беда: в лучших домах говорят у нас более по-французски... Что ж остается делать автору? *выдумывать, сочинять выражения;* угадывать *лучший выбор* слов; давать старым некоторый *новый смысл,* предлагать их в *новой связи,* но столь искусно, чтобы обмануть читателей и скрыть от них *необыкновенность выражений».* Каким надо было быть гением, чтобы уметь подвигнуть то, что должно развиваться как бы само собой, с течением времени! Общество и не заметило (с таким тактом работал Карамзин...), как *новый слог* захватил основные позиции... Новый мир понятий, ощущений, духовных потребностей, новые источники наслаждений высоких — в созерцании природы, в чтении, в размышлениях, в уединенной жизни... И когда подражатели его — большей частью неумелые, а лишь завистливые к его гению и славе, наводнили журналы и книги *ложночувствительными* и *псевдоевропеизированными* стихами и прозой, он не растерялся, а продолжал идти вперед: два года

«Вестника Европы» — карамзинский поворот в русской литературе. И вот начинается огромный труд, тот самый *эпос,* о котором мечтал Андрей Тургенев: «История государства Российского», — так и должно было быть — а вся свора сентиментальных пачкунов, словно огромный клуб пыли, взвилась и отстала от его повозки...

Но беда была в том, что противники «нового слога» считали его, Карамзина, зачинщиком всего этого бедлама манерности, слащавости, претенциозности, пристрастия к галлицизмам... Журналы наполнялись неуклюжими, рабскими переводами, авторы, как попугаи, повторяли друг друга, и неизбежно все это требовало *отпора.* Карамзин не взял этого на себя. Взяли его противники, поставив его самого в среду его собственных эпигонов...

Вернувшись в Мишенское, Жуковский прочел «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» Шишкова, изданное в Петербурге в 1803 году. Прочитав первые страницы книги, Жуковский даже несколько опешил: автор как при пожаре ударил в набат! Ему показалось, что могучий русский язык офранцужен, что вся литературная молодежь кинулась топтать родное свое, дедовское достояние, не замечая или не хотя замечать, что оно полно жизни! Пометки Жуковского на полях книги выражают искреннее недоумение: «Не сражается ли автор с ветряными мельницами?»; «Это как?»; «Сумбур!» Во-первых, Жуковский считал, что бороться с плохими авторами бесполезно — они и так обречены, во-вторых, он принял эту книгу как выпад главным образом против Карамзина. На предложение Шишкова — «для познания богатства, изобилия, силы и красоты языка своего нужно читать изданные на оном книги, а наипаче превосходными писателями сочиненные», — Жуковский отвечает (на полях книги): «Это очень хорошо — но что у нас образцами слога служить может? Русские книги можно и должно читать только для того, чтобы узнать язык русский. Но в них не научишься *употреблять* этот язык с искусством. Ибо искусству учат одни хорошие авторы, а у нас их нет — *я говорю о прозаиках.* Назовите хотя одно оригинальное русское сочинение в прозе, прежде Карамзина». К резюме Шишкова на эту тему — «Кратко сказать, чтение книг на природном языке есть единственный путь, ведущий во храм словесности» — Жуковский делает примечание: «Чтение одних хороших книг, *на каком бы языке ни были они написаны,* ведет в храм словесности». Он решительно встал на защиту Карамзина, сопроводив

шишковское обвинение *новомодных* русских писателей в подражательности замечанием: «Кто эти новомодные писатели? Карамзин не есть *новомодный*, а лучший русский прозаист. Он один писал у нас свое в прозе и так, как надобно».

Шишков рекомендует к чтению «русские» и «церковные» книги, сетует, что «вместо чтения своих книг («где они?» — пишет Жуковский) читаем французские», но что «Волтеры, Жан-Жаки, Корнелии, Расины, Мольеры не научат нас писать по-русски» («Согласен, но научат *мыслить»*, а «язык есть одно *орудие*, которого должно *непременно* искать в книгах *отечественных*», — замечает Жуковский).

Между тем он продолжал переводить «Дон Кишота».

Дон Кишот — этот сумасброд и «набитый дурак» прежних русских переводов романа Серванта, этот жалкий шут, дворянин, ставший паяцем, — через Флориана был понят Жуковским как герой, преисполненный добродетели. Уже несколько лет время от времени принимается Жуковский за этот перевод. Вот и теперь он сидит в своей беседке над ним. Дон Кишот всегда обманут действительностью, всегда избит и без сил, но при первом зове поруганной справедливости он опускает забрало и мчится в бой... Жуковский вносил в перевод много своего, то есть он не копировал Флориана, а старался угадать испанский подлинник. Дон Кишот вырастал в символ. Жуковский сознательно управляет в романе стихией комического. Он отвергает грубое осмеяние, издевательский смех. Читатель, смеясь, не должен терять уважения к герою... В прежних русских переводах «Дон Кишота» автор и действующие лица говорили одинаковой речью — это был язык докарамзинской, неразработанной прозы. В переводе Жуковского зазвучали живые голоса. Он искал всевозможных средств, чтобы свою прозу сделать еще объемнее, богаче, психологичнее. Жуковский в «Дон Кишоте» выступил блестящим мастером диалога. У Флориана — речь героев нейтральна по стилю. В противовес Флориану Жуковский стремился к краткости, к изобразительной яркости своего языка. Он умело вкраплял отзвуки речи одного персонажа в речь другого. Разнообразил ремарки («сказал», «подхватил», «воскликнул», «твердил», «загремел»...). Везде он сталкивает веселое и печальное, придавая комическому особенное очарование. Таким образом, Жуковский первый открыл русскому читателю великую идею, воплощенную в герое бессмертного

романа, первым дал не плоский, узко-дидактический, а художественный его перевод. Он читал готовые главы своим домашним, — и все с поразительным единодушием то смеялись, то плакали над злоключениями бедного идальго в корчмах и на дорогах. И никто не удивился, когда одиннадцатилетняя Маша Протасова задумчиво сказала, что Василий Андреевич сам почти совсем Дон Кишот — добр, беден и полон фантазий...

Вот и новая фантазия: перестроить дом, подаренный ему осенью 1797 года теткой Авдотьей Афанасьевной Алымовой. Он ветх, но стоит в Белёве на прекрасном месте — на высоком берегу Оки... Поселиться там с матушкой, с книгами, жить вблизи родных и друзей и работать, видя перед собой луга, поля, рощи, деревни... Загорелся, сделал расчеты — как будто можно *начать*! Поставить на фундамент; фасадом — на Оку... А там будет издан весь «Дон Кишот», можно и занять денег под будущие работы... И потом пошел к Марье Григорьевне и Елизавете Дементьевне. Ждал возражений, но — к его удивлению — их не было. Марья Григорьевна обещала всякую помощь, в том числе и плотников своих дать. Вскоре начались и работы. Написал Мерзлякову, призывая его посмотреть место своего будущего уединения. Тот отвечал: «Нынешний год загуляем к тебе с Воейковым... Дожидайся, брат. Нам не надобно твоего дома, если он не отстроен: мы проживем в палатке. Стихи твои будут нагревать сердца наши, а твоя ласковая, простая дружба украсит самые прекрасные виды, представляющиеся с крутого берега Оки, где строится твоя храмина».

В комнате Жуковского во флигеле, на столе — целые стопы книг. Тут Делилев перевод «Георгик» и «Энеиды» Вергилия, Делилева же поэма «Сады»; «Времена года» Томсона и «Времена года» Сен-Ламбера, стихи Клейста, идиллии Геснера... Этот выбор продиктован чтением Баланша: «Английским и немецким поэтам обычно прекрасно удавались описания природы: они создали много превосходных пасторалей. Кто не любит тихо предаваться грезам, навеваемым Геллертом, Виландом, Клейстом, Геснером! Кому не приносили восхитительного отдохновения картины сельской жизни, сменяющие друг друга в прекрасной поэме Томсона «Времена года»!»... И далее о французских авторах: «Кто лучше Делиля смог воссоздать ту форму, в которую отливали свои прекрасные стихи поэты века Людовика XIV? Кто тоньше Сен-Ламбера чувствует красоты природы?»

Рядом с Делилем и Сен-Ламбером — том «Новой Элоизы» Руссо (Балланш: «Я сделал выбор и предпочитаю Руссо, что бы вы ни сказали. Не говорите мне о его заблуждениях, он искупил их; не говорите о его мизантропии, мизантропом он был лишь оттого, что любил людей. Кто, обладая такой тонкой чувствительностью, как он, ожесточенный несчастьем, преследуемый лживыми друзьями, выдержал бы столько испытаний? О Руссо!»). Жуковский готовился к новым переводам. Мечтал он и о собственной «описательной» поэме, в которой вслед за Томсоном, Сен-Ламбером и Клейстом выразил бы он слияние своей души с природой, *свое* уединение... «Поэзия — очистительное пламя, — то подлинное бытие, которым живет в мире земном дух небесный!» — думал он. Его размышления о поэзии вылились в стихотворение, которое он так и назвал: «К Поэзии».

Чудесный дар богов!
О пламенных сердец веселье и любовь...

В дневнике он ставил себе самому вопрос: «Что ты разумеешь под словом: служить?» И отвечал: «Разумею действовать для пользы отечества и своей собственной, так, чтобы последняя была не противна первой». В стихотворении «К Поэзии» он обращается к «друзьям Феба»:

Да бедный труженик душою расцветет
От ваших песней благодатных!
Но да обрушится ваш гром
На сих жестоких и развратных,
Которые, в стыде, с возвышенным челом,
Невинность, доблести и честь поправ ногами,
Дерзают величать себя полубогами! —
Друзья небесных муз! пленимся ль суетой?
Презрев минутные успехи —
Ничтожный глас похвал, кимвальный звон пустой, —
Презревши роскоши утехи,
Пойдем великих по следам!..

Это и означало на языке Жуковского «служить» — быть полезным отечеству. Ему хотелось в своем уединении отыскать себе крупное дело. Он верил, что дело отыщется, надо только образовать себя. С одной стороны, ему хотелось засесть в новом своем доме над Окой — и учиться. С другой — поехать в Петербург, за границу (библиотеки, театры, общество, университеты, великие люди...). Осенью спохватился: «Пусть в Веймаре живут Гёте, Шиллер, Виланд! Но Карамзин! Этот великий человек живет

совсем рядом —в Москве». Ему страстно захотелось видеть Карамзина, спросить совета — что делать? Поехал в Москву, потом в Остафьево, Карамзин был там и дружелюбно его принял.

Карамзин работал над первым томом русской истории. Он похудел, стал сосредоточенным, немногословным. От него отошли почти все знакомые, так им сделалось скучно: Карамзин говорил единственно о русской истории и разучился вести приятные, но пустые светские разговоры. Его навещали только неизменные друзья — Иван Дмитриев, Василий Пушкин. А теперь и Жуковский. Кабинет Карамзина был во втором этаже: большое окно в парк, низкие книжные шкафы красного дерева, стол из некрашеных сосновых досок, второй стол в виде пюпитра — для чтения летописей и грамот, несколько жестких стульев. Карамзин вставал в восемь часов утра и до девяти в любую погоду гулял пешком или верхом, в девять завтракал вместе с семьей и потом работал в кабинете до четырех часов, не делая перерыва. Иногда работал и вечером. Ездил в подмосковные монастыри за старинными книгами и грамотами, в Москву... Все дивились: это был другой, новый, Карамзин! «Ах, как жаль, — думал Жуковский, — что Андрей Тургенев не дожил до этого! Теперь бы он не сказал, что Карамзин пишет только изящные мелочи. Ведь это он, именно он взялся за постройку грандиозного здания! Один!»

В первых числах января 1805 года Жуковский опять приехал в Москву — нужно было побывать у Бекетова, который начал печатать второй, третий и четвертый тома «Дон Кишота». В доме Юшковых, где он остановился, собралась почти вся семья — приехала и Марья Григорьевна Бунина. Только Елизавета Дементьевна и Екатерина Афанасьевна с детьми остались в Мишенском. Жуковский побывал у Прокоповича-Антонского. Инспектор гордился своим бывшим учеником, верил в его литературное будущее и советовал ему либо сделаться соиздателем Каченовского по «Вестнику Европы», в чем обещал содействие, либо отправиться в путешествие за границу, обещал дать на дорогу, в долг, три тысячи рублей.

В январе Жуковский был уже в Мишенском, так как одна из его многочисленных племянниц — Авдотья Петровна Юшкова — выходила замуж. Ее будущего мужа — Василия Ивановича Киреевского — Жуковский хорошо знал. Это был чудаковатый, но добрый человек, сосед по Мишенскому, секунд-майор в отставке, — его поместье

Долбино находилось в нескольких верстах от Белёва. Киреевский был до крайности независим, любил науки — он занимался химией (которую называл «божественной наукой»), медициной, философией, знал пять языков, в молодости занимался литературными переводами. В доме он старался все поставить на английский манер, но русская жизнь пробивалась во все щели. Свадьба была 13 января в Долбине. После праздничного обеда с вышколенными лакеями — катание в санях, с бубенцами, шумом, смехом — на селе крестьянские девушки встретили их русской величальной песней... Буквально на следующий день Жуковский получил письмо из Москвы от Александра Тургенева — он вернулся из Геттингена. Жуковский сразу помчался в Москву. 16 января он уже был у Тургеневых и слушал рассказы Александра о путешествии его с Андреем Кайсаровым по славянским землям, о Венеции и Триесте...

А в марте он вместе с Александром Тургеневым поехал в Петербург, как писал Тургенев одному приятелю: «Он прогуляться только едет, а я, бедный, на досаду и на поклоны».

В Петербурге Тургенев ездил с визитами к должностным лицам, а Жуковский — вольный человек — направился в канцелярию Зимнего дворца, испросил разрешения и был допущен в Ламотов павильон, то есть в Эрмитаж. Затем побывал в Академии художеств, где, к своему удивлению, встретил на выставке картин не только «чистую» публику, но и купцов, и даже крестьян, что порадовало его. Посетил он и богатейшую галерею графа Строганова в его дворце на Невском проспекте. С ним всюду ходил Дмитрий Блудов, остроумный, очень начитанный молодой человек, служащий Иностранной коллегии и родственник Державина. Проголодавшись, они забегали в кондитерскую Лареды на Невском, здесь они беседовали, читали «Петербургские ведомости», иностранные газеты.

Жуковский и Тургенев жили у Блудова в Московской части, неподалеку от Семеновских казарм, на Владимирской площади. Рядом были городские больницы, «смирительный дом», один из рынков. Это было место жительства мелких чиновников. Друзья обычно возвращались домой голодные. Слуга Блудова — Гаврила — по вечерам делился с ними тем, что варил для себя: щами и кашей, и с доброй улыбкой смотрел, как они, по его выражению, «убирают». Когда они шли в театр, Жуковский надевал

запасной фрак Блудова, так как свой у него совершенно износился.

В Петербурге повеяло на Жуковского Европой. Вольно дышалось у Невы. На стрелке Васильевского острова шли работы — ее досыпáли, одевали берега ее в гранит, делали причалы и съезды к воде. Тут заготавливали материалы для гигантского здания Биржи, которую начал строить Тома де Томон. Остров окружен был плывущими и стоящими на якоре кораблями. Жуковский любил смотреть на широкое пространство вод перед Зимним дворцом, на сады и сельские домики островов за Петропавловской крепостью... Петербург словно звал его в путешествие — пах морем, сверкал на солнце раздутыми парусами и мокрыми веслами...

Почти каждый вечер Жуковский ходил с Тургеневым и Блудовым в театр. Огромное впечатление произвела на него трагедия Владислава Озерова «Эдип в Афинах», поставленная с декорациями Пьетро Гонзаги и костюмами по рисункам Алексея Оленина. Антигона — Семенова, Шушерин в роли Эдипа были великолепны. Пьеса была написана превосходными стихами... Блудов повел Жуковского за кулисы и там разыскал Озерова — скромного и грустного человека в мундире министерства финансов, с как бы удивленно поднятыми тонкими бровями. Так Жуковский познакомился с талантливейшим русским поэтом-драматургом.

В апреле Жуковский, вернувшийся в Москву из Петербурга, получил письмо от Елизаветы Дементьевны. Она советовала ему ехать в Мишенское вместе с Марьей Григорьевной, рассказывала о том, как продвигается перестройка их дома в Белёве, — собственно, дом был готов, но еще не отделан, а строилась «изба людская» для дворовых. «Я тебе, мой друг, — писала она, — советую в Москве купить задвижки для растворчатых окон и также крючки, чтобы рамы не бились». Оба они, и сын и мать, мечтали жить вместе, независимо от Буниных, в своем доме... «Желания твои о моем щастии, — писала Елизавета Дементьевна, — чрезвычайно меня тронули. Конечно, мой друг, я с тобою надеюсь быть щастлива и спокойна; любовь твоя и почтение право одни могут сделать меня благополучной. А во мне ты напрасно сумневаешься, я очень чувствую, какого имею сына, и если когда с тобою бранюсь, то право, это от лишних хлопот. А когда даст Бог мы будем жить в своем домике, то ты можешь быть уверен в моем снисхождении и доверенности; уви-

дишь, что у тебя есть добрая мать, которая только твоего щастия и желает».

В мае Жуковский вернулся в Мишенское. С холма, на котором находилась усадьба, давно уже сошел снег. В парке веяло свежестью. На холодном ветру качались высокие ели, в ветвях толстых вязов чернели гнезда, — грачи с шумом толклись над деревьями. Жуковский распахивал окна в своей комнате — ему хотелось охватить этот весенний мир душой, описать его в стихах, в поэме, создать портрет русской природы — наподобие «Времен года» Томсона, подражая также Клейсту, Сен-Ламберу и Делилю. Уже пахари потянулись спозаранку на поля, вре́зались в землю острыми носами «андре́вны» — сохи, замахали гривами сивки-трудяги... Ожили тихие белёвские поля. Засияла река быстрыми струями. Жуковский шел в сапогах по влажной дороге. Прислонившись на лугу спиной к сухому стогу, наслаждался тишиной, вспоминал стихи Карамзина:

Ламберта, Томсона читая,
С рисунком подлинник сличая,
Я мир сей лучшим нахожу...

В черновике появился конспект будущего сочинения — полупереводного, полуоригинального: «Приступ: утро; пришествие весны; весна все оживляет; разрушение и жизнь — Андрей Тургенев... краткость его жизни, гроб его. Надежда пережить себя... Главные черты весенней природы (из Клейста); жизнь поселянина (из Клейста); цена неизвестной и спокойной жизни; уединение... обращение к себе, к Карамзину; лес; черемуха; ручей; птицы; гнезда; конь... Озеро, рыбак. Первый дождь». Начал поэму так:

Пришла весна! Разрушив лед, река
Прибрежный лес в волнах изобразила;
Шумят струи, кипя вкруг челнока...

В другой тетради он составлял список того, что ему хотелось сочинить и перевести. Он собирался написать несколько повестей («Марьина роща», что-нибудь из американской жизни в подражание «Атала» и «Рене» Шатобриана), биографии великих людей (Руссо, Лафонтена, Стерна, Фенелона), разные статьи («О садоводстве», «О счастии земледельца», «О вкусе и гении»), романсы, оды, послания. Ему хотелось перевести столько, что на это потребовалась бы целая жизнь, — «Мессиаду» Клоп-

штока и «Потерянный рай» и «Возвращенный рай» Мильтона, «Оберона» Виланда, «Освобожденный Иерусалим» Тассо, отрывки из Гомера, Вергилия, Овидия и т. д. В этом списке были еще «Дон Карлос» Шиллера, стихи Горация и Анакреона, Буало и Вольтера.

Но Жуковский не только мечтал, он и действительно принялся за переводы. Он завел две тетради: «Примеры слога, выбранные из лучших французских прозаических писателей и переведенные на русский язык Василием Жуковским», и «Избранные сочинения Жан-Жака Руссо». Обе тетради — особенно первая — быстро начали заполняться переводами. Составлен был и план чтения. Были заведены тетради: «Роспись во всяком роде лучших книг и сочинений, из которых большей части должно сделать экстракты»; «Для собственных замечаний во время чтения, для записки всего, что встречается достойного примечания; для разных мыслей»; «Для выписывания разных пассажей из читаемых авторов»; «Для отдельных моральных изречений». По большому каталогу петербургского книгопродавца Вейтбрехта Жуковский намечал, что заказать в его магазине. Список получился грандиозным, — он рассчитывал с течением времени значительно дополнить свою библиотеку по разделам истории, естествознания, логики, эстетики, грамматики, риторики, критики, педагогики, политики, юриспруденции, физики, медицины, географии, экономики.

«Я нынче, то есть нынешнее лето, — писал Жуковский Александру Тургеневу, — больше себя чувствовал и открыл в себе больше способности — или не знаю чего — быть человеком как надобно... Я воображаю вдали какую-то счастливую участь, которой ожидание волнует мою кровь. Для чего же и жить, как не для усовершенствования своего духа всем тем, что есть высокого и великого?» Свой дневник Жуковский пытался превратить в орудие самопознания: «Каков я? Что во мне хорошего? Что худого? Что сделано обстоятельствами? Что природного? Что можно приобресть и как? Что должно исправить и как?.. Какое счастие мне возможно по моему характеру? Вот вопросы, на решение которых должно употребить несколько времени. Они будут решаемы мало-помалу, во все продолжение моего журнала».

Был намечен «план жизни», во многом продиктованный жизнью Карамзина: «Путешествовать 3 года с половины 1806-го до половины 1809-го года. Возвратясь, начать выдавать журнал; продолжать это издание четыре

года... Потом приняться за какую-нибудь важную работу, которая бы принесла пользу и сделала бы меня более известным в литературе». Изданием журнала Жуковский намеревался скопить такую сумму денег, которая, если положить ее в банк, дала бы ежегодный доход, достаточный для скромной, но *свободной* жизни: «Хочу спокойной, невинной жизни. Желаю не нуждаться. Желаю, чтобы я и матушка были не несчастны... Проведя три года в путешествии, в свободе самой неограниченной, возвращусь домой, начну трудиться, трудом получать свое пропитание и вместе удовольствие; чтение, садоводство и — если бы дал Бог — общество верного друга или верной жены будут моим отдохновением».

Ему казалось, что путешествие необходимо: «Одним из лучших следствий моего вояжа должно быть преобразование моего характера»; «Сколько путешествие будет иметь на меня влияния! Как мысли мои разовьются и распространятся!» Он хочет стать подлинно *чувствительным* человеком, так определяя это качество души: «Натуральное чувство служит вместо размышления... Быстрота, ясность ума, которых действие однако ж противно действию простого, методического размышления, живее, сильнее и прочнее». Он уже и был им. И эта *чувствительность* сделает его одним из ближайших «друзей Феба». Тем не менее в нем всегда будет стремление поверить себя «методическими размышлениями», — интерес к чтению философских книг в нем будет жить постоянно. Это двойное мышление, два способа постижения мира, рациональное и интуитивное, но больше все-таки второе, сольются в его сознании в собственную, неуловимо-личную философию.

Он читает Гольбаха, Гельвеция, Кондильяка, философов-материалистов XVIII века. Их механистические теории происхождения Вселенной и человека отталкивали его, казались ему бездушными. Но он находил много интересного для себя у Кондильяка в «Трактате об ощущениях», и особенно — у Шарля Бонне́ (в двухтомном «Созерцании природы»), — о влиянии окружающего мира на формирование души человека, о человеке как «зеркале природы». Как Бонне и Руссо (и как последователь их — Карамзин), Жуковский считал человека творением «великого Существа», и творением *нравственно-свободным*, которое вольно направлять свою деятельность к добру или ко злу. Отсюда вытекала возможность внутреннего совершенствования человека, ответственность его перед собой и людьми. Для счастья *здесь* — нужны друзья,

родные... И вот Жуковский в память Андрея Тургенева («Моя с ним дружба была только зародыш...») начинает растить и пестовать в себе дружеское чувство к его брату Александру. Он начинает настойчиво объяснять ему — *какими* друзьями они должны быть. «Надобно... увериться, — пишет он ему, — что мы не простые друзья, не такие, которым только приятно встречаться, быть вместе, но такие, которым нужно быть друзьями, на которых дружба имеет то же влияние, которое должна иметь религия на всякую благородную душу, то есть самое благодетельное, святое, оживляющее, ободрительное... Дружба есть добродетель».

В один из хмурых осенних дней Жуковский горько раздумался о своем положении в семье, о своем одиночестве, о матери. «Одиночество, — пишет он в дневнике, — совершенный недостаток в приятных связях... совершенное бессилие души, ненадеянность на самого себя — вот что меня теперь мучит... Я не был счастлив в моей жизни... Не имея своего семейства, в котором бы я что-нибудь значил, я видел вокруг себя людей мне коротко знакомых, потому что я был перед ними выращен, но не видел родных, мне принадлежащих по праву... Я не был оставлен, брошен, имел угол, но не был любим никем... Это сделало меня холодным... Я так не привык к тому, чтобы меня любили, что всякий знак любви кого-нибудь ко мне кажется мне странным и чем-то необыкновенным». Мрачные краски здесь сгущены (не так он был одинок; были и в семье люди, искренне любившие его, — Марья Григорьевна Бунина, Варвара Петровна Юшкова, Екатерина Афанасьевна Протасова, Андрей Григорьевич Жуковский, не говоря уж о Елизавете Дементьевне...), но в самом деле была в его положении печальная странность, — отец его — вроде бы не отец ему, а мать жмется в сторонке, не смея громко сказать — по своей бедности — о материнских правах. И вот он делает попытку упорядочить свое положение — строит дом для себя и для матери, чтоб была семья...

Семья! Совсем бы хорошо, если бы дал бог найти верную жену... И так же, как стал он искать, а потом воспитывать *друга,* — начал Жуковский *создавать* — поначалу в своем воображении — себе жену. Он не мирился с тем, что ему судьбой чего-то важного не дано. По природе своей *творец,* он начал действовать. Он давал уроки девочкам Екатерины Афанасьевны — Маше и Саше. Осенью он каждое утро приходил к ним (дом их в Белё-

ве стоял на Крутиковой улице, вблизи того берега Оки, где строился дом Жуковского). Екатерина Афанасьевна попросила его заниматься с ними чем он хочет — литературой, историей, языками (математикой с ними занимался некто Иван Никифорович Гринёв). Жуковский стал разрабатывать планы занятий, увлекся этим, и уроки его стали необыкновенно интересны для девочек. Он читал с ними также доступные им описания природы из Бюффона, Штурма и Бонне, гулял с ними в окрестностях Белёва и Мишенского, — собирал гербарий, поднимал их перед рассветом, чтобы любоваться восходом солнца. Он читал с ними то, что любил сам, — Руссо, Сен-Пьера, Жанлис.

Во время чтения и бесед он постоянно убеждал девочек, как хорошо быть человеку чувствительным и добрым и что надо быть скромными, нетребовательными и т. п. Он брал с собой на прогулки альбом и делал зарисовки: тонкими, легкими штрихами быстро набрасывал пейзажи, фигуры крестьян, к удовольствию детей — их портреты. Увлеклись рисованием и девочки: Маша старалась, и неудачи не охлаждали ее интереса к карандашу и бумаге. Зато Саша оказалась способной рисовальщицей. Екатерина Афанасьевна присутствовала почти на всех уроках, но она часто раздражалась на дочерей и доводила их до слез, особенно Машу, у которой был менее ровный, чем у Саши, почерк. Однажды Жуковский в своем дневнике сделал для нее запись и дал ей прочесть. «Тяжело и несносно смотреть, — писал он, — на то, что Машенька беспрестанно плачет; и от кого же? От вас, своей матери! Вы ее любите, в этом я не сомневаюсь. Но я не понимаю любви вашей, которая мучит и терзает. Обыкновенно брань за безделицу... Но какая ж брань? Самая тяжелая и чувствительная! Вы хотите отучить ее от слез; сперва отучитесь от брани».

Маша и Саша были влюблены в своего умного и доброго учителя. Они приходили в новый дом Жуковского, который уже отделывали изнутри. Поднимались на второй этаж — в кабинет, еще не обставленный, но светлый, пахнущий свежим деревом, и робкая Маша тут оживала, обо всем расспрашивала. Ей нравилось смотреть из окна за Оку, ее большие грустные глаза освещались тихой радостью. Нет, она не была красивой, но редко можно было встретить такое милое лицо. У нее влечение ко всему доброму было врожденным. Жуковский чувствовал, что его уроки, его беседы, да и сам он со всеми своими склон-

ностями и талантами, — все стало самой живой частью ее жизни. Ее душа тянулась к его душе почти безотчетно, словно по какому-то таинственному внушению... Он понял, что она возьмет все, что он ей даст.

Он стал также замечать, что скучает без нее... Однажды Протасова с детьми уехала к родственникам мужа в село Троицкое, в Орловскую губернию. «Что со мною происходит? Грусть, волнение в душе, какое-то неизвестное чувство, какое-то неясное желание! — пишет Жуковский в дневнике. — Можно ли быть влюбленным в ребенка? Но в душе моей сделалась перемена в рассуждении ее! Третий день грустен, уныл. От чего? Оттого, что она уехала! Ребенок! *Но я себе ее представляю в будущем,* в то время, когда возвращусь из путешествия, в большем совершенстве!.. Это чувство родилось вдруг... Я им наполнен, оно заставляет меня мечтать, *воображать будущее*... Я был бы с нею счастлив конечно!» И тут возникла неотступная мечта, которая (Жуковский не сразу, далеко не сразу понял это!) будет разделена им с Машей и прочертит им в жизни прекрасный, но трагический путь... «Она умна, чувствительна, она узнала бы цену семейственного счастия и не захотела бы светской рассеянности... Моя первейшая цель есть наслаждение семейственною жизнью... Я был бы счастлив *дома,* с моею женою». И он уже стал думать, как он будет воспитывать не только жену, но и себя («Мне кажется, что я ревнив, — это есть следствие подозрительности в характере, эгоизма... Как же отучить себя от ревности?.. Думаю не иным чем отучить, как *размышлением*»).

Кончились последние работы в доме. Жуковский начал устраивать в кабинете шкафы для книг. Елизавета Дементьевна в непривычном для нее качестве барыни, но умело, как бывшая домоправительница Буниных, приводила все в жилой вид. Не о том ли мечтал Жуковский — своя семья, дом... И вот он пишет в дневнике: «Общество матушки, по несчастию, не может меня делать счастливым: я не таков с нею, каков должен быть сын с матерью; это самое меня мучит, и мне кажется, я люблю ее гораздо больше заочно, нежели вблизи». Она, конечно, свободный человек. Что до бедности — прожить все же можно. Но характер ее, вся натура ее сломана, смята жизнью. Она стала приживалкой, скучной приживалкой при старой барыне — Марье Григорьевне Буниной! Да и как ее обвинять! Вот уж сколько лет — ни барыня, ни приживалка не могут жить друг без друга: так

рядышком и сидят с рукоделием... Вот обставит Елизавета Дементьевна дом, поживет день-другой и опять к барыне. А дом-то зачем? Елизавета Дементьевна думает, что он сыну необходим (да еще мечта была — деревеньку для него купить на сбережения...); Жуковский, хотя и мечтавший об «уединенной хижине», о семье, — думал, что вот, мол, будет собственный уголок у его матери (сам-то он ведь собрался ехать за границу, а потом журнал издавать года три-четыре, всего — шесть или семь лет, — а для журнала нужно в Москве жить)... Что-то не очень складно получалось с домом, да и со всем прочим...

Силой воли заставлял он себя собраться, сосредоточиться и работать. Искал себе новых и новых дел. Так, той же осенью 1805 года, задумал он издать «Собрание русских стихотворений» в нескольких томах. Стал собирать для него сочинения — перечитывать русских поэтов, копаться в журналах. Обратился с просьбами о стихах к Дмитриеву, Мерзлякову, Василию Пушкину.

В декабре состоялся переезд Жуковского в свой дом. Радость, как это часто случается, соединилась с горем: умер Петр Николаевич Юшков... Все обитатели Мишенского поселились на эту зиму у Жуковского в Белёве, — рядом были Протасовы, и никакого «уединения» не получилось. Наоборот, было людно, шумно...

Зима. Жуковский сидит в своем кабинете, на столе — горы книг, на стене — привычные, любимые гравюры. Внизу кто-то играет на фортепьяно. За окном со скрипом проезжает заиндевелый возок... Вспомнив, что он давно не писал стихов, Жуковский стал перебирать наброски. Нашел список поэмы Оливера Голдсмита «Опустевшая деревня», на английском языке, — когда-то Андрей Тургенев прислал это из Вены. За три дня Жуковский перевел сто три стиха из четырехсот тридцати, сделал множество поправок и бросил. Но все же дал Сандрóчку — Сашеньке Протасовой, — она уже много его стихотворений переписала к себе в альбом... И все-таки, и все-таки есть что-то утешительное, близкое сердцу в словах «свой дом», в этих морозных узорах на стекле большого окна с полукруглым верхом...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

(1806—1807)

Александр Тургенев уехал в Петербург, где поступил в канцелярию товарища министра юстиции Новосильцева, который не слишком угнетал его службой. Тургенев был молод. Он делал попытки жить весело и рассеянно, разъезжая с одного бала на другой, но скоро понял, что на блестящих светских собраниях друзей не ищут, и душа его потянулась в далекий маленький Белёв, к Жуковскому. Он стал жаловаться ему на свое петербургское одиночество, с печалью вспоминал брата Андрея, смерть которого едва имел силы пережить, просил Жуковского быть ему другом на всю жизнь.

«Ты меня душевно тронул, — отвечал ему Жуковский 8 января 1806 года, — тронул тем, что мне захотел поверить свои чувства; это доказывает, что я тебе нужен и что ты точно хочешь любить меня... Одним словом, нам надобно быть друзьями, товарищами в этой бедной жизни, в которой ничто не радует, по крайней мере не радует продолжительно; одна мысль будет меня всегда восхищать, мысль о таком человеке, как ты, которого дружба должна быть для меня светильником». И дальше Жуковский говорит об Андрее: «Всякий раз, когда вспомню о брате, то живее чувствую цену его и потерю. Что бы он был для меня теперь! Кажется, мне теперь жаль его больше, нежели тогда, когда мы его лишились... Дружба его, как она ни была коротка и как я ни был ничтожен в то время, когда его знал, оставила что-то неизгладимое в душе моей: весь энтузиазм к доброму, все благородное, что имею, все, все лучшее во мне должно принадлежать ему. Мне кажется, всякий раз, когда об нем вспомню, стал бы на колена, для чего — не знаю...»

Оба они, Александр Тургенев и Жуковский, как бы искали друг в друге замену Андрею, вернее — они ставили между собой память об Андрее как некую идею своей дружбы. «Нам надобно помогать друг другу, — призывает Александра Жуковский, — оживлять друг друга делами и мыслями. Бывают такие минуты, в кото-

рые жизнь кажется чем-то пустым, в которые самое добро кажется ничтожным, ничего не хочешь, ничего не почитаешь нужным и важным; такие состояния души часто очень долго продолжаются; надобно, чтобы какая-нибудь неожиданность их уничтожила, и в такие-то минуты всего нужнее дружеская подпора». Жуковский рассказывает о своих депрессивных состояниях: «Иногда не вижу перед собою ничего, все задернуто каким-то густым туманом, сидел бы поджавши руки и закрыв глаза, больше ничего!» Рисует свои ближайшие планы, сам, вероятно, плохо веря в них: «В конце лета располагаюсь ехать. Думаю, вместо вояжа и переезда из места в место, остаться в каком-нибудь университете, и именно в Иене... Мне описывал это место один немец, который учился в Иене и который хочет мне дать рекомендательные письма... С тремя тысячами, которые дает мне Антонский, могу прожить без нужды довольно времени в Иене... Путешествие должно положить основание всей моей будущей жизни». Жуковский просит Тургенева сообщить ему «о своем плане жизни». В конце письма возникают мечты о новом дружеском обществе («Нам надобно составить отдельное общество. Но после, после!»).

В январе Жуковский перевел «Гимн» — заключительную часть «Времен года» Томсона — и вписал его в альбом Маши Протасовой. Вслед за этим сделал несколько попыток что-нибудь переводить. Перевел начало баллады Бюргера «Ленардо и Бландина», дальше не пошло. Перевел с английского семьдесят два стиха из трехсот шестидесяти шести «Послания Элоизы к Абеляру» Александра По́па. Начал делать гекзаметром пересказ второй песни «Мессиады» Клопштока и оставил. Выбрал из «Декамерона» одну новеллу — «Сокол» — и решил переложить ее в стихи, но застрял на третьей строке... Задумал стихотворную сказку, начертал название — «Бальзора», сочинил восемь строк и тоже бросил... Наконец начал русскую идиллию о крестьянине Тите, жителе села Мишенского:

Назад тому с десяток лет,
Как жил у нас в краю, спокойно и смиренно,
Тит — добрый человек, ближайший наш сосед...

И это не закончил... Принялся за перевод шестой элегии Парни, увлекся, сделал уже половину работы, но вдруг раскрыл новую книжку «Вестника Европы», а

там — та же элегия в переводе Мерзлякова, и отличный перевод! Бросил свой...

Все валилось из рук... Между тем собирал разные стихи для своей многотомной хрестоматии русской поэзии. В феврале 1806 года читал на немецком языке «Поэтику» Иоганна Эшенбурга, одного из теоретиков классицизма (которого позднее будет усиленно пропагандировать Мерзляков). Из Эшенбурга Жуковский переводил отрывки, но иногда излагал свои соображения, которыми он был (как он записал тут же) «по большей части одолжен некоторым лучшим французским и немецким писателям». «Действовать на воображение, говорить чувствам, — пишет он, — есть цель поэзии. Она употребляет язык не обыкновенный, или, лучше сказать, сама составляет свой собственный язык, отличный от простого, данного природою человеку, смелый, выразительный, сладостный, имеющий особенную гармонию, особенный каданс или размер, соединяющий приятность музыки с важностью простого, натурального голоса... Поэзия должна увеселять и животворить фантазию, занимать и возвеличивать ум, трогать, смягчать и делать благороднее сердце! Вот главный и возвышенный предмет ее».

Зимой 1806 года увлекся Жуковский «Лекциями по риторике» Хью Блера, приверженца классицистской «теории подражания», ученика знаменитого лексикографа Джонсона, и начал их читать по-английски. Вместе с ними читал он «Критическую диссертацию о поэмах Оссиана» Блера, приложенную ко второму тому поэм Оссиана, изданных в Лондоне. Из этих книг он делал выписки в тетрадь с заглавием «Замечания во время чтения». Жуковский полностью принимает важнейшее положение классицизма о нравственном воздействии поэзии на читателя («Оселок всякого произведения, — пишет он себе, — есть его действие на душу: когда оно возвышает душу и располагает ее к новому прекрасному, то оно превосходно»), но не соглашается с классицистскими представлениями о процессе творчества. У классициста Блера своеобразная позиция. Он не считает поэта иллюстратором моральных идей («Поэт не садится, подобно философу, за создание плана морального трактата»), но все-таки первым толчком к работе над произведением считает возникновение идеи, определенной темы, — при этом поэт заранее заботится о том действии, которое он хочет произвести на читателя. За-

мечание Жуковского по этому поводу чисто романтического свойства: «Поэт не имеет в виду ничего другого, когда пишет, кроме собственного своего наслаждения, которое хочет передать другим... Он творит, а *творить* есть действовать самым сладостным образом, но он творит не для одного себя, и это желание восхищать других своими творениями дает ему силы превозмогать все трудности... иначе он мог бы остаться с одними привлекательными призраками своего воображения. *Поэт пишет не по должности, а по вдохновению.* Он изображает то, что сильно на него действует, и если его воображение не омрачено развратностью чувства, если его картины сходны с натурою, то непременно с ним должно соединено быть что-нибудь моральное».

1 марта проводил он Екатерину Афанасьевну с Машей и Сашей в Троицкое. Они уехали на три месяца. «Что мне делать в эти три месяца, — записал Жуковский в дневнике, — которые проживу один совершенно?» Затосковал, потерял уверенность в себе. Снова захотелось переделать, перевоспитать себя: «Надобно хорошенько обратить глаза на самого себя... Подумать о будущем и настоящем»... Вспомнил, что этой зимой как-то мало было искренности в его отношениях к Екатерине Афанасьевне. Она хотела быть ему другом, но тон брала слишком наставительный. Она обвиняла его в лености. Он и сам знал свое больное место — вот он все учится, читает, все топчется на одном месте, а пора бы и за большое дело приняться! «Поезжай в Петербург», — говорила она. «Не готов я еще», — отвечал он. В глубине души чувствовал, что не нужен ему Петербург. Самому себе не мог признаться в тайном нежелании ехать за границу. Он еще ничего не решил, хоть и строил в письмах и дневнике именно *решительные* планы...

«Маша уехала», — время от времени вспоминал он, со скукой оглядывая стены комнат своего дома. И вдруг решил продать его. В самом деле, надо ехать — или в Москву, или в Иену, а Елизавета Дементьевна опять возле Марьи Григорьевны в Мишенском, — видно, уж там и место ей... Сказал об этом матери. Тяжко было видеть, как она погрустнела. «Может, подождем пока?» — спросила. «Подождем», — сразу согласился он. И уехал в Москву к Тургеневым. Иван Петрович был болен, после паралича, постигшего его в прошлом году, он потерял речь и с трудом ходил. Летом ездил на Ли-

пецкие воды, не помогли. Супруга его, Катерина Семеновна, женщина грубоватая, малообразованная, энергично суетилась в доме, занималась делами по имениям (в противность доброму супругу она была беспощадная крепостница). Средний сын Николай, похожий лицом на Андрея, окончил пансион, служил в архиве Иностранной коллегии, ходил на лекции в университет и ждал, как исполнения своей заветной мечты поездки с Жуковским за границу.

Из Мишенского Жуковскому писали, что Елизавета Дементьевна не хочет продавать дом и «очень им утешается». Пришло письмо от Маши Протасовой из Троицкого. «Милый, бесценный друг Василий Андреевич!» — писала она. Как посветлело вокруг, когда Жуковский прочитал этот простодушный и сердечный привет. «Не поверишь, как хочется поскорей с тобой видеться...» И далее Маша, рассказав о том, что «у маменьки вчера болела голова», просила Жуковского писать ей «особливые письма», чтоб было что ей прятать, а то он все «приписывает в маменькином письме».

В первый раз за этот приезд он побывал в Огородной слободе у Дмитриева — с ним весело было поговорить о литературных новостях, разумеется московских. Они посмеялись над «протодьяконом Хвостовым», который «печет оду за одою» и кадит «Пиндару и Гомеру», над незадачливым журналом его с громким названием «Друг просвещения», в котором преследуется «все, где только встретят *слезу* и *милое*»; над самонадеянным князем Шаликовым, который в одиночку издает журнал «Московский зритель» и будто бы видит все, «возложив на надежный свой нос зеленые очки»; поговорили о Карамзине, который «терпеливо сносит жужжание вокруг себя шершней и продолжает свою Историю: он уже дошел до Владимира». Кончалось печатание последних томов «Дон Кишота»; Жуковский рассчитывал получить деньги за них, но Бекетов объявил, что сейчас их нет, а позже пошлет ему в Белёв. И Жуковский уехал домой.

На Оке был май. Все цвело и нежно зеленело. На пристани плоскодонные тихвинки нагружались купеческими товарами и грузно двигались по течению. А Жуковский не имел сил сладить с собой: ему хотелось писать что-нибудь «важное», поэму например, но он не мог остановиться ни на каком сюжете (Оберон... Владимир... Гомера переводить...). Тогда взялся опять

за дневник. «Если я не могу сделать *большого,* — пишет он 29 мая, — то почему ж не сделать *малого?»* Попался под руку Шиллер, раскрыл, прочитал цикл стихотворений «Идеалы»... Сам не заметил, как взял карандаш и стал прямо на полях книги переводить:

О счастье дней моих! Куда, куда стремишься?
Златая, быстрая фантазия, постой!
Неумолимая! ужель не возвратишься?

Стихотворение Шиллера рисовало его — Жуковского! — душевное состояние, *его* отчаяние, *его* порыв — напрасный порыв — к творчеству.

О вы, творения фантазии моей!
Вас нет, вас нет! Существенностью злою,
Что некогда цвело столь пышно предо мною,
Что я божественным, бессмертным почитал, —
Навек разрушено!.. Стремление к блаженству,
О вера, сладкая земному совершенству,
О жизнь, которою весь мир я наполнял,
Где вы? Погибло все! погиб творящий гений!
Погибли призраки волшебных заблуждений!..

В конце мая приехали Протасовы, ожил их дом. Резвая Саша не умела долго сидеть на месте и словно разучилась ходить шагом — она летала вихрем, так что падали стулья и разбегались кошки... Маша задумывалась, сидя над книгой или рукоделием. Ей было тринадцать лет. Около нее всегда вертелась белая собачонка по имени Розка. Жуковский снова начал заниматься с девочками. Маша рассказала ему, что в Троицком читала с дядей по-английски сказки мисс Эджворт и «Историю Греции» Голдсмита, на французском — «Римскую историю» Роллена и роман Жанлис «Адель и Теодор», а на итальянском языке, которым она впервые начала заниматься, «разные анекдоты». Жуковский видел, что Маша старается любить свою мать, быть с ней откровенной, а та с ней суха, строга, требовательна. Он чувствовал, что Маша робко тянется к нему, в нем ищет родной души. Его уроки, беседы, прогулки, его стихи в ее альбоме — все это стало самым дорогим для нее в жизни. Он вдруг увидел, что она уже не ребенок...

Он спускался к Оке по крутому берегу — там, на склоне, была его любимая площадка между вишенными деревцами. Здесь он любил читать, сидя на траве. Невдалеке, выбегая из глубокого оврага, отделяющего древнюю крепость от Спасо-Преображенского монастыря, шумела

речка Белёвка, воды которой спешили в Оку. Вечером на куполах монастыря пылало закатное солнце. В ивняке у воды гремели соловьи... Здесь, под успокоительное журчание речных струй, стало складываться:

Ручей, виющийся по светлому песку,
Как тихая твоя гармония приятна!
С каким сверканием катишься ты в реку!
   Приди, о Муза благодатна...

Так начал он писать элегию «Вечер», одно из самых прекрасных произведений своей юности... Словно бы духом родной приокской природы овеяны в ней воспоминания о друзьях, о шумных собраниях в доме Воейкова в Москве, о смерти Андрея Тургенева, думы о будущем... «Фантазия» вернулась! Проснулся «творящий гений» и стал подсказывать Жуковскому строки, где музыка и слово слились воедино:

Сижу, задумавшись; в душе моей мечты;
К протекшим временам лечу воспоминаньем...
О дней моих весна, как быстро скрылась ты,
   С твоим блаженством и страданьем!

Где вы, мои друзья, вы, спутники мои?
Ужели никогда не зреть соединенья?
Ужель иссякнули всех радостей струи?
   О вы, погибши наслажденья!..

В черновиках появлялись приметы того места, где возникали первые образы строф:

Как нежно зыблется у берега тростник!
Как усыпительно листочков колыханье!
Вдали коростеля я слышу дикий крик
   И томной иволги стенанье.

Однако Жуковский стремился запечатлеть не пейзаж, а свое чувство. Строфа была перестроена (уже в кабинете, а не на крутом склоне берега...). Вместо *иволги* появилась *Филомела*. Жуковский стал вводить элегию в среду классических стихотворений, многочисленными узелками связывать ее с традицией — душа читателя, у которого эта традиция на слуху́, отзовется поэту как хорошо настроенная арфа... А все конкретное потеряло четкость, зыбким облаком поднялось в воздух, но — о чудо! — словно стало еще конкретнее, потому что приобрело вид *новой* красоты, нового пейзажа, как бы состоящего одновременно из материи и идеального.

Возникала волшебная музыка: оркестр — невидимый — творил свое чудо как бы на фоне огромного гобелена: ручей... река... муза «в венке из юных роз с цевницею златой»... ревущие стада, рыбаки, возвращающиеся с лова, пахари, съезжающие с полей, «плуги обратив», «последний луч зари на башнях»... веяние зефира... А там уже луна восходит — «тихое небес задумчивых светило»... И сюда, на эту поэтическую сцену, является тот юноша, «певец уединенный», который в элегии «Сельское кладбище» был «почивших другом» и умер, унеся *тайну своей гибельной печали* (поэт сам был им, когда писал ту, а потом другую элегию). Тут, в новой элегии, приоткрывается *тайна*. Мы еще раз возвращаемся на холмы «Сельского кладбища» и слышим наконец голос юноши:

О дней моих весна, как быстро скрылась ты
С твоим блаженством и страданьем!

Где вы, мои друзья, вы, спутники мои?
Ужели никогда не зреть соединенья?
Ужель иссякнули всех радостей струи?
О вы, погибши наслажденья!

В его жизни погибло все, кроме поэзии:

О песни, чистый плод невинности сердечной!
Блажен, кому дано цевницей оживлять
Часы сей жизни скоротечной!

Но и поэзия его была обречена:

Так. петь есть мой удел... но долго ль?..
Как узнать?..
Ах! скоро, может быть, с Минваною унылой
Придет сюда Альпин в час вечера мечтать
Над тихой юноши могилой!

Это могила «Сельского кладбища» и «Вечера». Одна и та же. Это поэтическое чувство могилы, *смертельной* тоски по идеалу. И сверх того глубоко меланхолическим, северным туманом песен Оссиана повеяло в последних строках от имен Альпина и Минваны. Имя Минваны он мысленно давал Маше (и потом в его стихах Минвана всегда она). Альпин же друг, Александр Тургенев. Но это и живой Андрей Тургенев... А в то же время и наоборот — Андрей в могиле, а он, Жуковский, — с Машей или с Екатериной Михайловной Соковниной — идет сюда «в час вечера»... Словом, тут все переплелось, и главное — чувство, а не логика реальности.

Около двух месяцев занимался он элегией. Между тем уже в начале июня возобновились его уроки в доме Протасовых. Странные это были уроки, не какие-нибудь начальные знания, не беглое знакомство с разными науками (как обычно учили девочек), а глубокое вникание в предмет, причем учитель и ученицы учатся *вместе*, и это их необыкновенно роднит. По утрам занимались историей, читали Геродота и Тацита, вечером — философия и литература, эстетика, натуральная история. Конечно, на первом месте была литература. Жуковский дома вырабатывал планы учебного чтения.

Читал он с Машей и Сашей то, что и ему самому было необходимо. В одном из планов он писал: «Читать стихотворцев не каждого особенно, но всех *одинакового рода* вместе; частный характер каждого сделается ощутительнее от сравнения. Например, Шиллера, как стихотворца в роде баллад, читать вместе с Бюргером; как стихотворца философического — вместе с Гёте и другими; как трагика — вместе с Шекспиром; чтение Расиновых трагедий перемешивать с чтением Вольтеровых, Корнелевых и Кребийоновых. Эпических поэтов перечитывать каждого особенно, потом вместе те места, в которых каждый мог иметь один с другим общее: дабы узнать образ представления каждого. Сатиры Буало с Горациевыми, Поповыми, Рабенеровыми и Кантемировыми. Оды Рамлеровы, Горациевы с одами Державина, Жан-Батиста Руссо и прочих. Или не лучше ли читать поэтов в порядке хронологическом, дабы это чтение шло наравне с историею и история объясняла бы самый дух поэтов, и потом уже возобновить чтение сравнительное. Первое чтение было бы философическое, последнее — эстетическое; из обоих бы составилась идея полная».

Жуковского давно уже интересовал жанр баллады, и он делал попытки переводить Бюргера. Попытки оканчивались неудачей. Для того чтобы понять, почему это так, он вынес этот вопрос на уроки с Машей и Сашей. Вот какие мысли набросал он для этих занятий: «Бюргер в этом роде единственный, ибо он имеет истинно приличный тон избранному им роду стихотворения: ту простоту рассказа, которую должен иметь повествователь. Его характер: счастливое употребление выражений простонародных и в описаниях и в выражении чувства; краткость и ясность; приличие и разнообразие метров. В особенности изображает он очень счастливо ужасное, то ужасное, которое принадлежит к ужасу, производимому в нас пред-

метами мрачными, призраками мрачного воображения; картины свои заимствует он из таинственной природы *того света,* который не есть идеальный свет, созданный фантазиею древних поэтов, но мрачное владычество суеверия. Шиллер менее прост и живописен; язык его не имеет привлекательной простонародности Бюргерова языка; но он благороднее и приятнее; он не представляет предметы так верно, но он украшает их красками блестящими. Бюргер действует на воображение, Шиллер на фантазию (то же воображение, но только такое, которому все предметы представляются сквозь призму поэзии, следственно не в собственном, а в некотором заимственном образе)» [1].

Потом было чтение басен, сначала Дмитриева (они печатались в «Вестнике Европы» в 1802—1805 годах, и Дмитриев сразу же был признан «русским Лафонтеном» — как считал Жуковский — по праву), затем Эзопа, Геллерта, Лафонтена и Флориана. Жуковский и здесь вынес на уроки с Машей и Сашей обдумывание этого жанра. «Что в наше время называется баснею? — напишет он в заметке, использованной позднее для статьи о Крылове. — Стихотворный рассказ происшествия, в котором действующими лицами обыкновенно бывают или животные, или твари неодушевленные. Цель сего рассказа — впечатление в уме какой-нибудь нравственной истины, заимствуемой из общежития и, следовательно, более или менее полезной. Отвлеченная истина, предлагаемая простым и вообще для редких приятным языком философа-моралиста, действуя на одни способности умственные, оставляет в душе человеческой один только легкий и слишком скоро исчезающий след. Та же самая истина, представленная в действии и, следовательно, пробуждающая в нас и *чувство и воображение,* принимает в глазах наших образ вещественный, впечатлевается в рассудке сильнее... Таков главный предмет баснописца».

Слог басен Дмитриева после Сумарокова и Хемницера стал живее, живописнее, в них стало больше *поэзии*... Неожиданно для себя Жуковский написал несколько басен на сюжеты Флориана. Дело в том, что, читая басни Дмитриева, он вместе с ученицами порядком все-таки

---

[1] См. выше в переводе отрывка из «Идеалов» Шиллера: «О вы, творения фантазии моей!..» Эта *фантазия* — другой вид воображения — была принята Жуковским как одна из составных частей его творческого метода и применена в элегии «Вечер».

скучал — холодны они, ровны, веселья нет в них, *народного* нет ничего! Басни Жуковского получились совершенно необыкновенными. Изящество стиха сочеталось в них со стремительностью рассказа, с добродушным юмором, иногда с веселым гротеском ярмарочного райка. С трудом верилось, что это писал автор элегий «Сельское кладбище» и «Вечер». Обстановку басен Жуковский смело русифицировал. Так «один фигляр в *Москве* показывал мартышку» (мартышка имела прозвище *Потап)*, а сорока жаловалась на пьяного мужа совсем как баба на белёвской улице:

Дал бог мне муженька! мучитель окаянной!
Житья нет! бьет меня беспошлинно, безданно!
Ревнивец! а как сам — таскаться за совой!

Жуковский читал эти басни, и Маша — и особенно Саша — смеялись, как никогда. Басни с первого чтения запоминались, так они были складны:

Случилось так, что кот Федотка-сыроед,
Сова Трофимовна-сопунья,
И мышка-хлебница, и ласточка-прыгунья,
Все плу́ты, сколько-то не помню лет,
Не вместе, но в одной дуплистой, дряхлой ели
Пристанище имели...

Ни у Флориана, ни у Лафонтена нельзя было русскому стихотворцу занять такой характерности и живости речи. Не было такого и у Дмитриева... Жуковский решил отдать свои басни в «Вестник Европы», показал их Дмитриеву (который их, к удовольствию Маши и Саши, очень хвалил...), но, закончив еще несколько начатых басен, навсегда оставил этот род.

Жуковский был для своих учениц и педагог и товарищ, они говорили ему «ты», называли то Василием Андреевичем, то Базилем. Жизнь его была вся для них открыта. Он стремился к тому, чтоб и мысли его так же были известны им. Маша приняла эту открытость — в отношениях с Жуковским она стала для нее нормой. Для нее стало привычкой анализировать с ним свои поступки, даже самые мелкие. Так постепенно шлифовался ее характер, складывалась вся ее натура, и в результате возникла та необыкновенная по своей красоте личность, которая была *поэтическим* созданием Жуковского.

Маша была очень рада тому, что Жуковский не поедет ни в Геттинген, ни в Иену, ни в какой-либо другой

немецкий город, — этому помешали важные исторические события. После Аустерлицкой битвы Наполеон Бонапарт стал властелином Европы. В марте 1806 года он сделал своего брата Жозефа королем Неаполя, в июне — брата Людовика королем Голландии. В сентябре против Наполеона выступила четвертая коалиция: Россия, Англия, Пруссия и Швеция. 30 августа русским правительством была объявлена война Франции. По всей России начало формироваться ополчение, или, как его называли тогда, милиция. Предполагалось, что Наполеон планирует захват русских земель. В октябре на помощь Пруссии был отправлен корпус Беннигсена... В одном из писем к Жуковскому Дмитриев рядом с призывом приехать в Москву выражает желание видеть какие-нибудь его новые поэтические произведения, подсказывает сюжеты: ода «Четыре времени дня»; идиллия «Возвращение воина»; «Бард на поле битвы после ночного сражения». Все это были уже общие, не раз использованные темы, но это не смущало ни Дмитриева, ни Жуковского. Сюжет можно взять где угодно и какой угодно. Мастерство поэта — в разработке, в стиле, в мыслях!

Жуковский хорошо знал оду Грея «Бард», подражание Оссиану. Там в самом деле величественная картина: проходит войско, а бард, стоя на скале, поет под звуки арфы... В одно ослепительное мгновение Жуковский увидел свою будущую «Песнь барда». Певец, подобный суровому Оссиану, старцу, с развевающимися седыми волосами, поющему славу погибшим в сражении. Пылает огромный костер из целых дубов. Воины насыпают над телами убитых высокий холм. Бард ударяет по струнам арфы и рассказывает о подвигах тех, кто пал, призывает воинов к мести... «А «Слово о полку Игореве»? — подумал Жуковский. — И там — рассказ о поражении... призывы сплотиться для отпора врагам...»

Образы Бояна и Оссиана слились в его воображении в одно лицо. Виделись ему некие древние «славяне» и даже «россы» — освещенные трепетным пламенем костра, с окровавленными копьями в руках... Сражение при Аустерлице ничего не говорило его сердцу, зато как сильно чувствовал он то сложное слияние печали, стыда, порыва к бою, уязвленной гордости, уверенности в своей силе, которое кипело в российском обществе не только в Петербурге и Москве, но и в Белёве! Вот это *всеобщее русское чувство* и сделал он темой своей «Песни барда над гробом славян-победителей». И здесь же секрет ее

громадного успеха. Поэт обращается не к разуму, а к сердцу читателя. И тем сильнее было действие призывов барда:

О братья, о сыны возвышенных славян,
Воспрянем! вам перун для мщенья свыше дан.
Отмщенья! — под ярмом народы восклицают, —
Да в прах, да в прах падут погибели творцы!..

В начале ноября Жуковский уехал в Москву. «Песнь барда» была отдана Каченовскому в «Вестник Европы» — он наметил печатать ее в декабре.

«Песнь барда» настолько прославила Жуковского в Москве, что незнакомые люди снимали перед ним шляпы на улице и пожимали ему руки. Композитор Кашин положил стихотворение на музыку (по этому случаю Жуковский прибавил к нему новый «хор»), и оно готовилось к представлению на театре. Александр Тургенев пишет одному из своих товарищей: «Пришлю тебе «Песнь барда» Жуковского — лучшее произведение российской словесности! Великий поэт — Жуковский». Жуковский пишет ему в Петербург в декабре: «Сделай дружбу, брат Тургенев, — вели напечатать «Барда» особенно, если можно — с виньетом, на котором бы представить ту минуту, в которую бард взбежал на холм и видит летящие тени... Эти стихи суть новый дар отечеству».

Прочитав 9 декабря манифест о составлении милиции, Жуковский по некоторым приметам стиля догадался, что тут приложил руку Александр Тургенев. «Если не ошибаюсь, — пишет он ему, — то в сочинении манифеста участвовал и ты... Вообще написан хорошо, но вы забыли, государи мои, что вы говорите с русским народом, следовательно, не должны употреблять языка ораторского, а говорить простым, сильным и для всех равно понятным... Для простого народа и для большей части высокого дворянского сословия важнейшие места из манифеста будут почти непонятны, следовательно, потеряют большую часть своего действия». Жуковский отметил также и то, что в манифесте пропущено. «Вы думаете все основать на чувстве патриотизма», — пишет он. И предлагает прибавить к этому обещание *личных выгод*, которые должны дать «подпору энтузиазму», «определить бы награду для дворян, что меньше, однако, нужно... Определить бы награду и для самих мужиков, и вот, мне кажется, благоприятный случай для дарования многих прав крестьянству, которые бы приблизили его несколько к сво-

бодному состоянию... первый шаг труден, и для сделания сего шага нужен нам непременно повод, а теперешний случай может почесться весьма сильным поводом».

Неожиданно судьба Жуковского устроилась. К нему пришел — по совету Карамзина и Дмитриева — книгопродавец Попов, просвещенный купец, ставший издателем и литератором (он писал и печатал стихи). Попов предложил ему место редактора «Вестника Европы», так как прежний его редактор, Каченовский, вынужден был оставить его. Узнав, что Жуковский ведет переговоры с Поповым, Елизавета Дементьевна встревожилась: «Вестник очень меня беспокоит в рассуждении твоего здоровья. Я боюсь, что ты слишком будешь прилежен». Это было сказано не без оснований — она видела, как сын в Мишенском и Белёве изнурял себя «книжной» работой...

В июне Жуковский окончательно договорился с Поповым и с начальником типографии Московского университета Максимом Невзоровым о том, что с января следующего года он начнет редактировать «Вестник Европы», который отдается на полную его волю. Многие были рады этому. Да и в нем самом вспыхнули самые радужные надежды. Он решил сделать журнал на лучшем европейском уровне. Во всяком случае, возродить славу «Вестника Европы», которая была при Карамзине...

«Теперь начинаю готовить материалы, — пишет он Тургеневу, — но так как я довольно мало на себя надеюсь и даже боюсь своей лени, то, мой друг, не худо будет, если ты постараешься помочь мне. Ты теперь имеешь довольно пособий и источников... Записывай, что видишь и слышишь». Тургенев и на самом деле мог бы рассказать много интересного: он был в июле в Тильзите в свите императора Александра, видел Наполеона, Европу, по которой прогремели сражения...

Был большой праздник в Москве в честь Тильзитского мира с гуляниями на Тверском бульваре и в Сокольниках, с фейерверками, плясками цыган, музыкой. Полицеймейстер Ивашкин запретил своим полицейским в эти дни бить народ, как бы он ни толкался на улицах (но это соблюдалось только там, где находился сам добрый Ивашкин). Бал в Дворянском собрании, обеды и балы в разных богатых домах... Схлынуло воинственное настроение москвичей, офицеры-ополченцы скинули мундиры... Антонский предложил Жуковскому занять три комнаты в его домике при пансионе, — это было очень удобно для

редактора журнала, так как университетская типография располагалась поблизости, всегда можно будет заглянуть к наборщикам и печатникам... Жуковский отправился до осени в Белёв — он решил продать дом и приготовить все для московского житья.

Екатерина Афанасьевна Протасова, которой он открылся в своей любви к Маше (а скрыть это было уже и невозможно), осудила его строго и бесповоротно. Во-первых, сказала она, Маша еще ребенок (хотя Жуковский говорил о своей женитьбе как о деле *будущем...)*, во-вторых, он обманул ее доверие и допустил в себе чувства, какие не пристало иметь дяде к племяннице (хотя он и был не родным, а сводным братом Екатерине Афанасьевне и подобные браки в то время были далеко не редкость). Жуковский почувствовал, что возникла преграда, которую вряд ли можно будет преодолеть, — Маша не поступит против воли матери, таков ее характер, да так и сам он ее воспитал. Больше того — не пойдет против воли своей сводной сестры — старшей сестры — и он, Жуковский, так как он не сможет построить себе счастия на несчастье других (той же Екатерины Афанасьевны). Нужно было ее убедить... Ведь это судьба! Не может у него быть другой возлюбленной и другой супруги, кроме Маши! Страшное напряжение создалось в его отношениях с Протасовой... Напряжение это стало давить на Машу. Жизни без Жуковского она — его создание — не могла себе и представить. Но она не могла себе представить — еще больше — и того, чтобы мать с ее железной волей изменила когда-нибудь раз принятому решению... Чувство безнадежности, обреченности вошло в их любовь, отчего еще бóльшую нежность стали они испытывать друг к другу...

В конце этого лета, лета 1807 года, Жуковский, на крутом повороте своей судьбы, вроде бы при благоприятной перемене (журнал давал возможность ему действовать как литератору вдесятеро активнее), ощутил весь трагизм своего существования. В Белёве и потом — переехав в Москву — в домике Антонского писал он и много раз переправлял элегическое послание «К Филалету» — под этим условным именем был скрыт Александр Тургенев. Это был как бы монолог из трагедии. Гибель надежд и сладость любви слились здесь в шиллеровское «разбойничье» чувство. Вопль об утратах обернулся полнотой и силой жизни, желание погибнуть — любовью к миру. Сквозь печальные слова о смерти проглядывает трога-

тельное внимание к подробностям жизни, к природе: к заре, «рогам пастушьим», «ветра горного в дубраве трепетанью», «тихому ручья в кустарнике журчанью», к «туманной дали», к музыке («К клавиру ль приклонясь, гармонии внимаю...»). ...Герой стихотворения как бы наслаждается своей грустью. Он размышляет о своей судьбе — всегда, кажется ему, был он ею обделен:

К младенчеству ль душа прискорбная летит,
Считаю ль радости минувшего — как мало!
Нет! счастье к бытию меня не приучало;
Мой юношеский цвет без запаха отцвел.
Едва в душе своей для дружбы я созрел —
И что же!.. предо мной увядшего могила;
Душа, не воспылав, свой пламень угасила...

Скупое на радости детство, смерть друга... Все становится в логический ряд: трагичность жизни предопределена. Но как только мысль героя коснулась его любви — исчезли меланхолические ноты и вспыхнула необыкновенная для всей тогдашней русской поэзии напряженность чувства, — любовь не становится в логический ряд:

Любовь... но я в любви нашел одну мечту,
Безумца тяжкий сон, тоску без разделенья
И невозвратное надежд уничтоженье.
Иссякшия души наполню ль пустоту?
Какое счастие мне в будущем известно?
Грядущее для нас протекшим лишь прелестно.
Мой друг, о нежный друг, когда нам не дано
В сем мире жить для тех, кем жизнь для нас священна,
Кем добродетель нам и слава драгоценна,
Почто ж, увы! почто судьбой запрещено
За счастье их отдать нам жизнь сию бесплодну?
Почто (дерзну ль спросить?) отъял у нас творец
Им жертвовать собой свободу превосходну?
С каким бы торжеством я встретил мой конец,
Когда б всех благ земных, всей жизни приношеньем
Я мог — о сладкий сон! — той счастье искупить,
С кем жребий не судил мне жизнь мою делить!..
Когда б стократными и скорбью и мученьем
За каждый миг ее блаженства я платил:
Тогда б, мой друг, я рай в сем мире находил
И дня, как дара, ждал, к страданью пробуждаясь;
Тогда, надеждою отрадною питаясь,
Что каждый жизни миг погибшия моей
Есть жертва тайная для блага милых дней,
Я б смерти звать не смел, страшился бы могилы.
О незабвенная, друг милый, вечно милый!
Почто, повергнувшись в слезах к твоим ногам,

Почто, лобзая их горящими устами,
От сердца не могу воскликнуть к небесам:
«Все в жертву за нее! вся жизнь моя пред вами!»
Почто и небеса не могут внять мольбам?..

«К Филалету» — одно из заветнейших стихотворений Жуковского и одно из чудес русской поэзии, точнее это первое подлинно оригинальное русское стихотворение о любви, рожденное равно из европейских романтических традиций и из жизни самого поэта...

А Маша Протасова пишет ему из Белёва письма сдержанно-грустные (каждое письмо ее читает «маменька»). «Время свое провожу я очень весело... Время мое удивительно как скоро летит... Беспрестанно бываю с маменькой, и всем нам очень весело, — пишет она. — Только гораздо было веселее, когда ты был с нами. Теперь я никак не надеюсь скоро опять тебя видеть — Вестник разлучит нас по крайней мере на год! Очень грустно об этом думать! Пожалуйста, пиши ко мне почаще... Не нужно тебе сказывать, как мне весело получать твои письма... Помнишь ли, мой милый друг, как было весело как ты меня учил рисовать. Когда-то опять это будет. Милый мой Базиль, когда приедешь ты к нам... Прощай, мой милый друг, будь здоров, весел и люби меня по-старому» (сбоку приписка: «С каким нетерпением мы ждем Вестника — этого пересказать нельзя; маменька уже подписалась на него»). Сколько раз тут сказано «весело»! И сколько оттенков в этом слове, и нигде — его прямого значения. Сколько любви и печали в этом бесхитростном, прекрасном в своей наивности письме...

ГЛАВА ПЯТАЯ

(1808—1811)

Оказавшись редактором журнала, Жуковский целиком подчинил его своим вкусам и стал почти единственным его автором. Жуковский переводил, писал собственные статьи, сказки, стихи. Для «Вестника Европы» и для собственной пользы, притом с огромным воодушевлением, переводили статьи и повести с немецкого и английского Маша и Саша Протасовы, Анна Юшкова, Авдотья Петровна Киреевская.

Несмотря на усиленные хлопоты и просьбы, Жуковскому почти не удалось подвигнуть своих друзей на сколько-нибудь существенную помощь журналу. Александр Тургенев прислал написанное им еще в 1803 году «Путешествие русского на Брокен» (описание горного массива Гарц с историческими отступлениями) и часть неизданных записок Антиоха Кантемира (об английском короле и его министрах). В первых четырех номерах московская поэзия представлена была одним Мерзляковым. Потом начали появляться стихи Вяземского, Давыдова, Дмитриева, Батюшкова, Василия Пушкина. Жуковский решил помещать в журнале гравюры с картин известных европейских живописцев, сопровождая их собственными объяснениями. Вообще ко многим материалам делал он краткие или развернутые примечания. На обложке каждой части, состоящей из четырех номеров (по два в месяц), помещался гравированный портрет какого-нибудь исторического лица — начал Жуковский с Марка Аврелия.

И вот в руках Жуковского первый номер журнала: «Вестник Европы, издаваемый Василием Жуковским». Формат небольшой. Бумага синяя... Много раз перелистал Жуковский свежеотпечатанную книжку. «Как это случилось? — думал он. — Когда успелось?» Он огляделся: стол, стулья, вся комната загромождена книгами, тетрадями. Вдруг увидел, что за окном — ночь и круглая луна в темном зимнем небе... Странно: не подумал ни

о славе, ни о том, что вот все же на твердую землю встал он, а подумал о Маше, — и *ее глазами* еще раз перечитал синеватые страницы. Довольно бы тиснуть и всего *один* экземпляр — для Маши.

Но уж так неизбежно получалось, что писанное про себя и для себя, то, что разделено душой с родной душою, начинало излучать свет на всех, как бы ища в толпе сочувствия, отзыва, любви... Одинокий, знающий о том, что он обречен на вечное одиночество, редактор и поэт обращался со страниц журнала к неведомым читателям (больше представляя их себе как бывших читателей журналов Карамзина). Обращался с единственным желанием учить добру. Книжка открывалась программной статьей «Письмо из уезда к издателю», которой он придал полубеллетристическую форму: в ней создал Жуковский портрет пожилого провинциала Стародума (это имя положительного героя из произведений Фонвизина).

«Поздравляю тебя, любезный друг, с новой должностью журналиста! — пишет якобы уездный корреспондент. — Наши провинциалы обрадовались, когда услышали от меня, что ты готовишься быть издателем «Вестника Европы»; все предсказывают тебе успех; один угрюмый, молчаливый Стародум качает головою и говорит: «Молодой человек, молодой человек! подумал ли, за какое дело берешься! шутка ли выдавать журнал!» Ты знаешь Стародума — чудак, которого мнение редко согласно с общим, который молчит, когда другие кричат, и хмурится, когда другие смеются; он никогда не спорит, никогда не вмешивается в общий разговор, но слушает и замечает, — говорит мало и отрывисто, когда материя для него непривлекательна, — красноречиво и с жаром, когда находит в ней приятность. Вчера Стародум и некоторые из общих наших приятелей провели у меня вечер, ужинали, пили за твое здоровье, за столом рассуждали о «Вестнике» и журналах, шумели, спорили; Стародум по обыкновению своему сидел спокойно, на все вопросы отвечал: да, нет, кажется, может быть! Наконец спорщики унялись, разговор сделался порядочнее и тише; тут оживился безмолвный гений моего Стародума: он начал говорить — сильно и с живостию; литература его любимая материя».

И далее в речи этого Стародума (был, конечно, какой-то прообраз его и в действительной жизни — среди белёвских знакомых) Жуковский раскрывает свои представления о журнале: «До сих пор «Вестник Европы», —

скажу искренне, — был моим любимым русским журналом... Обязанность журналиста — под маскою занимательного и приятного скрывать полезное и наставительное. Средства бесчисленны: к его услугам богатства литературы чужестранной и собственной, искусства и науки; бери что угодно и где угодно; единственное условие — разборчивость... Первое достоинство журнала — разнообразие... Ожидаю великой пользы от хорошего журнала в России!.. хороший журнал действует *вдруг* и на многих; одним ударом приводит тысячи голов в движение... Итак, существенная польза журнала — не говоря уже о приятности минутного занятия — состоит в том, что он скорее всякой другой книги распространяет полезные идеи, образует разборчивость вкуса, и, главное, приманкою новости, разнообразия, легкости незаметно привлекает к занятиям более трудным, усиливает охоту читать, и читать с целью, с выбором, для пользы!.. Охота читать книги — очищенная, образованная — сделается общею; просвещение исправит понятия о жизни, о счастии; лучшая, более благородная деятельность оживит умы».

Какой замах! И возможно ли осуществить столь широкую программу *воспитания общества*? Возможно или нет — об этом Жуковский не думал. В словах Стародума он поставил перед собой (и перед другими журналистами) *идеал*. И немедленно начал идти к нему.

Когда вышла из печати вся первая часть, Жуковский отдал переплести несколько экземпляров и выслал в Белёв. «Вестник всех нас восхищает, прекрасно! прекрасно! — писала Екатерина Афанасьевна Жуковскому. — Базиль, мы уже все раза по три его прочли». Далее она сообщает простодушное мнение одного из соседских помещиков — как это мог молодой человек «осмелиться такой журнал издавать», что ему «надобно для сего иметь сношение со всеми государственными кабинетами, знать секреты всех дворов», и что он, Жуковский, «далее своего носу ничего не видал»... Екатерина Афанасьевна особенно похвалила «Письмо к издателю» и перевод из Гарве («Подарок на Новый год», — рассказ о том, как мать подарила своей дочери *Марии* тетрадь для ведения дневника и записи размышлений). «Мы, мой друг, — продолжает то же письмо Марья Григорьевна Бунина, — все без ума от твоего Вестника, не только читаем, но даже учим».

Весной этого года Екатерина Афанасьевна пишет Жу-

ковскому, что Маша усердно переводит повесть Марии Эджворт «Прусская ваза», а Дуняша «поправляет и помогает» (Авдотья Петровна Киреевская с сыном Ваней была у Протасовых в гостях). Этот перевод Жуковский напечатал в «Вестнике».

Летом приехал в Москву из Петербурга Александр Иванович Тургенев. Брат его Николай в этом году уехал в Геттингенский университет, другой, Сергей, младший, учился в Университетском благородном пансионе. Тургенев и Жуковский встретились сердечно, как друзья. Почти сразу они отправились в подмосковное имение Вяземских Остафьево, где жил и работал Карамзин. В 1808 году Карамзин в своей «Истории государства Российского» добрался уже до нашествия татаро-монголов. Ранняя история Руси — вот о чем были их беседы на прогулках в Остафьеве, когда они шли к мельнице за деревней, в березовую рощу, в библиотеке усадебного дома.

К ним нередко присоединялся сын скончавшегося в прошедшем году старого князя Вяземского, шестнадцатилетний Петр Андреевич, юноша высокого роста, с басистым голосом и в очках по причине сильной близорукости. Он был очень привязан к Карамзину, женатому на его сводной сестре, с огромным уважением относился к его работе над «Историей», сам увлекался литературой и сочинял стихи. Но Карамзин с огорчением видел, как юный князь с компанией юных же московских аристократов проматывает отцовское, еще довольно большое, состояние, кутит, развлекается и не думает о будущем. Но видел Карамзин его нередко и в остафьевской библиотеке за чтением Вольтера, Дидро, Парни, Мольера...

Жуковскому Петр Андреевич нравился своей открытостью, дельностью и остроумием разговора, но больше тем, что он почувствовал в нем одинокое и привязчивое к тем, кто его приветит, сердце. Петр Андреевич показал ему свои стихи. В них было странное соединение остроумия с неуклюжестью речи, наполненной архаизмами, неровный ритм. Вместе с тем было в них что-то истинное, хотя и в зародыше... Жуковский счел даже необходимым поощрить князя напечатанием его стихотворения в «Вестнике Европы» — и напечатал, предварительно (как впоследствии вспоминал Вяземский) переправив «почти все стихи сплошь и целиком»... Это было «Послание к Жуковскому в деревню». Жуковский почувствовал, что они станут друзьями. В том же году он писал Вязем-

скому: «Вы приписываете мне какую-то смешную гордость и вообразили, что моя *старость* хочет непременно учить вашу *молодость*... Я, право, уверяю вас, что я ваш *приятель,* что *желаю* и с этой минуты буду *стараться* быть вашим другом».

Александр Иванович Тургенев, который вел с Карамзиным переписку из Петербурга, присылал ему книги по истории, какие мог добыть, — в этот свой приезд в Остафьево был уже совершенно Карамзиным очарован. «Был у Карамзина в деревне, — писал он брату Николаю в Геттинген. — Восхищался его Историей. Я еще ни на русском, ни на других языках ничего подобного не читал тем отрывкам, которые он прочел мне из своей книги. Какая критика, какие исследования, какой исторический ум и какой простой, но сильный и часто красноречивый слог! Он превзошел себя». И в другой раз ему же: «Я читал Историю Карамзина и восхищался ею. Радовался, что, наконец, русские имеют или, по крайней мере, скоро будут иметь историю, достойную русского народа... Карамзин один из лучших историков этого столетия, которое прославили Шлёцеры, Миллеры, Робертсоны и Гиббоны». Был и Жуковский в совершенном восторге от «Истории» Карамзина. Оба они, Жуковский и Тургенев, ощущали, что Карамзин — их духовный отец, учитель, наставник в нравственных вопросах. И Карамзин оправдывал такое их высокое представление о себе.

Здесь, в Остафьеве, Тургенев теснее сблизился с Жуковским. Тогда же писал он брату: «Жуковский еще более мне полюбился... По талантам, по душе и по сердцу — редкий человек и меня любит столько же, сколько я его». Тургенев, увлекшийся еще во времена своего геттингенского студенчества русской историей и тогда уже удивлявший знаменитого профессора-историка Шлёцера своими разнообразными познаниями, после поездки в Остафьево снова стал мечтать об исторических трудах... Но служба засасывала его, пошли чины, разные должности (иногда несколько вместе). Он оставался чистым и честным человеком, и не только по природным своим добрым качествам, а и благодаря дружбе с Жуковским и особенно Карамзиным. С князем Петром Вяземским он также подружился — и, как вышло, навсегда...

Карамзин, «постригшийся в историки» (по слову Вяземского), погруженный в свой труд, находил все же время для чтения «Вестника Европы». Жуковский заметил у него в кабинете — на подоконнике — девятый но-

мер журнала, где была напечатана «Людмила». «Конечно, здесь мало осталось от Бюргера, — сказал Карамзин, — зато много Жуковского! И не Гаврила Каменев с «Громвалом», а вы с «Людмилой» начали новый для нас этот род поэзии. По-настоящему начали!» Карамзин хорошо знал Бюргера и восхищался всемирно прославленной «Ленорой», которую перевел, а вернее, пересоздал Жуковский, изменив очень многое в ней — стих, самый тон повествования, имена, место действия.

Давно уже раздумывал Жуковский над томиком баллад Бюргера, не мог подобрать к нему *своего* ключа. Собственно, одна «Ленора» и была ему нужна — единственное творение гения, облетевшее всю Европу, вдохновившее музыкантов и художников, но прежде всего поэтов — во Франции, Англии, Испании, Португалии, Польше... Жуковский не сразу понял, *что* такое *новое* в этой балладе, *чем* она так захватывает, будоражит... И вот открылось: музыкой таинственного и грозного слова, как бы приоткрывающего завесу неизъяснимого... Сверхъестественное — подобно молнии при ночной грозе — врывается в жизнь... Бесконечное охватывает ужасом бессмертную душу человека... Это баллада о любви, которой было принесено в жертву *всё*. Она возникла столько же из Бюргера, сколько и из послания самого же Жуковского «К Филалету», с его отчаянным воплем: «Почто и небеса не могут внять мольбам?..» Так и Бюргерова «Ленора» стала одним из таинственных зеркал, отразивших тьму грядущего, в которой пытался Жуковский разглядеть свое и Машино счастье.

В отдалении от Маши еще сильнее охватила его любовь к ней. Она для него все — любая мысль, любое мечтание связано с нею.

Две сказки Жуковского, напечатанные в «Вестнике Европы» этого года — «Три сестры» и «Три пояса», — целиком проникнуты мыслью о Маше. Минвана в первой и Людмила во второй — это все она. Первая — философский урок, изящное нравоучение в форме аллегории о Вчера-Сегодня-Завтра — трех сестрах («Вся наша жизнь была бы одним последствием скучных и несвязных сновидений, когда бы с настоящим не соединялись тесно ни будущее, ни прошедшее — три неразлучные эпохи»). Эта сказка приурочена к пятнадцатилетию Маши. Людмиле, как и Минване, «минуло пятнадцать лет». Она, как и Маша, «была не красавица», скромна и простосердечна. Подобно Золушке, благодаря чарам волшебницы она за-

тмила во дворце пышность своих сестер и достигла счастья. «Какая привлекательная скромность, какой невинный взгляд, какая нежная, милая душа изображается на лице ее, приятном, как душистая *маткина душка*!» — говорили «мужчины» (маткиной душкой в Белёве называли скромную, но душистую полевую фиалку)...

В следующем году напечатал Жуковский повесть «Марьина роща» — здесь на фоне условной Руси древних времен развернул он балладный сюжет, опять же многими нитями связанный с его думами и видениями о судьбе своей любви. В сюжете повести — пророческие черты. Жуковский, хотя и смутно, *угадал будущее*. Марья, любя «певца» Услада, вышла замуж за другого, но так, любя Услада, и скончалась, а певец остался верен своей любви, и она продолжалась — *за гробом*... Марии в повести «минуло пятнадцать лет», она «цвела как полевая фиалка» (это символ Марии-Маши; ту же фиалку, называя ее «маткиной душкой», «изображал» в своих песнях Услад, сельский «певец»). Проза Жуковского по сути была поэзией, лирикой [1].

В одной из редакторских заметок, отвечая на письмо некой корреспондентки, Жуковский тонко очерчивает странную взаимосвязь *меланхолии* и *любви*. Это был повод для еще одной — в ряду стихотворений и прозаических вещей — попытки разобраться в своих чувствах. «Меланхолия, — пишет он, — не есть ни горесть, ни радость: я назвал бы ее оттенком веселия на сердце печального, оттенком уныния на душе счастливца» (это — резюме давней элегии Карамзина — из Делиля — «Меланхолия»). «Счастие любви, — продолжает он, — есть наслаждение меланхолическое: то, что чувствуешь в настоящую минуту, менее того, что будешь или что желал бы чувствовать в следующую: ты счастлив, но стремишься к бóльшему, более совершенному счастию, следовательно, в самом своем упоении ощутителен для тебя какой-то недостаток, который вливает в душу твою тихое уныние, придающее более живости самому наслаждению; ты не находишь слов для изображения тайного состояния души твоей, и это самое бессилие погружает тебя в задумчивость! И когда же счастливая любовь выражалась веселием?.. Любовь несчастная, любовь, наполняющая душу, но разлученная с сладкою надеждою жить для

[1] Недаром в 1810-х годах стихотворец Александр Мещевский переложил «Марьину рощу» в стихи и издал отдельной книжкой (в судьбе этого поэта Жуковский принял большое участие).

того, что нам любезно, слишком скоро умертвила бы наше бытие, когда бы отделена была от меланхолии, от сего непонятного очарования, которое придает неизъяснимую прелесть самым мучениям... Пока человек упрекает одну только судьбу, по тех пор остается ему некоторая обманчивая надежда на перемену: и в сих-то упреках, и в семто обманчивом ожидании перемены заключено тайное меланхолическое наслаждение, которое самую горесть делает для него драгоценною».

Этот тончайший психологический этюд — результат самоанализа. И прав был Жуковский, напечатав его в журнале, — именно *это,* а даже и не отдел политики, где рассказывалось, например, о бомбардировке Копенгагена французами, приковывало внимание читателя. Впервые он нашел в журнале не ужимки умиления и слезу неглубокой «чувствительности», а те чувства, которые обуревали и его, — он начал учиться понимать себя. Жуковский *воспитывал,* воспитывал целое общество, стремясь (как Стародум у него говорил) «образовать разборчивость вкуса», «исправить понятия о жизни, о счастии...».

Вслед за Карамзиным Жуковский обращался к *сердцу* читателя, считая, что чувство «умнее» разума. Его читатель в основном дворянин. Он хотел видеть его не только искренним в своих чувствах, но и гуманным, например, в отношении своих крепостных. И вот он пишет очерк «Печальное происшествие, случившееся в начале 1809 года» — набросок или конспект повести, намеренно напоминающей читателю так потрясшую его не столь давно (1792 год) «Бедную Лизу» Карамзина. Там и здесь трагизм любви поделен пополам — между крестьянской девушкой и молодым дворянином (в обоих случаях это москвич). Там и здесь героиня — Лиза. Молодой человек у Карамзина — Эраст, у Жуковского — Лиодор (имена, отсылающие ко всей сентименталистской литературе, главным образом западной, — имена-характеристики, обозначающие доброго и *истинно чувствительного,* а потому всех людей считающего равными себе дворянина).

Эраст не устоял перед обстоятельствами, предал свою любовь, погубил Лизу и потом всю жизнь раскаивался. История Лизы и Лиодора сложнее и страшнее. «Лиза была дворовая девушка. Госпожа N воспитала ее вместе с своею дочерью... Лиза, осужденная жить в рабстве, с малолетства привыкла пользоваться преимуществами лю-

дей свободных». Крестьянская девушка была воспитана как дворянка. Когда дочь госпожи N вышла замуж за господина W, Лиза досталась ей в приданое. В доме этого W встретилась она с молодым дворянином Лиодором, и они полюбили друг друга. Однако Лиза приглянулась некоему пожилому и развратному полковнику... Попытки Лизы отстоять свою любовь ни к чему не привели: она была оклеветана, разлучена с Лиодором и отдана человеку, который ее и оклеветал (полковнику). Лиодор сошел с ума. «Утешаю себя мыслию, что низкий злодей, разрушивший навсегда счастие двух добрых творений, прочитав эти строки, ужаснется самого себя, и страшный свет проникнет во мрачную душу его», — говорит автор.

В очерке есть зашифрованное обращение к Маше: «Добрая Лиза имела не более пятнадцати лет» (Минване, Людмиле, Марии — всем *пятнадцать лет,* как Маше). Он как будто говорит Маше: «Вот каковы бывают судьбы! Возблагодарим Творца, что он не сделал тебя рабой, игрушкой господ». Он открывал ей бездну, чтобы показать свою и ее любовь чуть ли не счастливой. Но тут было и другое: у Екатерины Афанасьевны, как и у многих гуманных и просвещенных помещиков, в доме всегда воспитывались крестьянские дети, главным образом сироты. Их не только кормили и одевали, но пытались учить. Девицы Юшковы, Маша и Саша Протасовы давали им уроки. «Многие из русских дворян, — пишет Жуковский в очерке, — имеют при себе так называемых *фаворитов.* Что это значит? Они выбирают или мальчика, или девочку из состояния служителей, приближают их к своей особе, дают им воспитание, им неприличное, позволяют им пользоваться преимуществами, им не принадлежащими, и — оставляют их в прежней *зависимости.* То ли называется благотворением? Человек *зависимый,* знакомый с чувствами и понятиями людей *независимых,* несчастлив навеки, если не будет дано ему благо, все превышающее — свобода!.. Что унизительнее рабства!»

Жуковский прямо говорит, что если господин в своем крепостном открывает *талант* (художника, например), то, прежде чем давать ему образование, он должен *освободить* его. «Я знаю одного живописца, — рассказывает Жуковский, — он был крепостной человек доброго господина, получил хорошее образование, жил на воле и пользовался талантом своим, но еще не имел свободы. Что же? Господин его умер — и этот бедняк достался другому... Новый господин взял его в дом — и теперь

этот человек, который прежде принимаем был с отличием и в лучшем обществе, потому что вместе с своим талантом имел и наружность весьма благородную, — ездит в ливрее за каретою, разлучен с женою, которая отдана в приданое за дочерью господина его... Где же плоды благотворений, оказанных ему *добрым* его господином?»

Жуковский давно уже думал о том, что если крестьян нельзя пока освободить вовсе, то нужно *какими-то мерами* приближать их к этому состоянию (как писал он в 1806 году Тургеневу по поводу манифеста об ополчении). Крестьянам нужно образование. Но какое? Об этом он и рассуждает в большой статье о книге Мари Лепренс де Бомон «Училище бедных, работников, слуг, ремесленников и всех нижнего класса людей», переведенной золовкой Екатерины Афанасьевны Протасовой — Анастасией Ивановной Плещеевой, урожденной Протасовой (у которой в ее имении под Болховом часто гостил в 1790-х годах Карамзин, — он был женат на ее младшей сестре Елизавете). Книга была напечатана в 1808 году в типографии Платона Бекетова.

Просвещение не только начитанность и умение понимать произведения искусства. «Я разумею под именем просвещения, — пишет Жуковский, — приобретение настоящего понятия о жизни, знание лучших и удобнейших средств ею пользоваться, усовершенствование бытия своего, физического и морального». Жуковский бросает упрек писателям, которые не хотят «жертвовать талантом своим такому кругу людей, которых одобрение не может быть удовлетворительно для авторского самолюбия», то есть для крестьян. Жуковский заранее приветствует «человека с дарованием, который захочет посвятить несколько лет жизни своей единственно тому, чтоб языком простым и понятным проповедовать счастие в хижинах земледельца, в обителях нищеты и невежества, чтоб разбудить в простых и грубых сердцах благородные чувства».

Жуковский сознавал трудность вопроса. Все просвещенное общество должно было принять участие в его разработке. «Мы имеем Академии наук и художеств, — писал он, — почему же не можем иметь Академию для просвещения простолюдинов?» Жуковский предложил и приблизительный тип книг для сельских библиотек: «1). *Катехизис морали* — предложенной просто, без всякого витийства, объясняемой примерами — но примерами, взятыми из жизни тех людей, для которых она пред-

лагаема; 2). *Общие понятия о натуре, о главных ее законах, о некоторых явлениях небесных* — совершенное невежество в этом отношении бывает причиною многих смешных и даже вредных предрассудков; 3). *Энциклопедия ремесленников и земледельцев,* — в этой книге была бы предложена, ясно и кратко, теория земледелия и всех ремесел; 4). *Повести и сказки,* которых герои были бы взяты из состояния низкого и представлены на сцене, знакомой самим читателям, — эта книга была бы необходимым дополнением к *Катехизису морали;* 5). *Общие правила, как сохранять свое здоровье;* 6). *Народные стихотворения,* в которых воображение поэта украсило бы природу, непривлекательную для грубых очей простолюдина... Вот чтение, которое могло бы быть истинно для них полезно».

Среди переводных статей «Вестника Европы» — «О нравственной пользе поэзии» Энгеля, полностью приложенная Жуковским к своим представлениям и к программе нравственного воспитания своих читателей. «Мыслить, что удовольствие, получаемое от чтения стихов, может быть одним простым удовольствием, не имеющим никакого влияния на будущее, — пишет он, — есть по моему мнению грубая ошибка. Нет, оно имеет влияние, и влияние *полезное*». Однако, развивает он свою мысль далее, «стихотворцу не нужно иметь в виду непосредственного образования добродетелей, непосредственного пробуждения высоких и благородных чувств; *нравственное* чувство не есть единственное качество души, которое он может и должен усовершенствовать: оно принадлежит к целой *системе разнообразных сил человеческого духа».* Если вся *система* — истинна, то и без прямого намерения стихотворца его стихи будут нести *истину моральную* — воспитывать читателя.

Не случайно Жуковский в одной из статей занялся подробным разбором сатир Антиоха Кантемира. Он называет сатирика «превосходным философом-моралистом», цель которого «не есть невозможное исправление порока, а только предохранение от него души неиспорченной, или исцеление такой, которая, введена будучи в обман силою примера, предрассудка и навыка, несмотря на то, сохранила свойственное ей расположение к добру». Вообще в этой статье Жуковский дал полный очерк истории и теории стихотворной сатиры от Горация и Ювенала до Буало, По́па, Кантемира. Не одно десятилетие эта дельная статья будет в русском обществе главным источни-

ком для изучения жанра сатиры. Работая над ней, Жуковский пользовался теоретическими трудами Сульцера и Эшенбурга, но, как всегда, все переосмысливал и развивал по-своему.

Такой же — развернутой в плане истории и теории жанра — явилась и статья Жуковского «О басне и баснях Крылова» — рецензия на первый сборник басен будущего великого баснописца. Басня, как и сатира, — «нравственный урок», но в отличие от сатиры «украшенный вымыслом». В этой статье, помимо высокой оценки басен Крылова, высказаны Жуковским его соображения о теории *перевода* вообще. «Не опасаясь никакого возражения, — говорит он, — мы позволяем себе утверждать решительно, что подражатель-стихотворец может быть автором *оригинальным,* хотя бы он не написал и ничего собственного. Переводчик *в прозе* есть раб; переводчик *в стихах* — соперник». Если вдвинуть переводимый *оригинал* в ряд *природных идей* — им можно вдохновиться («воспламениться» — говорит Жуковский) так же, как и всем, что есть в природе. Стиль и язык принадлежат переводчику, а кроме того, переведенное входит в тот поэтический мир, который на протяжении своей жизни творит переводчик, — и как переводчик, и как оригинальный поэт. В статье «О переводах вообще, и в особенности о переводах стихов» (переведенной из Лагарпа) Жуковский от себя выдает афористически отточенные мысли о переводе: «Излишнюю верность почитаю излишнею неверностию»; «О достоинстве перевода надлежит судить по главному действию целого»; «Ты хочешь переводить Томсона: оставь город, переселись в деревню, пленяйся тою природою, которую хочешь изображать вместе с своим поэтом».

Еще в «Письме из уезда» устами Стародума Жуковский призвал читателя «каждый день несколько часов посвящать уединенной беседе с книгою», потому что умелое «обращение с книгою приготовляет к обращению с людьми», «возвышает дух», дает сердцу «свободу, благородство и смелость». Но это, говорит он, должно быть чтение «с выбором», а не «ничтожное, унизительное рассеяние, которое обыкновенно мы называем чтением книг». Для такого «рассеяния» и предназначено было чтиво, в изобилии поставлявшееся книгоиздателями. «Русские, говоря только о тех, которые не знают иностранных языков, — пишет Жуковский, — и следственно должны ограничить себя одною отечественною литературою —

любят читать; но если судить по выбору чтения и тем книгам, которые, предпочтительно пред другими, печатаются в типографиях, читают единственно для рассеяния; подумаешь, что книгою обороняются от нападений скуки. Раскройте «Московские ведомости»! О чем гремят книгопродавцы в витийственных своих прокламациях? О романах ужасных, забавных, чувствительных, сатирических, моральных и прочее и прочее. Что покупают охотнее посетители Никольской улицы в Москве? Романы. В чем состоит достоинство этих прославленных романов? Всегда почти в одном великолепном названии, которым обманывают любопытство. Какая от них польза? Решительно никакой: занятие без внимания, пустая пища для ума, несколько минут, проведенных в забвении самого себя».

В статье «О критике» Жуковский говорит, что существуют «два рода читателей: *одни,* закрывая прочтенную ими книгу, остаются с темным и весьма беспорядочным о ней понятием... *Другие* читают, мыслят, чувствуют, замечают прекрасное, видят погрешности — и в голове их остается порядочное, полное понятие о том, что они читали». Второй читатель — уже *критик.* Для более полных суждений о прочитанном он должен развить свой вкус. Тут на помощь ему приходит критик-профессионал, который должен быть «одарен от природы глубоким и тонким чувством изящного». От этого критика Жуковский требует многих качеств: «Истинный критик должен быть и моралист-философ и прямо чувствителен к красотам природы. Скажу более: он должен быть и сам *морально-добрым,* или по крайней мере иметь в душе своей решительное расположение к добру, ибо доброта моральная... служит основанием чувству изящного». Жуковский подсказывает читателям журнала не только путь к самообразованию, но и правильное отношение к русской литературе. Он указывает на недобросовестность многих *переводов* («Их смело можно назвать *оригиналами,* ибо они совершенно никакого не имеют сходства с подлинниками»), на то, что хотя «наша словесность едва начинает выходить из младенчества», все же «в сочинениях Ломоносова, Державина, Дмитриева, Карамзина и еще некоторых новейших найдутся образцы, довольно близкие к тому идеалу изящного, который должен существовать в голове каждого критика».

С середины 1809 года по решению университетского начальства (именно в университете журнал проходил

цензуру) был закрыт в «Вестнике Европы» отдел политики. «Я уже отпел панихиду политике, — сообщал Жуковский Тургеневу в сентябре, — и нимало не опечален ее кончиною». Этот отдел велся Жуковским формально и кое-как заполнялся выборками из европейских газет и журналов. Еще в первом номере «Вестника» Жуковский высказал свое отрицательное отношение к такого рода информации: «Политика в такой земле, где *общее мнение покорно деятельной власти правительства,* не может иметь особенной привлекательности для умов беззаботных и миролюбивых: она питает одно любопытство».

В августе 1809 года Жуковскому в соиздатели журнала был предложен ректоратом университета Каченовский, прежний издатель «Вестника Европы» (он оставил журнал из-за того, что был перегружен работой в университете как адъюнкт-профессор и доктор философии и изящных наук). Это был человек тридцати четырех лет, с крепким характером и большой жизненной закалкой. В молодости он служил в армии. Потом был чиновником в Харькове, позднее секретарем графа Разумовского — попечителя Московского университета. В 1805 году Каченовский уже магистр философии и начинает читать в университете лекции по риторике. С этого же времени он редактор «Вестника Европы».

В 1808 и 1809 годах Каченовский писал для журнала ученые статьи — Жуковский охотно с ним сотрудничал, подружился и даже крестил его сына Георгия в 1808 году. Но Каченовский в области литературы был противник Карамзина и его школы и с сочувствием относился к славянофильским теориям Шишкова. То, что они как-то сошлись, на чем-то порешили, — заслуга одного Жуковского, который, не поступаясь ничем своим, умел понять и даже во многом принять (если был резон) чуждого ему по духу человека.

Труженику Каченовскому нравилась огромная работоспособность Жуковского. И все же совсем не рад был Жуковский, когда в августе 1809 года был заключен новый контракт с университетской типографией, по которому редакторов для «Вестника Европы» назначалось *два.* Так Московский университет начал вытеснение из журнала — лучшего русского журнала того времени — Жуковского, который сразу понял это, но решил не сдавать пока своих позиций *совсем.* Все хлопоты по составлению книжек, на которых еще ставилось имя Жуковского как издателя, он переложил на Каченовского — равно и все

типографские дела. Сам он, как они условились, решил снабжать журнал своими материалами — по два листа (тридцать две печатные страницы) в каждый номер. Такая перемена, как пишет Жуковский Тургеневу, «ничуть не умалила» его «рвения», он все же хотел сделать журнал по-настоящему «хорошим». «Надеюсь, — писал он Тургеневу, — что «Вестник» на следующий год будет занимательнее, любопытнее, разнообразнее». Этим надеждам не суждено было сбыться... Каченовский ничего не хотел от Жуковского, кроме его собственных стихов, которые были в большой славе...

Уже с мая 1809 года Жуковский живет в Мишенском, в той родной его душе комнате во флигеле, где еще немец-учитель ставил его коленями на горох. Он съехал от Антонского с книгами и мебелью. Снова — тишина и солнце, благоухание трав, синее небо над рощами и холмами! Снова судьба возвратила его на родину. Снова — неопределенность будущего.

Екатерина Афанасьевна с дочерьми уехала в свое орловское имение Муратово, доставшееся ей по наследству от отца, где она решила вообще обосноваться. Там не было господского дома, и Протасовы поселились пока в крестьянской избе. Тут же рядом, на реке Орлик, находилась деревушка Холх, принадлежавшая полковнику Ладыженскому, который подыскивал для нее покупателей.

Место было прекрасное. Летом 1809 года Жуковский поехал туда — от Белёва до Болхова по Киевскому тракту, потом по Нугóрскому и дальше — через Борилово, Большую Чернь, Лóкно... Больше ста верст от Мишенского до Муратова. Места очень похожи на белёвские. С косогора на косогор тянутся поля, белеют на холмах церкви, шумят дубовые рощи, золотою желтизной радуют взор заросли пахучего донника... Вот проехал Голдаево, пустынное и безлесное Бунино... Коляска прыгает в глубоких колеях... Солнце печет. Как радостно встретили его Саша и Маша, даже Екатерина Афанасьевна! Их жилище — большая изба с прирубами и широкой террасой — показалось ему очень уютным. Они уже успели рассадить цветник у крыльца, а к Орлику была проведена крестьянами усыпанная песком аллея.

Обойдя окрестности, Жуковский одобрил намерение Екатерины Афанасьевны строить здесь усадебный дом и вызвался быть архитектором и руководителем работ. Место на берегу Орлика было выбрано прекрасное. Усадьба должна была расположиться у дубовой рощи на

горе — вниз от нее намечены были цветники и парк. Орлик был загорожен плотиной со шлюзом, и получился огромный чистый пруд... С одной стороны его — имение Протасовой, с другой — деревня Холх. Началось строительство. Работали болховские плотники. Работал Жуковский, вымерявший и вычислявший все по своим планам. Работали Маша и Саша, сажавшие цветы в новом парке, где мужики проводили дорожки, копали, насыпа́ли горки, строили беседку, сажали деревья.

Вся окрестность звенела от ударов топора по звонким бревнам. Венец за венцом вырастало главное здание, потом флигеля, людская, амбары, дворы и прочее... Эти работы затянулись до весны следующего года. Осенью Протасовы вернулись в Белёв. С начала сентября Жуковский живет в Мишенском, углубившись в свои работы. «Пишу стихи, — сообщает он 15 сентября Тургеневу, — и после опять примусь за стихи, — следовательно, проза к черту!.. планов и предметов в голове пропасть, и пишется как-то скорее и удачнее прежнего». Делалось и другое, давно задуманное дело — собирались стихи для многотомной хрестоматии русской поэзии. Уже была договоренность с типографией Московского университета — намечалось первые тома выпустить в следующем году. «Я издаю не *примеры,* — пишет он Тургеневу, — но полное собрание лучших стихотворений российских — книгу, которая могла бы заместить для людей со вкусом и для не весьма богатых людей собрание всех сочинений русских поэтов, каждого порознь. Беру из каждого лучшее... Вот расположение моего «Собрания»: оно должно состоять из пяти, если не из шести, полновесных томов; в первых двух или трех *лирическая поэзия;* в следующих по порядку: *басни, сказки, элегии* и прочее и прочее до *дистиха...* Все уже списано и приведено в порядок».

Вольно или невольно — Жуковский подводил итоги, перебирая все, что было написано по-русски в стихах. Он не пропустил ни одной стихотворной книги, выпущенной со времен Кантемира и Ломоносова, ни одного журнала. Перечитал огромное количество стихотворений. Сколько забытых имен вызвал он из небытия! Это была первая в России поэтическая антология. Жуковский предвидел дальнейшее распространение изданий такого типа и в предисловии к антологии писал, что такие «библиотеки стихотворцев» нужно снабжать критическими вступлениями, в которых необходимо определить «отличительный характер русского стихотворства, изобразить истори-

чески и начало его и ход, и постепенное образование». Он считал, что такая задача «требует сил Геркулесовых», то есть огромного критического таланта.

В октябре Жуковский снова в Москве — по условию он обязан был писать для «Вестника Европы» о театре,— Каченовский купил ему постоянный билет в кресла. Театральным критиком ему еще не приходилось быть. Но теорией драмы он занимался почти постоянно. Еще в 1805 году проработал он раздел «Драма» в фундаментальном — шестнадцатитомном — «Лицее» Лагарпа, изданном в Париже в 1799—1805 годах (только с 1810 года начали выходить его тома в русском переводе), — он сделал большие выписки, сопроводив их собственными размышлениями. Так же внимательно штудировал он и «Письмо к д'Аламберу о театре» Руссо.

Жуковский исследует теорию классицистской драмы, но авторитеты не подавляют его. Он уже знает Шиллера. Его интересует русский драматург Владислав Озеров, автор имевших огромный успех на русской сцене трагедий «Эдип в Афинах» (1804), «Фингал» (1805), «Димитрий Донской» (1807), «Поликсена» (1809). Каждая из этих пьес была событием в театральном и литературном мире. Жуковскому особенно нравились *стихи* трагедий Озерова — монологи его героев часто были великолепными *элегиями*. Вот только «Поликсена», говорят, не задалась как-то — Шаховской распорядился после двух спектаклей (а ведь были полные сборы!) снять ее с репертуара. Театр не заплатил автору условленных денег, а Озеров уже был без места, жил в деревне, и в пенсии ему было отказано...

Жуковский просил Тургенева выслать ему «Поликсену» в отдельном издании. «Вышла ли «Поликсена»? — спрашивает он. — Доставь ее мне поскорее. По дурной критике, напечатанной в «Цветнике», заключаю, что план этой трагедии очень прост и отзывается древностью. Между приведенными стихами в пример — есть прекрасные, но мало. Озеров с великим талантом и чувством. Я беспрестанно ссорюсь за него с Карамзиным, который называет «Фингала» дрянью. А «Фингал» делает честь *нашей поэзии:* три прекрасных характера, Моины, Фингала и особливо Старна, который весь принадлежит Озерову, ибо в хороших французских трагедиях я не знаю ни одного *мстительного отца»*. Эта драма написана была на сюжет третьей песни поэмы Оссиана «Фингал» — в ней не было почти ничего классицистского; вообще, как

и все пьесы Озерова, это была не столько драма, сколько *лирическая поэзия.* Вместо *действия* зритель слушал элегические стихи и следил за *движениями души.* Аплодировали не столько актерам, сколько стихам... Жуковский и искал в театре классицистов не театра разума, а *театра чувств* — под этим углом он читал Расина и Корнеля, Арно и Вольтера.

«Всегда то действие сильнее, которое основано более на чувстве, нежели на убеждении рассудка», — записал Жуковский на полях «Письма к д'Аламберу о театре» Руссо. Осенью 1809 года он идет в театр, так сказать, со «своей меркой». В Москве — какой счастливый случай выпал новому рецензенту! — гастролировала знаменитая французская актриса Жорж. Она играла в «Федре» Расина, «Дидоне» Помпиньяна и «Семирамиде» Вольтера. В течение осени и зимы 1809 года Жуковский напечатал в «Вестнике Европы» три больших отчета — он отрецензировал игру Жорж в этих трех пьесах, побывав на каждой по нескольку раз (он писал еще — но бегло — о знаменитом танцовщике Дюпоре и комике Фрожере).

Актриса Жорж в самом деле была великолепна. Она, как пишет Жуковский, «торжествует в тех сценах, которые требуют величия и силы; в внезапных переходах из одного чувства в другое, противное, например, из спокойствия в ужас, от радости к сильной печали». Такие роли, как *Федра,* — полное и беспредельное ее торжество в спектакле. «Эта роль может назваться оселком трагического таланта в актрисе. Страсть Федры — единственная по своей силе — изображена Расином с таким совершенством, какого, может быть, не найдем ни в одном произведении стихотворцев, и древних и новых. Автор имел искусство (но искусство, известное одним только гениям первой степени) основать всю трагедию свою не на происшествиях, необычайных, возбуждающих любопытство, изумление, ужас, но просто на одной сильной страсти, которой раскрытие, оттенки и изменения составляют единственно сущность его трагедии».

Жуковский отмечает недостатки игры Жорж (их мало): «Надобно отдать справедливость девице Жорж... зрители ни на минуту не могли забыть, что они видят перед собою несчастную жертву непроизвольной страсти». «Дидона» Помпиньяна оказалась холодной псевдоклассической поделкой на сюжет, взятый из «Энеиды». Жорж не смогла здесь быть на высоте своего дара. Но она снова окрылилась и стала собой в «Семирамиде» Вольтера,

«самого разительного из трагиков французских», по словам Жуковского. В этой великолепной, полной потрясающих страстей трагедии «Жорж от начала до конца, кроме некоторых — весьма немногих — мест, отвечала тому великому характеру, который изобразил нам стихотворец».

Александр Иванович Тургенев сообщает брату Николаю в Геттинген: «Жуковский пишет прекрасно об игре Жорж, которая восхищает теперь Москву своим трагическим талантом. Никогда еще на русском такой умной и тонкой критики не бывало, как критика Жуковского. Прекрасный талант!» Зимой же 1810 года Жуковский напечатал в «Вестнике Европы» разбор трагедии Кребийона (это драматург первой половины XIX века) «Радамист и Зенобия», переведенной с французского Степаном Висковатовым, который занимал место переводчика при дирекции петербургских театров. Перевод был плох — коряв и неточен, но Жуковский в этой статье снова поднял вопрос о поэтическом переводе. «Переводя стихотворца, — пишет Жуковский, — весьма полезно присоединить к основательному понятию о рифмах богатых и бедных, о цезуре, о грамматике, о том языке, с которого переводишь, и еще о том, на который переводишь, и *дарование стихотворное* — и чем оно ближе к дарованию образца, тем лучше для подражателя; но я позволяю себе думать, что оно непременно должно быть с ним *одинаково*». При этом — «переводчик стихотворца есть в некотором смысле сам творец оригинальный. Конечно, первая мысль, на которой основано здание стихотворения, и план этого здания принадлежат не ему... Но, уступив это почетное преимущество оригинальному автору, переводчик остается творцом *выражения*». Жуковский требует от переводчика Лафонтена воображения и чувств, «почти одинаковых с Лафонтеновыми», от переводчика Горация — его «любезного воображения», «меланхолической нежности», «глубокого чувства натуры». Переводчик трагедий «должен говорить языком страстей; следовательно и самые законы страстей должны быть ему известны... В противном случае изображаемые им герои, несмотря на пособие оригинала, при всем богатстве рифм, при самом усердном наблюдении цезуры и знаков препинания, будут говорить — бессмыслицу!»

В это время Жуковский сам много переводит; не считая *десятков* различных статей, писем, отрывков и т. п. (в прозе) для «Вестника Европы», он перевел несколько стихотворений из Шиллера (балладу «Кассандра», боль-

шое стихотворение «Счастье», песню «Путешественник»), из Гёте («Моя богиня»), Горация («К Делию»), Мильвуа («Песнь араба над могилою коня»), Ульцена («К ней»), еще раз обратился к «Леноре» Бюргера и начал «переводить» ее — то есть совершенно переделывать — в совсем другой тональности — в отличие от «Людмилы» своей (так начал он добро-лукавую, милую, полную отзвуков русского фольклора «Светлану»...). Немецкий роман Христиана Шписа «Двенадцать спящих дев» подал Жуковскому идею к написанию «русской» — с русским древним колоритом — баллады «Громобой», «страшный», сумбурный роман Шписа о привидениях, грешниках и т. п. начал превращаться под пером Жуковского в стройное лирическое повествование в стихах. Получилась целая поэма с драматическим, сказочным сюжетом, с колоритным, трагическим героем. И легко вплетены в ткань баллады картины природы, чистые, элегические:

И ласточка зари восход
   Встречает щебетаньем;
И роща в тень свою зовет
   Листочков трепетаньем;
И шум бегущих с поля стад,
   С пастушьими рогами
Вечерний мрак животворят,
   Теряясь за холмами...

Жуковский снова был на распутье — от журнала он отходил, так как слишком разны были у него с Каченовским взгляды. О будущем ему трудно было представить себе что-нибудь определенное. Твердым и надежным в жизни Жуковского было одно стремление *работать*. Неизменной была (и неизменной останется — он это твердо знал) и его любовь к Маше. Он думал о весеннем отъезде Протасовых в Муратово. Там уже почти все отстроено, прилажено, есть мебели, дворня, лошади.

Зимой 1810 года он получил от Елизаветы Дементьевны весть, совершенно неожиданную для себя и радостную, — ту самую деревушку, которая стоит на другой стороне муратовского пруда, полковник Ладыженский продает, и Марья Григорьевна Бунина вместе с Елизаветой Дементьевной хлопочут о приобретении половины ее для Жуковского. Переговоры пошли так успешно, что уже к весне 1810 года Бунина оформила купчую на свое имя, уплатив деньгами Елизаветы Дементьевны и частично своими. Решено было сделать Жуковскому дар. В деревушке Холх было семнадцать крепостных мужского

пола, это вместе с бывшими во владении Жуковского Максимом (его слугой). Васькой и Ефимкой (которые находились где-то в бегах) и тремя братьями Казимировыми, (которые жили в Туле, не платили барину оброка и считали себя свободными) составило двадцать три человека.

Жуковский сразу начал строить планы жизни в Муратове — он решил летом перенести в Холх на берег пруда избу с прирубами, в которой жила Протасова до постройки своего дома, разбить сад, устроить кабинет, привезти книги, работать... Стоило в несколько минут перейти по тропе через плотину — и вот уже родной ему дом, родной, дорогой потому, что в нем живет Маша... Да и жить в такой близости! Окно в окно! И чистая поверхность воды между ними... И душа летит к душе... И беседа без слов может длиться бесконечно!

Но зиму и всю весну 1810 года Жуковский провел в Москве. «Столица российского дворянства» (по выражению Карамзина) летом отдыхала по имениям, а зимой развлекалась. Эта Москва пуще всего боялась скуки: любила танцы, праздничные гулянья, чудаков, карты, театр, шумные и жирные застолья, — и была полна слухов и сплетен. Человека в обществе встречали «по одежке» — провожали по ней же. На писателей «свет» смотрел с плохо скрываемым пренебрежением, полагая, что «должность» их — развлекать. Кое-кто из литераторов — например Петр Шаликов или Василий Пушкин — имел слабость к светским гостиным. Но Карамзин, Жуковский, Вяземский и Батюшков, приехавший в декабре 1809 года из своей вологодской деревни, предпочитали балам и маскарадам скромные литературные беседы у Федора Иванова, стихотворца и драматурга, и веселые дружеские застолья у Вяземского. Собирались у Сергея Николаевича Глинки, у Соковниных на Пречистенке, где жил Жуковский. Зимой Жуковский познакомился с Батюшковым, стихи которого он уже заметил и оценил по достоинству. Батюшков, несмотря на свой молодой возраст — ему было двадцать три года, — проделал два военных похода: в 1807-м в Пруссию во время войны с Наполеоном и в 1808—1809 годах в Финляндию и на Аландские острова во время войны со Швецией.

Встретив Батюшкова на Дмитровке у Карамзина, Жуковский был немного озадачен: он увидел не мужественного воина со шрамами и не богатыря. Батюшков — легок и мал, мундир не придавал ему ни блеска, ни воинственности. Огромная треугольная шляпа, которую

он вертел в руках от неловкости и замешательства, делала его даже смешным. Однако тихий голос его был приятен, белокурые волосы детскими локонами вились на висках. Они незаметно приглядывались друг к другу. В голубых глазах Батюшкова проскальзывала усмешка: Жуковский показался ему медведем, несмотря на свою стройность и даже красоту, так как он словно все нарочно делал для того, чтобы испортить свою наружность, — сутулился, неловко двигался, цепляя ногами за ковры и стулья, на нем был слишком широкий и длинный сюртук, произведение его слуги Максима. А Жуковский нашел, что нос Батюшкова похож на клюв попиньки-попугайчика... «Попинька-Марс!» — добродушно подумал он. Тем не менее они сразу и навсегда стали друзьями.

Батюшков пишет своему другу Гнедичу в Петербург: «Спасибо за «Илиаду». Я ее читал Жуковскому, который предпочитает перевод твой Кострову. И я сам его же мнения». Гнедич продолжал оставленный покойным Ермилом Костровым стихотворный — александрийским стихом — перевод поэмы Гомера и печатал отдельные песни ее (вскоре он начнет все заново переводить гекзаметром). «Поверь мне, мой друг, — продолжает Батюшков, — что Жуковский — истинно с дарованием, мил и любезен, и добр. У него сердце на ладони... Я с ним вижусь часто и всегда с новым удовольствием». И позднее: «Жуковского я более и более любить начинаю». А Жуковский пишет Вяземскому: «Ты, я да Батюшков — должны составить союз на жизнь и смерть».

Московские литераторы приняли Батюшкова как своего единомышленника. Его сатирическая поэма, озорное «Видение на берегах Леты», высмеивала староверов от литературы. В Петербурге она вызвала гнев не только Шишкова, но и Державина. Один Иван Андреевич Крылов отнесся к ней миролюбиво, впрочем, был он в сатире единственный положительный герой. «Каков был сюрприз Крылову, — пишет Гнедич Батюшкову о чтении поэмы в доме Алексея Оленина. — Он сидел истинно в образе мертвого; и вдруг потряслось все его здание: у него слезы были на глазах». Но смех Крылова прозвучал в Петербурге одиноко. Приверженцы Шишкова начали собирать свои силы. В 1810 году состоялось первое заседание организованного ими литературного общества — Беседы любителей русского слова. Были приглашены и почетные гости — важные чиновники. Тургенев пишет Жуковскому

в марте: «Я был слушателем первой Беседы. Шишков доказывал бедность и плохое состояние нашей словесности и доказал — своей речью; превозносил старую словесность, поставляя ее выше греческой, латинской и всех иностранных, — ему неизвестных. Слова его есть одна только беспорядочная выписка из хороших и дурных русских авторов, наполненная восклицаниями и уверениями, что язык славяно-российский образованнее, обширнее, богаче и проч. и проч. древних и новейших языков».

Батюшков, как и все карамзинисты, выступал против архаизации языка и против системы правил, существовавшей в классицизме. Батюшков, как и Карамзин, считал, что вкус к изящному вернее неподвижных правил. Ему нравился чистый и богатый язык Дмитриева, Карамзина, Жуковского. В Москве он нашел свое общество. Друг его Гнедич, недоверчиво относившийся к «московской» литературе (а между тем начинал он действовать как писатель именно в Москве во времена «Сельского кладбища» и карамзинского «Вестника Европы»), журил его, звал в Петербург. Слыша от него постоянные похвалы Жуковскому, он сам приехал в Москву, пытался увезти Батюшкова, но это не удалось. «Батюшкова я нашел больного, — писал он приятелю, — кажется — от московского воздуха, зараженного чувствительностью, сырого от слез, проливаемых авторами, и густого от их воздыханий».

Но Гнедич был не прав. Батюшков не сентиментальничал. Он даже высмеял в своем «Видении» — вместе с шишковистами — одного из карамзинистов: Шаликова, назвав его «пастушком и вздыхателем». Это было справедливо. Вместе с Батюшковым Гнедич побывал на Пречистенке у Жуковского. Они познакомились. «Я помню всегда те немногие минуты, которые мне было так приятно провести с вами в вашу бытность в Москве, — писал Жуковский Гнедичу позднее. — Повторяю то же, что сказал вам на Пречистенке в своей комнатке, что желаю искренно вашей дружбы».

Жуковский стал главной фигурой в литературной Москве. Соратники его стеной стояли перед ним, как перед Карамзиным некогда. Все стрелы *славенофилов* (так еще в 1804 году назвал шишковистов И. И. Дмитриев, с 1810 года по должности министра юстиции живший в Петербурге и присутствовавший на открытии Беседы в доме Державина на Фонтанке) принимались москвичами-карамзинистами как бы летящими в Жуковского.

Он не сразу понял, что из него делают *чьего-то главного противника*. Когда Василий Львович Пушкин, распалившийся против Беседы, александрийским торжественным стихом написал послание «К В. А. Жуковскому» и начал везде в Москве его читать, Жуковский почувствовал какое-то неудобство, — неуместность или неполную резонность этих боевых кличей, связанных парными рифмами. Он отказался поместить это послание в «Вестнике Европы», объясняя это Тургеневу тем, что стихи Пушкина «слабы, заключают в себе одну только брань, которая есть бесполезная вещь в литературе, — впрочем, поместить их более не хотел Каченовский, не желая заводить ссоры, с чем я и согласился. Шишкова почитаю суеверным, но умным раскольником в литературе, мнение его о языке то же, что религия раскольников, которые почитают священные книги более за то, что они старые, и старые ошибки предпочитают новым истинам, а тех, которые молятся не по старым книгам, называют богоотступниками. Таких раскольников надо побеждать не оружием Василия Львовича, слишком слабым и нечувствительным». (И все же Жуковский счел возможным напечатать это произведение Пушкина в следующем году в одном из томов своего «Собрания русских стихотворений» — перед этим, в конце 1810 года, послание появилось в петербургском «Цветнике».)

Только в июне 1810 года вырвался, наконец, Жуковский из Москвы. Два летних месяца он делил между Мишенским и Муратовом. В муратовской деревушке Холх уже был собран перенесенный сюда временный дом Протасовых. По обе стороны его насажены были деревья, перед ним, на берегу пруда, цветник. Очень дельно всеми работами распоряжался деревенский староста Ларион Афанасьев, старавшийся угодить новому барину. Жуковский поверил наконец, что тут, в Холхе, будет его собственный угол, родное место, где он проведет всю свою оставшуюся жизнь в чтении и трудах. К следующему году он рассчитывал перевезти сюда Елизавету Дементьевну. А там кто знает? Может, Провидение смягчит сердце Екатерины Афанасьевны... И Маша... Он представил себе на минуту свою жизнь с Машей в этом доме...

Муратовский дом Протасовых был свеж и светел. В нем постоянно толклись любопытные соседи по имению — Апухтины, Боборыкины, Павловы, Пушкарёвы... У Саши была новая гувернантка-француженка Шарлотта Моро де ла Мельтьер, писательница (переводчица

«Песни о Нибелунгах»), некрасивая и не очень удачливая, но сентиментальная и говорливая. Чаще других приезжал двоюродный брат Маши и Саши — Александр Алексеевич Плещеев со своей красавицей женой Анной Ивановной, урожденной графиней Чернышевой. Это был умный, образованный и очень веселый и шумный человек. Он беспрестанно острил, хохотал, сочинял по-французски шуточные стихи, затевал юмористические спектакли, игры, словом, с ним время летело так незаметно, что Жуковский, охотно принимавший участие во всех затеях, иногда ужасался...

Анна Ивановна имела прекрасный голос и охотно пела. Пел и Жуковский — хотя и не очень охотно, — его просили (у него тоже был голос — мягкий и красивый бас). Изредка все муратовские жители ездили за сорок верст в Большую Чернь, имение Плещеевых под Болховом на реке Нугрь. Забавы продолжались там. 20 августа весело отпраздновали в Муратове день рождения Саши Протасовой. Маша всегда была при матери. Ни в Муратове, ни в Черни Жуковский не мог быть с ней один на один. Их положение делалось до отчаяния трудным. Вырваться из этого беспрестанного празднества и в тишине — душа с душой — побыть вместе не удавалось. Маша потихоньку от матери печалилась, плакала. Вдруг стала кашлять, чувствовать слабость... Жуковский передавал ей письма через других. Оглушенный весельем и грустью, а также стоверстной тряской в экипаже, он возвращался в Мишенское и садился в своем флигеле за книги.

Осенью он получил от Тургенева посылку с книгами: пять томов «Нестора» Шлёцера на немецком языке, вышедшего в Геттингене в 1808—1809 годах (Шлёцер преподавал в Геттингенском университете русскую историю), книги Гебгардта и Тунмана о древних славянах. Все эти труды советовал Жуковскому прочесть Карамзин. Друзья со всех сторон требовали от Жуковского поэмы — большой, эпической поэмы в духе Тассо или Ариосто, но русской. Жуковский не чувствовал себя готовым к такому труду, но начал свыкаться с мыслью, что, пожалуй, он *обязан* создать русский литературный эпос... Но чтобы сделать его истинно русским, надо изучить как русскую историю, так и все бывшие прежде в мировой литературе эпические произведения начиная от Гомера. Время действия выбралось как-то само собой: княжение Владимира Красное Солнышко... Вокруг него объединены все знаменитые и могучие богатыри... Киев-град... Что касается

плана поэмы, пишет он Тургеневу, «то он только что посеян в моем воображении, а созреет тогда только, когда семена будут напитаны теми материалами, которых я от тебя теперь требую». «Читая русскую историю, — продолжает он, — буду иметь в виду не одну мою поэму, но и самую русскую историю... Особенно буду следовать за образованием русского характера, буду искать в ней объяснения настоящего морального образования русских».

Жуковский читает русские летописи в изданиях XVIII века, «Русскую Правду», «Духовную Владимира Мономаха», «Историю Российскую» М. Щербатова, «Ядро российской истории» А. Хилкова, «Историю Российского государства» Штриттера, «Разговоры о Новгороде» Болховитинова и «Древние русские стихотворения» Кирши Данилова (все эти книги были в библиотеке Жуковского). «Для литератора и поэта история необходимее всякой другой науки», — говорит Жуковский. В это же время он начал заниматься переводом «Слова о полку Игореве». Шлёцер в «Несторе» высказал сомнение по поводу подлинности «Слова о полку Игореве». Жуковский пишет Тургеневу, что подобные утверждения неверны, что «Слово» имеет «наружность неотрицаемой истины». Тургенев советует для поэмы выбрать не Владимира, а Святослава. «На твое мнение предпочесть Владимиру Святослава теперь не отвечаю ничего, — пишет ему Жуковский, — ибо мой план есть только одно семя. Владимир есть наш Карл Великий, а богатыри его — те рыцари, которые были при дворе Карла; сказки и предания приучили нас окружать Владимира каким-то баснословным блеском, который может заменить самое историческое вероятие. Читатель легче верит вымыслам о Владимире, нежели вымыслам о Святославе, хотя последний по героическому характеру своему и более принадлежит поэзии, нежели первый. Благодаря древним романам ни Ариосту, ни Виланду никто не поставил в вину, что они окружили Карла Великого рыцарями, хотя в его время рыцарства еще не существовало... Я позволю себе смесь всякого рода вымыслов, но наряду с баснею постараюсь вести истину историческую, а с вымыслами постараюсь соединить и верное изображение нравов, характера времени, мнений... Вот, не хотел ничего говорить о Святославе и Владимире, а наговорил с три кузова! О, перо неугомонное и непостижимое!»

Сочинение было задумано грандиозное. Жуковский завел тетрадь с названием «Мысли для поэмы» и вносил

туда все, что придумывалось: стихотворные наброски, планы. Перечитывание эпических поэм (Ариосто, Тассо, Камоэнс, Виланд...) он начал с Гомера. «Илиаду» и «Одиссею» он читал параллельно в английском и немецком переводах. «Эти два перевода, — писал он Тургеневу, — по-настоящему надобно читать вместе: один увеличит цену другого; Пóпова щеголеватость сделает приятнее Фоссову простоту, а Фоссова сухость сделает еще приятнее Пóпову блистательную поэзию». Начал Жуковский заниматься и древнегреческим языком по учебнику Якобса, чтобы прочитать Гомера в подлиннике. Появилась у него на столе и латинская грамматика Лебедева. («Воображаю, что со временем буду читать Виргилия и Тацита».)

Жуковский опять ощущает себя на перекрестке, у какого-то начала. При полном доверии к судьбе он строит планы решительного переворота в своей жизни. Свое былое он видит в каком-то темном свете. «Вся моя прошедшая жизнь, — доверительно рассказывает он Тургеневу, — покрыта каким-то туманом *недеятельности душевной*... Деятельность служит мне лекарством от того, что было прежде ей помехою. Если романическая любовь может спасать душу от порчи, зато она уничтожает в ней и деятельность... Этот один убийственный предмет, как царь, сидел в душе моей по сие время. Но теперешняя моя деятельность, наполнив душу мою (или, лучше сказать, *начиная* наполнять), избавляет ее от вредного постояльца. Если бы он ушел сам, *не уступивши* места своего другому, то душа могла бы угаснуть; но теперь она только переменила свое направление и, признаться, к совершенной своей выгоде».

Так пытается Жуковский привести в равновесие свою душу, вытеснить из нее *работой* назревающую *трагедию любви;* скорее всего — обмануть себя. «Видя, как все рушится, — пишет он, — иногда приходит мне в голову мысль, что, может быть, впереди готовит для нас судьба что-нибудь ужасное». Он цитирует Тургеневу свой дневник, в котором — то же: «Прежняя моя лень весьма много происходила и *от любви*... Теперь и любовь уступила *трудолюбию».* Идея *труда* захватывает его: «Настоящая минута труда уже сама по себе есть плод прекрасный»; «Приобретение сведений есть само по себе уже наслаждение, а имея в виду прекрасную цель, это наслаждение удваиваешь».

Нахлынувшая на него любовь к деятельности удивляет

его самого. «Нахожу удовольствие даже и в том, чтобы учить наизусть примеры из латинского синтаксиса», — без тени юмора пишет он другу. Он идет в своих фантазиях дальше: «Надобно осудить себя на несколько лет *ученической деятельности* или *приготовительной*, дабы набрать сведения; надобно не скучать трудностями, более всего дорожить временем и твердо держаться порядка... Работа — средство к счастию, она же и счастие... Между тем работа, приносящая пользу и соединенная с некоторым успехом, удивительное имеет влияние и на самое *моральное состояние души*. Никогда я не был так расположен ко всему доброму и во всех других отношениях так хорош, как теперь... И не должно ли из этой привычки к труду выйти наконец и большое совершенство моральное; следовательно, трудясь, не достигну ли верховной цели человека? О! как благодарю ту минуту, в которую сделался счастливый перелом моих мыслей».

Все это пишет человек, который со времен окончания пансиона ни разу (за редкими исключениями) не встал позже пяти часов утра. И рабочий день его везде — в Москве или Мишенском — продолжался, как правило, до шести часов вечера. Больше, чем он, заниматься было уже, кажется, невозможно... Что же такое — эти упреки себе в лени, недеятельности и столько слов о трудолюбии? Не попытка ли это заслониться от надвигающейся катастрофы?

Два раза в неделю приходила из Москвы корректура «Собрания русских стихотворений», — до конца года должны были выйти два тома. Той же осенью Жуковский начал переводить драмы: Лагарпа — «Филоктет», Шиллера — «Дон Карлос» и «Дмитрий Самозванец» (они все остались в набросках).

Он заполнял в каждом номере «Вестника» свою долю листов; это были — в основном переводные — рассказы о Руссо, Гайдне и Ривароле, отрывок из путешествия Шатобриана в Грецию и Палестину, небольшие повести Жанлис и Эджворт, «истинное происшествие» о явлении привидений где-то в Богемии, сказки («Три финика», «Лютик, цветы и сон», «Горный дух Ур в Гельвеции»), статьи Энгеля, Лагарпа, но самое существенное для Жуковского из всего этого — «Несколько писем Иоанна Миллера к Карлу Бонстеттену» (книгу писем швейцарского историка Миллера прислал Жуковскому Тургенев, — яркая переписка двух ученых стала образцом для друзей, — Жуковский в письмах иногда стал величать Тургенева «Мил-

лером», «любезнейшим Миллером» и «Миллером-Тургеневым»). Об этих письмах Жуковский сказал, что «они переведены хорошо, ибо я переводил их с истинным удовольствием». Каченовский был недоволен тем, что Жуковский отделывается переводами. Он вообще не был доволен Жуковским. Осенью между ними возникла такая почти уже не дружеская письменная перепалка:

Каченовский: Я от вас несколько раз слышал, что вы предоставляете мне издание «Вестника» на 1811 год... Я затвердил это, денно и нощно занимаясь планом своим.. Ректор сказал мне, что университет находит пользу свою в том, чтобы я был издателем... Ваши пиесы будут занимать у меня почетнейшее место... Мы с вами не одного мнения о некоторых предметах... Писать критику и выбирать мелкие статьи гораздо труднее, нежели переводить из готовой книги... Вы немножко хитры, но бог с вами, любезный кум! Я все-таки желаю вам добра и никак не хочу потерять вашу дружбу, хоть мне и кажется, будто бы вы хотели оттереть меня... Эй, кум! Я вам охотно сдал журнал, когда он был доведен мною до цветущего состояния, а вы так ли со мною поступаете?

Жуковский: «Вестник», доведенный *вами* до цветущего состояния, не поблекший и *при мне*, сохранивший древнее свое и *при нас*, принадлежит вам теперь безраздельно... Но дело пока не о том... Вы пишете: «Позвольте сказать, что вы несколько хитры...» и т. д. Другими словами: любезный кум, вы вздумали хитрить, ибо нельзя не хитрить, когда дело идет об деньгах... Позволите ли спросить, Михайло Трофимович, у кого заимствовали вы такой язык и по какому праву говорите им со мною?.. Находясь в деревне, я никаких не имею способов, если бы и хотел *оттереть* вас от издания. Впрочем, этого и хотеть мне невозможно, ибо я располагаюсь бо́льшую часть года жить в деревне... Я живу в деревне, а вы — профессор университета, могущий иметь влияние на дела его, состоите налицо, и типография от вас в двух шагах... После нескольких лет короткого дружеского знакомства мог ли я вообразить, чтобы вы когда-нибудь сказали мне: «Ты хотел *оттереть* меня от издания «Вестника»...

Каченовский: Право говорить с вами откровенно и иногда шутить основывал я на коротком знакомстве между нами. Но знакомство сие, милостивый государь мой, не обязывало меня читать жестокие ваши сарказмы и укоризны, которых ни один честный человек переносить не должен и от которых прошу впредь меня избавить.

Словом, «Вестник Европы» уходил из рук Жуковского; Каченовский-то именно и *оттирал* его. Теперь прозаические переводы для этого журнала оставались лишь возможностью заработка, но и их в следующем году Каченовский поместит втрое меньше, чем в предыдущем. Безотказно и охотно он печатал лишь стихи Жуковского...

Пока Жуковский собирался в Орел, стряслась беда, — 13 мая в Мишенском скончалась в возрасте восьмидесяти трех лет Марья Григорьевна Бунина, а спустя десять дней в Москве, приехавшая к сыну со скорбной вестью, Елизавета Дементьевна... Жуковский похоронил ее на кладбище Новодевичьего монастыря и поставил над могилой скромный камень с буквами «Е. Д.». Он почувствовал себя сиротой. Грустный, с набегающими на глаза слезами, приехал он в Мишенское, поклонился праху Марьи Григорьевны в часовне-усыпальнице. Сразу же отправился в Холх, в свой одинокий домик на берегу пруда... Здесь для Жуковского началась самая странная, самая фантастическая жизнь.

Решившись, наконец, жить вместе с матерью, он лишился ее — в сущности, они так и не успели пожить вдвоем, привыкнуть друг к другу. Разом кончилась его «борьба с любовью» — стоило лишь ему один раз увидеть Машу, как вся душа его устремилась к ней. Ей было уже восемнадцать лет. Он стал ежедневно видеть ее, говорить с ней — они гуляли, читали вслух, играли на фортепьяно, но всегда не одни. И в его домик она приходила не одна. К Екатерине Афанасьевне и вообще-то нельзя было подступиться, а теперь она была в двойном трауре — мрачная, строгая, недоступная. Жуковский вынужден был делать вид, что любовь его к Маше прошла, напускать на себя беспечность — это было условие, под которым он мог бывать в муратовском доме. Но Екатерина Афанасьевна не верила ни ему, ни Маше и не спускала с них глаз.

В муратовском доме Жуковский затевал бесшабашно-веселые игры, чему особенно была рада жизнерадостная Саша-непоседа; сочинял *галиматью,* над которой сам хохотал до упаду, вывешивал «газеты»: «Муратовская вошь» и «Муратовский сморчок», в которых описывал «исторические события» в «Муратовской империи», например войну между «печенегами» и «пупистами», величая себя при этом «Маршалом Василием Высоким, кавалером орденов трех печенок, кардиналом и настоятелем аббат-

ства старых париков». Маша получила в газете титул: «Мария, королева и самодержавный обладатель всех прелестей». В разделе «Сообщения» освещались такие события: «Григорий Дементьевич ходил целый день в тулупе и башлыке»; «Козловский поп впервые от роду пил воду, и астроном его прихода предсказывает наверное светопреставление». Он призывает Протасовых, выехавших на время в Орел:

Скорей, скорей в дорогу,
В Муратово-село.
Там счастье завело
Колонию веселья;
Там дни быстрей бегут
Меж дела и безделья!..

Веселье переносилось в плещеевскую Чернь, в усадьбу на высоком берегу Нýгри. Плещеевы не жалели денег на устройство роскошных, расточительных празднеств с пирами (иногда на воздухе, в парке), концертами (на них приглашались настоящие музыканты), спектаклями (в них участвовали хозяева и гости; играл и Жуковский), фейерверками, маскарадами, устройством «ярмарок» со всевозможными «волшебными» неожиданностями механики. Плещеев был превосходный актер и имел успех, несмотря на свою некрасивую наружность (Жуковский, шутя, звал его «негром»). Был он и даровитый композитор, сочинял романсы (среди них целый альбом на слова Жуковского) и даже оперы. Он писал стихи — они с Жуковским обменивались посланиями, — Жуковский писал их по-русски, Плещеев по-французски.

Чернско-муратовское общество разыгрывало и шуточные пьесы, сочиненные Жуковским. Плещеев писал к ним музыку. В 1811 году их было поставлено три: «Скачет груздочек по ельничку», «Коловратно-курьезная сцена между господином Леандром, Пальясом и важным господином доктором» и «Елена Ивановна Протасова, или Дружба, нетерпение и капуста. Греческая баллада, переложенная на русские нравы Маремьяном Даниловичем Жуковятниковым, председателем комиссии о построении муратовского дома, автором тесной конюшни, огнедышащим экс-президентом старого огорода, кавалером ордена трех печенок и командиром Галиматьи. Второе издание. С критическими примечаниями издателя Александра Плещепуновича Чернобрысова, действительного мамелюка и богдыхана, капельмейстера коровьей оспы, привилегированного гальваниста собачьей комедии, издателя типогра-

фического описания париков и нежного компониста различных музыкальных чревобесий, между прочим и приложенного здесь нотного завывания. Муратово. 1811 г.».

Но и здесь не все сводилось к бездумной шутке: иногда эти стихотворные сценки были комедийным — в духе итальянской народной комедии масок — отражением трагедии, мучившей Жуковского. Пожалуй, только одна Маша и могла уловить тщательно скрытую суть фарса «Коловратно-курьезная сцена», где театральный режиссер Леандр оплакивает свою любовную неудачу.

Оставаясь в одиночестве в своем доме, Жуковский писал другие стихи. Вот «Пловец»:

Вихрем бедствия гонимый,
Без кормила и весла,
В океан неисходимый
Буря челн мой занесла...

«Песня», обращенная прямо к Маше:

О милый друг, нам рок велел разлуку:
Дни, месяцы и годы пролетят...

Вянет цветок («С тебя листочек облетел — от нас веселье отлетает»); жалуется юноша на берегу ручья («К ней стремлю, забывшись, руки — милый призрак прочь летит»); счастье любви — волшебная страна («Полечу туда... напрасно! Нет путей к сим берегам»); при взгляде на солнечные часы поэт говорит с грустью: «Прости, любовь! конец мечтам и заблужденью! Лишь дружба мирная с улыбкой предо мной!» Эти стихи — оригинальные и переводные — складывались в эпоху прощания с надеждами, но трудно было с ними распрощаться, легче было умереть. И герой этой поэмы умирает — в стихотворении «Певец»:

Он дружбу пел, дав другу нежну руку, —
Но верный друг во цвете лет угас;
Он пел любовь — но был печален глас;
Увы! он знал любви одну лишь муку;
Теперь всему, всему конец;
Твоя душа покой вкусила;
Ты спишь; тиха твоя могила,
Бедный певец!

Маша стала еще печальнее. Зато Саша была необыкновенно весела, ее смех раздавался по всему дому; она всех обыгрывала в шахматы и шашки, лучше всех скакала верхом на лошади, выше всех взлетала на качелях... Она

была — в отличие от Маши — настоящая красавица. В суете она, как казалось, не замечала, что творится с ее сестрой и с Жуковским. Даже траур почти не помрачил ее искрящихся жизнью глаз. Нет-нет да засмеется Маша, глядя на сестру; оживится Жуковский — оба они души не чаяли в Саше, Сандро́чке...

К осени Жуковский все больше времени стал проводить в своем Холхе, снова обратившись к спасительной идее трудолюбия, деятельности, ученья. «Ты спрашиваешь, чем я занимаюсь? — пишет он в Петербург Дмитрию Блудову. — Мое время разделено на две половины: одна посвящена ученью, другая авторству... Ученье: философия и история, и языки... Сочинения и переводы: начал перевод из «Оберона» (он будет посвящен тебе)... Имею в голове русскую поэму, которую начну после «Оберона». Он занимает меня поутру, а ввечеру *перевожу,* и теперь занят Мендельсоновским «Федоном», которого уже больше половины переведено. Это добыча «Вестника Европы»... Живу я очень уединенно».

...Александр Тургенев, Уваров, Блудов, Батюшков звали Жуковского в Петербург. «Сложи печалей бремя, Жуковский добрый мой!» — советовал Батюшков. Александру Тургеневу Батюшков говорит, что Жуковский, «сей новый Дон Кишот», «одной любви послушен». Жуковский всячески отговаривался и не двигался с места. У них с Машей выработался язык взглядов и недомолвок. «Движений тишина! Стыдливое молчанье, где вся душа слышна!» — писал об этом Жуковский в послании к Батюшкову. Думая о цели своей жизни, Жуковский не находил ничего четкого. Не находил он другого смысла для нее, как *быть возле Маши.*

ГЛАВА ШЕСТАЯ

(1812—1814)

Двенадцатый год начался с явления в небесах невиданной по величине кометы. В конце одиннадцатого и начале двенадцатого года несколько грандиозных пожаров взволновало воображение россиян: сгорело множество деревень и сел, сильно выгорели Киев, Воронеж, Казань, Уфа, Житомир, Бердичев и разные мелкие города. В Муратове много было разговоров об этих пожарах. Ждали войны. Жуковский не прислушивался к толкам. Его как раз посетил «гений стихотворства», да так и загостился. Жуковский пытался выяснить у него, как соотносится в судьбе поэта земное и небесное.

В огромном послании к Батюшкову (почти в семьсот строк!), написанном легким и поворотливым трехстопным ямбом, Жуковский рисует образ поэта, которому «удела нигде на свете нет», так как он, в то время как Зевес делил Землю между людьми, находился в «стране воображения».

В послании к Авдотье Николаевне Арбеневой (своей племяннице, урожденной Вельяминовой) — та же самая защита *воображения* от *ума, рассудка,* который «всех радостей палач», истребляет «призраки», «бытие жестоко анато́мит».

Друзья продолжали звать в Петербург. Александр Тургенев январь и февраль прожил в Москве у матери. Жуковский виделся с ним. Они условились, что Жуковский в середине апреля приедет в Петербург на свадьбу Блудова с княжной Щербатовой. Батюшков из своего вологодского Хантонова приехал в Петербург и начал службу в Императорской публичной библиотеке. В начале апреля он пишет Жуковскому: «Я умер бы от скуки, если б не нашел здесь Блудова, Тургенева и Дашкова. С первым я познакомился очень коротко, и не мудрено: он тебя любит как брата, а ты, мой любезный чудак, наговорил много доброго обо мне... Он умен, как ты, но не столько мил, признаться тебе, — милее тебя нет ни одного смерт-

ного. Тургенев тебя ожидает нетерпеливо и в ожидании твоего приезда завтракает преисправно... Он очень любезен и умен, и весел, но все-таки не Жуковский!»

Жуковский поехал в Петербург и 28 апреля был, как и Тургенев, шафером на свадьбе Блудова, который одиннадцать лет добивался своей невесты, — ее мать, кичившаяся древностью своего рода, все никак не могла снизойти до родственной связи с простым, нетитулованным дворянином. Княжна любила Блудова и тоже держалась стойко, отклоняя все прочие предложения. Свадьба происходила во флигеле при доме Щербатовых у Семеновского плаца. Не прожив и недели в Петербурге, отговорившись опять от предложений Уварова и Тургенева о необременительной службе, Жуковский умчался в свой Холх, едва заглянув в Москву.

В июне 1812 года огромная армия Наполеона Бонапарта переправилась через Неман и вторглась в пределы России. Началась Отечественная война. Жуковский заканчивал две вещи — балладу «Светлана» и большое «Послание к Плещееву». «Светлана» — вторая переработка «Леноры» Бюргера, но она почти совсем другое произведение, чем «Людмила», хотя они происходят от одного и того же источника. Были и в «Людмиле» русские мотивы (баллада вообще-то и в принципе должна нести в себе фольклорные черты), но «Светлана» первым ее читателям (не так давно восхищавшимся «Людмилой») показалась истинным чудом, непостижимо прекрасным и мастерским произведением. В Муратове и в Черни все поголовно повторяли стихи, которые, будучи раз услышанными, не могли забыться:

Раз в крещенский вечерок
   Девушки гадали:
За ворота башмачок,
   Сняв с ноги, бросали;
Снег пололи; под окном
   Слушали; кормили
Счетным курицу зерном;
   Ярый воск топили...

Тут находили все самое родное, самое близкое, русское, деревенское — это были сцены, известные каждому, но преображенные в поэзию под пером мастера, гения. Все Бюргерово содержание баллады он упрятал в *сон* Светланы, разукрасив его чистыми тонами сказочных красок, — снежными, огненными, лунными... Тревожный

дивный сон — зато какое радостное пробуждение! Не погиб жених Светланы:

На дороге снежный прах;
Мчат, как будто на крылах,
  Санки кони рьяны;
Ближе; вот уж у ворот;
Статный гость к крыльцу идет...
  Кто?.. Жених Светланы.

Радостью, честны́м пиром, свадьбой кончил Жуковский балладу... Скоро — и уж навсегда — «Светлана» станет знаменитой. Крайние скорбь и страх, высшая радость — в какой безудержный восторг слиты в балладе! Какая доброта — улыбчивая, милая — в речи автора!

Друзья еще не думают о войне, хотя французы уже в России. Батюшков «гневается на погоду и на стихи», — как он пишет; Тургенев влюблен. «Теперь душа не на месте, — сообщает он Жуковскому. — Любовь унесла надежду, надежду, мой сладкий удел...» В письмах друзей начинают проскальзывать нотки поучения в адрес Жуковского. Так, Батюшков, похвалив «Светлану», пишет Вяземскому о Жуковском: «Жаль, впрочем, что он занимается такими безделками: с его воображением, с его дарованием и более всего с его искусством можно взяться за предмет важный, достойный его».

Третьего августа в Черни Плещеев праздновал свой день рождения. Были устроены театральное представление и концерт. Съехалась вся округа, в том числе и Протасова с дочерьми. Маша была очень грустна и не пыталась этого скрыть. Дело в том, что Жуковский, неожиданно для себя и для всех, решил вступить в народное ополчение. А так как такового в это время не оказалось в Орле, он собрался ехать в Москву. «Хочу окурить свою лиру порохом», — бодро писал он Вяземскому. В Черни дети Плещеевых, Алеша и Саша, у которых с Жуковским была самая пылкая дружба, ходили за ним по пятам. «Мне очень жаль, что я мал, — говорил двенадцатилетний Алеша, — я бы дрался возле вас... Ах, жаль, жаль! Мы друг другу спасли бы жизнь». «Хорошо бы было, если б вы убили французского императора! — воскликнул Саша. — Вам бы дали орден и чин капитана!»

Однако и Жуковский был грустен. В концерте он спел романс «Пловец», написанный Плещеевым на его стихи. Плещеев сыграл вступление, изображающее бурное море. Пловец «без кормила и весла» носится в «океане неисходимом», ропщет на судьбу, ему грозит гибель:

Вдруг — все тихо! мрак исчез;
Вижу райскую обитель...
В ней трех ангелов небес.

При этих словах Жуковский повернулся к Екатерине Афанасьевне и ее дочерям и пел, уже обращаясь к ним:

Неиспытанная радость —
Ими жить, для них дышать;
Их речей, их взоров сладость
В душу, в сердце принимать...

Жуковский почти забыл, что зала полна гостей. Он так взволновался, что слезы выступили у него на глазах. Многие это заметили, стали переглядываться — история Жуковского и Маши ни для кого уже не была тайной. Вот это-то и вывело из себя Екатерину Афанасьевну — и в гневе она сделала поступок, граничащий со скандалом. Она резко поднялась, взяла дочерей за руки, вышла из зала и тут же уехала в Муратово...

Жуковский отправился в Москву. В середине августа туда же прибыла Авдотья Петровна Киреевская с сестрами Анной и Екатериной — на поездку эту подвигнул их Василий Иванович Киреевский, чтобы они могли хорошенько «разузнать, что там делается». Остановились они у тетки своей Алымовой. Генерал-губернатор граф Ростопчин не только готовился к обороне Москвы — он думал и о наступательных средствах. Некто Шмидт, умная немецкая голова, делал в Тюфелевой роще, где была дача издателя Бекетова, воздушный шар огромных размеров, чтобы в нужный момент пустить на войска Наполеона «зажигательные средства».

В штабе Ростопчина трудился комитет по вооружению ополченцев. В Москве был полный разброд: многие дворяне нагружали обозы своим имуществом и отбывали в безопасные места; другие искали мéста в ополчении, в армии.

На всех заборах и стенах Москвы ростопчинские афишки, составленные псевдонародным слогом, кричали о том, что «злодей в Москве не будет!», что русские мокрого места не оставят от Боньки, Бонапартишки... Однако очень скоро граф вынужден был позаботиться о вывозе казенного имущества и высылке учреждений. В Москве появились первые партии пленных французов — их гордый, подчеркнуто воинственный вид изумлял москвичей... После взятия французами Смоленска (это произошло 17 августа) главнокомандующим в русскую армию назна-

чен был Михаил Илларионович Кутузов. Он принял командование в очень тяжелый для России момент — ее буквально нужно было спасать...

«Жуковский отправляется сегодня с полком», — пишет Вяземский жене 17 августа. Накануне они вместе были в Певческом трактире, где собралось много ополченцев. Там было шумно, жарко. Играли балалаечники. Пели под гитару цыгане. Вяземский жаловался, что у него все какие-то препятствия: написал генералу Милорадовичу (хотел к нему в адъютанты) — ответа нет. Того и гляди прождешь, и граф Мамонов закончит составление своего конного полка. Жуковский посоветовал ему немедля идти к Мамонову. Стихотворец Михаил Милонов писал Вяземскому, что он тоже хочет к Мамонову или в полк бессмертных гусар. Жуковский и Вяземский побывали у драматурга Федора Иванова, у Ивана Козлова, который вроде Плещеева сочинял французские стихи и, хотя был крайне светским человеком, пылко любил литературу, знал наизусть чуть ли не всю французскую поэзию, — говорить с ним было любопытно. Козлов в штабе Ростопчина занимался хлопотами по вооружению ополченцев.

Были у Карамзина. Карамзин отправил всех своих домашних в Ярославль — они увезли для сохранения полный экземпляр рукописи «Истории государства Российского». Еще один экземпляр он сдал в Иностранной коллегии московский архив. Третий спрятал в Остафьеве. Сам он не знал, что предпринять. «Я рад сесть на своего серого коня, — писал он Дмитриеву, — и вместе с московскою удалою дружиною примкнуть к нашей армии». Однако по своему плохому здоровью для военной службы он не годился. И так до самого вступления французов в Москву Карамзин метался по городу, провожая друзей и знакомых. С глубоким отчаянием он смотрел на покидаемую жителями столицу. Не подумал даже о спасении своей библиотеки — так и сгинула она потом в пожаре... Первый пехотный полк Московского ополчения, в состав которого вошел Жуковский, отправился только 19 августа. 20-го Карамзин сообщил Дмитриеву: «Я благословил Жуковского на брань: он вчера выступил отсюда навстречу неприятелю». Русская армия двинулась к Можайску.

Жуковский, имевший чин поручика, мог ехать верхом, но он шел в общем строю полка. Меховой кивер с крестом (символом ополчения), серое полукафтанье, сабля, пистолет... Слуга его, калмык Андрей, новый, нанятый

в Москве, был в обозе с лошадьми и всем имуществом. Ополченцы шагали весело, с песнями. Дорога была сухая. Жуковский, потрагивая саблю за эфес, с усмешкой думал, что гораздо сподручнее было б ему махать в бою кочергой... Смутно-смутно припоминались ему пансионские уроки фехтования, где его манипуляции с рапирой вызывали общий смех... Вот пистолет — другое дело. В Мишенском среди забав была одна такая, которая вызывала крайний ужас девиц, — стрельба из старого турецкого пистолета по огурцам фатьяновских огородов. Раз-другой случилось выстрелить и Жуковскому...

Наконец пришли к селу Бородину, расположились лагерем в поле. Солдаты развели костры. Для офицеров были разбиты палатки. Жуковский не спал. Ночь была светлая, сиял месяц. На фоне багрового пламени костра чернел караульный казак в бурке, держащий на поводу коня. Невдалеке, подложив под головы шинели или седла, спали уланы. Кони в сторонке пощипывали траву или дремали стоя. В свете луны и огня посверкивали бляхи на киверах, наконечники копий, составленных шатром. На холме чернел ряд пушек — над ними вился дымок, артиллеристы дремали, держа зажженные фитили наготове... Вдали чуть видны были дымы неприятельских костров...

Вся душа Жуковского потрясалась от непривычного чувства. Ему казалось, что он видит сон... «А завтра, что же завтра, — думал он, — сойдутся две армии, грянут громы... застонет земля... кровь польется». Что будет с *ним самим* — он и мгновение не подумал. Он смотрел с пытливым вниманием на спящих ополченцев, казаков, улан, артиллеристов. Все было мирно. Все были спокойны! Только месяц искрился каким-то хищным блеском... Там — Наполеон с двунадесятью языками; здесь — Русь одна... Что-то роковое и несказанное было в этой звездной осенней ночи...

На рассвете грянула русская пушка. Все пришло в движение. Поскакали вестовые; всадники вмиг были на конях. Пехота выстроилась. Зажужжали ядра, и первые фонтаны земли и огня вспыхнули на поле, расстраивая ряды... Первый пехотный полк двинулся и, пройдя полторы-две версты, остановился в каком-то кустарнике, из-за которого ничего не было видно, — ему приказано было стоять здесь, на левом фланге, в резерве. Огромные клубы дыма поднимались со всех сторон. Воздух дрожал от выстрелов. Безоблачно-солнечное небо затянулось

мглой пороховой гари. Неведомо откуда прилетали ядра, убивая и разбрасывая людей и лошадей. В бездействующем полку оказалось множество убитых и раненых. Время от времени полк отодвигался назад. Стемнело. Раздалась команда — ополченцы пошли и через несколько минут оказались на возвышенности в самой середине Бородинского поля... Чьей победой кончилась битва, никто в полку не знал.

Русская армия, пройдя уже оставленную почти всеми жителями Москву, двинулась к Тарутину и начала не спеша готовиться к наступлению. Штаб главнокомандующего расположился в деревне Романово. Решение Кутузова оставить Москву вызвало переполох в Петербурге. Он получил почти выговор от императора. Но старый фельдмаршал знал, что делал. Уже 30 октября 1812 года Наполеон прислал ему предложение о заключении мира, которое Кутузов отверг. «Бездействие» Кутузова привело к тому, что русская армия отдохнула и увеличилась, поднялся и боевой дух ее. А французская разлагалась морально и быстро таяла: в ней множились беспорядки, и она гибла без сражений. И после боя под Тарутином французы покатились назад.

Вот что писал в эти дни Вяземскому, который участвовал как ополченец в Бородинской битве, Александр Тургенев: «Москва снова возникнет из пепла, а в чувстве мщения найдем мы источник славы и будущего нашего величия. Ее развалины будут для нас залогом нашего искупления, нравственного и политического, а зарево Москвы, Смоленска и пр. рано или поздно осветит нам путь к Парижу... Война, сделавшись национальною, приняла теперь такой оборот, который должен кончиться торжеством Севера... Дела наши идут очень хорошо. Неприятель бежит, бросает орудия и зарядные ящики; мы его преследуем уже за Вязьмою. Последние донесения князя Кутузова очень утешительны».

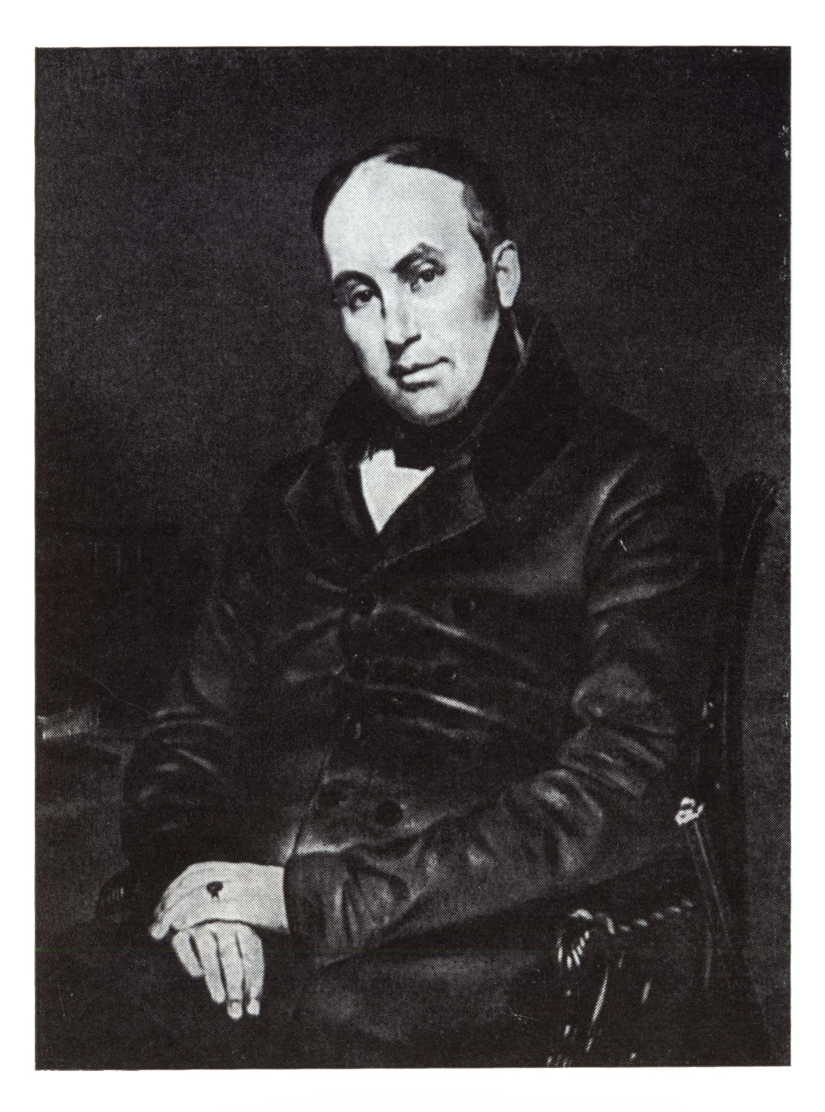
В романовском штабе Кутузова Жуковский встретил Андрея и Паисия Кайсаровых, товарищей своих по Дружескому литературному обществу, — Паисий, полковник, был адъютантом Кутузова, Андрей, майор, директором походной типографии, которая печатала приказы, листовки, «летучую» газету «Россиянин» на русском, французском и немецком языках. Кайсаровы помогли Жуковскому прикомандироваться к штабу — ему ничего другого не оставалось, так как воин он был плохой. Однако оказалось, что тут-то и есть его настоящее место, — он

обрел оружие, которым помогал армии громить и гнать врага, — слово, поэтическое слово, вдохновительное для соотчичей и гибельное для злодеев...

В сентябре 1812 года Жуковский был послан в Орел, курьером к губернатору Петру Ивановичу Яковлеву, которого он коротко знал (Яковлев бывал в Муратове и Черни). 10 сентября Маша Протасова, которая с сестрой и матерью жила в это время в орловском доме Плещеевых на Нижнедворянской улице (сами Плещеевы оставались в Черни), записала в дневнике: «Вдруг наш добрый Жуковский явился из армии курьером к губернатору в 7 часов вечера. Этот бесподобный вечер никогда не забудется... Было очень много гостей, все приходили его смотреть, он нас успокоил много насчет дурных слухов, которые у нас носились... Он приехал в губернатору, чтобы ему рассказать, что сюда, в Орел, привезут пять тысяч человек раненых; тридцать будет стоять у Плещеевых в доме, и мне готовить для них корпию и бандажи». Маша пишет, что гости «восхищались казацким кафтаном Василия Андреевича», приглашали его к себе.

В Орле были и Авдотья Петровна Киреевская с мужем — они тоже жили у Плещеевых. Василий Иванович Киреевский, доктор-самоучка, нашел дом в Орле, где приютил несколько бедных семейств из разоренных французами мест — Минска, Смоленска, Вязьмы. В своей деревне под Орлом (Киреевская слободка) он поместил девяносто человек раненых из числа прибывших в Орел и обеспечил им полный уход. Кроме того, он посещал лазареты в Орле. Когда прибыли раненые русские солдаты, Маша записала в дневнике, что они «гораздо жальче, чем вообразить возможно. Они терпят всякую нужду, и даже надежды мало, чтоб им было хорошо когда-нибудь. Из 180, которых привезли, в одну ночь умерло 20! Невозможно вообразить без ужаса состояние тех, которые провели эту ночь в одной горнице с умершими. И все это терпят они за нас!»

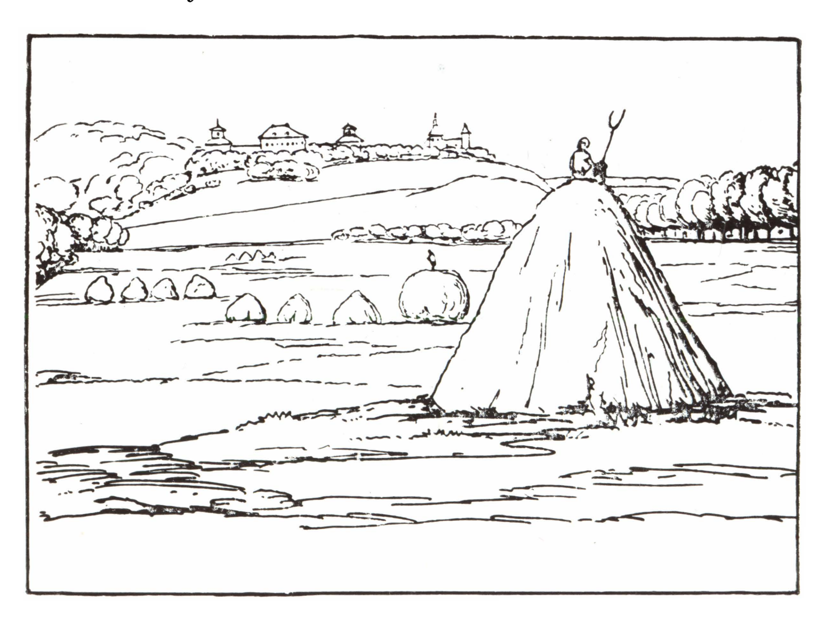
Сестры Протасовы вместе с матерью и своей прислугой принялись ухаживать за ранеными. Киреевский обнаружил в городской больнице страшный беспорядок — палаты одна грязней другой, раненые лежат вповалку, воздухом невозможно было дышать... Он немедленно — совершенно самовластно — взял управление больницей в свои руки, сделал страшный разнос всем служащим, затем за свой счет обеспечил их всем нужным для ухода за больными. Из его имений доставили сюда продукты,





А. И. Бунин.

Усадьба в селе Мишенское.
Рис. В. А. Жуковского.





Е. Д. Турчанинова (Сальха).
Рис. В. А. Жуковского.

Белёв.
Рис. В. А. Жуковского.



Тула. *Рис. В. А. Жуковского.*



Московский университетский Благородный пансион после 1812 г.





А. А. Прокопович-Антонский.



М. М. Херасков.

Вид Воробьевых гор от Лужников. *Рис. В. А. Жуковского.*



И. И. Дмитриев.



Н. М. Карамзин.



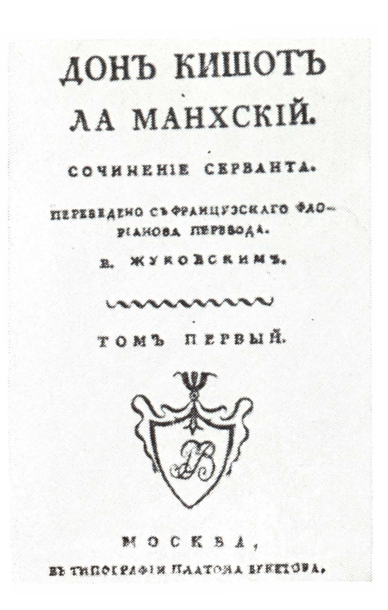
Андрей Тургенев.



Александр Тургенев.



В. А. Жуковский.
Рис. неизвестного художника.



ДОНЪ КИШОТЪ
ЛА МАНХСКІЙ.

СОЧИНЕНІЕ СЕРВАНТА.

ПЕРЕВЕДЕНО СЪ ФРАНЦУЗСКАГО ФЛОРІАНОВА ПЕРЕВОДА.

В. ЖУКОВСКИМЪ.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

МОСКВА,
ВЪ ТИПОГРАФІИ ПЛАТОНА БЕКЕТОВА.

Титульный лист «Дон-Кихота» в переводе Жуковского.

Холм Греева элегия. Беседка Жуковского. *Офорт В. Полякова.*

Белёв. Кабинет Жуковского в его доме
(реконструкция Н. Д. Жиляева).



В. А. Жуковский.
Рис. А. А. Воейковой.



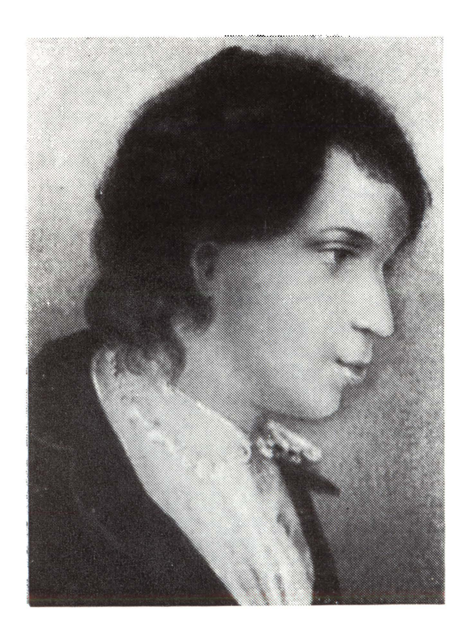
М. А. Протасова.
Рис. В. А. Жуковского.



Белёв.
Красная
часовня.
Рис.
В. А. Жуковского.

Дневник
М. А. **Протасовой**
1812 г.,
веденный в Орле.
Автограф.

Вид от усадьбы А. П. Киреевской на село Долбино.
Рис. В. А. Жуковского.



А. П. Киреевская.

Стихотворение В. А. Жуковского «Послание к Вяземскому» (1814). *Автограф.*



М. А. Протасова-Мойер.
Худ. К. А. Зенф.



А. А. Воейкова.
Худ. М. Олешкевич.

Дерпт. Университет. *Офорт В. Полякова.*



В. А. Жуковский. *Гравюра Е. Эстеррейха.*

Дом А. Н. Голицына на Фонтанке, где жили братья Тургеневы. *Рис. В. Полякова.*

Петербург. Коломна. Дом у Кашина моста. *Офорт В. Полякова.*


СТИХОТВОРЕНІЯ
Василія Жуковскаго
Часть I.
Санктпетербургъ
1815.


СТИХОТВОРЕНІЯ
Василія Жуковскаго
Часть II.
Санктпетербургъ
1816.

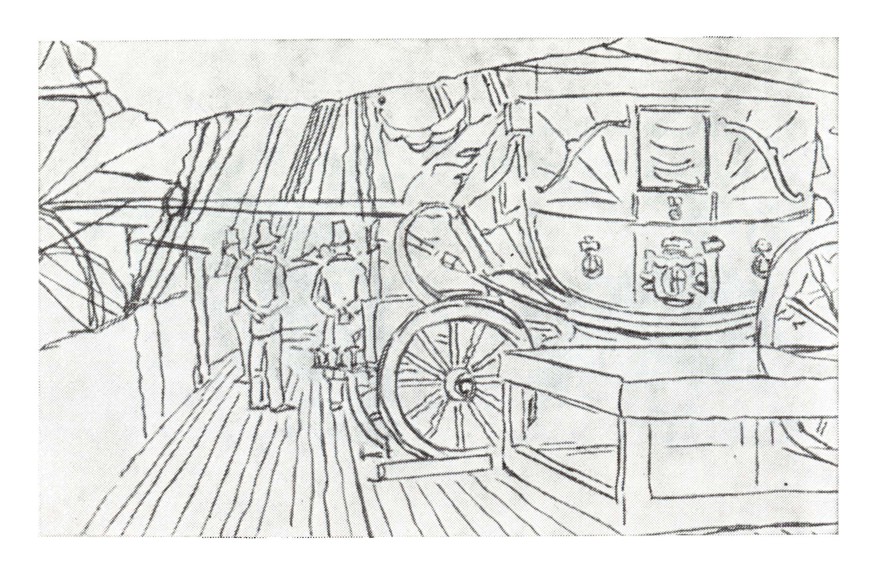
Титульные листы первой и второй частей «Стихотворений *Василия Жуковского*».



А. С. Пушкин.
Гравюра Е. Гейтмана. 1822 г.



К. Н. Батюшков.



На палубе корабля.
Рис. В. А. Жуковского.



свежую солому, холсты... Все слушались его беспрекословно. Вечером, сидя с Протасовыми, с Жуковским за чаем, он молчал от крайней усталости.

Иногда они все выезжали прокатиться по набережной в экипаже, подышать воздухом... Там гуляли беженцы, довольно беспечные, из московской знати. Они подходили к коляске, делали комплименты «казацкому» кафтану Жуковского, расспрашивали его о положении «на театре военных действий», рассказывали слухи, часто очень странные и нелепые...

23 сентября, как записала Маша, привезли пленных «мародеров». Весь город собрался смотреть их жалкий «парад». Первую партию пленных сопровождал двоюродный брат Маши и Саши Александр Павлович Протасов, которого шестилетний Ваня Киреевский принял за Наполеона, идущего во главе французов. (Протасов и в самом деле фигурой и лицом был похож на французского императора.) Большая часть пленных шла пешком, некоторых везли на телегах. Все они были в рванье, среди них было много раненых. Всего в Орел привезли 1175 французских солдат и 24 офицера, в том числе двух или трех генералов. Они своим несчастным видом вызывали жалость. Пленных поселили в специально выстроенных сараях.

Жуковский целый месяц занимался в Орле устройством госпиталей, делал кое-какие закупки для армии, в частности сукна. Он успел даже съездить к Плещеевым в Чернь. Екатерина Афанасьевна была с ним ласкова и даже как будто старалась выказать ему свое расположение. И 10 октября сама сделала запись в Машином дневнике: «День памятный в наших горестях: Жуковский, добрый наш Жуковский опять поехал в армию». В конце октября получил Жуковский горестную весть из Орла — Василий Иванович Киреевский заразился в больнице, не лечился, продолжал работать и умер. Авдотья Петровна осталась с тремя детьми.

Ваня белобрысый,
И Петя петушок,
И Машенька дружок,
Смеющаяся радость!..
Что в мире лучше их?
В кругу детей таких —
И жизнь не жизнь, а сладость —

как писал совсем еще недавно Жуковский в шуточном послании к Авдотье, Дуняше, милой племяннице, кото-

рая так рано, на двадцать третьем году, овдовела. Жуковский написал ей письмо — он просил ее в ближайшее время не ездить в Долбино, где все будет напоминать ей покойного супруга, а оставаться жить с детьми в семье Протасовых. В скором времени Авдотья Петровна уехала с Протасовыми в Муратово...

Жуковский выехал из Орла 10 октября — в этот же день русские войска вступили в Москву, оставленную французами. В манифесте правительства (написанном А. С. Шишковым) по этому поводу говорилось: «Не долго был здесь неприятель. Один месяц и восемь дней. Но оставил по себе следы зверства и лютости, которые в бытописаниях народов покроют соотечественников и потомков его вечным стыдом и бесчестием». В другом указе говорилось: «Столицу нашу пожрал несытый огонь, но огонь сей будет в роды родов освещать лютость врагов и нашу славу. В нем сгорело чудовищное намерение всесветного обладания».

Вид Москвы страшно поразил Жуковского. Обгорелая, разрушенная, заваленная растерзанным хламом, трупами, пустынная и молчаливая... «Ты ли это, Москва моя?» — горестно заныло его сердце. Замоскворечье выгорело полностью. Арбат, Пречистенка — тоже. На Тверском бульваре уцелело лишь несколько домов. В Кремле подорвана часть стен и повреждены некоторые башни, колокольня Ивана Великого, арсенал. Прогорели купола соборов. Камни и бревна от взрывов разлетались так, что сильно завалили реку Неглинную... Сохранились улицы — Кузнецкий мост, Мясницкая, Малая Дмитровка, Лубянка... Сгорели здания Благородного пансиона. Нет дома Юшковых, дома Соковниных. Даже пресловутая Соляная контора погибла...

Вернувшись в Романово, в штаб армии, Жуковский достал свою черновую книгу — небольшой продолговатый альбом в зеленом кожаном переплете и с медной застежкой. В нем он не только писал, но и рисовал. Пока в нем заполнено было лишь три листа. На четвертом появилось название нового стихотворения. «Кубок воина» — так Жуковский начал свою большую элегию-оду, которую позднее назвал «Певец во стане русских воинов». И потом, двигаясь вместе с армией вслед за отступающими войсками Наполеона, Жуковский работал над этим произведением, прочитывая строфы братьям Кайсаровым и другим штабным офицерам. Уже первые варианты стихотворения разошлись по армии в списках. Оно не просто

имело успех, оно захватывало, воодушевляло; оно воспламеняло в сердцах воинов мужество и тем самым помогало общему делу изгнания врага. Уже в конце октября какой-то ранний вариант «Певца» попал в руки к Маше Протасовой, и она записала в дневнике: «Приехал человек Плещеевых и привез стихи Жуковского, которые бесподобны, и мы перечитывали их раз десять» (за день до этого было отмечено: «Пришли нам сказать, что французов везде бьют, что они бегут как угорелые»).

«Певец» — героическая кантата с приметами многих лирических жанров. *Певец,* поднимающий кубок, то поет застольную песню, то, как Оссиан, произносит суровый гимн, то гремит оду-хвалу героям, то в задушевной элегии обращает слушателей к воспоминаниям о милой родине, о родных и любимых, то скорбит о погибших, то, как Тиртей, обращается с краткими и пламенными призывами к воинам, то вызывает исторические тени от Святослава до Петра... Все оттенки чувств слились в едином призыве к спасению Отчизны. Длинная цепь фрагментов разного содержания выстроилась в связную линию, и получилась поэма, вместившая в себя огромный мир — Россию; месть, гнев, смерть, любовь, всесокрушающая сила и тишайшая нежность, ясное небо и гром «перунов», честь, верность, слава — все объединилось в один трубный звук, заставляющий трепетать в высочайшем восторге каждое русское сердце... Какие силы были в сердце Жуковского, какой непостижимо-загадочный дар!

Двадцатилетний боевой офицер Иван Лажечников отметил в своих «Походных записках» 20 декабря 1812 года: «Часто в обществе военном читаем и разбираем «Певца во стане русских», новейшее произведение г. Жуковского. Почти все наши выучили уже сию пиесу наизусть. Какая поэзия! Какой неизъяснимый дар увлекать за собою душу воинов!.. Довольно сказать, что «Певец во стане русских» сделал эпоху в русской словесности и — в сердцах воинов!» Василий Львович Пушкин восторженно пишет Вяземскому: «Певец во стане русских воинов» есть, по моему мнению, лучшее произведение на российском языке». Василий Туманский назвал Жуковского «летописцем битв народных». Николай Коншин писал о «Певце»: «Эта поэма, по моему мнению, достойная Георгия 1-й степени, делала со мной лихорадку». Молодой поэт Владимир Раевский в «Песне воинов перед сражением» восклицал:

Краса певцов, наш бард любимый,
Жуковский в струны загремит,
И глас его непобедимых
Венком бессмертья отличит!

Не только стихи писал во время войны Жуковский. Однажды квартирьеру главного штаба майору Ивану Никитичу Скобелеву[1] было поручено написать деловую бумагу. Скобелев, офицер, выслужившийся из солдат, был храбрым воином — он отважно сражался при Бородине и потерял руку. Был он искусный, занимательный рассказчик, владеющий образным народным языком, живой, очень общительный и добрый человек. Но писать ему было трудно. Чуть не целую ночь промучился он над листом бумаги, наконец, обратился к Жуковскому: «Выручи, голубчик! Что тебе стоит...» Жуковский составил необходимый текст. Скобелев отнес его к фельдмаршалу, надеясь, что на этом все кончится. Однако Кутузову бумага эта так понравилась, что он стал давать однорукому храбрецу все новые и новые письменные поручения. До самой Вильны поэт писал за Скобелева штабные бумаги. Заметивший это Ермолов только усмехался. После сражения под Красным Жуковский заболел, и Скобелев вынужден был признаться Кутузову, что не он автор подававшихся бумаг. «Значит, не ты Златоуст, а Жуковский! — засмеялся Кутузов. — А тебя чуть ли не много назвать и Медноустом. Ступай, братец, за одно тобою недоволен, что ты прежде не сказал мне, что Златоуст-то — твой товарищ... Мы бы его не упустили!»

После сражения у села Красного, окончательно предрешившего разгром французов, Жуковский написал стихотворение «К старцу Кутузову» (названное потом «Вождю победителей»), которое Андрей Кайсаров 10 ноября отпечатал листовкой в походной типографии. Кутузов понимал, что слово поэта, да еще такого, как автор «Певца во стане русских воинов», сильнее иного приказа может воодушевить воинов. Эту листовку можно было видеть и в сумке офицера, и в ранце грамотного солдата. Не раз сам Жуковский слышал из уст какого-нибудь юного офицера собственные строки:

Хвала, наш вождь! Едва дружины двинул —
Уж хищных рать стремглав бежит назад...

---

[1] Дед генерала М. Д. Скобелева (1843—1882), героя русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

Радостно было получить и отклик с родины. Плещеев на слова Жуковского о том, что стихи к Кутузову «писаны в чаду смрадной избы», при случайной остановке на походе, заметил: «Видно, Муза твоя баба русская: не боится дыму и все так же верно тебе служит, как и в чистых комнатах!»

Жуковский в маленьких санках, закутанный поверх мундира в шубу, следовал вместе с армией на запад. Мороз стоял крепкий. Французская армия оставляла на пути своего бегства страшный след — окоченевшие трупы солдат, лошадей, разбитые повозки, увязшие в снегу пушки... Потрясающую картину представляла собой река Березина в том месте, где переправлялась вражеская армия: безмолвная, мерзлая пустыня, тучи каркающих ворон; на берегу, во льду реки в самых неестественных позах солдаты, настигнутые пулями, ядрами, провалившиеся в полыньи...

Там, где останавливался штаб, Жуковский принимался писать. В зеленой книге появилось еще несколько стихотворений, в том числе — «N. N. При посылке портрета» и баллада «Ахилл», мысль которой вытекла из одной строфы «Певца во стане русских воинов», где говорится: «Старик трепещущей ногой влачится над могилой; сын брани мигом ношу в прах с могучих плеч свергает, и, бодр, на молнийных крылах в мир лучший улетает». Жуковский сделал к балладе примечание: «Ахиллу дано было на выбор: или жить долго без славы, или умереть в молодости со славою, — он избрал последнее». Это рассказ о мужестве, которое сильнее судьбы: герой презирает смерть. Место действия баллады напоминает военный лагерь, привычный для Жуковского на бранных дорогах 1812 года:

Тихо все... курясь, сверкает
 Пламень гаснущих костров,
И протяжно окликает
 Стражу стража близ шатров.

В Вильну Жуковский приехал совсем больной — простудился в дороге. Что этот город представлял собой в то время, можно видеть из записок Шишкова (он ехал в свите императора Александра): «По приезде нашем в Вильну чувства мои поражены были новыми ужасами: я увидел длинную, толстую, высокую, необычайного образа стену. Спрашиваю: что это такое? Мне отвечают, что это наваленные одни на другие, смерзшиеся вместе мертвые тела, затем тут накиданные, что выкапывать для зары-

вания их рвы требовало бы, по причине мерзлой земли, много труда и времени. Больницы в Вильне наполнены были изнуренными и ранеными так тесно, что находящиеся в них, не совсем еще ослабевшие, для соделания себе больше простора, выбрасывали умирающих, но еще живых товарищей своих из окон. В городе и при выходе из домов страшно было встречаться с оставшимися здесь французами: они, с бледным лицом и мутными глазами, походили больше на мертвых, нежели на живых людей. Иные идучи вдруг падали и умирали; иные казались в некотором одурении, так что, вытаращa глаза, хотели нечто сказать, но испускали одни только невнятные звуки. Для прочищения воздуха, везде по улицам, раскладены были зажженные кучки навоза, курящиеся дымом. Все мы опрыскивали свое платье и носили с собою чеснок и другие предохранительные от заражения вещи».

Жуковский в горячке был положен в госпиталь. Федор Глинка, тоже бывший в Вильне, занес в свой походный дневник: «18 декабря. Я два раза навещал одного из любезнейших поэтов наших, почтенного В. А. Жуковского. Он здесь, в Вильне, был болен жестокою горячкою; теперь немного обмогается... Как грустно видеть страдание того, кто был таким *прелестным певцом во стане русских* и кто дарил нас такими прекрасными балладами». Жуковский остался совершенно без средств — его слуга пропал без вести со всеми его вещами. Армия ушла дальше. И даже адъютант Кутузова не мог разыскать поэта, которого хотели призвать в главный штаб русской армии на должность «Златоуста»...

Друзья тоже потеряли его из виду. Тургенев и Вяземский запрашивали друг друга о том, где он сейчас, а Тургенев даже послал из Петербурга в Вильну специального курьера на розыски Жуковского. Курьер вернулся ни с чем. Оправившись от болезни, Жуковский сообщил о себе в Главный штаб и получил оттуда известие, что он награжден чином штабс-капитана и орденом Святой Анны. По случаю болезни ему был дан бессрочный отпуск. Рассчитывая через месяц-полтора вернуться в армию, Жуковский через Калугу, Лихвин, Белёв и Болхов поехал в Муратово.

Он прибыл туда 6 января 1813 года. «Ты, наш балладник, — писал ему чуть позднее Батюшков, — чудес наделал если не шпагою, то лирой. Ты на поле Бородинском pro patria [1] подставил одну из лучших голов на се-

[1] За родину *(латин.)*.

вере и доброе прекрасное сердце. Слава Богу! Пули мимо пролетели: сам Феб тебя спас». Тургенев в начале февраля еще ничего не знал о судьбе Жуковского и сообщал Вяземскому: «Курьер мой из Вильны возвратился с известием, что там уже нет Жуковского».

В это время в Петербурге благодаря хлопотам Тургенева впервые был напечатан — отдельным изданием, с примечаниями Дашкова, у книгопродавца Глазунова — «Певец во стане русских воинов» (а в марте 1813 года в Москве Каченовский выпустил номер «Вестника Европы» за ноябрь 1812 года, где также был помещен «Певец»). Вскоре задумано было второе издание «Певца», которым занимался И. И. Дмитриев. Рисунки («виньеты» и «кашки») были заказаны А. Н. Оленину, известному своими талантами и разнообразными познаниями в искусствах, литературе и истории вельможе-меценату. Работа растянулась на все лето... Отечественная война кончилась — враг был изгнан за пределы России.

В одном из первых номеров «Вестника Европы» за 1813 год Александр Воейков в послании «К Жуковскому», расхвалив его за элегии и баллады («О соперник Гёте, Бюргера! Этой сладкою поэзией... Ты пленяешь, восхищаешь нас»), никак не отметив «Певца во стане русских воинов», призывает его «состязаться с исполинами», «совершить двенадцать подвигов» (подобно Гераклу), то есть написать «поэму славную, в русском вкусе повесть древнюю». И предлагает Жуковскому темы для эпического повествования: Владимир, Петр Великий, Суворов, Кутузов, Платов-атаман... Батюшков тоже советует Жуковскому: «Пиши более, но что-нибудь *поважнее.* Тебе пора заняться предметом, достойным твоего таланта» (Батюшков также имел в виду *эпическую поэму*). Скоро и Вяземский — всех настойчивее — будет твердить об *эпической поэме,* что этот жанр Жуковскому по плечу, что он как стихотворец, одаренный Фебом, обязан, должен, и все они, друзья, уже начинали *сердиться* на Жуковского за то, что он выслушивает их, но молчит и пишет свое... Жуковский подчинялся только своему внутреннему голосу. И подготовка к писанию «Владимира» давно уже превратилась в *самообразование* под девизом «Владимир»... Друзья горой стояли за Жуковского-поэта, но не понимали его. Он творил великое и вечное, а они ожидали от него каких-то *будущих* шедевров...

6 февраля Жуковский известил Тургенева: «Я воротился на свою родину из Вильны, бывши свидетелем

единственной в истории войны». В этом письме он впервые высказывает мысль об издании своих сочинений: «У меня было два списка моих стихов; один сгорел в Москве, другой бог знает где путешествует. У тебя есть еще один, хотя неполный, но зато совсем исправленный... Тебе поручено быть издателем моих творений». Не очень, правда, деятельно, но «издатель» принялся за подготовку книги...

9 апреля Жуковский (думая, что первое его письмо пропало, так как Тургенев не отвечал) описал все, что с ним было от Бородина до Вильны, что он «взял отпуск бессрочный», но теперь не возвратится в армию: «Так как теперь война не внутри, а вне России, то почитаю себя вправе сойти с этой дороги, которая мне противна и на которую могли меня бросить одни только обстоятельства. Не знаю, будешь ли ты согласен со мною и оправдаешь ли мой поступок». Он просит прислать экземпляров «Певца», напечатанного в Петербурге и «все, что есть хорошего на случай нынешних побед. И мне хочется кое-что написать, тем более что имею на это право, ибо я был их предсказателем: многие места в моей песне точно пророческие и сбылись à la lettre[1]».

Снова друзья (Тургенев, Уваров, Вяземский, который задумал ехать в северную столицу) призывают Жуковского в Петербург. «Стану звать его с собою, — писал Вяземский Тургеневу. — Ему теперь дует попутный ветер, непременно нам, то есть его друзьям, надобно его заставить воспользоваться хорошею погодою. Полно ему дремать в Белёве». Тургенев отвечал Вяземскому: «Жуковский ничего не делает, кроме прекрасных стихов... Услышит ли он, наконец, голос дружбы, призывающий его к берегам Невы?» Вяземский: «Желал бы очень, хотя и на плечах, притащить и Белёвского нашего Тиртея... Я намерен, если не удастся мне выманить его из берлоги, съездить к нему перед поездкой своею в Петербург».

На это все Жуковский так отвечал в письме к Тургеневу: «Планов весьма много, и теперь, когда буря, сдернувшая меня с моего мирного местечка, *для меня* миновалась, буду писать с бо́льшим рвением... Ты зовешь меня в Петербург... Но теперь невозможно. Я обеднел совершенно. Мой поход стоил мне половины моего капитала, о котором однако не жалею. Для путешествия в Петербург нужны деньги. Сверх того мне нужно всем снова

[1] Как по писаному *(франц.)*.

запасаться, даже платьем, ибо у меня все почти распропало... Ты говоришь, что мне нельзя оставаться в деревне. По сию пору ничего не могу желать, кроме того, чтобы жить в деревне. Здесь буду и могу писать более, нежели где-нибудь. Вся моя деятельность должна ограничиться авторством, а служба совсем меня не прельщает... Вот тебе план моего воздушного замка».

Фундаментом этого воздушного замка была, однако, его любовь к Маше. Борьба Маши со своей любовью (в угоду маменьке) ни к чему не привела, наоборот, еще сильнее разожгла страсть и вместе с нею горькое сознание своей обреченности. Она была почти лишена возможности говорить с Жуковским, надзор Екатерины Афанасьевны был строг. Но они с Жуковским много могли сказать друг другу мимолетным взглядом, жестом, двумя-тремя как бы ничего не значащими словами. Он передавал ей, по праву ее учителя, книги с подчеркнутыми местами в тексте — эти места читала она как его собственные письма.

Жуковский готовился к решительному разговору с Екатериной Афанасьевной. Он думал о тех способах, которыми можно было бы убедить ее... Случай навел его на одну мысль... В Орле друг Ивана Петровича Тургенева Иван Владимирович Лопухин крестил новорожденного ребенка — кого-то из рода Протасовых, навестил в Муратове Екатерину Афанасьевну, много беседовал с Жуковским, с Машей. Соратник Новикова по Типографической компании, он очень одобрил ту помощь, которую оказывали Протасовы, особенно Маша, бедным крестьянам. В их муратовском доме всегда жило несколько крестьянских сирот разных возрастов — Екатерина Афанасьевна с дочерьми не только одевала и кормила их, но и занималась с ними обучением грамоте и счету. Помня совет Жуковского, они не стремились «воспитывать» их на дворянский лад — они обедали в людской, и воспитательницами у них были няньки из крестьян. Лопухин был восхищен. После его отъезда (это было в начале февраля 1813 года) Екатерина Афанасьевна только и говорила о благородной и честнейшей душе Ивана Владимировича.

Жуковский решил поехать к нему в Савинское, его подмосковное имение, где уже не раз бывал, — видел «Юнгов остров» с памятниками Фенелону и Руссо... «15 февраля был для меня день счастья и восхитительной надежды. Я поехал в этот день из Муратова с тем, чтобы увидеться с Иваном Владимировичем... Я ехал с

веселыми мыслями. Более нежели когда-нибудь мне весело было смотреть на ясное небо, которое было так же прекрасно, как надежда, которою в ту минуту украшалось мое будущее... Я не обманулся. Иван Владимирович, которому я открыл свои обстоятельства, одобрил меня. При моем отъезде от него он меня благословил. Дни, проведенные у него, только что утвердили меня в том расположении, с каким я к нему поехал. С нетерпением жду той минуты, в которую счастие даст мне новую жизнь». Жуковский, убежденный, что «благословение» Лопухиным его союза с Машей склонит наконец и Екатерину Афанасьевну на благословение их брака, уже располагался в своем великолепнейшем *воздушном замке...*

В своем домике в Холхе, еще не совсем оправившийся от болезни, Жуковский ходил по комнате в тишине. Сквозь морозные узоры на стеклах голубел зимний день. «Сам бросить своего счастья не могу, — думал он. — Пускай его у меня вырвут; пускай его мне запретят; тогда по крайней мере не я буду причиною своей утраты... Жертвовать собою не значит еще соглашаться, что жертва угодна Богу, которому ее приносят насильно». Потом писал в дневнике: «Я же *не один;* прекрасные люди одобряют меня; а мнение, противящееся мне, само по себе сомнительно и для тех, которые его имеют...»

Маша была нездорова. Она не смела ничего сказать матери, но все более отдалялась от нее, замыкалась в себе. В феврале у нее пошла горлом кровь. Плещеев прислал из Черни доктора — француза Ле Фора, пленного, взятого под Малоярославцем и осевшего в Орловской губернии. Ле Фор нашел положение девушки опасным и предписал строгий режим. Из окна Машиной комнаты видны были противоположный берег пруда и деревенька Холх, где, полускрытый ракитами, угадывался домик Жуковского. Екатерина Афанасьевна с неудовольствием замечала, что Маша плачет. А когда Жуковский появлялся в муратовском доме, Маша оживала, заставляла себя встать, выходила к столу и даже играла на фортепьяно или на арфе. Жуковский бодрился, пытался шутить, но какой-то неизъяснимо-тоскливый холод проникал всю атмосферу муратовских комнат. Казалось, что это дыхание невидимой Смерти... Ужас охватывал их обоих, оковывал словно мороз. Они молчали.

Потом Жуковский, не помня как, оказывался в Холхе, у себя. «К кому обратиться? — думал он. — С кем бы перемолвиться?» И было не с кем. Вот письмо Алек-

сандра Тургенева (Александра, в котором хотел он все видеть *Андрея*)... За дружбой снаружи он видел другую — в глубине... Этим Александр и был ему дорог. Последнее письмо Тургенева было печально — он испытал разочарование в любви. Прочитав грустные строки Тургенева, Жуковский стал писать:

Друг, отчего печален голос твой?..

Все прошлое бросилось ему в сердце, взволновало его.

...О! не бывать минувшему назад!
Сколь весело промчалися те годы,
Когда мы все, товарищи-друзья,
Делили жизнь на лоне у Свободы!
...Нет и следов! Исчезло все — и сад,
И ветхий дом, где мы в осенний хлад
Святой союз любви торжествовали,
И звоном чаш шум ветров заглушали!
Где время то, когда наш милый брат
Был с нами, был всех радостей душою?..

В своем домике над прудом, в котором плавали утки, Жуковский писал баллады, где выступают и «губители» и «жертвы». Он наказывает губителей (как бы исправляя огрехи жизни): «Губитель ниспровергнут в бездну сам» («Адельстан»); «И смерть была им приговор» («Ивиковы журавли»). Жуковский пишет «Сиротку», «Песню матери», где учит читателя состраданию; «Обет», «Вспомни, вспомни, друг мой милый...» и «Путешествие жизни», в которых говорится, что «вдвоем» с любимой и «в самой скорби страха нет»... А если не с любимой? Возможно ли *счастье*? Возможно ли счастье *вообще* и создан ли человек для него?

Друзьям издалека, казалось, что Жуковский напрасно не ловит «попутного ветра» в свои паруса, — стоит ему явиться в Петербург, как ему привалит все счастье первого столичного поэта, не исключая денег и чинов. Вяземский пишет Тургеневу о Жуковском нечто до дикости несообразное, искренность его дружбы смешивается с полным непониманием и характера и стихов Жуковского: «Полно ему дремать в Белёве... Жуковского надобно освежить: он теперь вянет... Нельзя долго жить в мечтательном мире, и не надобно забывать, что мы, хотя и одарены бессмертною душою, но все-таки немного причастны скотству, а может быть и очень. Жуковский же пренебрегает вовсе скотством: это гибельно. Свинью можно держать в опрятном хлеве; но чтобы она была и здорова и дородна, надобно ей позволить валяться иногда в

грязи и питаться навозом. И человек, который, по излишнему почтению к сему, конечно, весьма почтенному животному, стал бы держать его в благоуханной оранжерее...» — и т. д. Вяземский не понял еще (поймет потом), что многое человеческое Жуковскому было чуждо, а всего больше то «скотство», о котором с таким запалом пишется в этом письме...

Письмо Уварова иного характера. Он снова зовет Жуковского в столицу: «Ныне Петербург стал единственно приличным для вас местопребыванием... Право, приезжайте!» В письмах Уварова этого лета — похвалы поэзии Жуковского: «Вы имеете большой, оригинальный талант, который влечет вас к идеальной поэзии». Уваров впервые знакомит Жуковского с именами новых и уже знаменитых английских поэтов Вальтера Скотта и Байрона: «Я получил на днях кипу английских книг; между прочим все поэмы сира Вальтера Скотта... Когда я окончу чтение их, то к вам препровожу лучшие. Вы познакомитесь с большим, оригинальным, с вашим талантом свойственным талантом»; он пишет, что настоящих поэтов «теперь у англичан только два: Walter Scott и Lord Byron. Последний превышает, может быть, первого. В стихах Байрона находил я некоторое сходство с вами, но он одушевлен Гением зла, а вы — Гением добра». Карамзин, после войны вернувшийся в Остафьево, продолжал работу над «Историей». Московская библиотека его сгорела. Та же участь постигла богатейшие библиотеки с рукописными собраниями в Московском университете, у А. И. Мусина-Пушкина (здесь сгорел оригинал «Слова о полку Игореве»), Д. П. Бутурлина и Н. Н. Бантыша-Каменского. 10 июля 1813 года Карамзин писал Жуковскому в Муратово: «Между тем я не то, что был. Душа более и более темнеет». Дмитриев вышел в отставку, купил участок в Москве у Патриарших прудов — с садом, но без дома и начал строиться. «Развращенный сын природы, — пишет он Жуковскому, — несмотря на 55 лет, замышляет еще строить опять дом; желает, боится и, наконец, ободряет себя Лафонтеновым стихом: «Не мне, так детям пригодится».

В сентябре 1813 года пришло письмо от Александра Воейкова. «Брат! — писал Жуковский в ответ. — Я получил твое письмо в то время, когда писал к Тургеневу послание, касающееся и тебя, ибо в нем говорится о прошлом времени, о нашем лучшем времени». Воспоминание значительно облагородило Воейкова в глазах Жу-

ковского, — оно связывало это имя с именем Андрея Тургенева. «Ты одно из действующих лиц той прекрасной комедии, которую мы играли во время оно и которая называется счастье», — писал Жуковский Воейкову и звал его к себе в Холх: «Поговорим о прошлом, поплюем на настоящее и еще теснее сдружимся». В октябре Жуковский уже представил своего гостя семье Протасовых.

Воейкову было тридцать пять лет. В отличие от Жуковского в нем не осталось ничего юношеского: он был старообразен, неповоротлив. Он выказал к Жуковскому самые жаркие дружеские чувства. («Такая дружба всех пленила и меня тут же», — писал чуть позднее Жуковский.) Воейков в первые же дни доверил Жуковскому свою тайну: у него есть связь с одной своей дальней родственницей, Авдотьей Николаевной Воейковой, даже есть и дитя; что он, Воейков, думает жениться на ней, но сначала хотел бы получить какое-то обеспечение для жизни, например, место профессора российской словесности в Казанском или Дерптском университете...

Жуковский немедленно написал Тургеневу, и тот начал хлопоты о профессорском месте для Воейкова. Воейков, расположившийся было в домике Жуковского, довольно быстро применился к обстановке. Он выказал в муратовском доме всю предупредительность и все остроумие, на какие был способен, побеседовал с Машей и Сашей, поговорил с Екатериной Афанасьевной, пожаловался, что своим присутствием невольно мешает в Холхе занятиям Жуковского, — и вот уже переехал в Муратово! Екатерина Афанасьевна отвела ему комнату во флигеле. Жуковский подивился его проворству, но не придал этому никакого особенного значения.

За столом Воейков много рассказывал о своих приключениях, где был он якобы сотни раз на волоске от смерти; о том, что был он офицером-ополченцем, даже партизанил по примеру Дениса Давыдова, а после манифеста императора Александра в декабре 1812 года об окончании Отечественной войны поехал путешествовать по югу России и на Кавказ, добрался до Царских Колодцев — русской крепости в Кахетии, мéста, где на любой из горных троп подстерегает путешественника смертельная опасность... Никто и не подозревал правды: на самом деле Воейков, вступив в ополчение, сказался больным — у него и правда болели глаза — и отправился уже в августе 1812 года в мирное путешествие на юг России через Харьков в Екатеринослав. Его партизанство — чистая выдум-

ка. А на Кавказе он действительно побывал. Жуковский с удовольствием, без тени недоверия, слушал его рассказы о Кавказе и вернул ему их опоэтизированными:

Ты зрел, как Терек в быстром беге
Меж виноградников шумел...

Воейков стал помогать Екатерине Афанасьевне в хозяйственных делах, раза два даже ездил куда-то с ее поручениями — словом, поставил себя так, что стал чуть ли не первым для нее советчиком. Оглядевшись, он понял все: что Маша и Жуковский влюблены друг в друга и что Екатерина Афанасьевна против их брака, что Саша красивая и к тому же с хорошим приданым невеста, и он стал волочиться за восемнадцатилетней Сашей, гулять с ней, играть в шахматы (он играл отлично) и нарочно проигрывать, писать стихи в альбом...

Он позаботился и о том, чтобы Протасовы прочли его сатиры и послания (к Сперанскому, Мерзлякову, Жуковскому, Кутузову), напечатанные в «Вестнике Европы», а также переводы сочинений Вольтера в четырех томах, изданные в 1809 году («История царствования Людовика XIV» и другие сочинения). Он знал один только французский язык, поэтому об английской и немецкой литературах имел самое слабое представление...

Саша вдруг с удивлением и досадой увидела себя невестой Воейкова... Она стала тайком плакать, клясть свою судьбу — уж очень неприглядем был жених с калмыцкими глазами, рябой, с сиплым голосом, но — воля матери! Она успокоилась и стала искать в Воейкове достоинств. Воейков же изо всех сил старался ей понравиться. А для того, чтобы заручиться поддержкой Жуковского, Воейков сыграл на его самой чувствительной струне: он обещал быть ходатаем за него и Машу перед Екатериной Афанасьевной. Но хлопоты эти, как говорил он Жуковскому, он считал неудобным начать до своей женитьбы... Жуковский спросил его, а как же Авдотья Николаевна, которая там, в Москве, с ребенком... Воейков вспыхнул и сказал, что это дело конченое, прошлое («Когда же он успел это дело кончить?» — с недоумением думал Жуковский), что Сашу нельзя тревожить призраками его былых ошибок и что тот будет *клеветник,* кто вспомнит об этом деле при Протасовых...

31 января 1814 года Воейков поехал в Петербург хлопотать о должности, которую и получил благодаря Тургеневу. Он вернулся в марте и уже профессором. В марте

же он был помолвлен с Сашей. Свадьбу назначили на июль. В сентябре намечался отъезд в Дерпт. Екатерина Афанасьевна собиралась ехать с ними, конечно, и с Машей. Воейков, став женихом Саши, водворился в доме Протасовых почти как хозяин. Проявив всю свою властность, он, хотя и немного преждевременно, занял положение главы семьи. Екатерина Афанасьевна охотно подчинилась ему — о дочерях нет и речи... Жуковский увидел его двуличность. «Со мною жестокие разговоры на счет Екатерины Афанасьевны, а у нее целование рук и ног. Мне — даже предложение увезти Машу», — записывает Жуковский. В марте у Жуковского было решительное объяснение с Екатериной Афанасьевной. Он попросил у нее руки Маши. Ее глаза расширились и потемнели от гнева, но она сдержалась, ответила сухо: «Никак нельзя. Тебе закон христианский кажется предрассудком, а я чту установления церкви». — «Я вам не родня: закон, определяющий родство, не дал мне имени вашего брата». — «Я не соглашусь. Ведь не пойдете вы с Машей против моей воли?» — «Нет». — «Мне Маша давеча сказала то же... Ты настроил Машу против меня!» — «Неужели важнее остаться правой, чем дать нам счастье? Ведь Маша сказала вам, что любит меня». — «Все равно я не допущу беззакония». — «Иван Владимирович Лопухин вами уважаем. Мог ли бы он одобрить беззаконие?» — «Лопухин — не мог бы». — «Но он *согласен* со мной!» — «Если мнение Ивана Владимировича с твоим согласно, то это только переменит мое мнение об нем». — «Ваше сердце для меня ужасная загадка», — сказал Жуковский и вышел... «Сколько слепоты! — думал он. — Удивительно... Оборотень Воейков кажется ей ангелом, и она отдает ему бедную Сашу, ангела... Господи! И не видит счастья Маши, ведет ее ко гробу!»

Жуковский поехал в Чернь. Потом в Мишенское. Оттуда — в Долбино. Авдотья Петровна уже около месяца жила там с детьми. Огромный дом на широком холме, сад, река Выра в русле глубоком, как ущелье, деревня на другом берегу с прекрасным храмом Успения Пресвятой Богородицы — все еще в снегу, но уже сером, влажном, — воздух веял весенней свежестью... С каким весельем встретили Жуковского Ваня и Петушок! Как рада была Авдотья Петровна, снявшая наконец траурное платье, свежая и молодая, с сверкающими глазами... Тут дела кипят, — управляющий Гринев (он был учителем в

Белёве) по хозяйству хлопочет, хозяйка за педагогику засела, у детей гувернантки... С удовольствием выходил Жуковский на широкий балкон: удивительное небо в Долбине — во все стороны без конца, а какие облака... Успокаивали душу эти длинные пологие холмы, эти крупные черты мощной природы... Взор свободно летел вдаль — *туда*! Не счастье ли *там*?

Авдотья Петровна, которой Жуковский передал свой разговор с Екатериной Афанасьевной, взволновалась и решила делать все возможное, чтобы помочь другу. Она написала Екатерине Афанасьевне отчаянное письмо, призывая ее согласиться на счастье Маши и Жуковского, а в искупление этого — пусть и выдуманного — греха она клялась оставить своих детей и уйти в монастырь. Протасова отвечала: «Дуняша, милый друг, ты меня ужасаешь: что это за предложение ты мне делаешь? Ты все забыла: Бога, детей, Машу, твои должности, о себе я уже не говорю; ты ни о чем не думаешь, кроме страсти Василья Андреевича, и для удовлетворения ее ты все бросаешь». И сама грозит Авдотье Петровне тем же: «Я пойду в монастырь точно... Любовь моя к Василию Андреевичу так чиста, так непорочна, я заблуждалась и думала ему заменить матушку, батюшку, Елизавету Дементьевну и даже видела и в нем к себе истинную любовь брата, а это были все одни искания для получения Машиной руки».

Жуковский не мог оставаться на одном месте — он поехал в Чернь, останавливаясь на постоялых дворах, никуда не спеша. «Я теперь скитаюсь, как Каин с кровавым знаком на лбу, — писал он Тургеневу. — Если ничего не удастся, то надобно будет отсюда бежать, и все-все для меня переменится. Никакой план не представляется мне, и ни к какому не лежит сердце. Ведь это не будет план счастья, а только того, как бы дожить те годы, которые еще остались на мой удел. Самая печальная перспектива!» Письмо к Авдотье Петровне из Черни в Долбино еще мрачнее: «Теперешнее мое бытие для меня так тяжело, как самое ужасное бедствие. Для меня было бы величайшим наслаждением попасть в горячку, в чахотку или что-нибудь подобное».

Была еще надежда на Воейкова. Он обещал после свадьбы усердно хлопотать за друга перед тещей. Он не знал, что Воейков уже действует, но действует *против* него. Жуковский пытался приезжать в муратовский дом — то с Авдотьей Петровной, то с Плещеевым.

Но Екатерина Афанасьевна держала Машу взаперти, а с Жуковским говорила сквозь зубы. Даже на милом лице Саши не находил Жуковский никакого особенного сочувствия (он понимал, что ей не до него, что у нее свадьба скоро...). «Легче быть одиноким в лесу с зверями, — думал Жуковский, — в тюрьме в цепях, нежели возле этой милой семьи, в которую хотел бы броситься и из которой тебя выбрасывают!»

С Машей ему видеться почти не удавалось. Но они нашли способ общения: они завели «синенькие книжки», тетрадки, писали в них письма-дневники и тайно передавали друг другу. Так шла беседа. В июньской книжке Жуковский жалуется, что его одолевают «пустота в сердце, непривязанность к жизни, чувство усталости», что земная жизнь в последнее время для него «смерть заживо». Он говорит Маше, что она стала ему «еще милее, еще святее и необходимее прежнего». Маша советует ему ободриться — любовь не должна *угнетать:* «Я даже желала бы, чтобы ты меня любил менее». И Жуковский, наконец, откликается на ее попытки поддержать его: «Даю тебе слово, что убийственная безнадежность ко мне уже не возвратится... Прошу от тебя только одного: будь мне примером и верным товарищем в этой твердости... Будь моим утешителем, хранителем, спутником жизни!»

Когда Протасовы поехали в Троицкое, Жуковский тайно, отставая на несколько станций, следовал за ними. «Я еду по вашим следам, — писал он в тетрадке для Маши. — Остановился в Куликовке в семнадцати верстах от Орла, там, где вы ночевали в последний раз. Сижу на том месте, где ты сидела, мой милый друг, и воображаю тебя. Хозяйка мне рассказывала об вас, и я уверил ее, что я — *жених»*. 9 июля в Котовке, у Павла Ивановича Протасова, он узнал, что Маша хворала, когда была здесь. «Ты опять больна и опять начинаешь скрываться! — упрекает ее Жуковский. — Ты только хочешь носить маску любви ко мне — не сердись за это выражение! Где же любовь, когда нет никакой заботы о себе». (Вяземский в это время пишет Тургеневу: «Наш Жуковский погибает... Образумится ли он когда-нибудь...»)

В ответ на жалобы Жуковского по поводу предстоящей разлуки — отъезда Протасовых с Воейковыми в Дерпт — Маша говорит: «Базиль! Ты слишком огорчаешься разлукой! Скажи, много ли ты имеешь утешения те-

перь, будучи вместе?» Он снова сетует на то, что стихи не пишутся... Маша отвечает: «Если бы ты знал, сколько меня упрекала совесть за то бездействие, в котором ты жил до сих пор! Я не только причина всех твоих горестей, но даже и этого мучительного ничтожества, которое отымает у тебя будущее, не давая в настоящем ничего кроме слез. Итак, занятия! непременно занятия!»

Призыв Маши как бы пробудил Жуковского. В нем закипели планы: «Писать (и при этом правило — жить как пишешь, чтобы сочинения были не маска, а зеркало души и поступков)... Слава моя будет чистая и достойная моего ангела, моей Маши». Он и лозунг себе придумал: «Дух бодрый на дороге бед!» Маша убеждает его ехать в Петербург: «Я буду жить для тебя и, верно, придет время, что буду жить и *вместе,* но теперь еще это невозможно... О Базиль! Что нас разлучит? Цель, желания, надежды, действия — одни! А какое счастье еще нас ожидает! Оно будет! Бог мне это говорит!» О Екатерине Афанасьевне Жуковский пишет: «Наше несчастие для нее не существует. Иначе могла ли бы она иметь дух с такою холодностью, с таким пренебрежением шутить на счет нашей привязанности, которую называет страстью и хочет представить смешною и странною; а нас — какими-то романическими героями». Маша о ней же: «Базиль, как мы счастливы в сравнении с нею!.. Она слишком чувствует сама, что она не права; доказательства ей не нужны, признаться ей тяжело... Я боюсь за ее здоровье». Екатерина Афанасьевна в это время начала страдать тяжелыми приступами головной боли.

Близилась свадьба Саши с Воейковым, назначенная на 14 июля. Жуковский готовил Саше два подарка — он посвятил ей свою знаменитую «Светлану» (и за Сашей закрепилось потом второе имя — Светлана) и назначил ей в приданое от себя деньги за продажу Холха. Он отдавал его соседу-помещику за десять тысяч. Уже в июне он вынужден был оставить свой домик, свезти все свое в Мишенское. Да и к чему будет Холх, если Маша покинет Муратово уже в сентябре? Бесприютно, безостановочно разъезжая по округе, Жуковский разбил свою единственную коляску — она вся дребезжала, и оси не раз были поменяны... «Думаю, что буду жить в Мишенском, — пишет он в дневнике для Маши. — Впрочем — увидим... Желал бы лучше в Долбине. Дуняша всех лучше умеет тебя любить, всех лучше тебя пони-

мает». Он все чаще думает о Долбине: «Что́ Ангел — Маша, — спрашивает он Киреевскую о ее детях, — что Ваня и Петя? Одним словом что все *милое Долбинское мое?»*

Венчание Воейковых состоялось в церкви соседнего села Подзавалова. В тот же день, 14 июля, Жуковский сообщает Маше: «Сейчас говорили мы с Воейковым, обнялись, плакали и дали друг другу слово в братстве от сердца. Друг мой, будь с ним искренна... Я просил Воейкова, как друга, как брата, быть твоим помощником, твоим утешителем. Нет, он не обманет меня». Не прошло и нескольких дней (Жуковский после свадьбы Саши гостил в Муратове), как Воейков перестал играть с Жуковским в дружбу и братство. Жуковский писал Маше: «Моя последняя надежда была на Воейкова. Милый друг, эта надежда пустая: он не имеет довольно постоянства, чтобы держаться одной и той же мысли... Я не сомневаюсь в его дружбе, но теперешний тон его со мною не похож на прежний... Мы с ним живем под одной кровлею и как будто не знаем друг друга». Все надежды на счастье рухнули.

Тридцатого августа, в день своих именин, Воейков позволил себе грубую выходку против Жуковского. Никто не сделал ему за это замечания. Оскорбленный Жуковский покинул Муратово и написал Екатерине Афанасьевне: «Привязанность мою к Маше сохраню вечно: она для меня необходима; она всегда будет моим лучшим и самым благодетельным для меня чувством. Эта привязанность даст мне силу и бодрость пользоваться жизнью. С нею найду еще много хорошего в жизни... Я не мог с вами проститься. Это было бы тяжело. С вами, быть может, и скоро увижусь, но с вашею семьею, с Муратовом, с моим настоящим отечеством, — расстаюсь навсегда!»

В начале сентября Жуковский поселился в Долбине. Как ярко горели рябины, какое золото и желть сыпал ветер на сжатые поля и дороги с деревьев, как грустен был черный и сырой парк на скате горы, и какой сиротливой россыпью серели долбинские избы за Вырой вокруг златоглавого храма... Родное, милое место!

Отсюда он писал Тургеневу: «До сих пор гений, душа, сердце, все было в грязи. Я не умею тебе описать того низкого ничтожества, в котором я барахтался. Благодаря одному ангелу — на что тебе его называть? ты его имя угадаешь, — я опять подымаюсь, смотрю на жизнь другими глазами... Еще жить можно!» Жуковский

устроился в отведенных ему комнатах как дома. Кабинет его принял свой обычный вид. В шкафах выстроились все его книги; на стол легли толстые тетради... И снова полетели просьбы к Тургеневу: «Нет ли у тебя каких-нибудь пособий для «Владимира»? Древностей, которые бы дали понятие о том веке, старинных русских повестей?» Над бюро — портрет Маши, нарисованный Жуковским. В шкафу — прядь ее волос (Авдотья Петровна уделила часть из тех, что ей подарила Маша). Он списался с московскими друзьями. В октябре возникла стихотворная переписка между Василием Пушкиным, Вяземским и Жуковским, в которой впервые в русской поэзии была поднята тема поэта и толпы. Пушкин обращается к Вяземскому:

Как трудно, Вяземский, в плачевном нашем мире
Всем людям нравиться, их вкусу угождать!

Он жалуется на то, что «зависть лютая, дщерь ада, крокодил» преследует поэта везде, он вспоминает Озерова, который завистников-невежд «учинился жертвой»: они свели его с ума (буквально!) своими интригами. «Врали не престают злословить дарованья»; «не угодишь ничем умам, покрытым тьмою», — говорит он. Вяземский отвечает:

У каждого свой вкус; свой суд и голос свой...

Жуковский написал общее послание «К кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину», где призывает друзей-поэтов «презренью бросить тот венец, который *всем* дается светом», не обращать внимания на суд невежд: «Друг Пушкин! счастлив, кто поэт! Его блаженство прямо с неба; он им не делится с толпой; его судьи́ лишь чада Феба! Ему ли с пламенной душой плоды святого вдохновенья к ногам холодных повергать, и на коленях ожидать от недостойных одобренья?» Жуковский тоже говорит об Озерове, в лавры которого зависть «тернии вплела»: «И торжествует! Растерзали их и́глы славное чело»; и восклицает: «Потомство грозное, отщменья!» Жуковский утверждает независимость истинного поэта и от хвалы и от хулы «толпы». Он говорит:

...О, благотворный труд,
Души печальныя целитель
И счастия животворитель!
Что пред тобой ничтожный суд
Толпы, в решениях пристрастной,
И ветреной и разногласной?

...Собою счастливый поэт,
Твори, будь тверд! их зданья ломки!
А за тебя дадут ответ
Необольстимые потомки.

Во второй и третьей частях этого послания Жуковский разбирает слог посланий Вяземского и Пушкина, отмечает неясности, хвалит удачные строки, на которых лежит «Фебова печать», советует писать кратко, логично, не жалеть труда при работе над черновиком:

Что в час сотворено, то не живет и часа!

В Долбине Жуковский написал второе послание к Воейкову — как бы в ответ на его только что написанную сатирическую поэму «Дом сумасшедших» (сюжет ее дал автору Жуковский), где Воейков высмеял кого только мог — и славенофилов и карамзинистов, — в этот «дом» он упрятал и Шишкова, и Жуковского, и себя. Вышла в общем не сатира, а свалка разнокачественных строф — в одних он с бережным юмором рисует друзей, в других зло нападает на врагов, причем в этот разряд попадают и не славенофилы, и не писатели вообще.

Нападки Воейкова на Шишкова поначалу даже удивили Жуковского и Тургенева. Еще в 1810 году Тургенев писал Жуковскому: «Важный недостаток в Воейкове есть его привязанность и уважение к Шишкову, которого он почитает большим знатоком русского языка и тонким критиком». Послание Жуковского — картина типа муратовско-чернской «галиматьи», — он почувствовал в этой, поднятой Шишковым проблеме и отличную, богатую тему для буффонской поэмы — о сражениях между Старым и Новым слогом в империи Русского языка (эту тему он предложил Батюшкову, и тот всерьез думал приняться за работу). Послание Жуковского как бы глава или эпизод из ненаписанной поэмы, — в нем явные черты юмористического эпоса. Он рисует фантастическую картину поклонения беседчиков Старине: в ее храм Шишков приехал «избоченясь на коте», а кот мяукал при этом по-славянски; за Шишковым следовали Феб в рукавицах, русской шапке, музы в кичках и хариты в черевиках. Их встретила, сидя на престоле, Старина; справа от нее — «Вкус с бельмом», Стихотворцы-староверы окружают престол и объявляют открытие войны:

Брань и смерть Карамзину!

Это все было преддверие работы, окольные подходы к самым сокровенным песням души. Он гонит мечту о *счастии*, боится ее.

О, упоение томительной мечты,
Покинь меня! *Желать* безжалостно ты учишь;
Не воскрешая, смерть мою тревожишь ты;
В могиле мертвеца ты чувством жизни мучишь.

«Жизнь без счастья кажется мне теперь чем-то священным, величественным», — пишет он. Но уже в ноябре он сообщает Тургеневу, что он «в стихах по уши», что «шутя-шутя написал пять баллад, да еще три в голове». В октябре — ноябре 1814 года в Долбине он написал и перевел много стихотворений: «К самому себе», «К Тургеневу, в ответ на стихи, присланные вместо письма», «Добрый совет (в альбом В. А. Азбукину)», «Библия» (с французского, из Л. Фонтана), «Мотылек», шесть «Эпитафий», «Желание и наслаждение», два послания к Вяземскому (кроме обращенного к нему и Пушкину вместе), несколько посланий к другим лицам — к Черкасовым, Плещееву, Полонскому, Кавелину, Свечину, ряд поэтических миниатюр («Совесть», «Бесполезная скромность», «Закон» и другие), «Счастливый путь на берега Фокиды!», «Амур и мудрость», «Феникс и голубка», «К арфе» и несколько шуточных стихотворений: «Максим», «Ответы на вопросы в игру, называемую секретарь», «Любовная карусель (тульская баллада)», «Бесподобная записка к трем сестрицам в Москву» и другие. Несколько баллад: «Старушка» (впоследствии названная так: «Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем, и кто сидел впереди»), «Варвик», «Алина и Альсим», «Эльвина и Эдвин» и «Эолова арфа». В октябре он задумал продолжение написанной в 1810 году «старинной повести» в стихах «Двенадцать спящих дев» — вторую часть он сначала назвал «Искупление», потом — «Вадим». Этому «Вадиму» Жуковский отдал часть того, что предполагал использовать во «Владимире», то есть «древнерусский» материал, связанный с Киевом и Новгородом. Продолжил он работу и над историко-романтической поэмой из жизни ливонских рыцарей тринадцатого века «Родрик и Изора» — у него была уже целая папка планов и набросков к ней (сюжет — трагическая история двух влюбленных). В октябре же он начал широкую историческую панораму в стихах — «Императору Александру», вещь, которая по-

требовала от него немало труда. Тогда же сделал он и первую попытку перевода «Орлеанской девы» Шиллера.

Долбинская осень оказалась настолько плодотворной, что Жуковский увидел в этом даже некий недобрый знак: «Я точно спешил писать, как будто бы кто-нибудь говорил мне, что это последний срок, что в будущем все пойдет хуже и хуже, и что мой стихотворный гений накануне паралича. Дай Бог, чтобы предчувствие обмануло!» *Предчувствия* очень мучили Жуковского в эту осень. Он ими мучил и Киреевскую. «Помните, как вы, — писала она позднее, — писали «Послание к царю»? Как уверены были, что не удастся его кончить? Помните ли «Эльвину и Эдвина»? Каким она нас страхом поразила? Вас как изобретателя, а меня за вами. Как мы не смели сообщить друг другу своей боязни... Помните ли «Валленштейна»? Помните Шиллерову историю о 30-летней войне, и как *суд неба,* произнесенный над Густавом Адольфюм, поразил вас? Милый друг! сколько раз мы делали себе химеры счастья и несчастья; сколько раз плакали и радовались над мечтами нашего воображения».

Однако среди мрачных предчувствий мелькнул и светлый луч — у Жуковского не осталось надежд на брак с Машей, но путем переписки с Екатериной Афанасьевной он добился ее разрешения ехать с Воейковыми и с нею в Дерпт, но в качестве «брата». Жуковский передал Маше дневник, где было написано: «Мы будем вместе; *вместе!* как мило это слово после двух горьких месяцев горькой мысли, что мы расстались». Далее он говорит, что собирается написать «план нашей жизни (ангел, *нашей!*)», и действительно начал писать подробный план, расписание всех дел (хозяйственных, то есть кто чем будет заведовать, например Воейков — «лошади, овес, сено, дрова, люди»; Жуковский — «чистота в доме, библиотека, починки в доме»), а также и образа жизни (что кому делать), и даже *отношений,* и даже — самое детальное расписание дня, и руководство к тому, как себя вести, как создавать нужную обстановку — любви, дружбы, покоя для всех... В отношениях своих с Машей он оставлял в плане только «все ласки сестры и брата». Такой ценой добивались они лишь права жить в одном доме.

Маше было гораздо труднее, чем Жуковскому, — мать сделалась для нее как бы чужим человеком. Она была одна. В семье стало ей тяжелее, потому что и Воейков счел, что по праву родства и старшинства он может следить за ее нравственностью... Душа ее требовала деятель-

ности. Она продала свое фортепьяно, стоившее две тысячи рублей, и купила другое — за четыреста, а тысячу шестьсот раздала бедным крестьянам. «1600 рублей, — писала она Жуковскому, — могут сделать совершенное благополучие пяти семейств, которые не имеют хлеба насущного». Она растила в муратовском доме трех мальчиков-сирот, занималась лечением крестьян и принялась изучать повивальное дело. Тихо, как тень, проходила она по дому, одиноко бродила в парке. Она поняла, что жизнь ее погублена. Она готова была умереть в любую минуту, но Жуковского по-прежнему старалась ободрять, призывая его к «занятиям». И он, захваченный своими планами, своей работой, *своим* несчастьем, не всегда мог представить себе всю глубину Машиных страданий.

Он посылал ей новые стихи. Она переписывала их для себя. В трагических балладах «Алина и Альсим», «Эльвина и Эдвин» и «Эолова арфа» было много от его собственной жизни, несмотря даже на то, что две первые переводные. Это была и жизнь Маши. Конечно, это частность (потому что главное в стихах — поэзия, а не отзвуки), но такая, которая через стихи еще более роднила их души.

«Эолову арфу» Маша выучила наизусть. Эта грустная, прихотливо-музыкальная поэма захватила всю ее душу: сколько в ней красоты, чистого чувства, горькой правды, которая ведома только ей и Жуковскому! Маша повторяла про себя строфы баллады, и каждый раз они приводили ее в трепет: почти не верилось, чтобы *слова* так могли выразить муку души, так глубоко проникнуть в трагедию идеальной любви, так тонко передать слитые воедино тоску и счастье...

Жуковский не сидел сиднем в Долбине — вдруг появлялся он то в Черни, где вручал новые стихи Плещееву (а тот начинал сочинять музыку к ним, даже к балладе «Старушка»), то в Спасском-Лутовинове в имении В. П. Тургеневой, то в Орле, то в Володькове под Белёвом — у барона Черкасова... Стихи продолжались... «Прошедшие октябрь и ноябрь были весьма плодородны, — оповещал Жуковский Тургенева. — Я написал пропасть стихов; написал их столько, сколько силы стихотворные могут вынести. Всегда так писать невозможно».

В эти месяцы Жуковский создал в честь взятия Парижа послание «Императору Александру» — целую поэму, написанную по строго продуманному и не раз переправленному плану. «Сюжет мой так велик, — пишет

он Тургеневу, — что мне надобно было держать себя в узде». Жуковский создал поэтическую картину исторических событий от начала французской революции до падения наполеоновской империи. Он обращается в этом послании к царю как независимый гражданин и смело требует от него уважения к народу. Большая часть просвещенного общества России ждала от Александра «добрых дел», в том числе конституции и освобождения крестьян, разочарование наступит позднее... «Ты ждешь от меня плана моего *Послания к государю,* — отвечает Жуковский Тургеневу 1 декабря 1814 года, — а я посылаю тебе его совсем написанное. Первое условие: прочитать вместе с Батюшковым, с Блудовым, с Уваровым и, если он состоит налицо, с Дашковым».

Друзья прислали свои замечания. Поправки Батюшкова, которые Жуковский почти все принял, относились в основном к первой половине стихотворения. «Вторая половина, — писал Батюшков Тургеневу, — вся прелестна... Здесь Жуковский превзошел себя: стихи его — верьте мне! — бессмертные». В январе следующего года послание было выпущено небольшой книжкой, просматривая ее, Жуковский морщился от досады — его раздражали сугубые архаизмы и еще неизвестно что; он ставил на полях такие замечания: «вздор», «пустое», «врешь и мычишь»; «врешь, как осел, сумасшедший на том, чтобы казаться человеком», «сбрехал»...

Там же, в Долбине, Жуковский начал большое стихотворение «Певец в Кремле». «Певец во стане, — писал он Тургеневу, — предсказавший победы, должен их воспеть; и где же лучше, как не на кремлевских развалинах». Он писал его в Долбине, в Черни и потом в Москве. Эта вещь продвигалась с трудом, он никак не мог найти верный тон. Жуковский намеревался закончить его в Дерпте.

Воейков все просил отсрочек у начальства, наконец отъезд был назначен на январь 1815 года. И тут новый удар свалился на Жуковского, — Екатерина Афанасьевна вдруг запретила ему ехать с ними в Дерпт. Он послал ей письмо и решил сам с ней поговорить. «Мы говорили, — сообщает он Маше, — этот разговор можно назвать холодным толкованием в прозе того, что написано с жаром в стихах. Смысл тот же, да чувства нет. Она мне сказала: дай время мне опять сблизиться с Машею: ты нас совсем разлучил». Протасовы и Воейковы собирались уезжать. Жуковский не знал даже дня их отъез-

да. Чтобы не упустить, может быть, последней возможности разговора с Екатериной Афанасьевной, он в середине января 1815 года выехал в Москву. «Покрытая пожарным прахом» (по его словам) Москва как бы отвечала своим видом состоянию его души. «Теперь пишу из священной нашей столицы, покрытой *прахом славы,* — писал он Тургеневу, — в которую я въехал с гордостью русского и с каким-то особенным чувством, мне одному принадлежащим, как певцу ее величия».

Он остановился у Карамзина на Малой Дмитровке, рассчитывая прожить не более двух недель. И вот они приехали: Екатерина Афанасьевна — воплощенная суровость, Воейков — самодовольство. А Маша покашливала и старалась скрыть уныние. В отчаянии Жуковский пишет Тургеневу: «Каждая минута напоминает мне только о том, чего я лишен, и нет никакого вознаграждения... Мы не можем подойти друг к другу свободно... Теперь вопрос: что же будет с нами, — с нею и со мной? Дойти ко гробу дорогою печали. Более ничего!»

В конце января все они уехали в Дерпт. Жуковскому было милостиво велено «ждать». Но чего? И куда вообще деваться? Он был в растерянности. Остаться в Москве? Ехать в Петербург? Первого февраля он сообщил Тургеневу, что проживет еще «дней десять» в Москве, а четвертого марта: «Еду прямо в Дерпт, где пробуду сколько возможно менее, потом — в Петербург».

Жуковский в Москве снова стал думать о «Владимире». Карамзин одобрил этот его замысел и разрешил даже сделать выписки из своей еще не опубликованной «Истории государства Российского». «Эти выписки послужат мне для сочинения моей поэмы», — говорит Жуковский в письме к Тургеневу. Но продолжать «Владимира» можно было только в Петербурге, так как в Москве сгорели все крупные библиотеки. В Петербурге же и Александр Тургенев готовит издание двухтомных его сочинений... Итак — в Петербург! Завернуть в Дерпт, повидать Машу, потом — к друзьям... Или — судьба, *счастливая судьба* скажет остаться в Дерпте?..

7 марта 1815 года Жуковский покинул Москву.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

(1815—1818)

«16 марта приехал Жуковский», — записал в дневнике новоиспеченный дерптский профессор Воейков. Молодой офицер и будущий исторический романист Иван Лажечников в марте того же года описывает Дерпт: «Живя здесь, воображаю, что не расставался с благословенною Германией: так сходны с обычаями и нравами ее жителей образ жизни дерптских обывателей, порядок, чистота, трудолюбие... В Дерпте средоточатся веселости и науки Лифляндского края. Дерпт очень красивый городок. Он имеет порядочную площадь. Гранитный мост его через реку Эмбах, построенный по повелению императрицы Екатерины II, может почесться одним из лучших его украшений. Здание Университета величественно, — оно стоит на древней городской площади... Выгодное положение Дерпта между Ригою и Петербургом... стечение в нем окружного дворянства... ярмарка, куда сливаются богатства Петербурга, Москвы, Риги, Ревеля и Белоруссии... все сие делает Дерпт одним из приятнейших городов России». Лажечников пишет, что «всегда помнить будет с удовольствием о вечерах, проведенных в здешних клубах (Благородном, Академическом и Мещанском), где всякий между *своими* веселится *по-своему*», и о великолепных балах в «первых» домах города — у Левенштерна, графа Мантейфеля, графини Менгден, графини Вильбоа... Вспоминает он и «беседу», устроенную русскими офицерами и генералами, вернувшимися из заграничного похода, для Жуковского и Воейкова. Он отметил, что стихи Жуковского «любят здесь и везде читают». «Записан в сердце моем день, когда я узнал сего скромного, несравненного Певца нашего, Поэта, коего гению поклонялся я с самого малолетства!»

Дом, в котором поселились Воейковы и Протасовы: «Светел, тепел и хорош, — как сообщала Маша Авдотье Петровне, — но завален книгами, мебелью, посудой... такой же хаос, какой был в Муратове». В первые же дни

по приезде в Дерпт, в феврале, Маша побывала в обществе («Один одет лучше другого, все женщины красавицы»), познакомилась с хирургом и пианистом-виртуозом Мойером («который... будет меня учить!»), с живописцем Зенфом («...будет нас учить!») и арфистом Фрике («будет меня учить! Дунька моя. а тебя здесь нет! о, боже мой!»). Маше смешны показались «чухны» с белокурыми и рыжими длинными волосами, извозчики, у которых на дуге по десять колокольчиков... Весело, оживленно проходили дни... «Худо мне, моя Дуняша! — пишет она. — И сердцу не с кем отдохнуть! С какой бы радостью отдала бурную свою остальную жизнь за то, что мой *ангел милый, хранитель* теперь приехал. Как бы бодро пошла вперед, если должно еще идти!» И вот он приехал...

Везде в обществе встречали его с почетом — приехал знаменитый поэт... В доме Воейкова все шло своим чередом — вечера, гости... Но это *наружно. Настоящая* жизнь шла скрыто от чужих глаз. Жуковский почти сразу по приезде имел беседу с Екатериной Афанасьевной. Она сказала ему, что своим приездом он «расстроит репутацию» Маши. Ночью, в своей комнате, с невыразимым страданием писал Жуковский отчаянное письмо, надеясь передать его наутро Маше. «Осмотревшись в Дерпте, — пишет он, — я уверился, что здесь работал бы я так, как нигде нельзя работать — никакого рассеяния, тьма пособий... И теперь, в ту самую минуту, когда я только думал начать жить прекраснейшим образом, все для меня разрушено!.. Все разом вдребезги — и счастие... и труд свободный!.. Теперь что мне осталось? Начинать новую жизнь без цели, без бодрости, и — за каким счастием гнаться?.. Сердце ноет, когда подумаешь, *чего* и *для чего* меня лишили». И еще не одну ночь провели они в отчаянии, каждый в своей комнате. Немецкий сторож бил в деревянную колотушку на ночной улице и протяжным голосом извещал, что в городе все спокойно...

«Милый друг, — писал Жуковский в конце марта, — надобно сказать тебе что-нибудь *в последний раз.* У тебя много останется утешения, у тебя есть добрый товарищ: твоя смирная покорность Провидению». Он пишет о Воейкове, который снова выступил против них: «Человек, который имеет полную власть осчастливить тебя и который не только этого не делает, но еще делает противное, может ли носить название человека? Этого простить нельзя. Даже трудно удержаться от ненависти. Я не могу и не хочу притворяться. Между им и мною нет ничего

общего. Я...» — он яростно зачеркнул несколько строк. Потом продолжил: «Дай мне способ сделать ему добро: я его сделаю. Но называть черное белым...»

Письмо пролежало недописанным весь день. Прошла еще ночь. Утром он приписал: «Маша, откликнись. Я от тебя жду всего. У меня совершенно ничего не осталось». В начале апреля он пишет Александру Тургеневу, который звал его в Петербург жить вместе с ним: «Судьба жмет меня в комок, потом разожмет, потом опять скомкает. Видно, что только близ одного тебя мне совсем раскомкаться. Боюсь петербургской жизни, боюсь рассеянности, боюсь своей бедности и нерасчетливости. Что если со своим счастьем еще потерять и свою свободу, и свои занятия, и сделаться ремесленником, и жить только для того, чтобы не умереть с голоду!» Жуковский начал свыкаться с мыслью, что ехать надо в Петербург. В дневнике для Маши он пишет: «Мне везде будет хорошо — и в Петербурге, и в Сибири, и в тюрьме, только не здесь, где не дадут мне ничего доброго исполнить... Прошедшего никто у меня не отымет, а будущего — не надобно».

...В ночь на 4 мая Жуковский приехал в Петербург. Тургенева не было дома. В тяжком раздумье до самого утра сидел Жуковский перед окном, глядя на темную массу Михайловского замка, слабо освещенную месяцем, чуть серебрящуюся воду Фонтанки... Вечером 6 мая комнаты верхнего этажа дома Голицына, где жили братья Тургеневы — Александр и Николай (служащий в министерстве финансов), — наполнились смехом и говором целой толпы людей. Повидать Жуковского (а иные впервые познакомиться) пришли Уваров, Крылов, Дашков, Вигель, Гнедич, Лобанов. Само собой сложилось некое празднество. Все эти гости были в театре на премьере «Ифигении в Авлиде» в переводе — и превосходном — Михаила Лобанова. И вряд ли Лобанов был в обиде на то, что разговор за поздним ужином с шампанским почти не коснулся его «Ифигении», он не мог не понять важности момента: внимание было отдано не кому-нибудь, а знаменитому лирику и балладнику, автору «Певца во стане русских воинов», Жуковскому, которого не один год поджидали в Петербурге...

Жуковский рад был им всем, в особенности же Гнедичу и Крылову, которые были друзьями, служили оба в Публичной библиотеке и жили соседями в доме библиотеки. Крылов не преминул напомнить Жуковскому о его

баснях. Жуковский шутя ответил, что его басни теперь прикинулись балладами (чтобы не смешиваться с крыловскими), и там вместо мартышек и котов действуют ведьмы, мертвецы и черти, причем, если постараться, можно найти в каждой и мораль...

Дни помчались суетные. Обеды у Блудовых, у Екатерины Федоровны Муравьевой, у Оленина, которого Жуковский поблагодарил за виньетки для «Певца». Оленин взялся сделать рисунки к будущему изданию его сочинений. Они втроем — Тургенев, Оленин и Жуковский — порешили, что томов будет три, для первого изображена будет *статуя Мемнона* (которая, как известно, на рассвете издавала мелодические звуки), для второго (в нем будут собраны баллады) — *трубадур,* для третьего — фигура крылатой *фантазии.*

Алексей Николаевич и Елизавета Марковна Оленины были радушные хозяева — в их доме на Фонтанке и в имении под Шлиссельбургом — Приютине — всегда кипел разнообразный, может быть, даже слишком разнообразный народ. Батюшков, Крылов, Гнедич, Лобанов были здесь как дома. Актеры, художники, ученые, писатели, а еще всякие приезжие иностранцы — все это находило у Оленина живой отклик и посильную помощь. В доме Оленина побранивали Шишкова, но не принято было хвалить Карамзина. Здесь, как отметил Жуковский, даже «спорят с теми, кто его хвалит». Жуковский боготворил Карамзина, это был для него образец человека высокой души, истинного благородства. Само собой получилось так, что Жуковский не сошелся с Олениным близко, не спешил в его дом.

Его влечет в Долбино: «Дайте мне устроить свое здешнее, и я опять у вас, опять в своей семье, опять в прекрасном родном краю, окруженный всеми милыми воспоминаниями...» Еще более в Дерпт: «Знаете ли, что всякий ясный день, всякий запах березы... так же, как и всякая красная кровля, покрытая черепицами, поневоле тащит все воображение туда, куда и хотеть не должно». Тургенев предлагал службу. «Надобно все видеть здесь вблизи, — пишет об этом Жуковский, — чтобы увериться, что служить *для пользы* невозможно. *Для выгоды* же служат те, которые имеют особенные, *неестественные* способности ее находить».

Ничтожные блага, которые привлекают в Петербург многих, вызывают у Жуковского лишь презрение: «Богатства мне искать нельзя, я его не найду, да и не счи-

таю его нужным, почести — сущая низость, когда стоишь на той сцене, на которой раздается хвала, гул шумный и невнятный; быть полезным — эта химера кажется только в Белёве чем-то существенным, здесь ее иметь невозможно — может быть, придет такое время, когда она обратится в существенность; теперь стоит только поглядеть на тех людей, которые посвятили себя общеполезной деятельности, чтобы сказать себе, как эта цель безумна! Будешь биться как рыба об лед... убьешь в себе прежде смерти то, что составляет твою жизнь, и останешься до гроба скелетом». Жуковский хочет быть только писателем. Ему нужна независимость. С Тургеневым и Уваровым выработал он план достижения этой независимости. Они обещали добиться для него «пенсиона» от двора, как для поэта. Затем дóлжно издать его сочинения. В-третьих, положено было основать журнал, который бы приносил постоянный доход. Осуществив все это, можно было ехать на родину и там готовить для журнала материалы и писать стихи, а также «Владимира».

Через несколько дней после его приезда в Петербург, Жуковский был представлен Уваровым императрице-матери — Марии Федоровне; она целый час беседовала с ним; но он не был обольщен вниманием двора. «В большом свете поэт, заморская обезьяна, ventriloque[1] и тому подобные редкости стоят на одной доске, — отмечает он, — для каждой из них одинаковое, равно продолжительное и равно непостоянное внимание». После беседы с императрицей мысль Жуковского — в письме к Авдотье Петровне в Долбино — опять метнулась к родным краям. «На всякий случай, — просит он, — чтобы была для меня отделана комната и в ней шкафы для моих книг, простые, но крепкие и недосягаемые для мышей, и в эти шкафы да перенесутся и поставятся книги мои, так чтобы я мог их обрести в порядке при своем приезде... Что ни говори судьба, а еще весело подумать, что у меня есть прекрасный уголок на моей родине»... (А в это время Маша пишет той же Киреевской: «Какое счастие получать такие письма из *отечества,* от тебя — и в холодном, холодном Дерпте!») Петербург тоже в это лето был *холоден* — дожди лили беспрестанно; почти все, кто жил на дачах, уже в июле покинули их, — в частности Блудовы, у которых на даче, на Крестовском острове, бывал Жуковский...

---

[1] Чревовещатель *(франц.).*

Саша Воейкова должна была родить. 12 июля Жуковский прибыл в Дерпт, а 26-го крестил «нового гостя земного», которого он в тот же день приветствовал стихами. С Машей он видится только за обедом и чаем — она очень похудела, испытывает частые недомогания (даже проводит по нескольку дней в постели), но бодрится, пишет Авдотье Петровне принужденно-веселые письма, за что та даже сердится на нее (какое, к чему *веселье,* когда Жуковский так грустен?). Жуковский снова говорит с Екатериной Афанасьевной о Маше, просит ее руки, снова отказ...

24 августа Жуковский уезжал из Дерпта. С ощущением полной безнадежности в душе он решился на последнее объяснение, Маша была при этом. «Прощаясь, он опять зачал мне говорить при ней, чтобы позволила этот ужасный для меня брак», — сообщала Екатерина Афанасьевна одному из родственников. И что будто бы при этом Маша «с искреннею твердостью ему сказала, что этого никогда не будет» (ложью мать «спасала» репутацию дочери...).

Отчаяние, холод царили в душе Жуковского. Он сообщает Киреевской, которая стала самым задушевным его другом, что и на этот раз из Дерпта он «въехал в Петербург с самым грустным, холодным настоящим и с самым пустым будущим в своем чемодане». «Вот уже я две недели с лишком в Петербурге, — это писано 16 сентября, — а еще не принимался ни за что... Здесь не Долбино! Думаю, что голова и душа не прежде как у вас придут в некоторый порядок; у вас только буду иметь свободу оглядеться после моего пожара, выбрать место, где бы поставить то, что от него уцелело, и вместе с вами держать наготове заливную трубу».

Жуковского приглашали в Гатчину, в Царское Село. Все ожидали выхода в свет его сочинений. Он был любимейшим поэтом молодежи. Но он собирался провести в Петербурге только одну зиму. «В начале весны, — пишет он Вяземскому, — проездом через Москву заеду в Остафьево и, вероятно, вместе проведем месяц в деревне, подле нашего Ливия... Потом переселюсь опять на свою родину, чтобы совершенно посвятить себя своей музе и только изредка делать набеги на Петербург». Мысль о родине, о родном убежище давала крепость его душе. Он убеждал себя смириться с жизнью без счастья, и в это время окончательно сложилось его отношение к жизни, к своей судьбе, — он сумел породнить трагедию с «ти-

шиной» души, слезы отчаяния с добрейшей улыбкой хорошего, отзывчивого человека; холодную отчужденность от всего шумного, общественного — с веселым компанейством при самом непринужденном, естественном поведении на людях. Он жаждал *счастья* и искал его везде, во всем *добром,* в том числе и в настоящей поэзии. «*Поэзия есть добродетель,* — пишет он Вяземскому в сентябре того же 1815 года, — следовательно *счастие!* Наслаждение, какое чувствует прекрасная душа, производя прекрасное в поэзии, можно только сравнить с *чувством доброго дела,* и то и другое нас возвышает, нас дружит с собою и делает друзьями со всем, что вокруг нас!»

Встреченный в Павловске весьма доброжелательно, Жуковский тем не менее чувствовал себя здесь *гостем* и не хотел представлять себя в другом качестве при дворе. Мысль его не устремилась к этому блестящему кругу — она осталась спокойно направленной в сторону Белёва. Ему приятно было гулять в Павловском парке, расположенном в долине тихой Славянки... За добро гостеприимства — добро поэзии! Еще один камень в созидающуюся стену *счастья.* Как мало нужно было для того, чтобы всколыхнулось самое светлое, — элегия «Вечер» — *счастливых* времен песнь (несмотря на горькие утраты!) — зазвучала в его душе, и рядом, как *тень ее,* начинала уже веять тихими крылами другая, новая — о Славянке.

...Ручей, виющийся по светлому песку...
...Славянка тихая, сколь ток приятен твой...

...Как слит с прохладою растений фимиам!..
...Последний запах свой осыпавшийся лист
С осенней свежестью сливает.

Тот же закат... То же размышление:

...Сижу задумавшись; в душе моей мечты...
...Все к размышленью здесь влечет невольно нас...

Тот же покой:

...Все тихо: рощи спят; в окрестности покой...
...Но гаснет день... в тени склонился лес к водам...

Только ива, любимое дерево поэта, постарела, как и его душа:

...Как тихо веянье зефира по водам
И гибкой ивы трепетанье!
...То ива дряхлая, до свившихся корней
Склонившись гибкими ветвями,
Сенистую главу купает в их струях...

Там — «может быть» — «юноши могила», здесь —

...Как будто мир земной в ничто преобратился...

...Надвигалась осень. В Царском Селе не раз видел Жуковский прогуливающихся лицейских — они смеялись, подталкивали друг друга. Лицей помещался во дворцовом флигеле. Он иногда думал, глядя на этот флигель, о племяннике Василия Пушкина — ода его «Воспоминания в Царском Селе», напечатанная в «Российском музеуме», поразила и его и Батюшкова. («Его «Воспоминания» вскружили нам голову с Жуковским, — пишет Батюшков Вяземскому. — Какая сила, точность в выражении, какая твердая и мастерская кисть в картинах».) Жуковский отметил этот свежий дар — он запомнил «К другу стихотворцу», «Кольну», напечатанные в «Вестнике Европы», и почти все, что успел напечатать талантливый лицеист в «Российском музеуме» и «Сыне Отечества». Еще не зная его, он уже любил этого юношу, тревожился о его будущем, чувствовал какое-то родство с ним. Наконец он решился войти во флигель...

«Я сделал еще приятное знакомство! — писал он Вяземскому 19 сентября. — С нашим молодым чудотворцем Пушкиным. Я был у него на минуту в Сарском Селе. Милое, живое творение! Он мне обрадовался и крепко прижал руку мою к сердцу. Это надежда нашей словесности. Боюсь только, чтобы он, вообразив себя зрелым, не мешал себе созреть! Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастает. Ему надобно непременно учиться, и учиться не так, как мы учились!.. Я бы желал переселить его года на три, на четыре в Геттинген или какой-нибудь другой немецкий университет! Даже Дерпт лучше Сарского Села. Он написал ко мне послание, которое отдал мне из рук в руки, — прекрасное! Это лучшее его произведение! Но и во всех других виден талант необыкновенный! Его душе нужна пища! Он теперь бродит около чужих идей и картин. Но когда запасется собственными, увидишь, что из него выйдет!»

Жуковский стал чаще бывать в Царском. Он приво-

зил Пушкину книги. Они беседовали. Жуковский был до слез тронут, когда Пушкин процитировал в осеннем парке строки из «Элегии» Андрея Тургенева, — оказывается, в Лицее многие любили это стихотворение, оно было здесь отечественной классикой вместе с «Сельским кладбищем» Жуковского. Думая о Пушкине, Жуковский не забывал его нигде — ни у друзей, ни в одиноких утренних трудах за конторкой. Имя Пушкина, весь облик его, живой и задумчивый одновременно, белозубая улыбка, быстрая речь — навевали смутную, радостную надежду. Это было *добро,* отсвет божественного гения... Это мирило Жуковского с жизнью, с ее несчастьями.

21 сентября был дружеский обед у Дмитрия Блудова по поводу его и Дашкова именин (Дашкова Жуковский, несмотря на его высокий рост и мужественный, даже суровый вид, называл «Дашенькой», что невольно вызывало улыбку...). Были Крылов, Гнедич, Жихарев, Вигель и Тургенев. Среди шумных разговоров кто-то предложил вдруг:

— А не пойти ли нам на «Липецкие воды»?

Это была новая комедия Шаховского. 23-го она шла в первый раз. Все, кроме Гнедича и Крылова, согласились идти. «Оленисты» Гнедич и Крылов знали, в чем «секрет» пьесы, но нашли нужным промолчать (пьеса была до постановки хорошо известна в кругу А. Н. Оленина). Было взято шесть кресел в третьем ряду партера. Князь Шаховской был даровитый и остроумный драматург. Он был, однако, «старовер» в литературе и остроумие свое оттачивал нередко на приверженцах «нового слога», карамзинистах. В комической поэме «Расхищенные шубы» досталось Василию Пушкину, а в пьесе «Новый Стерн» — Карамзину. В нем, правда, было больше буффонства, веселого шутовства, чем злобы и яда. Поэтому друзья пошли в театр на Дворцовой площади, предвкушая по крайней мере удовольствие посмеяться.

Комедия в самом деле оказалась смешной, затейливой, с интересными характерами героев. Актеры играли великолепно. Когда на сцене появился один из персонажей — стихотворец Фиалкин, — всем стало ясно, что это за пьеса. Фиалкин говорил цитатами из баллад Жуковского, он был «чувствительный поэт», «слезливо» поющий «нежным голосом под тихий строй гитары»... В графе Ольгине — намеки на Уварова, а Угаров? Нет, это не Уваров, это Василий Пушкин. Ясно, ясно... Месть за обвинения в адрес Шаховского, высказанные в поэтиче-

ских посланиях Василия Пушкина, Жуковского, напечатанных в этом же году в «Российском музеуме». Обвинен был Шаховской в «лютой зависти» к Озерову и в погублении его. «Потомство грозное, отмщенья!» — воскликнул Жуковский в своем послании. Шаховской не стал взывать к потомству. Он воспользовался сценой, а он был одним из заправил петербургских театров... Любопытно, что всю взрывчатку князь-драматург запрятал в персонажи второстепенные (как бы намекая этим на второстепенность пародируемых лиц в жизни), не связанные даже с сюжетом комедии. Это был расчет. Расчет верный! Взорвалось! Жуковский с искренним добродушием смеялся уморительным репликам навязчивого и бестолкового стихотворца Фиалкина. Он не замечал, что многие зрители начали поглядывать на него, как бы прикидывая — насколько он Фиалкин... Блудов и Дашков постепенно закипали гневом... Жуковский увлеченно аплодировал актеру Климовскому, который блестяще играл дурацкого «стихотворца»... Галиматья! Жуковский видел в этом образе пример сценической *галиматьи* (вроде муратовско-чернских комедий).

Друзья Жуковского подняли бурю. В ответ на комедию Шаховского Дашков напечатал в «Сыне Отечества» издевательскую статью под названием «Письмо к новейшему Аристофану». Блудов написал «Видение в какой-то ограде, изданное обществом ученых мужей». Вяземский сочинил цикл эпиграмм на Шаховского — «Поэтический венок Шутовского, поднесенный ему раз навсегда за многие подвиги» — и «Письмо с Липецких вод», которое поместил в журнале «Российский музеум». Молодой Пушкин примкнул к защитникам Жуковского. Карамзин писал в эти дни Тургеневу: «Пусть Жуковский отвечает только новыми прекрасными стихами; Шаховской за ним не угонится».

14 октября в доме Уварова на Малой Морской, кроме хозяина, собрались еще пятеро: Блудов, Александр Тургенев, Жуковский, Дашков, Жихарев. Блудов читал свое «Видение», навеянное поездкой по делам наследства, — ему случилось остановиться в Арзамасе, на станции. Рядом с его комнатой была другая, куда, как он слышал через тонкую стену, пришли какие-то люди, которые ужинали и беседовали, как ему показалось — о литературе... Фантазия тотчас сделала из них общество безвестных любителей литературы... Сама собой возникла мысль создать общество. Началось уточнение деталей, поиски

названия... Припомнились средневековые «буффонские клубы» в Италии с их комическими ритуалами, ложными именами, розыгрышами — все это было призвано маскировать настоящие цели собраний...

Название придумалось скоро: «Арзамасское общество безвестных людей». Члены — «Их превосходительства гении Арзамаса» в то же время «гуси», так как эмблемой общества был избран мерзлый гусь (это оттого, что город Арзамас славился гусями...»). «Гуси» должны были иметь прозвища, взятые из баллад Жуковского. Так Уваров получил имя *Старушка,* Тургенев — *Эолова Арфа,* Жихарев — *Громобой,* Вигель — *Ивиков журавль,* Блудов — *Кассандра,* Дашков — *Чу,* позднее вступившие Вяземский — *Асмодей,* Батюшков — *Ахилл,* Давыдов — *Армянин,* В. Л. Пушкин — *Вот* и т. д.

Особенно «крамольными» были имена-междометия, слова, мелькавшие в балладах Жуковского, о которых даже несколько лет спустя не кто-нибудь, а Иван Дмитриев (!) писал Шишкову: «Я и сам не могу спокойно встречать... такие слова, которые мы в детстве слыхали от старух или сказывальщиков... *Вот, чу...* и проч., стали любимыми словами наших словесников... даже и самый Вестник Европы без предлога *вот* не может дать ни живости, ни силы, ни приятности своему слогу». Иные имена были просто шуточны — так Тургенев был назван Эоловой Арфой всего лишь из-за частого бурчания в животе, а маленький ростом Батюшков — Ахиллом по контрасту (этому имени придавали и другое звучание: *Ах, хил!*). Жуковский получил имя *Светланы,* и оказалось так, что почти всерьез, так как имя это относили к его действительно *светлой* душе.

«Арзамас» должен был противостоять шишковской Беседе любителей русского слова, заседавшей в доме Державина на Фонтанке с 1811 года. Каждый вступающий в «Арзамас» должен был в издевательски-похвальной речи отпевать кого-нибудь из «беседчиков». Жуковский отпевал графа Дмитрия Ивановича Хвостова (под именем *Кубрского,* так как Хвостов именовал себя «певцом Кубры», реки при своем имении). В своей речи Жуковский остроумно оперировал смешными и нелепыми строками из хвостовских басен. Книга басен Хвостова станет в «Арзамасе» настольной, «потешной» и вызовет целый ряд пародий.

Как бы серьезно ни стоял в основе борьбы «Арзамаса» с Беседой спор о старом и новом слоге, Жуковский,

будучи истинным арзамасцем, «ехал на Галиматье» и творил как бы живой *комический эпос,* продолжая свое послание «К Воейкову» прошлого, 1814 года. Жуковский — бессменный секретарь. Надевая красную шапку секретаря, он переставал быть Жуковским. Многие члены «Арзамаса» воспринимали это как веселую игру (хотя и с серьезными целями), но для Жуковского это было бегство от жизни, от себя в сотворенный им новый мир. Протокол прибавлялся к протоколу, потом все это переплеталось в книгу. Протоколы — эпическая галиматья, в них проза скоро уступила место законному здесь гекзаметру. Для Жуковского на деле — то есть в поэзии — не было проблемы двух слогов, то есть не было сшибки их внутри его. Он решал этот вопрос сам, по-своему, не подключая его к борьбе партий и даже к борьбе «Арзамаса» с Беседой. «Мы объединились, чтобы хохотать во все горло, — писал Жуковский, — как сумасшедшие; и я, избранный секретарем общества, сделал немалый вклад, чтобы достигнуть этой главной цели, т. е. смеха; я заполнял протоколы галиматьей, к которой внезапно обнаружил колоссальное влечение. До тех пор, пока мы оставались только *буффонами,* наше общество оставалось деятельным и полным жизни; как только было принято решение стать *серьезными,* оно умерло внезапной смертью».

Благодаря деятельности разных людей «Арзамас» сделался сложной структурой, — в него пытались внести даже черты тайного политического общества. Но суть его — по линии, которую вел Жуковский, вел буквально — в протоколах. Арзамасские речи и протоколы (кто бы их ни говорил или писал) неизбежно принимали облик, заданный Жуковским, и сливались в единое целое.

Кончалось заседание, все разъезжались по домам. Какие письма писал Жуковский в это «веселое» арзамасское время на родину, видно по ответу Киреевской, по ее долбинскому письму от 23 ноября 1815 года: «Милый брат! Милый друг! Бесценное письмо ваше оживило меня, хотя в нем нет ничего *оживительного,* — те же желания не того, что у нас есть, та же непривязанность к настоящему, та же пустота, скука, которые до вашей милой души не должны бы сметь дотронуться, — но этот почерк, этот голос дружбы, который слышен и в скуке, и в пустоте, и в шуме, — и возможность счастья невольно воскресла! Авось!.. Бросьте все, милый брат! Приезжайте сюда,

ваше место здесь свято!.. Ваши рощи, ваша милая Поэзия, ваша прелестная свобода, тишина, вдохновение и верные сердца ваших друзей, здесь все цело, все живет, все вечно! Что это за *состояние*, для которого вам надобно служить? Что это значит: *чем жить?* Это и глупо и обидно! Забыли вы, что я хотела все свое продать, бросить, чтобы с вами в 14 году ехать в Швейцарию? Разве вы не знаете, что у нас, слава Богу, есть чем жить... что и тогда бы было, когда б я сама для жизни своими руками работала, и тогда бы вы могли жить со всеми прихотьми, каких бы вам угодно было! А когда бы вы здесь были с нами, я была бы вашим богатством богата; милый друг, неужели мне сказывать вам, что такое для меня любить вас?» Но в какие дни попало это прекрасное письмо в руки Жуковского! В какие дни! Он как раз совершенно был выбит из равновесия, получив письмо Маши из Дерпта, в котором она просит его согласия на ее брак с Мойером! Не сразу он принялся за ответ Маше...

Мойера он знал. Мойер сватался уже к Маше, получил отказ, но остался другом семьи. Подружился с ним и Жуковский. Мойера нельзя было не любить за прекрасную душу. Он был профессор хирургии Дерптского университета, пианист-виртуоз, коротко знакомый с Бетховеном. Еще в сентябре Маша писала о нем Киреевской: «Милый, добрый, благородный Мойер... Он положил себе за правило забывать или не думать о себе там, где дело идет о пользе ближнего, и жертвовать всем другому. И это не слова, а *дело*... Клиник университетский у него на руках — но как там нельзя содержать беспрестанно более 5 человек, то Мойер нанимает большой дом, куда привозит себе безруких и безногих и лечит на свой счет». Мойер был при Сашиных родинах, а Екатерину Афанасьевну «не вылечил, а спас от ужасной лихорадки», как пишет Маша. Он взялся «с добродушием и простотой» лечить и ее. Екатерина Афанасьевна писала Киреевской о Мойере: «Благородство души его, право, описать нельзя, доверенность и привязанность к Маше — необыкновенные».

Жизнь Маши была в это время до крайности тяжкой. С Жуковским она была разлучена и убеждена была, что уже теперь навсегда. Воейков же, забравший в семье власть, старался поработить и Машу — он шпионил за ней, перехватывал письма, брал с нее клятвы, что она без его разрешения не выйдет замуж (давая понять, что он действует якобы в пользу Жуковского). Он требовал

отказать Мойеру. Воейков распоряжался всеми имениями Протасовых, в том числе и Муратовом, которое в случае замужества Маши должно было быть разделено на две половины. Наконец он стал пить, вести себя нагло и грубо, ни во что не ставить не только Машу, но и свою жену и Екатерину Афанасьевну. Лекции в университете он читал плохо, — студенты на них почти не бывали. В городе стали смотреть на него с насмешкой; авторитет его пал настолько, что хоть беги из Дерпта... Озлобившись, он все чаще устраивал дома неистовые пьяные скандалы. «Воейков обещал маменьке убить Мойера и Жуковского и потом зарезать себя. После ужина он опять был пьян, — пишет Маша в дневнике. — У маменьки пресильная рвота, а у меня идет беспрестанно кровь горлом. Воейков смеется надо мной, говоря, что этому причиной страсть, что я также плевала кровью, когда сбиралась за Жуковского, что через год верно от какого-нибудь генерала будет та же болезнь».

Маша решила «убежать из дома *куда-нибудь*», если Воейков расстроит ее свадьбу с Мойером... Еще не дав согласия Мойеру, она обращается к Жуковскому: «Мой милый, бесценный друг!.. Я решаюсь писать к тебе, просить у тебя совета, как у самого лучшего друга после маменьки... Я хочу выйти замуж за Мойера. Я имела случай видеть его благородство и возвышенность его чувств и надеюсь, что найду с ним совершенное успокоение. Я не закрываю глаза на то, чем я жертвую». С ужасом увидел Жуковский далее, что это жертва ради него, чтоб он мог, наконец, жить при Екатерине Афанасьевне. «Милый Базиль! Ты будешь жить с ней, а я получу право иметь и показывать тебе самую святую, нежную дружбу, и мы будем такими друзьями, какими теперь все быть мешает. Милый Жуковский! Я воображаю, что мы все можем быть счастливы!.. Что касается до меня, то я потеряю свободу только по имени; но я приобрету право пользоваться дружбой твоею и сказывать тебе ее». Жуковский так и вспыхнул весь. «Давно ли мы расстались? — отвечает он. — Нет трех недель, как мое последнее письмо было написано к маменьке! Ты знаешь то, что я чувствовал к тебе, а я знаю, что ты ко мне чувствовала, — могла ли, скажи мне, произойти в тебе та перемена, которая необходимо нужна для того, чтобы ты имела право перед собою решиться на такой важный шаг?.. Нет, милый друг, не ты сама на это решилась! Тебя решили с одной стороны требования и упреки, с другой

грубости и жестокое притеснение! Не давши времени твоей душе придти в себя, от тебя требуют последнего пожертвования на целую жизнь, называя это пожертвование твоим же счастьем, и даже не принимая его за пожертвование!.. Одним словом, ты бросаешься в руки Мойеру потому, что тебе другого нечего делать! Тебя тащут туда насильно».

Жуковский требует года отсрочки для этой свадьбы: «Мойер прекрасный человек, сколько я его знаю! Но тебе надобно с ним счастия. Прежде узнай наверное, что его получишь, а там уже располагай собою. Неужели нельзя тебе иметь году отсрочки? Неужели я такая презренная тварь, что уже мне никакого утешения сделать не можно, что уже меня можно раздавить, не думая даже, что я могу почувствовать боль?.. Сердце разрывается, когда подумаю об этой жестокости, об этом холодном самовластии, которое величают материнскою любовью. Но скажи, Маша, разве ты не обязана подумать и обо мне? Разве для тебя не нужно избавить меня от такой мысли, которая отравит всю мою жизнь, от мысли, что тебя *принудили выйти замуж, опасаясь меня*!» Жуковский убежден, что Маша идет за Мойера по произволу матери: «Она не упустила ни одного случая разорвать мне сердце!.. Что ей до меня, когда она не щадит своих детей!.. Она сделала из меня какое-то чудовище... Пожертвовав собою, не думай из меня сделать ей друга — этим не заманишь меня в ее семью! Скорее соглашусь двадцать раз себе разбить голову, нежели искать места в этой семье... За что хочет убить тебя?.. Я не могу согласиться на замужество твое, *теперь* не могу! И есть ли...» — так и отправил недописанное письмо.

И в это же время он начал ответ на письмо к нему Авдотьи Петровны. «Мое *теперь* хуже прежнего, — пишет он, — здешняя жизнь тяжела, и я не знаю, когда отсюда вырвусь. Ваше *одно* и *то же* кажется мне прекрасным положением: работать без всякого рассеяния, в кругу *своих,* отделясь от прошедшего и будущего — вот чего мне хочется... Поэзия отворотилась. Не знаю, когда она опять на меня взглянет. Думаю, что она бродит теперь или около Васьковой горы, или у Гремячего, или в какой-нибудь долбинской роще, несмотря на снег и холод! Когда-то я начну ее там отыскивать! А здесь она откликается редко, да и то осиплым голосом. О Дерпте не хочу писать ни слова. Лучше говорить, нежели писать!»

Между тем из Дерпта прикатил в Петербург Воейков. Он вдруг понял, что если пойдет дальше в своих безобразиях, он лишится поддержки Жуковского, Тургенева и их друзей, а ведь профессорское место уходило у него из рук... Он приехал *каяться*. «Я обо многом говорил с ним, — сообщает Жуковский Киреевской, — искренно, и *он во многом признался, во многом себя обвинил:* он поехал отсюда, давши святое обещание переменить свой образ обхождения и *стоить своею жизнию друзей своих!* Чтобы он мог это исполнить, надобно непременно все старое забыть и иметь к нему доверенность. Эта помощь необходима Воейкову!»

В ответ на призыв Маши приехать в Дерпт Жуковский пишет: «Что ж будет пользы в моем приезде! Я не поеду за тем, чтобы непременно сказать *да;* но за тем, чтобы узнать *твои* мысли, узнать, что делается в *твоем сердце*! И я чувствую, что мой приезд так же был бы нужен для меня, как и для тебя!.. Если тебе нужно, чтобы я приехал, то надобно, чтобы маменька решилась поступать со мною как сестра и чтобы ты решилась сказать мне все».

Если бы Жуковский не ощущал образ Маши покинувшим его навеки, как бы улетевшим на небеса, он бы не мог поехать в Дерпт. Идущая замуж за Мойера — это не его Маша, не та. Словно Смерть разорвала этот образ надвое. В середине января 1816 года был день отъезда, день сомнений, мучений и слез отчаяния. Он не мог обойтись без Поэзии. И вот — нашлось у Гёте, сказалось по-русски:

Кто слез на хлеб свой не ронял,
Кто близ одра, как близ могилы,
В ночи, бессонный, не рыдал, —
Тот вас не знает, вышни силы!..

И когда он уехал, закутавшись в шубу, когда ветер ударял в кибитку и темные пространства дышали равнодушным холодом, он думал о синей стране Былого, где и все черное преобразилось в лазурь и золото:

...И мне в разлуке с нею
Все мнится, что она —
Прекрасное преданье
Чудесной старины,
Что мне она явилась
Когда-то в древние дни,
Чтоб мне об ней остался
Один блаженный сон.

...Первый том сочинений Жуковского выходит из печати, второй — будет следом. «Сын Отечества» в декабре дважды публиковал объявление: «В Санкт-Петербурге, в Большой Миллионной, в доме Медицинского департамента Министерства полиции у титулярного советника Василия Тимофеевича Кашкина принимается подписка на издание Стихотворений господина Жуковского, в двух частях; в первой части помещены лирические стихотворения, романсы, песни, послания; во второй — баллады, смесь... При каждой части искусно выгравированная виньетка. Цена подписная за обе части в папке 20 рублей... *Д. Дашков, А. Тургенев, Д. Кавелин»*.

...В Дерпт он приехал с твердым намерением, забыв совершенно себя, устроить для всех если не счастье, то спокойную жизнь. Приехав, он увидел не жизнь, а настоящий ад, который устроил в семье после своего приезда из Петербурга *исправившийся* Воейков, давший клятвы Жуковскому! Делая вид, что действует в интересах Жуковского, он пугал всех самоубийством, дуэлью с Мойером, снова принялся за пьянство и дикие скандалы. Мойер почти не мог подойти к Маше и передавал ей письма, как некогда Жуковский. Даже Екатерина Афанасьевна наконец поняла, что она погубила Сашу, выдав ее за Воейкова... Маша опять заболела. Не видя никакой помощи, она послала Киреевской призыв приехать в Дерпт.

Авдотья Петровна немедленно пустилась из Долбина в дорогу, но ей не повезло — при переезде через Оку сани вместе с пассажирами провалились под лед, она жестоко простудилась и вынуждена была остановиться в Козельске. В письме от 19 февраля Жуковский подробно рассказывает ей обо всем, что в течение последнего месяца происходило в Дерпте. Он усмирил Воейкова («В моих руках его репутация, его связи с прочими его друзьями, все это дает мне большую над ним силу»). «Что за жизнь, которую она ведет! — пишет он о Маше. — Нет свободы ни чувствовать, ни мыслить, ни действовать! Даже нет своего угла! Во всем тяжелая, убийственная неволя».

В конце февраля 1816 года ожидался выход второго тома сочинений Жуковского, и вот он снова в Петербурге. «У нас здесь праздник за праздником. Для меня же лучший из праздников: присутствие здесь нашего почтенного Николая Михайловича». Карамзин остановился на Фонтанке у Муравьевых. Он привез рукопись восьми то-

мов «Истории государства Российского» и собирался их печатать. В феврале дважды читал отрывки членам «Арзамаса» («Сказать правду, — писал он в Москву, — здесь не знаю ничего умнее арзамасцев: с ними бы жить и умереть»), которые были в восторге и избрали его «почетным гусем» общества. «Он читал нам описание взятия Казани, — сообщает Жуковский Дмитриеву. — Какое совершенство! И какая эпоха для русского появление этой Истории! Какое сокровище для языка, для поэзии, не говорю уже о той деятельности, которая должна будет родиться в умах. Эту Историю можно назвать *воскресителем прошедших веков бытия нашего народа*. По сию пору они были для нас только мертвыми мумиями, и все истории русского народа, доселе известные, можно назвать только гробами, в которых мы видели лежащими эти безобразные мумии. Теперь все оживятся, подымутся и получат величественный, привлекательный образ. Счастливы дарования, теперь созревающие! Они начнут свое поприще, вооруженные с ног до головы».

В феврале и марте 1816 года был самый разгар арзамасской буффонады. 17 февраля принят был в члены Вяземский. Как отмечено в протоколе — «1-е. *Под грудой шуб расхищенных* должен был он отречься от всякого поползновения на соитие с Беседою. 2-е. Полузамерзлый, исторгся он из-под сего сугроба, вооружился стрелою Арзамаса и поразил в огнедыщущего лицедея Беседы». Далее следовала длинная цепь прочих ритуальных действий и речей, под конец новопринятый «Его превосходительство гений Арзамаса *Асмодей*» был весь в поту и еле передвигал ноги, а прочие все во главе с председателем Светланой изнемогали от смеха.

В марте было одно из самых гомерических заседаний — кульминация арзамасского эпоса: прием «Его превосходительства гения Арзамаса *Вот*» — Василия Львовича Пушкина. Присутствовали: Светлана, Кассандра, Чу, Эолова Арфа, Асмодей, Ивиков журавль, Громобой и Резвый Кот (Северин). «Его превосходительство облекли в страннический хитон, дали ему костылек постоянства в правую руку, препоясали вервием союза, коего узел сходился на самом пупе в знак сосредоточения любви в едином фокусе... И его превосходительство с гордостию гуся потек в путь испытания», — писал в протоколе Жуковский. Каждое испытание сопровождалось речью одного из арзамасцев. Как и Вяземский, был Василий Львович завален кучей шуб и терпеливо прел под ними, пока

Светлана читала «речь члену Вот, лежащему под шубами».

Потом была речь Резвого Кота члену Вот, стрелявшему в чудище; члена Чу при целовании Вотом Совы и т. д. до заключительной речи Асмодея и благодарственной речи Вота. Речь его была яростным выпадом против Беседы: «Пусть сычи вечно останутся сычами! Мы вечно будем удивляться многопудным их произведениям, вечно отпевать их, вечно забавляться их трагедиями». *Вечно, вечно...* «Вот настоящий герой комического эпоса! — думал Жуковский. — Для него литература — брань; для него *вечно* клеймить Шаховского или Шишкова — *литературная доблесть!* Ах, Рыцарь Бумажного образа...» Добродушный Василий Львович и сам казался себе львом, произнося воинственные тирады против Беседы. Традиционный гусь в этот день удался на славу — румян, душист... Жуковский торжественно провозгласил привилегию Вота — унести с собой недоеденную половину гуся...

Сочинения Жуковского вышли в свет, слава его упрочилась. Но многие даже его друзья — и даже поэты — считали эти сочинения, весь этот лирический и балладный мир, неким началом и обещанием *будущих* шедевров. Да, гений! — говорили все, — и вещи есть гениальные! Но где же гигантское огромное; где, наконец, достойное России и гения Жуковского *эпическое* полотно? Из слухов о «Владимире» не рождалось ничего конкретного. Тургенев: «Баллады хороши, но возьмись за настоящий род, тебя достойный: за большую поэму». Вяземский: «Поэмы! Ждем от тебя поэмы славной!» Гнедич: «Рядом с Историей Карамзина должен бы расцвести твой поэтический эпос». Душу обдавало холодом одиночества от этих криков. «Не видят настоящего... Души моей не видят, словно очарована она волшебством», — думал он уже где-то по пути в Дерпт в конце марта. «Все тебе прощу, если напишешь поэму или что-нибудь достойное твоего таланта!» — несся вслед голос Батюшкова. «Я его электризую как можно более и *разъярю* на поэму», — пишет Батюшков Вяземскому. «Мы ожидаем от тебя поэмы», — он же Жуковскому от лица всех друзей... И он опять решил забиться в Дерпт, благо сейчас — можно. Там своими руками решил он окончательно задушить свое счастье и выдать всем свою гибель — именно за *счастье* свое.

...Жуковский начал писать в Дерпте «Вадима». В черновую тетрадь он заносит и свои размышления о литературе. «Оригинальность есть зрелость, произведенная соб-

ственною растительною силою... Быть национальным не значит писать так, как писали русские во времена Владимира; но — быть русским своего времени, *питомцем* прежних времен... Оригинальность нашей поэзии в истории. В ней материал; надобно угадать дух каждого времени и выразить его языком нынешним... Много занять из летописей. История Карамзина — большое усовершенствование прозы. Тою же дорогою должна идти и поэзия». Жуковский отметил даже, что не худо бы «собирать народные предания, сказки». Перечень тем из русской истории: «Игорь. Владимир. Александр Невский. Д. Донской. М. Черниговский. Годунов». Указания друзей и собственные сомнения в правильности своего пути сводили его на эту дорогу, но он, размышляя об исторических предметах как о поэтических темах, снова уходил в самообразование, охотно погружаясь в тщательное изучение истории. Переучить своей музы он не мог, слишком она была своенравна. Творчество его в это же время шло по другому пути. Жуковский начал думать о русских сказках, мечтая гекзаметром обработать настоящий народный сюжет... Он готов был бродить по деревням и записывать, но не в Дерпте же это делать и не в Петербурге... И вот он пишет Анне Петровне Юшковой (сестре Авдотьи Петровны) в Мишенское: «Я давно придумал для вас всех работу, которая может быть *для меня со временем полезной.* Не можете ли вы собирать для меня русские сказки и русские предания: это значит заставлять себе рассказывать деревенских наших рассказчиков и записывать их россказни. Не смейтесь. Это — национальная поэзия, которая у нас пропадает, потому что никто не обращает на нее внимания. В сказках заключаются народные мнения; суеверные предания дают понятия о нравах их и степени просвещения, и о старине... записывать сказки — сколько можно теми словами, какими оне будут рассказаны».

Тогда же, в конце 1816 года, закончил Жуковский по просьбе Тургенева заброшенного было «Певца в Кремле». 6 ноября он писал Тургеневу: «Посылаю тебе «Певца», милый друг, и благодарю за то, что ты принудил меня его кончить». Изданием «Певца в Кремле» отдельной брошюрой занялся Кавелин, — книжка вышла в конце того же года. В Москве Каченовский, по собственному почину, выбрал из «Вестника Европы» все прозаические переводы, сделанные Жуковским (в это число попали и переводы родных Жуковского), и выпустил в 1816 году

три тома, готовя к следующему году еще два. Год в отношении изданий был для Жуковского плодотворен! И стихи, и проза...

С грузом новых сочинений приехал он в декабре в Петербург. 24 декабря явился он с ними на 16-е заседание «Арзамаса». В своей речи он покаялся в том, что до сих пор не исполнил возложенной на него еще при первых заседаниях обязанности написать «Законы Арзамаса». «Почитаю беззаконие более для нас выгодным! — говорил он. — Легко случиться может, что, написав законы, мы будем поступать в противность тому, что напишем! Это почти неизбежно! Не лучше ли подчинить себя беззаконию и поступать в противность беззаконию». Он не хотел «порядка». Главное для него в обществе было — буффонада, хотя многие члены представляли себе «Арзамас» по-иному...

30 декабря 1816 года Жуковскому была назначена пожизненная пенсия. 6 января в доме Блудова Тургенев прочел членам «Арзамаса» указ: «Господину министру финансов. Взирая со вниманием на труды и дарования известного писателя, штабс-капитана Василия Жуковского, обогатившего нашу словесность отличными произведениями, из коих многие посвящены славе российского оружия, повелеваю, как в ознаменование моего к нему благоволения, так и для доставления нужной при его занятиях независимости состояния, производить ему в пенсион по четыре тысячи рублей в год из сумм государственного казначейства. Александр».

Арзамасцы закатили Жуковскому целый праздник. «Мой пенсион есть для меня происшествие счастливое, без всякой примеси неприятного, — писал Жуковский в Мишенское Анне Петровне. — Я ни о чем не заботился и не хлопотал. Все сделала попечительная дружба Тургенева. Он без моего почти ведома заставил поднести кн. Голицына, нынешнего министра просвещения, государю экземпляр моих сочинений. Правда, надобно было написать посвятительное письмо государю — но вот все, что сделано с моей стороны... Мысль, что будущее обеспечено, успокаивает душу. Теперь постоянный труд для меня обязанность». *Обязанность!* Этого, однако, Жуковский боялся пуще всего... А нельзя было не чувствовать себя обязанным. И вот он снова вытаскивает на свет божий пыльные планы «Владимира», выстраивает на полках целую библиотеку книг — «материалов» для будущего великого произведения... И собирается ходить в Дерпте на

лекции Иоганна Эверса, профессора русской истории... И все изучает, изучает всякие «источники», чертит исторические схемы и думает о путях, которыми шло образование русского национального характера. Но муза его молчит среди этих книг и планов.

«Согласен с тобою насчет Жуковского, — пишет Батюшков Вяземскому. — К чему переводы с немецкого?.. У них все каряченье и судороги. Право, хорошего немного». А у Жуковского на столе — уже в Дерпте (он в январе приехал туда) — появляется Гёте... Его совершенно покорила лирика автора «Вертера»... Он приготовил к изданию «Двенадцать спящих дев» и прибавил к ним вступительное стихотворение — это перевод посвящения первой части «Фауста» — и взял немецкий эпиграф ко всему произведению, тоже из «Фауста»: «Чудо — любимое дитя веры»... И к «Громобою» и к «Вадиму» — эпиграфы из Шиллера, по-немецки, из тех стихов, которые Жуковский перевел на русский... И все же среди прочих работ достал экземпляр «Слова с полку Игореве», подаренный ему некогда Андреем Тургеневым, и начал делать переложение, деля текст на ритмические отрывки. Эта работа несколько удовлетворила его патриотическое чувство, но она была оставлена из-за важных событий и положена до времени в стол.

14 января 1817 года Маша была обвенчана с Мойером, который близоруко щурился через очки и с тревогой приглядывался к нахлынувшей на Машино лицо бледности. Он знал, отчего и это. Но он ничего не мог с собой поделать — Маша для него, как и для Жуковского, стала единственно близкой женской душой. Маша и пошла за него потому, что встретила в Мойере подобие «жуковского» чувства.

Жуковский был на свадьбе. И даже не позволил себе быть печальным. «Свадьба кончена, — пишет он Тургеневу в январе, — и душа совсем утихла. Думаю только об одной работе». *Утихшая* душа жестоко страдала. «Старое все миновалось, а новое никуда не годится, — продолжает он, — душа как будто деревянная. Что из меня будет, не знаю. А часто, часто хотелось бы и совсем не быть. Поэзия молчит. Для нее еще нет у меня души. Прошлая вся истрепалась, а новой я еще не нажил. Мыкаюсь, как кегля». Не зная, что с собой делать, Жуковский вздумал было жениться. Вряд ли всерьез, но какое-то время в 1817 году, в Дерпте, думал об этом. «Вот в чем дело, — сообщает он Анне Петровне, — здесь есть *Ане-*

та, которой, *как говорят,* я по сердцу; все хвалят ее характер; она необыкновенно умна; сердце прекрасное — но вот беда: она принадлежит к одному из первых домов в Лифляндии, жила вечно в самом большом свете. Препятствие важное! Я не захочу остаться в ее круге. Будет ли она довольна моим? Я не променяю своей родины на Лифляндию. Надобно знать, будет ли с нее довольно того маленького, спокойного, неблестящего света, в который она должна будет за мной последовать; однообразная жизнь русского поэта будет ли удовлетворительной для нее, привыкшей жить в шуме разнообразных светских веселостей? Все это надобно знать, а чтобы знать, надобно иметь с нею некоторую короткость... Не хочу и не буду иметь любви! но хочу иметь верную привязанность, основанную на знании характера, на согласии образа мыслей о счастии». Но *короткости* с Анетой (очевидно — графиней Менгден) так и не получилось, — она постоянно где-то разъезжала, была в Петербурге. («Там я ее видел, — пишет Жуковский, — но был в их доме редко: в этом доме прилив всей петербургской знати! что тут увидишь?») История кончилась ничем, словно растаяла в воздухе, не оставив и следа в душе Жуковского.

Тургенев не понимал, как мог Жуковский дать Маше согласие на ее замужество. «Трудно было решиться, — разъясняет ему Жуковский. — Но минута, в которую я решился, сделала из меня другого человека... Я хлебнул из Леты и чувствую, что вода ее усыпительна... Мое теперешнее положение есть усталость человека, который долго боролся с сильным противником, но, боровшись, имел некоторую деятельность; борьба кончилась, но вместе с нею и деятельность». Жуковский ничего не пишет. Свое старое ему перечитывать больно. «Не могу читать стихов своих... Они кажутся мне гробовыми памятниками самого меня, — пишет Жуковский, — они говорят мне о той жизни, которой для меня нет! Я смотрю на них, как потерявший веру смотрит на церковь, в которой когда-то он с теплою, утешительной верою молился... Музыка моя молчит, и я сплю!»

В конце апреля через Дерпт проезжал бывший дерптский профессор российской словесности, а с 1810 года — помощник воспитателя при великих князьях Николае и Михаиле — Григорий Андреевич Глинка. Ему была предложена должность учителя русского языка при молодой супруге великого князя Николая прусской принцессе

Фредерике-Луизе-Шарлотте-Вильгельмине, которой при крещении в православие было дано имя Александры Федоровны. Глинка был болен, не подыскав себе замены по должности, он не мог ехать на воды. «Он сделал мне от себя следующее предложение, — сообщает Жуковский Тургеневу. — Для принцессы Шарлотты нужен будет учитель русского языка. Место это предлагают ему с 3.000 жалованья от государя и 2.000 от великого князя, с квартирою во дворце великого князя... Занятие: *один час каждый день.* Остальное время свободное... *Обязанность моя соединена будет с совершенною независимостью. Это главное!.. Это не работа наемника, а занятие благородное...* Здесь много пищи для энтузиазма, для авторского таланта».

Приходилось идти и на жертвы. Надо было отказаться от поездки с Воейковыми и Мойерами в Орловскую, в Муратово, намечавшейся этим летом... А еще: «Я хотел было употребить года два на путешествия, — плакался он Тургеневу, — хотел было дать себе года два *настоящей молодости,* свободной, живой, окруженной прекрасными, для меня новыми впечатлениями. Этот вояж был бы факелом-воспламенителем моего дарования...» Он поручил Тургеневу и Карамзину вдвоем решить его судьбу: дать за него согласие или отказ: смотря как сочтут, взвеся все...

В мае Жуковский приехал в Петербург: его назначение вот-вот должно было состояться. А пока он живет у Блудова и посещает заседания «Арзамаса». Без него приняты были Николай Тургенев и Михаил Орлов. «Арзамасское братство» росло, и Жуковский был этому рад. Но комический эпос о прении старого слога с новым иссякал. Разговоры и речи пошли о политике. О свободе книгопечатания. Об освобождении крестьян. Об арзамасском журнале, в котором литературе отводилось самое малое место. Галиматья теряла смысл и многим начинала казаться детской забавой. «Арзамас» словно *вырос.* Один Жуковский не хотел вырастать. И не из упрямства. Новые цели были ему неясны — в них не на что было ему опереться. Он видел, что первоначальный «Арзамас» почти умер. И вот Никита Муравьев («Адельстан») уже говорит о его «возрождении» в каком-то новом обличии... Бурно кипел «Арзамас» все лето и осень 1817 года — был все же составлен план журнала, общий надзор за изданием которого поручался Жуковскому; были написаны и *законы,* несмотря на сопротивление секретаря Свет-

ланы. В это время под именем Сверчка («Крикнул жалобно Сверчок...») принят был в общество Александр Пушкин. Расписывались программы, разные поручения, протоколы... Планов было лет на десять вперед. Но это были последние дни «Арзамаса». Последние комические протоколы гекзаметром дописывал Жуковский. Арзамасцы разъезжались: Вяземский — в Варшаву, Блудов — в Лондон, Дашков — в Константинополь, Полетика — в Вашингтон, Орлов — в Киев... Последний буффонский протокол Жуковского был скорее печален, чем весел:

Братья-друзья арзамасцы! Вы протокола послушать,
Верно, надеялись. Нет протокола! О чем протоколить?
Все позабыл я, что было в прошедшем у нас заседанье!
Все! да и нечего помнить! С тех пор, как за ум мы взялися,
Ум от нас отступился! Мы перестали смеяться —
Смех заступила зевота, чума окаянной Беседы!..

В 1817 году — свадьба за свадьбой: в январе Маша за Мойера и Анна Петровна Юшкова за Егора Зонтага, американского морского офицера на русской службе. В июле Авдотья Петровна Киреевская вышла замуж за Алексея Андреевича Елагина. Елагины венчались в Козельске. В это время Саша, жена Воейкова, была в Долбине — ей предстояли роды. Маша с Мойером приехали в Муратово — половина села отошла к ним, уплыла из рук Воейкова, мечтавшего владеть всем... «Благословляю вас от всего сердца, милая сестра! — пишет Жуковский Киреевской, которая стала Елагиной. — Как больно не быть у вас в эту минуту!» Радость была сильно омрачена горем: умерла в родах сестра Анны и Авдотьи Петровны — Екатерина Петровна Азбукина. И еще — умерла жена Плещеева, Анна Ивановна, — Плещеев с детьми собирался ехать в Петербург... Маша, так стремившаяся на «родину», мечтавшая отдохнуть здесь душой, писала Жуковскому: «Кто мог вообразить, что приезд мой в Муратово будет время самое несчастное в жизни. Здесь точно ничего более для меня не осталось, точно дух смерти пролетел по родине... Жуковский, не желай быть в Муратове! здесь все напоминает прошедшее, невозвратимое — только и видишь, что гробы, ничего нет старого...»

...Осенью приехал в Петербург Батюшков — заканчивать издание и его двух томов (последним крупным событием в литературе были *два тома* Жуковского...), выпущенных в свет стараниями Гнедича, с начала до конца следившего за изданием. Уваров в газете «Le Conservate-

ur Impartial»[1], издававшейся в Петербурге на французском языке, напечатал рецензию на «Опыты в стихах и прозе» Батюшкова, где не мог не провести сравнения двух крупнейших поэтов своего времени. «Среди современного поколения поэтов, — писал он, — в первом ряду, без сомнения, находится г-н Жуковский. Даже враги его... и те, кажется, уже не оспаривают у него места первого поэта. Певец 1812 года — любимец своего народа. Победа осталась за ним, успех его неоспорим: признавая все превосходство его дарования и неотъемлемое его право на первое место, любители литературы затрудняются определить, какое же место следует отвести г-ну Батюшкову, о коем можно сказать: non secundus sed alter[2]; поэтический дар его, который в некоторых отношениях отнюдь не ниже таланта г-на Жуковского, слишком отличается от последнего, чтобы можно было говорить о влиянии; общим для обоих является превосходное чувство красот языка, блистательное воображение, отменная гармоничность стиха; однако каждый из них избрал себе собственный путь, непохожий на другого».

Жуковский и Батюшков часто виделись в это время. Батюшков все время хандрит, чувствует какие-то неясные недомогания, мечтает о поездке в Италию и просит друзей по «Арзамасу» выхлопотать ему место при русской миссии в Риме или Неаполе. Надвигающаяся зима пугала его. В ожидании решения своей судьбы он собирается в Крым. «Полечу в Тавриду лечить грудь мою, — пишет он Вяземскому. — В ожидании чего пью лекарство и вижусь с Жуковским. На него весело глядеть моему сердцу и грустно, когда подумаю о разлуке». Говоря о «разлуке», Батюшков имел в виду отъезд Жуковского с двором в Москву, — он ехал как учитель русского языка великой княгини Александры Федоровны. С 19 сентября по 1 октября Жуковский был в Дерпте, — хотелось проститься с родными.

2 октября в Петербурге — в доме купца Риттера на Галерной, где остановился Плещеев, — состоялся прощальный «Арзамас». Прощались с Жуковским, который уезжал на весь зимний сезон, до будущей весны. На следующий день Батюшков и Пушкин проводили его до Царского Села, где вместе пообедали. 9-го Жуковский прибыл в Москву, где с первого же дня начались встре-

---

[1] «Беспристрастный собеседник» *(франц.)*.
[2] Не второй, а другой *(латин.)*.

чи со старыми друзьями и знакомыми. Он был у Вяземского, Дмитриева, Антонского, В. Л. Пушкина, Каченовского, Дениса Давыдова, книгопродавца Попова, у Кокошкина-драматурга; ездил в Остафьево к Вяземским.

Москву заполонила петербургская знать — ведь приехал весь двор. Жуковскому приходилось бывать на бесконечных обедах, приемах, балах, сталкиваться с разными придворными, представляться императрице, государю, прусскому принцу. 22 октября он дал первый урок своей ученице. «Я надеюсь со временем сделать уроки свои весьма интересными, — записал он в дневнике 27 октября. — Они будут не только со стороны языка ей полезны, но дадут пищу размышлению и подействуют благодетельным образом на сердце... Честолюбие молчит; в душе одно желание доброго... Милая, привлекательная должность! Поэзия! Свобода! Заслуженное уважение по чистоте намерений и дел, желание добра всем и сердечная уверенность, что не буду ни с кем соперником и не огорчусь потерею выгод, ибо не ищу их — вот теперь мое положение».

Жуковский очень дорожит своей самостоятельностью не только в действиях, но и своих внутренних ощущениях. Однажды он заметил, что какая-то *мелочь* во время обедни в Кремле (кто-то из придворных с неодобрением посмотрел или даже что-то сказал ему...) привела его из бодрого состояния в неуверенное, угнетенное. «И как истолковать самого себя! — пишет он. — Точно во мне два человека: один — высокий, чистый, другой — мелочной и слабый... Что мне нужды, что я показался не таким, каков я есть... Зачем позволяю себе не думать и так часто в пустяках к другим приноравливаться? Взяв *все вместе*, я хорош; *порознь* — много дурного!.. Я не могу быть ни спокоен, ни деятелен без оживительного уважения к самому себе; надобно, чтобы всякий поступок производил это уважение — по чувству и правилу, или по одному только правилу, вопреки самого чувства, но согласно с долгом. Дай бог только всегда уметь скоро найти то, что должно. В этой-то *скорости усмотрения* весь навык добродетели... Надобно приучить себя менее уважать одобрение других и *единственно довольствоваться собственным одобрением»*. Это было крайне важное решение — Жуковский, вступая в придворную среду, рисковал многим. Эта среда переплавляла на свой лад далеко не только слабые натуры. Он решил устоять.

В Москве Жуковский жил сначала у Антонского, по-

том на казенной квартире в Кремле — в келье Чудова монастыря: «На окнах моих крепкие решетки, но горницы убраны не по-монашески; тишина стихотворная царствует в моей обители, и уж Музы стучатся в двери». Жуковский начал здесь стихотворный перевод «Орлеанской девы» Шиллера... Задумчиво бродил Жуковский по Москве, вспоминая пансионские годы, Андрея Тургенева, Соковниных, свое редакторство... Уже не осталось следов пожара 1812 года, но не осталось и Москвы *старой*... «Я живу в Москве как на гробе, — пишет он Тургеневу. — Душа рвется от воспоминаний о прошедшем. Ничего, что было некогда моим, здесь нет». «Прошлое ожило, или лучше сказать прошлое — *мертвец,* воет возле меня и приводит сердце в унылость, — пишет он Воейковой. — Нет ни одного лица, которое бы говорило о нашей общей прежней жизни».

В начале 1818 года в Петербурге вышли первые восемь томов «Истории государства Российского» Карамзина. Василий Львович Пушкин пишет Вяземскому в Варшаву: «История Российская вся уже раскуплена в Петербурге, и здесь ее продают дорогой ценою. Я читаю ее с восхищением и просиживаю за нею целые ночи». Тогда же в Москве читал «Историю» и Жуковский. Он отчеркивал в томах абзацы и целые страницы, но заметок на полях почти не оставил. Это было *первое* чтение, просмотр. Читать этот труд с полным вниманием он собирался по возвращении в Петербург — с конспектированием, выписками... Москва не давала сосредоточиться. У Апраксиных — бал, вернее, *ассамблея,* важная по-петровски; у Федора Толстого («Американца») — цыганская вольница, песни и пляски... Закладка храма Христа Спасителя на Воробьевых горах... Гулянье в Сокольниках... Открытие на Красной площади монумента Минину и Пожарскому... Театр...

В начале весны приехали в Москву Батюшков (проездом в Крым), Гнедич (проездом в Полтаву), Александр Тургенев, призванный по делам. У Василия Львовича Тургенев читал привезенные им отрывки из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила» — и дядя поэта, и все слушатели были восхищены. К апрелю вышло из печати уже пять книжечек «Für Wenige»[1], Жуковский всех своих друзей наделил экземплярами. Тут были стихи из Уланда, Гёте, Шиллера, Гебеля, Кёрнера,

[1] «Для немногих» *(нем.).*

баллады «Рыбак», «Рыцарь Тогенбург», «Лесной царь» и «Граф Гапсбургский». Эти книжечки делали уроки русского языка Часом Поэзии, — Александра Федоровна учила переводы Жуковского наизусть, запоминая поэтические фразы, — *какой* русский язык давался ей учителем-поэтом! Но успехи были пока невелики. Этому мешало и состояние здоровья ученицы — она вскоре должна была родить...

В первых числах мая Жуковский выехал на родину. Он побывал в Белёве, Мишенском, в Долбине — у Елагиных, где познакомился с мужем Авдотьи Петровны. Вид Мишенского его поразил. Он не нашел ни усадебного дома, ни прудов, ни близлежащих рощ... То-то Анна Петровна ничего не писала... И он узнал, что муж ее, американец Зонтаг, увез ее в Николаев, где он служил, а перед тем приказал разобрать дом и флигеля и сложить бревна в кучу, спустить пруды и срыть цветники. Перед отъездом же он продал часть леса — там до сих пор стучали топоры, падали дубы и сосны... Белела каменная церковь среди сирени... Шумели березы на кладбище... Молчал старый парк... Когда Жуковский прошел через парк и увидел Грееву элегию, заросшую кустами и травой, нашла туча, и тихо застучал по листьям теплый дождик...

О родина моя, о сладость прежних лет!
О нивы, о поля, добычи запустенья!
О виды скорбные развалин, разрушенья! —

вспомнил «Опустевшую деревню» Голдсмита, которую переводил вот здесь, в беседке... Все опустело! Нет Мишенского, пусто в Муратове, давным-давно чужие люди живут в его белёвском доме над Окой, да и Авдотья Петровна не станет больше продавать имения и ехать с ним в Швейцарию... Нет больше *для него* долбинского уголка... С тяжелым сердцем вернулся он в Москву. С удивлением почувствовал, что его тянет в Петербург!

Постаревшим и грустным увидели его в Москве в начале июня Батюшков и Василий Львович Пушкин. Батюшков ругает «Für Wenige» и хвалит послание к Александре Федоровне. «Мы ожидаем от тебя поэмы», — говорит он Жуковскому. Жуковский знает, что «мы» — это в основном Батюшков и Вяземский. В Петербурге в это время выходит новое издание сочинений Жуковского в трех томах. Это ли не поэма в трех песнях?.. Чего же еще? «Поэму пишет «Сверчок», — ответил он Батюш-

кову. «А я, — добавил он, — составляю грамматические таблицы». Батюшков жаловался, что ему для писания не хватает Италии, что он хворает, мерзнет и скоро перестанет писать, а друзья плохо о нем хлопочут. «Неужели мне нельзя найти какое-нибудь место при посланнике? — говорил он Жуковскому, когда они встретились у Никиты Муравьева. — Жаль мне, а придется продавать последнее имение и ехать на свои... Года на три хватит». Жуковский развеселил его немного, рассказав, что все утро просидел в Сандуновских банях с книгопродавцем Иваном Васильевичем Поповым, уговаривая его не продавать дурных книг. Затем Жуковский сел к столу и начал составлять прошение на высочайшее имя — для Батюшкова. Между тем Тургенев в Петербурге должен был поднести от имени Батюшкова два тома «Опытов в стихах и прозе» министру иностранных дел графу Каподистрии. Затем Батюшков, в ожидании решения своей участи, уехал в Одессу, а Жуковский отправился в Петербург.

С сентября он поселился вместе с Плещеевым в Коломне, на углу Крюкова канала и Екатерингофского проспекта. Здесь Жуковский разместил свои книги — он наконец раскрыл ящики, присланные Елагиной из Долбина. Многих книг не хватало, и он послал Авдотье Петровне список того, что нужно было разыскать и прислать. Сюда Блудов прислал Жуковскому из Лондона новые части «Чайльд Гарольда» Байрона и Томаса Мура в двух томах. «Реестр всех сочинений Байрона, Вальтер—Скотта и Саути я вытребовал у книгопродавца и посылаю к тебе, — пишет он Жуковскому. — Назначь, чего у тебя нет и что хочешь иметь». Жуковский занят подготовкой пособий для уроков с великой княгиней — «пока не кончу начатых давно своих *грамматических таблиц,* которые скоро кончатся, — тогда гора свалится с плеч; я опять сделаюсь поэтом... вырвавшись из этих таблиц, как из клетки, скажу друзьям и поэзии: *я ваш снова!»* В этом письме к Елагиной Жуковский говорит последнее *прости* своим надеждам вернуться на родину. «Не думайте, чтобы настоящее было дурно: я им доволен, — говорит Жуковский. — В моем теперешнем положении много жизни; и я нахожу его часто прекрасным, *точно по мне.* Одним словом, вообще не желаю перемены; и воспоминания прошедшего не иное что, как сон».

В октябре Жуковский был принят в члены шишковской Российской Академии (принят был туда и Карамзин). Ни один «арзамасец» не взбунтовался. Только Вя-

земский кольнул его в письме к Дашкову: «Сперва писал он для *немногих,* теперь *ни для кого...* его упрятали в Российскую Академию». Впрочем, и Вяземский не мог не понимать, что это был не союз с Шишковым, а официальное признание литературных заслуг Карамзина и Жуковского.

Вяземский в письмах из Варшавы к Дашкову и Тургеневу изощряется в дружеских насмешках по поводу Жуковского («И мы хотим усовестить Жуковского, а он показывает на Академию и говорит: «Там мне Шишков на братство руку дал», — и мы принуждены молчать» и т. п.). В конце концов многотерпеливый и миролюбивый Жуковский сделал ему выговор: «Вот уж два письма от тебя к Тургеневу такие, которые не понравились. Ты шутишь и на мой счет, ставишь меня наряду с пьяным Костровым, Мерзляковым... Я не желал бы, чтобы я и *карикатура* были всегда неразлучны в твоем уме... Нежная осторожность, право, нужна в дружбе. Я не должен быть для тебя буффоном, оставим это для Арзамаса... Мы все ошибаемся, считая непринужденностью дружескою многое, чего бы мы себе не позволяли с посторонними. Сейчас пришли два твоих письма к Воейкову и к Дашкову... Какие нежности для Воейкова и как зато славно отделан Жуковский в письме к Дашкову! Полно, брат, острить об меня перо!.. Для тебя также должно быть важно не оскорбить меня, как и для меня». Они — Тургенев, Вяземский, Батюшков — любили Жуковского за его талант, за его душу, но хотели видеть его каким-то другим! И как же много было от них скрыто!

И вот Жуковский простудился, лежит в постели. «Я болен, — пишет он в дневнике 28 октября. — В промежутках — более высоких мыслей, нежели когда-нибудь. Более воспоминаний, и трогательных. Какое-то общее неясное воспоминание, без вида и голоса, как будто *воздух* прежнего времени... Болезнь есть состояние поучительное. Страдание составляет настоящее величие жизни. Это лестница. Наше дело взойти; что испытание, то ступень вверх... Звезды. Тени...» *Этот* Жуковский Вяземскому неизвестен... Да и уроки русского языка — ему они кажутся пустяками, но для Жуковского это новый и *растущий* мир — ведь это не просто уроки для великой княгини, а уроки *русского языка*! Не сухие уроки педанта, а уроки поэта. Например — можно просто учить произношению. Жуковский же для этой цели переводит шестое явление из второго действия комедии Мольера «Ме-

щании во дворянстве», — сцену урока господина Журдена с учителем философии... Немало таких перлов появилось в тетради, озаглавленной: «Тетрадь с текстами для переводов. Составлена для занятий с великой княгиней Александрой Федоровной».

22 ноября Жуковский писал Дмитриеву: «Я был болен: три недели вылежал и высидел дома. Теперь поправляюсь, и первый мой выход на свет божий была поездка в Царское Село, где мы простились всем Арзамасом с нашим Ахиллом-Батюшковым, который теперь бежит от зимы не оглядываясь и, вероятно, недели через три опять в каком-нибудь уголку северной Италии увидится с весною». На проводы, кроме Жуковского, собрались А. И. Тургенев, А. С. Пушкин, Н. М. Муравьев, Н. И. Гнедич, барон Павел Львович Шиллинг фон Канштадт (востоковед, изобретатель, дипломат...), тетка Батюшкова, Екатерина Федоровна Муравьева, и ее племянники Лунины, брат и сестра. «Вчера проводили мы Батюшкова в Италию, — писал Тургенев Вяземскому 20 ноября. — Во втором часу... отправились в Царское Село, где ожидал уже нас хороший обед и батарея шампанского. Горевали, пили, смеялись, спорили, горячились, готовы были плакать и опять пили... В девять часов вечера усадили своего милого вояжера и с чувством долгой разлуки обняли его...» Италия! Вечный Рим!.. Жуковский возвращался домой поздно. Колкий снег сыпал в лицо; хрустел под колесами лед... Пространство ночных полей вдруг словно раздвинулось, и встали во тьме невидимые горы... Нет, не Италии — это снежный блеск Альп... Это прирейнские скалы и кручи... массивы Гарца... Россия широко втекала в дружественную Европу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

(1819—1822)

«*14-го янв. 1819 г.* Жуковский мне принес свои сочинения; обедал с нами», — записал в своем дневнике Иван Иванович Козлов, давний знакомец Жуковского, еще по Москве до 1812 года. Странно было видеть этого красивого, энергичного человека, умного, образованного как немногие, лучшего некогда в Москве танцора, открывавшего балы, стихотворца вроде Плещеева (как и Плещеев, он писал послания и мадригалы по-французски и никак не для печати), в кресле-самокате, из которого он вставал с большим трудом, поддерживаемый слугой или своей красавицей супругой Софьей Андреевной.

И все же он выезжал — бывал у Жуковского в Коломне, у Оленина на Фонтанке, у Блудова на Невском. Он всюду был желанным гостем, а особенно у братьев Тургеневых, с которыми был дружен очень близко. Козлов буквально *дышал* литературой. Он знал несколько языков, много читал и все помнил, — да так помнил, что удивлял даже самых начитанных: Козлов декламировал наизусть на всех языках чуть ли не всю мировую поэзию, включая трагедии и поэмы. Его живой ум интересовался всем — историей, политикой, даже экономикой. По причине внезапно — в 1815 году — напавшей на него болезни, он оставил службу в Департаменте государственных имуществ, жил почти бедно (у него была небольшая деревенька, перезаложенная и не дававшая доходу), но ухитрялся и сидя в кресле выглядеть светским человеком, всегда одетым по моде.

Паралич постепенно оковывал его тело, он терпел мучительные боли, пытался лечиться — не помогало. Помогало другое... Днем — поэзия, друзья, жена и дети (сын Иван девяти лет и дочь Саша семи)... Козлов был несчастен, но *несчастным* быть не хотел. Он собирал свою волю — его могучий дух, поразительная жизнеспособность позволили ему пробиться к высшей деятельности — поэзии. На глазах у Жуковского этот человек одновременно

терял здоровье и приобретал поэтическую силу. Из сочинителя французских мадригалов он — буквально через несколько лет — станет одним из известнейших русских поэтов. Жуковский помогал ему как мог и не упускал случая навестить его, побеседовать с ним, принести новых книг, переписывался с ним. Бывало даже — вместе со слугой Козловых Лукьяном — нес его на руках из дома в дрожки, чтобы он мог ехать на какой-нибудь литературный вечер...

Козлов первым обратился в России как переводчик к Вальтеру Скотту и Байрону — Жуковский, Тургеневы, Александр Пушкин, Вяземский горячо одобрили его переводы поэм — «Девы озера» Вальтера Скотта и «Абидосской невесты» Байрона. Но переводы были сделаны с английского на французский... Козлов хотел, но как-то не смел пока браться за стихи на русском языке, хотя Жуковский не уставал просить его именно об этом.

Козлов и Жуковский читали Байрона. «Мы вместе читали Child Harold»; «Читал с Жуковским «Гяура»... Я много занимаюсь английским языком»; «Жуковский мне прислал «Мазепу»»; «Жуковский принес мне «Манфреда»; 3 и 4 песни Чайльд Гарольда, — у меня есть 1-я и 2-я, и от доброго дружеского чувства подарил мне эти восхитительные творения лорда Байрона, поэта моего сердца», — отмечал Козлов в разные дни 1819 года.

В конце января этого года он пишет: «Много читал Байрона. Ничто не может сравниться с ним. Шедевр поэзии, мрачное величие, трагизм, энергия, сила бесподобная, энтузиазм, доходящий до бреда, грация, пылкость, чувствительность, увлекательная поэзия, — я в восхищении от него... Но он уж чересчур мизантроп; я ему пожелал бы только — более религиозных идей, как они необходимы для счастья. Но что за душа, какой поэт, какой восхитительный гений! Это — просто волшебство!» В этой записи слышен как бы и голос Жуковского. В самом главном — в представлении о назначении человека — было у них общее. Жуковский считал страдание — силой, поднимающей душу к идеалу, возносящей ее в пределы бессмертия. Он видел (и потом в течение долгих лет), как посреди почти невыносимых страданий (особенно ночных приступов судорог и спазм во всем теле), не раздавленный даже неожиданно поразившей его слепотой, Козлов *возвышался душой,* творил, сохранял молодость чувства, поэтическую тонкость мысли...

В начале апреля Жуковский приехал в Дерпт. Снова

увидел свою Машу и невольно подумал, что силой духа она равна Козлову, если не выше еще...

Маша потеряла все. С Мойером, прекрасным человеком, ей жилось спокойно. Она отдавала всем *все*, ради счастья *всех*, чего-то требовавших от нее. И вот осталась без родины, без любимого, без будущего. Между тем она была приветлива, ласкова, добра, работяща. Она рисовала, читала, шила, варила, хлопотала по дому, рубила капусту для соленья, помогала бедным, воспитывала у себя дома двух или трех сирот; стала изучать повивальное искусство («Как жаль теперь того времени, которое потеряла за пюпитрами и фортепиано! лучше бы было варить мыло и стряпать паштет»)... На столе у нее были те же Фенелон, Массильон и Жанлис... И стихи Жуковского.

Блудов, проездом в Лондон, побывал в Дерпте у Мойеров и написал Жуковскому: «Я воображал ее прекраснее, но не мог вообразить лучше и милее...» Вигель, ехавший в одной коляске с Блудовым, так пишет о Маше: «Разбирая черты ее, я находил даже, что она более дурна, но во всем существе ее, в голосе, во взгляде было нечто неизъяснимо-обворожительное. В ее улыбке не было ничего ни радостного, ни грустного, а что-то покорное. С большим умом и сведениями соединяла она необыкновенную скромность и смирение. Начиная с ее имени все было в ней просто, естественно и в то же время восхитительно. Других женщин, которые нравятся, кажется, так взял бы да и расцеловал, а находясь с такими, как она, в сердечном умилении все хочется пасть к ногам их. Ну, точно она была как будто не от мира сего».

За то, что Маша «не устояла», вышла замуж, окончательно лишив счастья Жуковского, многие отвернулись от нее: дядя Павел Иванович Протасов с супругой, двоюродная сестра Авдотья Петровна Елагина, покойная Анна Ивановна Плещеева... Авдотья Петровна рвала ей сердце сухими, сдержанными письмами и вообще писала редко, — Маша взывала к ней со всей силой прежней дружбы — «я все та же!». И сама уже многие свои письма оставляла неотправленными. Одиночество охватывало ее холодом. Сестра Саша собиралась покинуть Дерпт. «Она расстроила опять здесь свое здоровье, муж ее расстроил дела, и она уезжает... Проходили целые недели, и мы не видались ни разу... Она увезет последнее счастие...» О приехавшем Жуковском: «Я стала *еще счастливее* с тех пор, как он еще раз благословил мое сча-

стие... Его пребывание здесь много сделало мне добра: оно подкрепило все хорошее в сердце и дало снова сил на будущее».

Это была грустная встреча. Были добрые семейные беседы, чтение стихов и даже шутки. Жуковский собирал и упаковывал последние свои книги, остававшиеся у Екатерины Афанасьевны, пропадал в университете, в библиотеке, много гулял один. Когда случалось на минуту остаться им вдвоем, жестокое смятение нападало на них, они читали в глазах друг друга погибель, окончательную погибель «веселого вместе»... У Маши подгибались ноги, и она всеми усилиями старалась не упасть... Хотелось отчаянно, как ребенку, залиться плачем и закричать: «Жуковский! Возьми меня с собой». Он слышал этот крик сердца... Он уехал. Она писала ему вдогонку: «Друг мой, тебе обязана прошедшим и настоящим хорошим... Я никогда не любила тебя так хорошо, как теперь... Мне все еще кажется, что воспоминание обо мне тебе так же нужно, как мне о тебе... Дурачок, когда так много воспоминаний общих, то прошедшее — друг вечный. Сих уз не разрушит могила...»

...Летом 1819 года Жуковский жил в Павловске. «Я кончил свою грамматику, но это долговременное занятие так меня высушило, что с трудом возвращаюсь к своей поэзии — боюсь, не все ли пропало, — писал Жуковский Анне Петровне Зонтаг 22 июня. — Теперь принялся снова, но все идет еще очень плохо. Не стану, однако, робеть и постараюсь кое-как с собой сладить... Я в каком-то мрачном расположении — оно все для меня очернило».

Были в Павловске старый поэт Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий и Василий Перовский, приятель Жуковского. Остальное общество составляли молодые фрейлины — графини Самойлова и Шувалова, княжны Козловская и Волконская, а также другие придворные дамы. Все они просили новых стихов, и Жуковский, преодолевая «мрачное расположение», брался за перо. Сначала он думал, что стихи на случай, экспромты и стихотворные записки помогут ему снова войти в стихию высокой поэзии, но эта область поэзии неожиданно его увлекла. Она явилась как бы очищенной от «галиматьи» черниско-муратовской и арзамасской поэзией. Но он не привел ее и к пустой, холодной галантности мадригалов на заказ. Это были шутливые, свободные, полные мягкого юмора и поэтического изящества стихи, — *альбомная поэ-*

зия в ее высоком качестве, — как один из видов подлинного поэтического творчества.

Жуковский умел быть открытым. «Он бывало, — пишет современница, — смеется хорошим, ребяческим смехом, не только шутит, но балагурит, и вдруг, неожиданно, все это шутовство переходит в нравоучительный пример, в высокую мысль, в глубоко грустное замечание». «В беседах с короткими людьми, — пишет Вигель, — в разговорах с нами до того увлекался он часто душевным, полным, чистым веселием, что начинал молоть премилый вздор. Когда же думы засядут в голове, то с исключительным участием на земле начинает он искать одну грусть, а живые радости видит в одном только небе... В нем точно смешение ребенка с ангелом». Даже с императрицей, вдовой Павла I, он умел шутить без тени раболепия, на полном, свободном дыхании. Так, в ответ на ее просьбу написать несколько строф о луне (одна из вечерних прогулок в парке отличалась особенно великолепной лунностью...), он написал в несколько дней целую поэму: «Государыне императрице Марии Федоровне. Первый отчет о луне, в июне 1819 года», потом прибавил к нему несколько «постскриптумов», а в следующем году явится еще не менее длинный второй — «подробный» отчет о луне...

Шутливость в «отчетах» то и дело оборачивалась поэзией. Задолго до идиллии Гнедича «Рыбаки» явилось здесь описание белой ночи:

Изгнанница-луна теперь на вышину
Восходит нехотя, одним звездам блистает;
И величаяся прозрачностью ночей,
Неблагодарная земля ее лучей
    Совсем не замечает;
Едва, едва при них от сосен и дубов
Ложатся на траву сомнительные тени;
Едва трепещет блеск на зелени лугов,
Едва сквозь зыбкие, решетчатые сени
Прозрачным сумраком наполненных лесов
Печальный полусвет неверно проникает...

Такой тонкой живописи в русской поэзии еще не было, даже в элегиях самого Жуковского. В том же «первом отчете» не менее поразителен по новизне, волшебной точности закат солнца в Павловском парке.

Меняется метр — шестистопный ямб переливается в четырехстопный, а этот в трехстопный... Жуковский уходит от заданной темы и, словно вспомнив свою «Славянку», вновь живописует памятные места и красоты Пав-

ловского парка, то и дело уносясь свободной душой в мечты о былом...

Следом, в июне же, написана была поэма «Платок графини Самойловой» (это жанр барочной поэмы типа «Похищенного локона» Александра Попа, XVIII век, в свою очередь подражавшего «Похищенному ведру» Тассони, XVII век). Платок, оброненный в море во время катания на лодке, претерпел ряд чудесных приключений и, наконец, «взлетел на небеса и сделался комета» (у Попа локон прекрасной мисс Арабеллы Фермор — «блистая красотой, поднимается к звездам...»).

Графиня Самойлова была красавица. Вяземский так описывает ее: «Она была кроткой, миловидной, пленительной наружности. В глазах и улыбке ее были чувство, мысль и доброжелательная приветливость. Ясный, свежий, совершенно женский ум ее был развит и освещен необыкновенною образованностью. Европейские литературы были ей знакомы, не исключая и русской». Жуковский писал ей в альбомы стихами и прозой, их встречи были освещены каким-то особенным чувством — это была почти любовь, однако больше со стороны графини Самойловой, которой тогда было двадцать два года... Жуковский смутно раздумывал о возможности для него пусть не любви, но семейного счастья и видел — или хотел видеть — в Самойловой родную душу: «Если еще не имею права сказать: *я знаю вас,* то могу сказать: *я вас предчувствую!* — пишет он ей. — То есть я вижу вас *такою,* какою вы *быть можете,* в уверении, что мое предчувствие сбудется». Он не нашел здесь того, чего искал. Ему стало грустно оттого, что она не поняла его дружбы. Она поняла только, что он ее не любит. А он глубоко пожалел, что не может ее любить.

В Павловске он получил письмо Маши от 15 июля: «Милый друг, полно так безжалостно молчать... Хотелось бы на тебя сердиться и *наказать* молчанием, но выходит, что наказываешь себя больше, и поскорей за перо...» Маша рассказывает, что *они* живут на даче, в 20 милях от Дерпта, что в августе Мойер возьмет отставку, купит деревушку в Лифляндии... «Родная страна с своими радостями, кажется, навеки заперлась... Сердце все еще не перестало роптать». Жуковский спохватился. Вспомнил, что с начала мая он не писал Маше. Он сел и написал ей большое письмо. «Мой добрый, хороший друг! благодарю тебя *много* за письмо твое. Дружок, ты не понимаешь, как твои письма мне нужны... Ты не зна-

ешь, жива ли я, да и не спрашиваешь». Дней десять пропустила Маша после этой фразы. Потом продолжила письмо: «Жуковский, мне часто случается такая необходимость писать к тебе, что ничто не может ни утешить, ни заменить этого занятия; я пишу к тебе верно два раза в неделю, но в минуту разума деру письма... Когда мне случится без ума грустно, то я заберусь в свою горницу и скажу громко: *Жуковский!* — и всегда станет легче... Я не потеряла привычку делиться с тобой весельем и тоской».

Она рассказывает, что Мойер, Эверс и другие профессора хотят звать его в Дерпт на место покидающего кафедру Воейкова, — «и поселился бы смирнехонько в Дерпте, в нашем доме; мы бы дали тебе 3 хорошенькие комнатки внизу и одну большую комнату наверху, в которую сделали бы теплую лестницу. Ты бы перестал терять свое драгоценное время. С четырьмя тысячами пенсиону и 6.000 жалованья, ты бы жил в Дерпте как князь, — вообрази, что бы сделал для потомства! Ни один час твоего времени не был бы потерян... Тогда бы не надобно другой жизни!.. Боже мой, чего бы можно было тогда еще желать на сем свете?.. Напиши одно слово — и я уберу комнаты как игрушку, — право, оживу опять. Милый, милый друг, не променяй настоящего счастья на тень его». На это Жуковский просто не в силах был отвечать что-нибудь... Ему делалось страшно... Он ощущал себя чуть не убийцей...

Он уходил в работу...

Его привлекала повесть Фуке́ «Ундина» (Фуке Жуковский причислял к самым оригинальным *творческим* гениям Германии). «Что ваша русская «Ундина»? — спрашивает его Елагина в письме от 26 июля. — Жаль, если вы эту мысль бросили... Напишите «Ундину» или что-нибудь такое же, где много неопределенного, тайного, неизвестного, горестного, мечтательного, похожего вместе и на душу и на жизнь». На столе у Жуковского лежали «Метаморфозы» Овидия... Вечером он читал их, а ночью слышался ему глухой рев бури и печальный крик ласточки — Гальционы... Тело Цеикса, принесенное волнами, бьется о камни... Сколько страдания в мире!

Батюшков пишет из Неаполя: «От тебя не имею ни строчки. Думаешь, милый друг, легко быть забытым тобою?» Он болен, купается в минеральных источниках на Искии в виду Неаполя и Везувия. «Наслаждаюсь великолепнейшим зрелищем в мире: предо мною в отдалении

Сорренто — колыбель того человека, которому я обязан лучшими наслаждениями в жизни (Тассо); потом Везувий, который ночью извергает тихое пламя, подобное факелу; высоты Неаполя, увенчанные замками, потом Кумы, где странствовал Эней или Вергилий; Байя, теперь печальная, некогда роскошная; Мизена, Пуццоли и в конце горизонта — гряды гор... В стороне северной... весь берег, протягивающийся к Риму и исчезающий в синеве Тирренского моря... Посреди сих чудес, удивись перемене, которая во мне сделалась: *я вовсе не могу писать стихов»*. Письмо тревожное: «Здоровье мое ветшает беспрестанно... оно, кажется, для меня погибло невозвратно... Италия мне не помогает». Это был закат Батюшкова — пышный и мучительный... Поэзия его погасла. Душа его металась в тоске, сопротивляясь быстро надвигающемуся мраку.

В одну из августовских ночей Жуковский был разбужен нежданными гостями — Тургенев, с ним — Пушкин, который болел, потом отдыхал в Михайловском... Александр Иванович вез его из Царского Села в Павловск, зная, что Жуковский будет искренне рад появлению Сверчка, хотя и обритого и бледного. Пушкин был весел и сочинял по дороге «Послание о Жуковском к павловским фрейлинам». Жуковскому он вез «Деревню» и пятую песнь «Руслана и Людмилы». «Мы разбудили Жуковского, — пишет Тургенев. — Пушкин начал представлять обезьяну и собачью комедию и тешил нас до двух часов утра». Потом, уже на следующий день, Жуковский читал свои новые стихи, в том числе «На смерть чижика», стихотворение, написанное как будто по незначительному поводу (смерть птички графини Шуваловой), но совсем не пустяшное.

В этот *неплодотворный,* по мнению многих его друзей, павловский период «высушенный грамматикой» Жуковский, живя в духовном одиночестве, не слыша отзыва (да и не требуя его), прорывается сквозь все традиции, обременяющие поэзию, напрягает всю силу своего таланта и создает стихи, для русской поэзии основополагающие, пророческие:

Что наш язык земной пред дивною природой?
С какой небрежною и легкою свободой
Она рассыпала повсюду красоту
И разновидное с единством согласила!
Но где, какая кисть ее изобразила?
Едва-едва одну ее черту
С усилием поймать удастся вдохновенью...

Но льзя ли в мертвое живое передать?
Кто мог создание в словах пересоздать?..
Невыразимое подвластно ль выраженью?..
Святые таинства, лишь сердце знает вас.
Не часто ли в величественный час
Вечернего земли преображенья,
Когда душа смятенная полна
Пророчеством великого виденья
И в беспредельное унесена, —
Спирается в груди болезненное чувство.

Это будет напечатано лишь через несколько лет... Стихотворение называется «Невыразимое» — *невыразимое* в нем и выражено, то «смутное, волнующее нас», которое «слито» с красотой... Гений Жуковского поднялся на высшую точку.

И опять Гёте на столе у Жуковского. Он пишет краткую надпись «К портрету Гёте» («Свободу смелую приняв себе в закон, Всезрящей мыслию над миром он носился. И в мире всё постигнул он — И ничему не покорился»). В ноябре 1819 года он перевел «Путешественника и поселянку» и начало стихотворного посвящения Гёте к одному из его сборников («Взошла заря. Дыханием приятным...»). Рядом с Гёте лежали книги Байрона. Осенью он снова на Крюковом канале. Он читает Байрона с Козловым, с Тургеневым. Вяземский пишет из Москвы Тургеневу: «Как Жуковскому, знающему язык англичан, а еще тверже язык Байрона, как ему не броситься на эту добычу!» — «Ты проповедуешь нам Байрона, — отвечает Тургенев. — Жуковский им бредит и им питается. В планах его много переводов из Байрона. Я нагреваюсь им и недавно купил полное издание в семи томах».

Осенью князь Трубецкой и Николай Тургенев предложили Жуковскому для ознакомления устав недавно возникшего Союза Благоденствия. Он отвечал, что этот устав «заключает в себе мысль такую благодетельную и такую высокую, что для выполнения ее требуется много добродетели со стороны лиц, которые берут на себя ее исполнение, и что он счастливым почел бы себя, если б мог убедиться, что в состоянии выполнить требования этого устава, но что он, к несчастью, не чувствует в себе достаточно к тому силы». Это был честный и вежливый отказ — Жуковский не находил в себе способностей политического деятеля...

Жуковский только что переехал из Коломны в квартиру, расположенную в одном из флигелей Аничкова

дворца. Свез туда книги и пожитки, начал благоустраиваться. На рождество дан был ему отпуск, и он 25 декабря был уже в Дерпте. Мойер был простужен и лежал в сильной горячке. Доктор Эрдман почти не отходил от него. Маша лихорадочно хлопотала. Только где-то около десятого января Мойер оправился, но у него распухло горло, и он не мог говорить. День рождения Маши, 16 января, прошел буднично, тихо. Жуковский уехал 17-го. Маша взялась доставить ему все нужное белье для житья в новой квартире — начала шить простыни и рубашки...

В Аничковом дворце у Жуковского собирается тот же кружок литераторов. Приходит Пушкин-Сверчок, к которому он относится братски, душевно и просто, несмотря на разницу возрастов. Пушкин в вечном беспокойстве, всегда в крайних чувствах — последний год этот оказался для него тяжким. Друзья его, члены тайного общества, не доверяли ему, хотя он страстно мечтал служить вместе с ними делу свободы и писал пламенные вольнолюбивые стихи. Все в его жизни свилось в один огненный клуб — любовные похождения, публичное фрондерство антиправительственными фразами, дуэли (он вызывал на поединок даже друзей — Николая Тургенева, Кюхельбекера и Рылеева), острые эпиграммы, «Руслан и Людмила»... Он был обидчив, насмешлив, нетерпелив. Его преследовала клевета, и не только со стороны врагов. Доносов на него было столько и они были таковы, что он ожидал самое меньшее — ссылки в Сибирь или в Соловецкий монастырь. Его успокаивал Чаадаев, призывая быть выше клеветников и гонителей, не отвечать ни на что и творить, так как творческий дар обязывает к этому. То же говорил Карамзин, которого он посещал в Царском Селе. И Жуковский призывал его к тому же, Жуковский, который так ласково ободрил его в лицее, к которому он тогда обратился со страстно-благодарным посланием, где говорил:

И ты, природою на песни обреченный!
Не ты ль мне руку дал в завет любви священный?
Могу ль забыть я час, когда перед тобой
Безмолвный я стоял, и молнийной струей —
Душа к возвышенной душе твоей летела
И, тайно съединясь, в восторгах пламенела, —

к портрету которого он сделал такую великолепную надпись:

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнет о славе младость,
Утешится безмолвная печаль
И резвая задумается радость...

В квартире Жуковского в Аничковом дворце прочитал Пушкин последнюю песнь своей первой поэмы. Жуковский горячо похвалил его, предсказал ему великую будущность и подарил свой портрет (литографию, только что сделанную Эстеррейхом, этот же портрет разошлет Жуковский всем своим родным и, конечно, Маше). «От меня все ждали-ждали поэмы о Владимире и богатырях, — сказал Жуковский, — так и не дождались. Сдаюсь... Сдаюсь на милость юноши-победителя!» — и сделал на портрете надпись: «Победителю-ученику от побежденного учителя — в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму Руслан и Людмила. 1820, марта 26, великая пятница».

Жуковский знал, какие неприятности грозят Пушкину, он постарался успокоить и поддержать его. 19 апреля Карамзин писал Дмитриеву: «Над здешним поэтом Пушкиным если не туча, то по крайней мере облако, и громоносное... Служа под знаменем либералистов, он написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей и проч., и проч. Это узнала полиция... Опасаются следствий». Испугавшись за участь Пушкина, буквально в слезах (по словам Федора Глинки) бросился Николай Гнедич к Алексею Оленину, а тот — к министру просвещения. За Пушкина хлопотали Тургенев и Жуковский. В результате он был как бы не наказан, а под благовидным предлогом удален из Петербурга, послан чиновником в екатеринославскую канцелярию Инзова... Началась южная ссылка молодого поэта. Тем временем Жуковский в Петербурге взял на себя издание «Руслана и Людмилы»...

Жуковский встает, как почти всегда, в пять часов утра. Его трудовые часы приходятся на то время, когда многие еще спят. Он успевает много сделать, много прочесть, везде побывать и отдохнуть... Он продолжает работу над «Орлеанской девой». Пробует переводить отрывки из других драм Шиллера — «Пикколомини» и «Смерть Валленштейна». В этом году получил изданного в Штутгарте «Сида» Гердера, испанский эпос его очаровал, он начал переводить первую песнь. Вновь перечитывал «Ундину» Фуке.

Образ Иоанны д'Арк увлек его — столько в ней поэ-

зии, романтической, возвышенной! Пьеса выходила у Жуковского драматической поэмой, большой героической элегией... С недоумением он вспоминал о существовании «Орлеанской девственницы» Вольтера. «Как это можно из народной героини делать посмешище? — думал он. — И как это французы могут терпеть... нет, не плохие стихи, а святотатство? надругательство? В Греции такой героине воздвигли бы алтари... И у нас в России находят странное удовольствие читать это уродливое, безнравственное сочинение!»

В связи со своей учительской службой Жуковский летом этого года жил то в Павловске, то в Петергофе. В июне в Петербурге вышел отдельным изданием его второй «Отчет о луне». В журнале «Сын Отечества» Николай Греч положительно отозвался об этом стихотворении. Но многие литераторы не захотели заметить хороших качеств «Отчета», плохо зная Жуковского, они думали, что это стихи придворного раба, стихи поневоле, а не от поэтической души. Александр Измайлов пишет своему приятелю: «Вчера пришел ко мне в синем парижском сюртуке... и в широких белых портках Орест Сомов... Вчерашний день он поссорился с Гречем. Вот как это случилось. Они встретились в книжной лавке Слёнина. Сомов, взяв в руки последний № «Сына Отечества», где расхвален «Отчет...» Жуковского о луне, начал упрекать Греча в *недостатке вкуса* и грозил разобрать эту пиесу. Греч назвал его Моською... «Пусть я Моська, — возразил Сомов, — однако не из тех, которые лижут задницы!»... Для Жуковского оба «Отчета» были немаловажным этапом в его творчестве. Никому не ведомо было, что в состав первого должна была войти огромная поэма о разрушении ливонскими рыцарями маленького древнерусского княжества Герсики на Двине (он читал об этих событиях в третьем томе «Истории государства Российского» Карамзина и, вероятно, в ливонских хрониках, которые имелись в библиотеке Дерптского университета).

Жуковский делал многочисленные планы и наброски, поворачивал свой сюжет так и сяк, стараясь прояснить для себя историю Родрика и Изоры, все, что рассказал «анахорет», якобы зарывший в древности ларец со своей рукописью в том месте, где сейчас Павловский парк. Более двухсот стихотворных строк поэмы «Родрик и Изора» осталось в тетради и не увидело света. Если судить по планам, то должно было явиться еще не менее тысячи строк, и вся эта поэма должна была как в рамку войти в первый «Отчет

о луне»... И только во второй «Postscriptum» к «Отчету» вошел краткий рассказ о том, как автор, гуляя ночью в парке, нашел клад благодаря чудесному обстоятельству: на дереве, под которым он был зарыт, мелькала тень его стража — волшебной кошки... «Пергаментный истлевший свиток» был писан «славянским древним языком», это было сказание о Герсике. Здесь же обещание поэмы в будущем:

Когда фантазия поможет
Мне подружиться с стариной,
Я разгадаю список мой,
Быль небылицею приправлю...

Второй «Отчет о луне» сопровождался таким примечанием Жуковского: «Прекрасная лунная ночь в Павловске подала повод написать это послание. Государыне императрице угодно было дать заметить поэту красоту этой ночи, и он, исчислив разные, прежде им сделанные описания луны, признается в стихах своих, что ни которая из этих описанных лун не была столь прелестна, как та, которая в ту ночь освещала павловские рощи и воды». Сомов не пожелал заметить, что контакт с императрицей в этой *поэме* о луне ограничивается примечанием да первой строфой, в которой между тем очерчена тема послания. И все прошло мимо него — оригинальный и серьезный замысел, великолепные стихи, поэтические картины и поэтические мысли. Это был своеобразный *отчет* Жуковского о своем поэтическом творчестве, нанизанный на самый романтический символ — луну, отчет о балладах, элегиях, попытки дать квинтэссенцию своей поэзии. Как легко это выглядит и читается и как сложна эта вещь в своем внутреннем сечении! В начале, при свете луны, скачут мертвецы «Людмилы» и «Светланы», плывет по Рейну Адельстан, гибнет Варвик, находит «пустынный замок» у Днепра Вадим (и все эти сцены описаны *заново*, но автор делает вид, что дает *прежнее*). Тут возникает в одной картине общий колорит баллад Жуковского, все их он как бы упрятал в эти несколько десятков строк, выведя между прочим — далее — лучшую из своих лирических баллад, «Эолову арфу», в разряд *элегий,* поместив ее знак («дуб *Минваны*») после «Сельского кладбища». Между балладой и элегией — большой отрывок о войне 1812 года, когда, как пишет поэт,

В рядах отечественной рати,
Певец, по слуху знавший бой,
Стоял я с лирой боевой
И мщенье пел для ратных братий.

На самом высшем поэтическом уровне разворачивает Жуковский картину-воспоминание:

...Костры дымились, пламенея,
И кое-где перед огнем,
На ярком пламени чернея,
Стоял казак с своим конем,
Окутан буркою косматой;
Там острых копий ряд крылатый
В сиянье месяца сверкал;
Вблизи уланов ряд лежал;
Над ними их дремали кони;
Там грозные сверкали брони;
Там пушек заряжённых строй
Стоял с готовыми громами....

От картины сна перед боем, от *бородинской ночи,* автор, естественно, переходит к ночи на *сельском кладбище,* к освещенному луной *дубу Минваны,* а там на фоне «ночного шума» является чуть измененная цитата из «Невыразимого» и далее в чуткой жизни ночной природы слышит поэт все свои сокровенные мысли о *Здесь* и *Там.*

В августе 1820 года Жуковский готовился к путешествию в Германию в составе свиты великой княгини Александры Федоровны. К этому времени поселился в Петербурге Воейков, лишившийся кафедры в Дерпте. Попечитель университета князь Ливен швырнул ему в лицо все доносы, которые он писал на профессоров.

Пришлось пристраивать Воейкова к месту... Тургенев, заведовавший департаментом духовных дел, определил его по просьбе Жуковского к себе чиновником особых поручений. Сверх того Греч, тоже по просьбе Жуковского (действовавшего так лишь в интересах Светланы и ее детей, чтобы они не остались без хлеба), рекомендовал его на место инспектора классов артиллерийского училища (и со следующего года он стал там также преподавателем русской словесности). Греч поручил ему в своем журнале «Сын Отечества» отдел критики и обозрения журналов. Низко павший в Дерпте, опозорившийся пьянством, долгами и доносами, Воейков снова поднял голову. Он понял, что не останется без помощи, что Саша, Светлана, жена его, — щит для него, что Жуковский и Тургенев не оставят в беде *ее!*

Светлана в течение дерптской жизни была совершенно замучена грубыми выходками мужа. У нее начались сильные боли в груди. Слабое здоровье, дети, бессонные ночи, слезы... От полного отчаяния ее удерживал только Жу-

ковский, верный друг ее с самого детства, воспитатель ее, любимый ее поэт.

В Петербурге Жуковский познакомил Светлану со своими друзьями — Александром Тургеневым и Василием Перовским. «Жуковского Светлана приехала сюда, — писал Тургенев Вяземскому, — и я видел ее в первый раз с каким-то поэтическим чувством». Он называет ее «тихим созданием, с прекрасной душой и с умом образованным... При ней можно отдохнуть от жизни и снова расцвести душой. Большой свет не опалил ее своим тлетворным дыханием, но она имеет всю любезность, необходимую для большого света». И в другом письме: «Какая милая душа, и какой высокий характер! Она все прекрасное умела соединить в себе. При ней цвету душой. Она моя отрада в петербургской жизни».

Сам того не заметив, Тургенев увлекся Светланой до страсти. Из его писем — простодушно-правдивых — это понял Жуковский. Он стал просить Тургенева сделать так, чтобы Саша «нисколько не была в разладе с собою», советовать ему в том *счастье,* которое нашел он в *дружбе* со Светланой, уничтожить все, что принадлежит *любви.* («Жуковский судит по себе, — записал на полях письма Тургенев, — и думает, что я могу быть счастлив дружбой! Горькая ошибка!») Познакомил Жуковский Светлану и с Иваном Козловым, страдания которого все увеличивались: он начал медленно терять зрение. Козлов нашел в Светлане глубоко родственную своей душу. Он же для нее стал вторым после Жуковского духовным учителем. Его стойкая, огненная, отзывающаяся на все прекрасное и высокое душа, не гибнущая среди мучений, не меркнущая среди мрака, светила ей на ее тяжком жизненном пути. Светлее стало и Козлову. В послании «К Светлане» он скажет:

И ты, и ты, ночная тень.
Рассеешься, пройдут туманы, —
И расцветет мой ясный день,
День светлый, как душа Светланы...

Самым близким другом остается для Светланы все-таки Жуковский. Она делает такие записи о нем в своем альбоме: «Его добродетель — лучшая религия в мире!»; «Я провела утро в разговоре с Жуковским, час беседы с ним возвышает душу почти до его высоты!»; «С тех пор как я размышляю — это мой идеал добродетели и я вознаграждена его дружбою». Уезжая в сентябре за границу, Жуковский обещал Воейковым по приезде поселиться

вместе с ними и квартиру подыскал для этого — напротив Аничкова дворца, на Невском проспекте. 23 сентября был прощальный вечер — Жуковский простился со Светланой и друзьями.

27 сентября Жуковский прибыл в Дерпт. «Жуковский спит под моей горницей, — пишет Маша Елагиной. — Он пробудет только до 3 октября». 2 октября Жуковский пишет Елагиной: «Я теперь в Дерпте и отправляюсь в Берлин... Наконец некоторые мечты сбываются: увижу прекрасные стороны, в которые иногда бегало воображение... Путешествие оживит и расширит душу... Вот вам мой маршрут. Теперь еду прямо в Берлин, где пробуду до начала марта. Это не лучшая часть моего вояжа: буду видеть прусский двор, — тут нет поэзии; но буду видеть и Шиллеровы и Гётевы трагедии, буду слушать лучшую музыку — это поэзия». Далее он говорит о Дрездене, Веймаре, Франкфурте, плавании по Рейну, о Страсбурге, Базеле, потом об Альпах, Тирольских горах... «Вот вам очертания моего воздушного замка. Сбудется или нет, не знаю! Пока радуюсь надеждою». Жуковский *уже едет* в страну своих мечтаний, в родной своей поэзии край и не верит еще, что это так... Маша дала ему в дорогу свой дневник...

В октябре сразу обрушился на Жуковского вихрь впечатлений. Кратко, бегло заносит он в дневник многочисленные названия, имена, пишет в пути о достопримечательностях, трактирах, деревнях, городах, замках, театрах, о быте немцев.

В начале января в Берлине Жуковский болел глазами, но вынужден был посещать великосветские вечера; был на параде, в Иоаннитском монастыре. Постоянно общался со своей ученицей. На вечере у герцога Кумберлендского увидел Шатобриана. Неделя такой жизни, да еще при хмурой погоде привела Жуковского в тоскливое настроение.

8 января выглянуло солнце. Утро оказалось свободным. Он отправился в Тиргартен. Идя по влажному песку аллеи, вдруг поймал себя на совершенно легком и даже счастливом состоянии души. «Неужели, — подумал он, — душа так зависит от солнца и ненастья?» Придя домой, записал в дневнике: «Это возвращение *хорошего* без твоего ведома не есть ли доказательство, что оно в тебе, и что требует от тебя только понуждения, чтобы пробудиться и быть всегда пробужденным. Если утро ясное может дать душе более нравственного достоинства, как

будто против ее воли, то почему же не может того свободная воля?» Он решил: *может*. Он решил не давать своей душе пребывать в ленивом бездействии («Лень все силы душевные убивает», — записал он, имея в виду под *ленью* все виды бездействия, в том числе и меланхолию, и тоску.

Он достал все свои начатые работы. Быстро пошла к концу «Орлеанская дева» (видел ее здесь в театре и был восхищен...). Начал присматриваться к Байроновым поэмам — «Шильонскому узнику» и «Гяуру». «Сид» Гердера и лирика Гёте снова появились на столе... Берлинский двор готовил пышную любительскую постановку — живые картины по поэме Томаса Мура «Лалла Рук», с участием великого князя Николая, его супруги, разных прочих титулованных лиц. Костюмы, декорации делались лучшими художниками, музыку написал композитор Спонтини. И вот перед Жуковским лежит эта огромная прозаическая поэма с четырьмя большими стихотворными вставками...

Среди этих трудов — радостная весть от Маши, которая родила дочь. «Милый ангел! — пишет она Жуковскому, — какая у меня дочь! Что бы дала я за то, чтоб положить ее на твои руки». Саша Воейкова, приехавшая в Дерпт, приписывает: «На Машу весело глядеть...». Итак, Маша счастлива. С ней теперь ее дочь. Но вот Саша уехала, и в письмах Маши появляются другие ноты: «*Прошедшее* больше бунтовало... Сейчас возвратилась от Зенфа, где не умолкаючи о тебе говорила... Ах, мой Жуковский! до смерти тебя люблю... Сашка уехала, и сиротство воротилось». И в следующем: «Ах, мой Жуковский! как мне не быть счастливой, когда ты есть на этом прелестном свете».

Саша больна. Выходки Воейкова продолжаются. Тургенев пишет Жуковскому: «Если бы он мог понять, что это похоже на убийство, то конечно бы образумился и в самой сильной горячке, ибо не тот только убивает, кто в одно мгновение лишает жизни, а и тот, кто подрывает и без того слабое здоровье и приближает к смерти страданиями душевными». А Тургенев счастлив дружбой со Светланой: «Это она. Это она, повторяю я беспрестанно. Душа моя расцвела с нею... Бросил бы и жизнь, и все лучшее в жизни для минутного ее счастия». Тургенев вынужден защищать Сашу от мужа. Это вызывало сплетни в обществе, новые безобразия Воейкова, который утихал лишь тогда, когда получал от Тургенева *взаймы* деньги...

Постановка «Лаллы Рук» в королевском дворце всколыхнула душу Жуковского. Все эти яркие картины, сопровождавшиеся прекрасной итальянской музыкой, слились для него в один поэтический образ... Он увидел земное воплощение небесной красоты. Тогда явилось одно из главных, программных для его поэзии и для его философии стихотворений, «Лалла Рук», где он пишет:

Ах! не с нами обитает
  Гений чистой красоты;
Лишь порой он навещает
  Нас с небесной высоты;
Он поспешен, как мечтанье,
  Как воздушный утра сон;
Но в святом воспоминанье
  Неразлучен с сердцем он!..

Во время с 16 февраля по 6 марта 1821 года Жуковский перевел «Рай и Пери» — одну из поэм «Лаллы Рук» и дал ей название «Пери и ангел». Он послал ее Тургеневу, чтоб прочел, снял копию и отправил Маше. Эта вещь была напечатана осенью того же года в «Сыне Отечества».

Великая княгиня собиралась ехать на воды в Эмс — Жуковский отпросился ехать один в Швейцарию и на Рейн. Он хотел пригласить с собой художника Фридриха. Каспар Давид Фридрих, которому было тогда около пятидесяти лет, был по своему — романтического качества — дару близок Жуковскому. В марте в Берлине, Жуковский видел его картины, которые так отметил в дневнике: «Погребенье; Взморье с начинающеюся бурею и рыболовами; Шалаш посреди туманного поля; Четыре времени дня; Вид ночью в тумане с набережной и звезды; Удаляющийся корабль; Горы с туманом; Дерево, через которое светит вечер, и усаживающиеся птицы...» Жуковский купил несколько картин. «Фридриха я нашел точно таким, каким воображение представляло мне его, — пишет Жуковский после знакомства с художником, — и мы с ним в самую первую минуту весьма коротко познакомились... этот сухощавый, среднего роста человек, белокурый, с белыми бровями, нависшими на глаза... Фридрих пренебрегает правилами искусства, он пишет свои картины не для глаз знатока в живописи, а для души, знакомой так же, как и он, с его образцом, с природою... Он ждет минуты вдохновения». Отныне, где бы Жуковский ни жил, стены его кабинета будут украшать и картины Фридриха, странные для непривычного взгля-

да, — кладбища, туманы, летящие совы, корабли в ночном море... Фридрих все же не поехал с Жуковским, он прямо сказал, что может наслаждаться природой только в одиночестве. 13 мая Жуковский пишет Петру Полетике, что у него через два дня начнется жизнь путешественника: «Описывая целый век природу в стихах, хочу наконец узнать наяву, что такое высокие горы, быстрые водопады и разрушенные замки, жилища моих любезных привидений».

В Дрездене Жуковский побывал у Людвига Тика, одного из основателей немецкого романтизма, друга Новалиса и Вакенродера.

«В его глазах, — пишет Жуковский о Тике, — нет ни быстроты, ни проницательности, ни блеска, но они выразительны: есть что-то согласное с тою мечтательностью, которую находим в его сочинениях, особливо в «Странствиях Франца Штернбальда»...» Тик подарил Жуковскому экземпляр своего романа с обширной авторской правкой. Говорили о многом. Например, о Шекспире (Тик переводил его пьесы и готовил критический комментарий к ним). Возник какой-то спор о Гамлете (Жуковский, как и Гёте, считал «Гамлета» «варварской» пьесой). Тик, известный в Европе своим искусством декламации, читал отрывки из «Гамлета». Попрощались они дружески. «Мне жаль было расставаться с Тиком», — писал Жуковский. В письмах из Дрездена он полушутя называл его *Штернбальд-Тик*. Он встретился с ним еще раз — Тик прочел ему «Макбета» и «Как вам угодно». «Макбет» в чтении Тика понравился ему, комедия — нет (Плещеев был, по его мнению, более талантлив как комик)...

В Дрезденской галерее Жуковский побывал не раз. Он видел «Мадонну» Рафаэля, то есть смотрел на нее, но увидеть ее, как он хотел, ему мешали то гид, то художник, копировавший ее, то знакомая дама, шептавшая ему на ухо, что она видела перед «Мадонной» самого Наполеона и что ее дочери — копия Рафаэлевых ангелов... Все это ему надоело, и он пришел к самому открытию галереи. Посетителей еще не было. Он сел на диванчик против картины. Сначала по-деловому заметил, что она в пятнах, что края ее загнуты, чем нарушен формат, задуманный художником, и что рядом с ней — странное соседство других картин вроде Тицианова портрета Аретино, итальянского сатирического поэта... «Я был один, — рассказывал Жуковский, — вокруг меня все было тихо;

сперва с некоторым усилием вошел я в самого себя; потом ясно начал чувствовать, что душа распространяется... неизобразимое было для нее изображено... Не понимаю, как могла ограниченная живопись произвести необъятное... Приходит на мысль, что эта картина родилась в минуту чуда... Рафаэль как будто хотел изобразить для глаз верховное назначение души человеческой... Какую душу надлежало иметь, чтобы произвести подобное». Час, проведенный у «Мадонны» Рафаэля, Жуковский считал одним из счастливейших в своей жизни... С этим благодатным впечатлением покинул он Дрезден и направился в Швейцарию, в страну огромных снежных пиков, озер, на родину Вильгельма Телля, в места, где жил Руссо, где путешествовал Карамзин... Он многого ждал от встречи с Швейцарией.

Среди прочих мест посетил Жуковский Бюрглен, где родился Телль. Уже 5 августа, верхом, приблизился к перевалу через Сен-Готард — решил перебраться этим путем в Северную Италию и вернуться назад... Все время вел в дороге дневник.

В Швейцарию Жуковский возвратился другим путем — по Симплонской дороге, выстроенной инженерами Наполеона. Новый перевал — через Симплонские высоты; перед глазами постоянно сияет снегами Монблан. «Шум источников. Сначала усталость, потом свежесть от горного воздуха... Ледники. Огромные массы льда, трещины... Треск глетчера, лавины...» Утром спустился в долину Шамуни. «Монблан всех задавил и сияет... Караван англичан, идущих к Монблану. Пастух с рогом и эхо... Прозрачная вода по камням... На Монблане вихорь пламенных туч... Стук цепов, шум воды, уединение, колокол».

Был в Фернее, замке, где жил Вольтер. В Женеве познакомился с Бонштеттеном, швейцарским историком (когда-то переводил для «Вестника Европы» его переписку с Миллером).

Через Лозанну Жуковский прибыл в Веве. Вся роскошь Женевского озера открылась перед ним... «Грусть от прелести природы и от одиночества», — записывает он. Здесь, наконец, достает небольшой альбом и начинает рисовать пейзажи, рисунок его — четкий, легкий, выразительный контур, царство линии...

Поселившись в Веве, начал читать Байрона. «Одиночество. После обеда, дочитав «Марино Фальеро», гулял. Пристань и каштановая аллея; вид на Мельеры, Валлийские горы; фиолетовый цвет гор; бродящие облака бе-

лые, дымчатые и серые по синеве гор» (29 августа). Он замечает все краски, все оттенки в природе, — он как бы слился душой с нею, замер, забыл о себе. «Ясный восток... Светлое озеро и на нем парус. Простая картина, ничего, кроме воды, низкого берега и паруса... Даль озера к берегу переливается в светло-зеленую, потом в фиолетовую тень; серебряная чешуя. Дымный цвет облаков. Белые облака... Вся долина Валлийская наполнена клубящимися облаками» (2 сентября).

Жуковский с особенным чувством смотрит на облака. Он всегда любил смотреть на них. Они будят его фантазию. Облака удивительны по своей волшебной изменчивости. Они выражают собой все, уподобляясь всему. Сентябрьский дневник весь в облаках: «Осенние облака на горизонте... Золотые облака... Облака синие и озеро синее... Облака как кудри... Удивительное действие облаков: в Тунском озере солнце, а по горам легкие золотистые струи... Озеро Бриенцское темно... только по краям облака́ амфитеатром... Над Тунским озером Оссиановская картина: точно группы туманных воинов с дымящимися головами... Стесненная долина, неподвижно лежащие облака... Каскад из облака облачною полосою; потом через долину огромное облако, как две руки».

Жуковский ходил пешком в Кларан, беседовал с одним крестьянином о Руссо. Крестьянин был убежден, что Юлия Руссо — не выдумка, а действительно здесь жила. «Письма русского путешественника» Карамзина были у Жуковского с собой. «Пошел я далее по берегу озера, — писал Карамзин, — чтобы видеть главную сцену романа, селение Кларан. Высокие густые дерева скрывают его... Подошел и увидел — бедную маленькую деревеньку, лежащую у подошвы гор, покрытых елями... Многие из тамошних жителей знают «Новую Элоизу» и весьма довольны тем, что великий Руссо прославил их родину, сделав ее сценою своего романа... За деревенькою волны озера омывают стены укрепленного замка Шильона; унылый шум их склоняет душу к меланхолической дремоте».

Жуковскому Шильон сказал гораздо больше, чем Карамзину. 3 сентября с поэмой Байрона «Шильонский узник» в руках сел Жуковский в лодку и поплыл туда. Долго бродил по дворикам и галереям крепости, построенной на скале. Вокруг плескалась вода. В тюремной камере, где томился Бонниваp, ставший героем знаменитой поэмы, нашел он надпись Байрона на столбе и поставил рядом свою.

«Тюрьму Бонниварову Байрон весьма верно описал в своей несравненной поэме», — записал Жуковский. На следующий день в Веве он начал переводить поэму. Вернее, сначала он составил вступительную прозаическую заметку, где писал о том, что видел своими глазами.

4 сентября Жуковский покинул Веве с надеждой вернуться сюда. Это место полюбилось ему. В пути его швейцарский альбом заполняется многими десятками рисунков. Из Люцерна он поехал через Штутгарт, Франкфурт-на-Майне, Висбаден, Ганау, Фульду, Эйзенах, Эрфурт в Веймар. «Я видел прекрасный сон!» — закончил он свои швейцарские записи. После *величественного зрелища природы* (это его слова), хотел он насладиться *еще более величественным зрелищем души человеческой,* то есть он хотел видеть Гёте, величайшего поэта своего времени.

29 октября Жуковский приехал в Веймар. Он явился в дом Гёте, но Гёте дома не оказалось, он находился в Иене. Жуковскому разрешено было осмотреть дом и сад. Он отметил в дневнике «антики» — слепки с древних скульптур, вывезенные Гёте из Италии, в том числе огромную голову Юпитера; «Альдобрандинскую свадьбу» — копию с античной картины; бюсты Шиллера, Гердера, самого Гёте. Зарисовал сад. Потом поехал в Иену.

Дорога, которую можно было пройти пешком за несколько часов, обсажена была сливовыми деревьями... «Он посетил меня, — писал Гёте, — с русским поверенным в делах г. Струве, без доклада, когда уже надвигалась ночь, а я был занят совсем другими делами. Я постарался сделаться весь внимание... Однако ведь всегда проходит некоторое время, пока почувствуешь друг друга, и, по правде, мне было жаль с ним расстаться. Через час они уехали, и только после их отъезда припомнилось мне, что я должен был бы спросить и сказать. Думаю написать ему несколько теплых слов и что-нибудь послать; хочу положить начало отношениям, чтоб чаще получать вести друг о друге».

На следующий день Жуковский осмотрел дома Шиллера и Виланда и к вечеру выехал в Дрезден. Там встретил Батюшкова, который был в очень печальном положении. В Италии, в Неаполе, странное что-то стало твориться с его душой. Он был в постоянной хандре, не мог писать стихов. Потом он не поладил со своим начальником, графом Штакельбергом. Стал проситься в отставку. В 1820 году Батюшков оказался в Риме в составе миссии Италинского, который добился для него бессрочного

отпуска. Он поехал в Теплиц, потом в Дрезден. Он был страшно раздосадован поступком Воейкова, напечатавшего без его ведома его стихотворение, а также поставившего его имя в списке сотрудников на обложке «Сына Отечества». В том же журнале появилось стихотворение Плетнева «Батюшков из Рима». Батюшков написал в журнал резкое письмо, закончив его словами, что он «навсегда покинул перо автора». «Я отныне писать ничего не буду и сдержу слово», — писал он Гнедичу. 2 и 4 ноября Жуковский виделся с Батюшковым, 4-го — в небольшом городке Плауне вблизи Дрездена. Жуковский записал: «С Батюшковым в Плауне. *Хочу заниматься.* Раздрание писанного. *Надобно, чтобы что-нибудь со мною случилось.* Тасс; Брут; Вечный Жид; описание Неаполя». Подчеркнуты слова Батюшкова, не понимавшего, что с ним творится. Был откровенный разговор. Батюшков сказал, что он *разодрал* все написанное им в Италии; Жуковский перечисляет уничтоженное... Жуковский пытался как-то ободрить Батюшкова, но это не удалось. И время вышло, оставив Батюшкова в Дрездене, Жуковский вернулся в Берлин.

В декабре Маша, истосковавшаяся в своем одиночестве по Жуковскому, написала ему в Берлин. Письмо это было воплем отчаявшейся души: «Ангел мой Жуковский! Где же ты? все сердце по тебе изныло. Ах, друг милый! неужели ты не отгадываешь моего мученья?.. *Ты* мое первое счастие на свете... Ах, не осуждай меня!.. Не вижу что пишу, но эти слезы уже не помогают! Я вчера ночью изорвала и сожгла все письма, которые тебе написала в течение этого года. Многое пускай остается неразделенным!.. Брат мой! твоя сестра желала бы отдать не только жизнь, но и дочь за то, чтоб знать, что ты ее еще не покинул на этом свете!» Письмо это догонит Жуковского уже на пути домой — где-то в Кенигсберге или Риге...

Батюшков... Маша... Свирепый порыв вьюги ударил навстречу. На равнине близ Дерпта, в вечернем мраке, бушевал снежный хаос. Вечером, в день своего рождения — 29 января — он сбросил промерзшую в дилижансе шубу в прихожей дома Мойеров. «Душа, *ты* можешь вообразить, каково было увидеть его и подать ему Катьку! Ах, я люблю его без памяти и в минуту свидания чувствовала всю силу любви этой святой», — писала 1 февраля 1822 года Маша Елагиной. Все те четыре дня, которые Жуковский пробыл в Дерпте, дом Мойеров был на-

полнен профессорами, студентами, музыкантами, художниками, чиновниками, желавшими выразить знаменитому поэту (теперь еще и близкому ко двору) дружбу, уважение, почтение... Но Маша была счастлива и одним *присутствием* любимого человека, была счастлива совершенно, без мысли о завтрашнем дне. 6 февраля он был уже в Петербурге. 8-го она писала ему: «Ангел мой Жуковский! вот ты уже и проехал! кончилось все счастие, которым сердце полтора года жило — теперь нечего ждать...»

В Петербурге Жуковский поселился вместе с Воейковыми в доме Меншикова напротив Аничкова дворца, вскоре к ним приехала Екатерина Афанасьевна, так как Саша начала хворать и была беременна. В столице новый удар ожидал Жуковского — он нашел Козлова *ослепшим.* Но тут же для него была и поддержка — он увидел, как сильна может быть душа среди несчастий. Саша, дружившая с Козловым, рассказала, как он, чувствуя, что зрение уходит, страдал и метался, — ездил по островам, по всему городу, как бы стремясь наглядеться на все в последний раз... И как все это время работал над посланием к нему, к Жуковскому. Жуковский почти не верил своим ушам, слушая декламацию Козлова, — его послание было *трагической поэмой,* полной силы и поэтических красот; это были великолепные, живые стихи, возвещающие рождение нового русского поэта (и в какую пору его судьбы!).

Опять ты здесь! опять судьбою
Дано мне вместе быть с тобою!
И взор хотя потухший мой
Уж взоров друга не встречает,
Но сердцу внятный голос твой
Глубоко в душу проникает...

...Ожила Саша. Вынужден был войти в берега Воейков. Он стал просить, чтоб Жуковский и Тургенев устроили его на освободившееся место директора Царскосельского лицея. Жуковский возражал, считая это место неподходящим для него. «Что я могу ожидать от глупца, — в раздражении писал Воейков в своем дневнике, — который живет в эфире, который погубил собственное счастье, исполняя волю Екатерины Афанасьевны, сошедшей с ума на слезах ложной чувствительности». Саша, тоже в дневнике, писала другое о Жуковском: «В самом деле он прав, говоря, что в жизни много прекрасного и без счастья, — и это немалое счастье к тому же».

Не прошло и десяти дней — письмо от Вяземского, опять с поучениями, спрашивает, почему он не перевел из Байрона «Лару» или «Гяура», вел ли путевые записки. «Соберись с силами и напиши мне, — взывает Вяземский, — что делать думаешь, как жить будешь. Сердись или нет, а я все одно тебе говорю: продолжать жить, как ты жил, *совестно* тебе... Подумай, что ты сделал для славы своей и отечества в течение этих пяти или шести лет?.. Скажи *по совести,* в состоянии ли ты заняться трудом важным посреди стихии, в коей трепещешься... Ты истощился на безделицы».

А журналы? В «Невском зрителе» Сомов, грозившийся *разобрать* «Отчет о луне», разобрал переведенную Жуковским из Гёте балладу «Рыбак», вволю понасмехался над туманно-романтическими выражениями вроде «душа полна прохладной тишиной», «родное дно», «кипучий жар», «знойная вышина».

В «Благонамеренном» В. Княжевич напечатал в декабре 1821 года «Разбор двух стихотворений, преложенных из Шиллера В. А. Жуковским и М. В. Милоновым». Жуковский уважал рано скончавшегося сатирика и элегика Милонова, который много обещал. Разбор Княжевича был более чем неуместен, и напрасно Измайлов, редактор журнала, поместил его в номере, посвященном *памяти* Милонова, словно корил за что-то *живого* поэта талантами *мертвого*... Оба они перевели «Идеалы» Шиллера. Княжевичу больше понравился перевод Милонова, а у Жуковского он нашел «неточности». «Жуковский, — пишет автор, — столь счастливый в подражаниях немецким поэтам и особливо Шиллеру, здесь должен уступить пальму Поэзии Милонову... Жуковский гонялся за красотами Шиллера... но где щеголяет искусство, там не увидишь и следов вдохновения». Жуковский посмеялся над «пальмой Поэзии», мысленно отдал ее Княжевичу и Сомову и снова закаялся читать журналы. На этот раз бес, то есть Воейков, попутал, подсунул со своим смешным, театральным злорадством...

На другой день Жуковский написал элегию «Море»:

Безмолвное море, лазурное море,
Стою очарован над бездной твоей.
Ты живо; ты дышишь; смятенной любовью,
Тревожною думой наполнено ты...

Это было стихотворение о любви Моря к Небу, о борьбе Моря за чистое Небо, о борьбе — страстно-тревожной — со всеми злыми стихиями.

В мае он сделал последние поправки к «Орлеанской деве» и прочел ее в кругу друзей. Карамзин так оценил пьесу: «Перевод очень хорош для чтения, но не знаю, как будут наши актеры играть ее». Жуковский рассчитывал на Семенову, великую трагическую актрису, которую учил декламации Гнедич. Однако театральная цензура проявила странную нерешительность — признав пьесу хорошей, нашла в ней *нечто* и передала на прочтение министру внутренних дел графу Виктору Кочубею. Он предложил сделать сокращения и поправки. Жуковский из Царского Села писал Гнедичу: «И Иоанна попала в узники, и к такому тюремщику, что уже не видать ей свободы!» (Гнедич в это время взял на себя издание «Шильонского узника» в переводе Жуковского.) «Об «Иоанне» нам думать нечего, — негодовал он в другом письме к Гнедичу. — Кочубей не хочет ее пропустить, запретил для театра! Хвала ему! Я и не подумал делать никаких сокращений, ибо на что они? Теперь «Иоанна» спасена от милых театральных треволнений: жаль только тех стихов, которые достались бы в уста *Екатерины»* (имелась в виду Семенова). Гнедич хлопотал об издании двух «узников» — «Шильонского узника» Жуковского и «Кавказского пленника» Пушкина. «А «Узника» кавказского я в глаза не видел, — пишет Жуковский Гнедичу. — Прошу тебя его мне поскорее доставить; продержу не более одного дня». И после прочтения: «Слог прелестный! Есть картины несравненные. Много локального. Есть длинное, однако не растянутое».

В апреле был одобрен цензурой «Шильонский узник». Вскоре он вышел; за ним появился «Кавказский пленник» Пушкина. Вяземский, которому был посвящен «Шильонский узник», писал в «Сыне Отечества»: «Неволя была, кажется, музою-вдохновительницею нашего времени. «Шильонский узник» и «Кавказский пленник», следуя один за другим, пением унылым, но вразумительным сердцу, прервали даже молчание, царствовавшее на Парнасе нашем».

Пушкин, получив от Гнедича экземпляры своей поэмы и «Шильонского узника», пишет ему из Кишинева: «Перевод Жуковского est un tour de force[1]. Злодей! *в бореньях с трудностью силач необычайный!* (это из послания Вяземского к Жуковскому. — *В. А.*). Должно быть Байроном, чтоб выразить с столь страшной исти-

[1] Преодоленная трудность *(франц.)*.

ной первые признаки сумасшествия, а Жуковским, чтоб это перевыразить». Далее Пушкин пишет, что слог Жуковского «возмужал», но «утратил первоначальную прелесть». Кажется, Пушкин не признал за Жуковским его оригинальности в переводе поэмы, так как тут же высказывает пожелание: «Дай бог, чтобы он начал *создавать»*.

А Жуковский — опять за переводы. В Павловске (он опять там в летние месяцы) у него лежит на столе «Энеида» Вергилия на латинском, в изящном, миниатюрном издании знаменитого типографа Дидо́, — Гнедич одолжил. «Учусь по-латински. Благослови, отче!» — пишет ему Жуковский. В другом письме: «Хочу познакомиться с латынью и на это употребить павловскую жизнь». В третьем: «Не заглянешь ли ко мне в Павловск? У меня есть про тебя несколько гекзаметров. Люди уверяют, что я перевожу «Энеиду», а я просто учусь по-латински и, чтобы затверживать слова, перевожу из «Энеиды» отрывки». Жуковский перевел великолепным гекзаметром эпиллий (завершенный эпизод) из поэмы и назвал его «Разрушение Трои».

«Учеба по-латински» вылилась в создание первого в России перевода «Энеиды» Вергилия гекзаметром (до сих пор «Энеида», так много повлиявшая на русскую поэму XVIII века, передавалась прозой или александрийским стихом). Гнедич, напряженно работавший в это время над гекзаметрической «Илиадой», вполне оценил перевод.

За этими занятиями (а он еще много рисовал и гравировал офортом) Жуковский как-то поуспокоился. Он почти ни о чем не думал, кроме будущих своих поэтических трудов. В июле он вместе с Воейковыми поселился на даче в Царском Селе, где у Саши родился — 16 июля — сын Андрей. Незадолго перед этим Маша с Мойером приехали из Дерпта в Муратово.

Вот что писала об этом Саша у себя в дневнике: «Моя сестра уехала в Муратово. Какой ужасный момент для нее очутиться одной там, где мы провели вместе наше детство!.. Там, где был Жуковский... Комнаты не изменились — все как было прежде, а она даже не может осмелиться предаться своим воспоминаниям!.. Бедное, ангельское создание — принужденное проводить жизнь, не смея даже предаться своим сожалениям!»

Маша приехала в Белёв на рассвете. В их бывшем доме жили Азбукины — там все спало. Маша вышла к Оке, на кручу, где стоял бывший дом Жуковского. К нему вплотную подступила буйная крапива. Было тихо, только

шумели под окнами ивы, которые она помогала некогда Жуковскому сажать... Она в слезах бросилась на траву...

«В этом доме, — писала она, — пережила я лучшие часы моей жизни; каждое утро было для меня наступлением блаженства, и каждый вечер был мне люб, потому что я засыпала в ожидании следующего утра».

В доме помещался земский суд. Кто-то выглянул из окна. Маша спустилась вниз, к реке. На другом берегу паслось стадо. «Солнце начинало всходить, и ветер приносил волны к ногам моим. Я молилась за Жуковского... О, скоро конец моей жизни!.. Я окончила мои счеты с судьбой, ничего не ожидаю более для себя». В церкви она упала без чувств. Очнулась в доме доктора...

Из Белёва через Болхов и Чернь Маша приехала в Муратово. Здесь ее ждала радость — письмо от Жуковского. «Ангел мой милый, старый мой Жуковский! — отвечала она. — Письмо твое так меня утешило, что мне бы хотелось на коленях благодарить тебя за него... Меня довезли сюда опасно больную... О, милый! Твое письмо возвратило мне все! и прошедшее, и потерянное в настоящем, и всю прелесть надежды... Восхождение солнца встретила я между садом и мельницей... Ты мне отдал все, мой ангел! Теперь нет для меня горя! *и в Муратове* я теперь счастлива!.. Твоя комната, с письмом твоим в руках, есть мой рай земной!.. Душенька, не рассердись за это письмо! крепилась, крепилась, да и прорвалась, как дурная плотина, вода и бушует, не остановишь! Из окна большой твоей горницы виден твой холм с своим тростником и твоя деревенька... Теперь все в этом кладбище ожило, все говорит: «Прошедшее — твое!..» В Муратове опять *все* — счастие... С каким наслаждением домолюсь тихомолком до тех пор, покуда из него *вынесут!..* Тебе, или, лучше сказать, *в тебя* я привыкла верить, с тех пор как знаю, что такое вера. Я знала, *что* я тебе была. Вообрази же, каково переносить твою видимую холодность».

Жуковский в это время старался получше устроить жизнь Саши. Благодаря его рекомендации Воейков стал издателем газеты «Русский инвалид», литературных прибавлений к ней и еще журнальчика «Новости литературы». Материал поставляли писатели, посещавшие салон Воейковых, ставший одним из самых заметных в Петербурге. Здесь как друзья и завсегдатаи — конечно, ради Светланы и Жуковского — бывали Карамзин, Гнедич, Крылов, Греч, Федор Глинка, братья Тургеневы, Козлов, Булгарин, Лев Пушкин (брат поэта), Плетнев. Все лю-

били Светлану — очаровательную, умную, образованную женщину с ангельски-чистой душой, с редкой красотой — синие глаза, черные брови, русые волосы.

В августе цензура запретила печатанье в «Русском инвалиде» баллады Жуковского «Замок Смальгольм». Вскоре министр духовных дел и народного просвещения А. Н. Голицын получил от него письмо, где говорилось: «Сия баллада давно известна... Она переведена стихами и прозою на многие языки... Никому не приходило на мысль почитать ее ненравственною... Ныне я узнаю с удивлением, что мой перевод, в коем соблюдена вся возможная верность, не может быть напечатан... С таким грозно-несправедливым приговором я не могу и не должен соглашаться... Покориться приговору цензуры значило бы признаться, что написанное мною (один ли это стих или целая поэма, все равно!) не согласно с постановлениями закона и что я не имею ясного понятия о том, что противно или непротивно нравственности, религии и благим намерениям правительства. Если бы не было защиты против подобных *странных* и непонятных обвинений цензуры, то благомыслящему писателю... надлежало бы отказаться от пера и решиться молчать: ибо в противном случае он не избежал бы незаслуженного оскорбления перед лицом своего отечества». Это беспримерное для того времени письмо. В связи с цензурными мытарствами «Орлеанской девы» и «Замка Смальгольм» Жуковский твердо потребовал от властей уважения к писателям, ограждения их от произвола цензуры.

Среди других дел Жуковский хлопочет об отпуске на волю семьи крепостных, которых некогда «по глупости» разрешил купить на свое имя книгопродавцу Попову, — теперь пришлось их у Попова выкупить. Вместе с тем оформил он отпускную своему слуге Максиму Акулову, которого оставил в Белёве. Этими делами занимается за него в Москве Елагина, которая с семьей поселилась в этом году здесь, сначала у Сухаревой башни, потом — уже в купленном доме — у Красных ворот.

Прошлое уходило бесповоротно, это знали все они — и Жуковский, и Елагина, и Маша. Знали они, что *утопия* — это только утопия. Они жили прошлым, и больше всех — Маша. Оно светило им, давало сил для жизни, не позволяло душе отчаиваться и терять веру в доброе.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

(1823—1826)

Однажды на балу подошел к Жуковскому Сперанский, изысканно-любезный, с видом великого человека, с холодной как лед улыбкой. Заговорил о поэзии. Спросил, не затевает ли Жуковский чего-нибудь оригинального, русской поэмы, например («Словно Вяземского наслушался», — подумал Жуковский с досадой). «Нет, — отвечал Жуковский. — Я «Энеиду» перевожу». Сперанский, описав эту встречу дочери, заметил: «Жуковский весь сжат в переводах и, кажется, дальше Делиля не пойдет; и то хорошо, конечно, но жаль, что не более...» Жуковский был рассеян и грустен. Он думал о Батюшкове, который, уже совсем больной, жил с осени прошлого года в Симферополе, — трижды покушался там на самоубийство. На письма друзей не отвечал. В Петербург ехать отказывался.

В конце февраля Саша решила ехать к сестре, чтобы находиться при ее родах. Жуковский взял неделю отпуска, и 25 февраля они прибыли в Дерпт. Прошла неделя, началась вторая. Отпуск его кончился, и 8 марта он решил возвращаться. «Было поздно, — рассказывал он Елагиной. — Долго ждал лошадей, всех клонил сон. Я сказал им, чтобы разошлись, что я засну сам. Маша пошла наверх с мужем. Сашу я проводил до ее дома... Возвратясь, проводил Машу до ее горницы; они взяли с меня слово разбудить их в минуту отъезда. И я заснул. Через полчаса все готово к отъезду. Встаю, подхожу к ее лестнице, думаю — идти ли, хотел даже не идти, но пошел. Она спала, но мой приход ее разбудил; хотела встать, но я ее удержал. Мы простились; она просила, чтоб я ее перекрестил, и спрятала лицо в подушку...» Жуковский спустился вниз, вышел из дома, влез в кибитку. Кони понеслись по петербургской дороге, мимо кладбища.

В этот приезд в Дерпт он познакомился со студентом Николаем Языковым, молодым стихотворцем, который был мучительно застенчив, но в стихах славил буйный

разгул, вино и любовь. Он уже был своим в семье Мойеров. Жуковский подолгу беседовал с ним. Эти беседы отозвались в письме Языкова к брату: «Я очень хорошо познакомился с Жуковским... Он меня принял с отверстыми объятиями, полюбил как родного... Он мне советует, даже требует, чтобы я учился по-гречески, говорит, что он сам теперь раскаивается, что не выучился, когда мог... Жуковский очень прост в обхождении, в разговоре, в одежде, так что, кланяясь с ним, говоря с ним, смотря на него, никак не можно предположить то, что мы читаем в его произведениях. Заметь: он советовал мне... не верить похвалам, доколе мое образование не докажет мне, что они справедливы... Жуковский советовал мне никогда не описывать того, чего не чувствую или не чувствовал: он почитает это главным недостатком новейших наших поэтов». Воейкова осталась в Дерпте. Языков будет часто ее навещать — с первой же встречи ее облик ошеломил, покорил его...

Саша столько же ехала к сестре, сколько и бежала от Александра Тургенева, совершенно потерявшего голову, когда она перестала принимать его. Она со стыдом вспоминала сцену, которую он устроил ей у Карамзиных. Он со слезами на глазах упрекал ее в холодности, даже в предательстве... Ей было жаль его. Она почти любила его, но эта выходка при людях вдруг ее охладила... Тургенев не мог примириться с назревшим так быстро разрывом. И Жуковский, старый друг Жуковский, повторял ему одно и то же — чтоб он нашел в себе силы подавить эту страсть (тогда возможна будет *дружба*). Вернувшись из Дерпта, Жуковский получил от Тургенева письмо, в котором тот упрекал его в «преступлении против совести, любви и дружбы», так как способствовал разрушению *счастья Светланы* (счастья с ним, с Тургеневым). «Проси у нее прощения; я знаю, что она, при всей ангельской доброте своей, не всегда прощать умеет... Для приличия будем по-прежнему встречаться при других и у тебя. Там, где содействие наше нужно будет для других — мы не переменимся. Прости навеки».

Двух дней не прошло — вдруг известие о смерти Маши. «Я опять на той же дороге, по которой мы вместе с Сашей ехали на свидание радостное... Ее могила — наш алтарь веры, недалеко от дороги, и ее первую посетил я, — рассказывает Жуковский Елагиной. — Покой божественный, но непостижимый и повергающий в отчаяние. Ничто не изменяется при моем приближении: вот

встреча Маши! Но право, в небе, которое было ясно, было что-то живое. Я смотрел на небо другими глазами; это было милое, утешительное, Машино небо». Вместе с ней был похоронен младенец, мальчик, родившийся мертвым. Потом Жуковский слушал рассказы о том, как она умирала («Боже мой! А меня не было!»). «Теперь мы плачем все вместе, — пишет Жуковский. — Это не утешает, это ничего не изменит. Хотелось бы найти какой-нибудь исход, мысленно даже пытаешься найти его, но снова сознаешь, что это бесполезно, что все кончено, и снова льются слезы».

Весь Дерпт пришел проводить ее — молодые и старые; пришли и студенты толпой, с цветами... Три дня Мойер, Саша, Жуковский сажали молодые деревца возле могилы. «Первый весенний вечер нынешнего года, прекрасный, тихий, провел я на ее гробе, — писал Жуковский. — Солнце светило на него так спокойно. В поле играл рог. Была тишина удивительная... *Поэзия жизни* была она. Но после письма ее чувствую, что она же будет *снова* поэзиею жизни».

У Маши были предчувствия. И она написала Жуковскому письмо, которое он и прочитал на ее могиле. «Друг мой! — читал он. — Это письмо получишь ты тогда, когда меня *подле вас* не будет, но когда я еще ближе буду к вам душою. Тебе обязана я самым живейшим счастием, которое только ощущала!.. Жизнь моя была насчастливейшая... И все, что ни было хорошего, — все было твоя работа... Сколько вещей должна я была обожать только *внутри сердца*, — знай, что я все чувствовала и все ценила. Теперь — прощай!»

Жуковский смотрел на плывущие облака. Глубокой печалью наливалась его душа. Не будет ему в мире роднее места, чем эта могила. Наступил вечер. Хотелось идти куда глаза глядят. Уйти от всех... Глядя на звезды, проговорил:

Ты удалилась,
Как тихий ангел;
Твоя могила,
Как рай, спокойна!
Там все земные
Воспоминанья,
Там все святые
О небе мысли...

Пошел назад. Остановился, вздохнул:

Звезды небес,
Тихая ночь!..

Ночью долго сидел в кресле, прислушивался. Несколько раз явственно слышал легкие шаги наверху... Нет, нельзя было без стихов! Сердце могло разорваться. И *так* сказалось — Маше, ночи; к Маше в образе Ночи или Смерти:

Сойди, о небесная, к нам
С волшебным твоим покрывалом,
С целебным забвенья фиалом.
Дай мира усталым сердцам...

В Дерпте прожил он до конца апреля... Оставив Светлану в Дерпте с Екатериной Афанасьевной, Жуковский приехал в Петербург. В Петербурге носились тревожные слухи о Батюшкове — пытался перерезать себе горло, застрелиться, перестал есть, сжег целый сундук любимых своих книг на французском и итальянском языках, подозревает *всех* в кознях против себя. Кавелин в письме к Жуковскому передавал слова Батюшкова: «Я перенес то, что не многие перенесть могут; меня захаркали, заплевали; я весь разбит; я был в сильной горячке, был почти полоумный, из меня делали сумасшедшего».

Доктор Мюльгаузен, навещавший Батюшкова в симферопольской гостинице, уговаривал его ехать в Петербург. Он долго отказывался. Наконец, чуть не силой, больной поэт был усажен в экипаж и отправлен в столицу в сопровождении врача Ланга. 5 мая он был уже в доме Муравьевой.

Когда у Муравьевых появился Жуковский, Батюшков обрадовался ему до слез. Он стал говорить, что скоро умрет, и просил Жуковского пристроить куда-нибудь его младшего брата, а также издать посмертно его сочинения. Все заметили, что с одним только Жуковским Батюшков совершенно открыт и без всякой болезненной неприязни.

Летом Муравьевы переехали на дачу на острова — Батюшков не захотел жить с ними. Ему наняли неподалеку, на берегу Карповки, часть дома. У него был там садик. Хандра его усилилась настолько, что он не желал уже видеть никого, — ни Муравьевой, ни сына ее Никиты, ни даже родной сестры своей Александры Николаевны.

Жуковский был единственным человеком, который своим присутствием действовал на больного умиротворяюще. Батюшков плакал, жаловался, злобный блеск исчезал из его глаз. Он рисовал, занимался лепкой. Любил чертить надписи на стенах.

Летом 1823 года Жуковский жил в Павловске. В июне

или июле он ездил навестить Светлану, которая с Екатериной Афанасьевной и Катей, дочерью Маши, отдыхала возле Дерпта в имении Ка́мби. Здесь навещал ее Языков, — он считал ее своей музой-вдохновительницей и заполнял ее альбомы стихотворными посвящениями ей.

Осенью, в Гатчине, настиг Жуковского привет с родины, от которой он в последнее время отошел, — письмо Елагиной. «Не может быть, чтобы сердце мое понапрасну было так сильно, так беспрестанно вами занято, — писала она. — Если я вам теперь не совсем нужна, то вы мне необходимы». Он сообщил ей, что у него теперь вторая ученица — невеста великого князя Михаила Павловича, тоже немка. «Надобно было множество, множество для нее приготовить, — рассказывает он. — Это моя главная слабость — закопавшись в одно, я все другое, самое милое, самое святое, откладываю... И жизнь моя проходит в скучных неволях». Смерть Маши потрясла Елагину. «Страдание — так, но жить не для счастия — в этом великое, божественное утешение, — пишет ей Жуковский. — Жизнь для души — не тот достиг до ее цели, кто много имел в ней, но тот, кто много страдал и был достоин своего страдания... Ради этого страдания, возвышающего душу, *не предавайтесь унынию, уважайте жизнь,* единственный источник того добра, которым вы так богаты. Маша для нас существует. Прошедшее не умирает».

Как не хватает многим понимания смысла страданий... И так уж выходило, что все страдающее тянулось к нему. Отчаянное письмо прислал Жуковскому Кюхельбекер, с которым еще в 1817 году познакомил его Гнедич («Ребенком я изучал его стихотворения: они согревали мое сердце, питали воображение... И он полюбил меня, он удостоил меня своей дружбы», — вспоминал о Жуковском Кюхельбекер). Жизненные трудности привели его к мысли о самоубийстве. Всякий отчаявшийся, уставший в бедствиях человек мог бы с огромной пользой для себя прочитать то, что писал Кюхельбекеру Жуковский: «Те мысли, которыми вы наполнены, весьма свойственны человеку с чувством и воображением; но вы любите питать их — я этого не оправдываю! Такого рода расположение недостойно человека. По какому праву браните вы жизнь и почитаете себе позволенным с нею расстаться!.. Составьте себе характер, составьте себе твердые правила, понятия ясные; если вы несчастны, боритесь твердо с несчастьем, не падайте — вот в чем достоинство человека!..

Как ваш духовный отец, требую, чтоб вы покаялись и перестали находить высокое в унизительном. Вы созданы быть *добрым*, следовательно, должны любить и *уважать жизнь*, как бы она в иные минуты ни терзала... Вы богаты прекрасным дарованием, имеете прекрасное сердце. Это — материалы если не для счастия, то для хорошей жизни». Кюхельбекер знал, что эта философия мужества в страданиях и уважения к жизни дорого далась Жуковскому. Поэтому он Жуковскому и поверил. В 1823 году, закончив поэму «Кассандра», изумительную по красоте стиха, Кюхельбекер предпослал ей стихотворное посвящение своему духовному отцу.

К концу этого года все хуже становилось Батюшкову. Друзей у него было много, но ни у кого не хватало терпения выносить его болезненные причуды. Ни у кого, кроме Жуковского. «Я у Батюшкова бываю часто, — сообщает он Вяземскому, — и я один, других никого не видать. Со мною он очень нежен. Когда у него бываю, то всегда остаюсь обедать и сижу до 7-ми, 8-ми часов вечера; не выпускает; вообще говорит порядочно. Но никак не хочет лечиться. Думаем о том, как бы перевезти его в Зонненштейн... Лечение необходимо, и нет никакого способа приступить к нему дома: нужно употребить силу и иметь все под рукой... Я писал в Берлин и получил уже ответ: Зонненштейн — лучшее место в Европе». Жуковский взял на себя устройство этого дела. Он понимал, что никто не сможет отвезти Батюшкова, кроме него.

В декабре 1823 года Жуковский получил письмо от Баратынского (Жуковский сам предложил ему написать такое письмо), который с 1818 года служил солдатом, последнее время — в Финляндии. Он излагал историю своего проступка во время учения в Пажеском корпусе. Он добивался производства в офицерский чин, чтобы выйти в отставку и свободно заниматься литературой. Жуковский высоко ценил его поэтический талант.

Искренне и горячо написанное письмо Баратынского Жуковский, нарушая этикет, решил через министра народного просвещения Александра Николаевича Голицына довести до сведения Александра I, от которого зависела участь опального поэта. Он повел дело с такой решительностью и так умно, что вскоре добился полного успеха. «Препровождаю письмо его в оригинале к вашему сиятельству, — писал Жуковский. — Не оправдываю свободного своего поступка: он есть не иное что, как выражение доверенности моей к вашему сердцу... Я знаю его

(Баратынского. — *В. А.*) лично и свидетельствуюсь всеми, которые его вместе со мною знают, что имеет полное право на уважение как по своему благородству, так и по скромному поведению... Он — поэт! и его талант не есть одно богатство беспокойного воображения, но вместе и чистый огонь души благородной: прекрасными, гармоническими стихами выражает он чувства прекрасные».

Когда великая княгиня Александра Федоровна, ученица Жуковского (их уроки еще продолжались, но они давно уже превратились в литературные чтения на русском языке), пожелала ознакомиться с русской литературой самого последнего времени, он составил записку, в которой явственно проступает второй план, — Жуковский настойчиво обращает внимание великой княгини на тех литераторов, которые *сегодня* требуют поддержки: это Пушкин, Баратынский, Козлов. Ссыльного Пушкина, чуть ли не личного врага самого царя, Жуковский смело и спокойно называет «прекрасной надеждой России» и говорит, что он уже стоит «наряду с лучшими русскими поэтами» и «начинает чувствовать свое достоинство и выбирает путь верный». Жуковский пытается влиять на мнение двора о Пушкине и готовит почву для возвращения его в Петербург.

Вот что говорится в записке о Баратынском: «Жертва ребяческого проступка, имеет дарование прекрасное; оно раскрылось в несчастьи, но несчастье может и угасить его; если судьба бедного поэта не изменится, то он сам никогда не сделается тем, для чего создан природой». Эти слова — явное прибавление к тому письму, которое послано было Жуковским через Голицына императору.

В делах помощи Жуковский не боялся быть назойливым. Уже не раз ему удавалось добиться от двора хотя и небольшой, но необходимой материальной помощи для Козлова, у которого продолжал постоянно бывать (он ввел в его дом весь круг петербургских поэтов — Гнедича, Дельвига, Рылеева, Кюхельбекера, Лобанова, Крылова и других, а также Баратынского, приезжавшего из Финляндии). «Поэтическое дарование слепца Козлова, — писал он, — можно назвать спасительным откровением, посетившим его в то время, когда все в жизни исчезло: Козлов до болезни своей жил в свете и был увлекаем рассеянностью. Лишенный обеих ног, он начал учить по-английски и в несколько месяцев мог уже понимать Байрона и Шекспира. Потеряв зрение, он сделался поэтом.

Можно сказать, что для него открылся внутренний богатый мир в то время, когда исчез внешний. Ему теперь более сорока лет; можно сказать, судя по тому, как он понимает поэтов, что он сам был бы великим поэтом, когда бы сумел угадать талант, в нем таившийся до несчастья и слишком поздно пробужденный *страданием*. Теперешняя жизнь его удивительный феномен... вечного рода бедствия окружают его. Он часто лишен куска хлеба, обременен долгами, маленькое имение не приносит ему никакого дохода и при этом надобно заботиться о воспитании детей. Посреди этого хаоса горестей душа его не упадает, поэзия спасает его от отчаяния, она оживляет для него настоящее... Он теперь переводит и весьма удачно Байронову поэму «Абидосская невеста», которая, вероятно, будет кончена к концу года. Эту поэму с некоторыми мелкими стихотворениями хочет он выдать по подписке». В этом же обзоре Жуковский вскользь упомянул Дельвига и Рылеева («достойны замечания»), а также Языкова («молодой студент Дерптского университета имеет слог поэтический; он еще не написал ничего важного, но во всем, что написал, видно дарование истинное, настоящее»). «Я назвал одних только новых поэтов, считая ненужным упоминать о тех, кои должны уже быть известны вашему императорскому высочеству», — закончил Жуковский свой обзор, подразумевая под известными — Вяземского, Крылова, Батюшкова, Гнедича. Таким образом, Жуковский поддерживал самые молодые силы русской поэзии.

К началу марта вышло третье издание сочинений Жуковского — в трех томах. Хлопотами по изданию занимался П. А. Плетнев, молодой поэт, друг Дельвига, искавший связей с кругом Карамзина и Жуковского, так как считал себя их учеником (в 1824 году он обратился к Жуковскому со стихотворным посланием: «Внушитель помыслов прекрасных и высоких...»). «Скоро пришлю вам новое, полное издание моих стихов, — сообщает Жуковский Анне Петровне Зонтаг в Одессу. — Ищите для них покупщиков: издание напечатано на мой счет и прекрасное».

В новом издании, в конце первого тома, поместил Жуковский набранное курсивом новое стихотворение, которое — как бы заклинание, обращенное к «Гению чистой красоты», к Музе своей, к Вдохновению, — страстная просьба о возврате как бы угасшего на время поэтического дара:

Я Музу юную, бывало,
Встречал в подлунной стороне,
И Вдохновение летало
С небес, незваное, ко мне;
На все земное наводило
Животворящий луч оно —
И для меня в то время было
Жизнь и Поэзия одно...

В апреле 1824 года Жуковский набрасывал планы стихотворной трагедии из времен царствования Бориса Годунова. Главный герой — «Сын Иоанна, никому, ни себе самому не известный, воспитан в ссылке». Он приезжает в Москву и появляется при дворе Бориса, становится его приближенным, влюбляется в его дочь. Невольно становится он убийцей царевича Димитрия и вынужден бежать на Белое море, где живет у отшельника, потом становится разбойником, странствует под видом прокаженного и после битвы с поляками под Москвой возвращается, делается воином, погибает в одном из сражений с войсками Отрепьева. Было сделано несколько смутных планов, набросаны проекты сцен, монологов, черты характеров.

По каким-то причинам работа остановилась. Может быть, одной из этих причин была поездка в Дерпт: 6 мая он повез Батюшкова. Батюшков просился в монахи — от имени Александра I ему было отвечено, что прежде пострижения он должен ехать лечиться в Дерпт, а может, и далее. Ехать он согласился только с Жуковским (даже сестра Батюшкова, сопровождавшая его, ехала отдельно). В Дерпте больной поэт сбежал от Жуковского. «Он ушел, — писал об этом Тургенев Вяземскому, — и всю ночь его найти не могли; наконец, поутру, на другой день, проезжий сказал... что видел верст за 12 от Дерпта человека, спящего на дороге. По описанию это был Батюшков». Жуковский поехал туда и нашел Батюшкова еще спящим. Разбудил, едва смог уговорить его сесть в экипаж... Батюшков надулся, замкнулся и всю дорогу молчал.

Жуковский не нашел в Дерпте подходящего для Батюшкова места и отправил его в Саксонию, в местечко Зонненштейн, где была отличная лечебница. Жуковский не показывал и виду, но был совершенно измучен. И вот все кончилось. «В ту минуту, когда он отправился в один конец, — пишет Жуковский Елагиной, — а я в другой, то есть назад в Петербург, я остановился на могиле Маши: чувство, с каким я взглянул на ее тихий, цветущий

гроб, точно было утешительным, усмиряющим чувством. Над ее могилой небесная тишина!.. Все, что мы посадили, — цветы и деревья, принялось, свежо, цветет и благоухает». Жуковский зарисовал могилу, потом сделал с этого рисунка гравюру на меди, разослал родным. Рисунок оправил в рамку и повесил у себя над письменным столом рядом с портретом Маши, рисованным им же...

Жуковский возвратился в Петербург 28 мая и сразу же был оповещен Козловым или Тургеневым о смерти Байрона, последовавшей в середине апреля в греческом городе Миссолунги. Тургенев, Вяземский, Гнедич, Козлов, Кюхельбекер, Рылеев — все, все русские поэты, и не только поэты, были потрясены. Слава Байрона как величайшего поэта современности, как великого человека, способного на поражающие воображение подвиги, была в самом разгаре. И какая смерть — в стране, борющейся за свою независимость... Вяземский писал Тургеневу: «Он предчувствовал, что прах его примет земля, возрождающаяся к свободе... Завидую певцам, которые достойно воспоют его кончину. Вот случай Жуковскому! Если он им не воспользуется, то дело кончено: знать пламенник его погас». И чуть позже: «Неужели Жуковский не воспоет Байрона? Какого же еще ждать ему вдохновения? Эта смерть, как солнце должна ударить в гений его окаменевший и пробудить в нем спящие звуки! Или дело конченое? Пусть же он просится в камер-юнкеры или в вице-губернаторы».

Потом появились стихи на смерть Байрона — Козлова, Рылеева, Веневитинова, Кюхельбекера, Пушкина, самого Вяземского и еще множества стихотворцев, — образовался целый стихотворный реквием. Русская поэзия прощалась со светилом, столь ярко блеснувшим ей. Жуковский промолчал, но ни в камер-юнкеры, ни в вице-губернаторы не пошел. Не принял он участия и в ожесточенной полемике, открытой Вяземским в предисловии к изданному им «Бахчисарайскому фонтану» Пушкина. Архаисты и те, кто считал себя романтиками, в споре пытались выяснить, есть ли *романтизм,* и что он такое, и действительно ли он — передовое направление в литературе. Говорили о французском, английском и немецком романтизме, о том, что признак романтизма — современность, народность и религиозность. Вслед за мадам де Сталь называли романтиками Тассо, Камоэнса, Шекспира, Мильтона, Бюргера и Гёте. Вслед за Берше говорили.

что в *наше время* непременно стали бы романтиками Гомер, Пиндар, Софокл и Еврипид, потому что они «воспевали не египетские и халдейские деяния, а свои, греческие». Вяземский в предисловии к поэме Пушкина: «Нет сомнения, что Гомер, Гораций, Эсхил имеют гораздо более сродства и соотношений с главами романтической школы, чем с своими холодными, рабскими последователями, кои силятся быть греками и римлянами задним числом».

Все эти страсти и споры показались ему ребячеством — поэзия всех времен и народов оказывалась в этих спорах перемешанной и искромсанной, каждое явление оценивалось с разных позиций, противники присваивали себе чужое оружие и выворачивали наизнанку чужие идеи. Забывалось главное: душа поэта есть тот центр, к которому притягивается все ей близкое — из природы, из истории, из всемирной литературы. Споры ничего не проясняли. Это чувствовали все — и самый яростный полемист Вяземский, и молодой Пушкин, и Рылеев, выступивший позже со статьей о единстве литературного процесса.

Никак не могла задеть Жуковского и статья Кюхельбекера, направленная против романтиков (напечатанная в «Мнемозине» № 2 за 1824 г.) — все ее стрелы, минуя Жуковского, поражали только его многочисленных эпигонов. Зато порадовало его в «Мнемозине» стихотворение Пушкина. «Обнимаю тебя за твоего «Демона», — писал он ему в Одессу. — ...Ты создан попасть в боги — вперед. Крылья у души есть! Вышины она не побоится, там настоящий ее элемент! дай свободу этим крыльям, и небо твое. Вот моя вера. Когда подумаю, какое можешь состряпать для себя будущее, то сердце разогреется надеждою за тебя».

Жуковский не пишет стихов. В сентябре 1824 года он так объясняет Вяземскому причины этого: «Моя беда та, что я не могу никак заниматься вдруг двумя предметами». Дело в том, что с июля Жуковский был назначен наставником (но *не воспитателем,* которым был полковник Мёрдер) великого князя Александра Николаевича, которому пошел седьмой год. «Жуковский, я думаю, погиб невозвратно для поэзии, — пишет Дельвиг Пушкину. — Он учит великого князя Александра Николаевича русской грамоте и, не шутя говорю, все время посвящает на сочинение азбуки. Для каждой буквы рисует фигурку, а для складов картинки. Как обвинять его! Он

исполнен великой идеи: образовать, может быть, царя. Польза и слава народа русского утешает несказанно сердце его». Дельвиг был прав, говоря о «великой идее», — она была. Но было и другое, личное: «Я еще слишком не уверен в своей способности исполнять как должно свою обязанность. Знаю только, что *детский мир — мой мир,* и что в этом мире можно действовать с наслаждением, и что в нем можно найти *полное счастие».*

«Жуковский сделался великим педагогом, — писал Тургенев Вяземскому. — Сколько прочел детских и учебных книг! Сколько написал планов и сам обдумал некоторые. Выучился географии, истории и даже арифметике. Шутки в сторону: он вложил свою душу даже в грамматику и свое небо перенес в систему мира, которую объясняет своему малютке. Он сделал из себя какого-то детского Аристотеля».

Несмотря на свою занятость, не забывал Жуковский друзей. Он готовился к своим урокам на даче Тургенева и несколько раз советовал ему писать мемуары — о пансионе, о брате Андрее и их молодом кружке, о временах карамзинского «Вестника Европы», о Геттингене... Осенью получил письмо от Козлова: «Милый друг Жуковский, мой «Чернец» кончен. Его переписывают и тотчас пришлю к тебе. Я всю ночь 27 сентября не спал, и, его оканчивая совсем, понял еще лучше, зачем лорд Бейрон, распростясь с Чайльд-Гарольдом, опять зовет его вместе посмотреть на море. Дай Бог, чтоб он тебе понравился».

Жуковский был свидетелем того, как упорно трудился Козлов над своей поэмой, — это была поэма оригинальная, русская, — напоминающая Байронова «Гяура», но лишь вторую его часть. Получилась вещь, которую можно было поставить рядом с «Кавказским пленником» Пушкина, а в чем-то и выше, — в «Чернеце» есть глубокий психологизм. От души поздравив Козлова, Жуковский принял на себя хлопоты по изданию поэмы и решил прибавить к ней тоже своего рода поэму — блестящее послание поэта-слепца к нему, к Жуковскому... Письмо Козлова кончалось просьбой: «Если ты можешь мне послать 50 руб., я был бы много обязан...»

В начале ноября — вдруг вопль о *спасении* из Михайловского от Пушкина. Дело в том, что отцу Пушкина было предложено распечатывать письма сына («быть моим шпионом», — пишет Пушкин). Последовало объясне-

ние сына с отцом. «Отец мой, — пишет Пушкин, — воспользуясь отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет, что я *его бил, хотел бить, замахнулся, мог прибить*... Но чего же он хочет для меня с уголовным своим обвинением? рудников сибирских и лишения чести? *спаси* меня хоть крепостию, хоть Соловецким монастырем... *спаси* меня».

Чуть ли не на другой день Пушкин просит брата Льва: «Скажи от меня Жуковскому, чтоб он помолчал о происшествиях ему известных. Я решительно не хочу выносить сору из Михайловской избы». «Милый друг, — отвечал Жуковский, — твое письмо привело бы в великое меня замешательство, если б твой брат не приехал с ним вместе в Петербург и не прибавил к нему своих словесных объяснений. Получив его, я точно не знал, на что решиться... Желая тебе сделать пользу, я только бы тебе, вероятно, повредил, то есть обратил бы внимание на то, что лучше оставить в неизвестности... На письмо твое, в котором описываешь то, что случилось между тобою и отцом, не хочу отвечать, ибо не знаю, кого из вас обвинить и кого оправдывать. И твое письмо и рассказы Льва уверяют меня, что ты столько же неправ, сколько и отец твой». И далее Жуковский, оставив это дело, решившееся внутри семьи, пишет о Пушкине-поэте: «Ты более нежели кто-нибудь можешь и обязан иметь нравственное достоинство. Ты рожден быть великим поэтом; будь же этого достоин. В этой фразе вся твоя мораль, все твое возможное счастие и все вознаграждения. Обстоятельства жизни, счастливые или несчастливые, шелуха. Ты скажешь, что я проповедую с спокойного берега утопающему. Нет! Я стою на пустом берегу, вижу в волнах силача и знаю, что он не утонет, если употребит свою силу, и только показываю ему лучший берег, к которому он непременно доплывет, если захочет сам. Плыви, силач. А я обнимаю тебя... Читал «Онегина» и «Разговор», служащий ему предисловием: несравненно! По данному мне полномочию предлагаю тебе *первое* место на русском Парнасе. И какое место, если с *высокостию гения* соединить и *высокость* цели! Милый брат по Аполлону! это тебе возможно! А с этим будешь недоступен и для всего, что будет шуметь вокруг тебя в жизни». — «Мне жаль, милый, почтенный друг, что наделал эту всю тревогу, — отвечал в заключение, уже 29 ноября, Пушкин, — но что мне было делать? я сослан за строчку глупого письма, что было бы, если правитель-

ство узнало бы обвинение отца? это пахнет палачом и каторгою. Отец говорил после: *экой дурак, в чем оправдывается! да он бы еще осмелился меня бить! да я бы связать его велел!* — зачем же обвинять было сына в злодействе несбыточном? *да как он осмелился, говоря с отцом, непристойно размахивать руками?* Это дело десятое. *Да он убил отца словами!* — каламбур и только. Воля твоя, тут и поэзия не поможет» (в черновике было еще: «Стыжусь, что доселе живу, не имея духа исполнить пророческую весть, что разнеслась недавно обо мне, и еще не застрелился», — пылкий и трагический черновик Пушкин превратил в спокойно-ироническое письмо). Жуковский понимал, что Пушкину нелегко в деревне. Именно Пушкину, с его живым характером. Но недаром он так настойчиво писал ему о его великом поэтическом даре. И в самом деле: ссылка ссылкой, но Пушкин стал *писать* в Михайловском... В этом смысле *деревня* стала ему другом. И конечно, он не совсем разделял ярость Вяземского по поводу ссылки Пушкина в Михайловское. «Как можно такими крутыми мерами поддразнивать и вызывать отчаяние человека!.. Или не убийство — заточить пылкого, кипучего юношу в деревне русской?.. Неужели в столицах нет людей более виновных Пушкина? Сколько вижу из них, обрызганных грязью и кровью!.. Страшусь за Пушкина! В его лета, с его душою, которая также «кипучая бездна огня» (прекрасное выражение Козлова о Байроне); нельзя надеяться, чтобы одно занятие, одна деятельность мыслей удовольствовали бы его». В том, что здесь — и вполне справедливо — пишет Вяземский, все-таки нет мысли о *великом поэте,* и нет веры в то, что Пушкин может найти полное удовлетворение в уединенной работе («занятии», «деятельности мыслей»). Жуковский чувствовал Пушкина лучше, может быть, лучше, чем Пушкин сам себя...

В ноябре на Петербург обрушилось страшное бедствие — в считанные часы величественный и спокойный город превратился в юдоль скорби и стона. Гонимая противным ветром невская вода хлынула в улицы, затопила подвалы, нижние этажи, подняла и унесла все, что могла, и все, что могла, разрушила. Огромные барки были пригнаны бурей в город и застряли на мостовых. Дрова, мебель, даже гробы с кладбища, снесенные крыши, бревна — все плыло по улицам и билось в стены домов. Бедствие усугублял пронзительный холод. В Петербурге погибли тысячи людей. Когда вода, наконец, схлыну-

ла, открылась еще более жуткая картина: хаос предметов, трупы людей, мертвые лошади, коровы... Отсырели или вовсе разрушились — особенно в Галерной и на островах — дома, размокли печи. Продолжал дуть ледяной ветер, наступала зима. Были приложены огромные, титанические усилия, чтобы хотя отчасти восстановить прежний порядок жизни. Через месяц уже почти не было видно следов наводнения.

Продолжаются литературные вечера у Воейковых. Гнедич читал там отрывки из «Илиады». Лев Пушкин новую поэму брата — «Цыганы». Козлов — «Чернеца», который уже печатался. «Чернец» захватил всех — им восторгались Вяземский, Пушкин, Баратынский, Зинаида Волконская, Крылов, Уваров, Алексей Перовский. «Мой дорогой, твой «Чернец» совершенство от начала до конца. Кое-что надо поправить, что мы сделаем вместе», — писал в январе 1825 года Козлову Жуковский. «Чернец» вышел в этом году двумя изданиями. А в конце февраля Светлана уехала в Дерпт — литературные собрания перенеслись к Козлову.

Издатели «Полярной Звезды» Бестужев и Рылеев переписывались с Пушкиным. Бестужев, критикуя статью-обзор Плетнева, помещенную в «Северных цветах» Дельвига, отрицательно отозвался о творчестве Жуковского. «Не со всем соглашаюсь с строгим приговором о Жуковском, — отвечал Пушкин. — Зачем кусать нам груди кормилицы нашей? потому что зубки прорезались? Что ни говори, Жуковский имел решительное влияние на дух нашей словесности; к тому же переводный слог его останется всегда образцовым». Пушкин защищает Жуковского, но как? *«Не со всем* соглашаюсь... *Что ни говори... Переводный* слог его...» Эта защита очень неполная. Вместе с Бестужевым Пушкин словно готов видеть в Жуковском хотя и образцового, но — *переводчика.* В мае он писал Вяземскому о Жуковском и более определенно: «Он как Фосс — гений перевода».

Между тем Жуковский прознал, что Пушкин болен — «аневризмом» в ноге — и скрывает это. Страшное беспокойство охватило его. «Правда ли, что у тебя в ноге есть что-то похожее на аневризм, — пишет он в Михайловское, — и что ты уже около десяти лет угощаешь у себя этого постояльца, не говоря никому ни слова... Теперь это уже не тайна, и ты должен позволить друзьям твоим вступиться в домашние дела твоего здоровья. Глупо и низко *не уважать жизнь!..* Сюда пере-

тащить тебя теперь невозможно. Но можно, надеюсь, сделать, чтобы ты переехал на житье и лечение в Ригу. Согласись, милый друг, обратить на здоровье свое то внимание, которого требуют от тебя твои друзья и твоя будущая прекрасная слава, которую ты *должен, должен, должен* взять (теперешняя никуда не годится — не годится не потому единственно, что другие признают ее такою, нет, более потому, что она не согласна с твоим достоинством); ты должен быть поэтом России, должен заслужить благодарность — теперь ты получил только первенство по таланту: присоедини к нему и то, что лучше еще таланта, — достоинство! Боже мой, как бы я желал пожить вместе с тобою, чтобы сказать искренно, что о тебе думаю и чего от тебя требую. Я на это имею более многих права, и мне ты должен верить. Дорога, которая перед тобою открыта, ведет прямо к великому; ты богат силами, знаешь свои силы, и все еще будущее твое. Неужели из этого будут одни жалкие развалины?.. Я ничего не знаю совершеннее по слогу твоих «Цыган»! Но, милый друг, какая цель! Скажи, чего ты хочешь от своего гения? Какую память хочешь оставить о себе отечеству, которому так нужно высокое... Как жаль, что мы розно!» Много выпало Жуковскому хлопот с этим мнимым «аневризмом» Пушкина, который на самом деле строил планы бегства за границу через Дерпт или Ригу. Но ему было отказано в выезде для лечения в эти города. Император назначил местом его лечения Псков. Жуковский до самой осени уговаривал Пушкина ехать во Псков, обещая прислать туда замечательного хирурга, своего друга Мойера. Соответственно был подготовлен и Мойер... «Дело не к спеху, — отвечал Пушкин... — Если бы царь меня до излечения отпустил за границу...» Письмо Жуковского (первое об аневризме) было написано в волнении, в спешке и, очевидно, неразборчиво. В мае Пушкин пишет брату: «Письмо Жуковского наконец я разобрал. Что за прелесть чертовская его небесная душа! Он святой, хотя родился романтиком, а не греком, и человеком, да каким еще!»

Лето Жуковского прошло в педагогических трудах — в Павловске и Царском Селе. Осенью он опять поселился в Аничковом дворце. 27 ноября 1825 года Жуковский присутствовал в церкви Зимнего дворца, когда там объявлена была весть о неожиданной кончине в Таганроге Александра I.

И вот настало 14 декабря. «Какой день был для нас

14-го числа! — писал Жуковский 16 декабря Тургеневу. — В этот день все было на краю погибели... В 10 часов утра я приехал во дворец. Видел новую императрицу и императора. Присягнул в дворцовой церкви... Булгаков сказывает мне о том, что он сам видел: толпа солдат на Исаакиевской площади, и все кричат: *ура, Константин!* — и около них бездна народа. Они прислонились спиною к Сенату, выстроились, зарядили ружья и решительно отреклись от присяги Николаю. В их толпе офицеры в разных мундирах и множество людей вооруженных во фраках... Вообрази беспокойство! Быть во дворце и не иметь возможности выйти — я был в мундире и в башмаках — и ждать развязки! Тут начали приходить со всех сторон разные слухи. «Часть Московского полка взбунтовалась в казармах; они отняли знамя; Фридрихс, начальник полка, ранен, Фридрихс убит... Шеншин тяжко ранен... Милорадович убит... Император повел сам батальон гвардии... Послали за другими полками. Послали за артиллериею. Бунтовщики отстреливаются. Их окружают. Их щадят; хотят склонить убеждением. Народ волнуется, часть народа на стороне бунтовщиков». Вот что со всех сторон шептали, не имея ни об чем верных известий... Я бродил из залы в залу, слушал вести и ни одной не верил. Иду в горницу графини Ливен, из окон которой видна была густая, черная толпа народу, которая казалась подвижною тучею в темноте начинающейся ночи. Вдруг над нею несколько молний, одна за другою. Начали стрелять пушки. Мы угадали это по блеску. Шесть или восемь раз сверкнула молния; выстрелов было не слышно; и все опять потемнело... Наконец пришло известие. Пушечные картечи все решили! С нескольких выстрелов бунтовщики разбежались, и кавалерия их преследует...» Далее Жуковский описал Тургеневу восстание в той последовательности, как оно происходило. Он писал об «удивительном, бесцельном зверстве», — так представлял себе в первые дни после декабрьского восстания Жуковский восстание и восставших, принимая на веру дворцовые слухи. Потом он начнет узнавать больше, откроются ему в происшедшем и цели, вовсе не «зверские» и «разбойничьи». Узна́ет он имена неизвестных ему декабристов — одним из них, и и даже осужденным, окажется брат Александра Тургенева Николай, который и читал это письмо вместе с братом в Париже.

«Вы слышали о беспрестанных арестациях, — пишет

Жуковский в начале 1826 года Анне Петровне Зонтаг, — о беспрестанных привозах в Петербург заговорщиков... Крепость населена — это несчастие неизбежное; может быть, между поселенцами есть и невинные, но прежде надобно узнать, что они невинны, потом они получат свободу... Наше бедствие имеет весь характер летней грозы после зноя: поля были изнурены засухой. Мы ждали дождя; гроза была, и был даже благодатный дождь... теперь посмотрим, воспользуются ли благотворением грозы, чтобы удобрить заброшенную ниву». Жуковский уже не говорит о «злодеях», «разбойниках», он рисует картину *грозы, летнего дождя, дождя благотворного...* Эта его маленькая притча многозначительна, тем более что под «заброшенной нивой» не разумеется ничего другого, кроме России.

Пушкин уже в январе 1826 года начал делать попытки вырваться из Михайловского. Действовать он мог только через Жуковского. 20 января он пишет ему: «Мудрено мне требовать твоего заступления пред государем; не хочу охмелить тебя в этом пиру. Вероятно, правительство удостоверилось, что я к заговору не принадлежу и с возмутителями 14 декабря связей политических не имел... Кажется, можно сказать царю: «Ваше величество, если Пушкин не замешан, то нельзя ли наконец позволить ему возвратиться?» В феврале он пишет Дельвигу, что «твердо надеется на великодушие молодого царя». 7 марта он послал Жуковскому письмо «в треугольной шляпе и башмаках» (как он говорит об этом письме Плетневу, прибавляя, что ему бы «сладко было получить свободу от Жуковского, а не от другого»). Письмо было предназначено для показа новому царю и кончалось так: «Вступление на престол государя Николая Павловича подает мне радостную надежду. Может быть, его величеству угодно будет переменить мою судьбу. Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости». Жуковский, ответивший ему 12 апреля, решительно советовал ему «остаться покойно в деревне, не напоминать о себе и писать, но *писать для славы»*. «Ты ни в чем не замешан — это правда. Но в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством... Не просись в Петербург. Еще не время», — писал Жуковский. Это письмо показало Пушкину, что положение его как ссыльного гораздо

серьезнее, чем он полагал. И тут он решил принять кое-какие запоздалые меры; сжег свои автобиографические записки и другие бумаги. Он стал ждать обыска, вызова на допрос...

Александр Тургенев, узнав, что обвинены в причастности к тайным обществам его братья Сергей и Николай, вернулся из-за границы в Петербург, чтобы выяснить, что им грозит. Оказалось, что Сергей обвинен ошибочно. Но Николай был одним из организаторов Союза Благоденствия. Предстоящий суд (уже назначена была комиссия от правительства) грозил ему наказанием нешуточным. Ему пришлось из Франции, где его могли выдать русским жандармам, перебраться в более надежное убежище — в Англию.

Жуковский с начала этого года хворал. С трудом, преодолевая одышку, поднимался он по лестницам. Ему был дан отпуск для лечения на водах в Германии и для подготовки к следующему этапу обучения великого князя — надо было выработать общую программу учения и собрать в Европе все необходимые книги для учебной библиотеки. Перед отъездом Жуковский отсылает деньги в Дрезден для Батюшкова к Елене Григорьевне Пушкиной (это вдова двоюродного брата Василия Львовича Пушкина). Он пишет ей о тетке Батюшкова: «Состояние бедной Екатерины Федоровны Муравьевой неописуемо. Все, что могло привязывать ее к жизни, разом рухнуло. Она ходит как тень. Что ее ожидает, не знаю; но нельзя и надеяться никакого облегчения судьбы ее». Сыновья ее были декабристами. Никита Муравьев был не только родственник, но и друг Батюшкова. «К каким развалинам он возвратится, если Бог возвратит ему его рассудок! — пишет о Батюшкове Жуковский. — Мы живем во времена испытания».

В марте Жуковский получил письмо от Батюшкова — он просил: «Утешь своим посещением: ожидаю тебя с нетерпением на сей каторге, где погибает ежедневно Батюшков». — «Едва таскаю ноги, — пишет Жуковский Елагиной, — взойти на лестницу есть тяжелый и болезненный для меня подвиг; от расслабления и дух и деятельность падают». И в другом письме: «Я очень ослабел от (как бы сказать поучтивее) потери крови: слабость, одышка, когда всходишь на лестницу, бледность мертвеца баллады». Двор собирался в Москву — летом должна была состояться коронация нового императора. Жуковский в начале года еще надеялся ехать туда и по-

видать всех родных, но уже к марту стало ясно, что без лечения и отдыха не обойтись. К Жуковскому уже стали обращаться с просьбами родственники декабристов. Елагина просила его заступиться за Батенькова. «Зачем вы возлагаете на меня такое дело, которое при малейшем вашем размышлении вы должны бы найти совершенно для меня неприступным? Зачем даете мне печальную необходимость сказать вам: *«ничего не могу для вас сделать!* В моем сердечном участии вам сомневаться не должно».

В последние перед своим отъездом дни Жуковский навещал тяжко больного Карамзина, хлопотал о пенсии для него. 12 мая 1826 года Александр Тургенев проводил Жуковского. 13-го сообщал Вяземскому: «Он вчера же, рано поутру, в девять часов, пустился из Кронштадта в открытое море. Калмык его, у меня служащий, провожал его глазами. Ветер был попутный». После отъезда Жуковского Тургеневу в Кронштадте было доставлено «несколько строк с завещанием» — это были распоряжения Жуковского об уплате денег и раздаче вещей, как он писал, «в случае моей смерти» (так плохо он себя чувствовал). Море было спокойно. Жуковский часто выходил на палубу. Он зарисовал Толбухин маяк. 15 мая записал: «Прекрасное захождение солнца, особливо продолжительное действие света после захождения. Полоса света яркая на небе и над нею темные облака. Море, волнующееся с удивительною легкостью; и синева, и свет вместе смешаны, но на западе отделены клочками, кроме яркой полосы на самом горизонте. Свежесть и влага ветра. Запах. Утки, пролетающие с криком полосою. Крик рыболовов. Неподвижность корабля. След».

В Гамбурге Жуковский купил себе «прекрасный оффенбахский дормёз» (большую карету) и медленно поехал по направлению к Эмсу, останавливаясь с наступлением ночи в трактирах. В дороге он переводил «Сида» Гердера — прямо на полях карманного формата книги, карандашом. Кассель, Есберг, Гальсдорф, Марбург — города с узкими улицами, черепичными крышами, средневековые замки на вершинах — проходили мимо... Сид, дон Родриго, рыцарь знойной Кастилии, мстит обидчику своего отца... Разгоняет тучу мавров... Воюет с французами... Сильный, благородный, великодушный воин... 10 июня Жуковский прибыл в Эмс, где нашел множество русских, в том числе и знакомых. В первый же день нанял осла и прогулялся по каменистому бере-

гу Ланы верхом. В конце июня увидел в местной газете извещение о смерти Карамзина. «Ни ты, ни Вяземский не вспомнили обо мне в минуту несчастия! — упрекнул он Тургенева в письме. — Но я не хочу обвинять, когда надобно вместе плакать... Он был другом-отцом в жизни; он будет тем же и по смерти. Большая половина жизни прошла под светлым влиянием его присутствия. От этого присутствия нельзя отвыкнуть. Карамзин — в этом имени было и будет все, что есть для сердца высокого, милого, добродетельного. Воспоминание об нем есть религия... Мысль об нем есть подпора — перед глазами ли он или только в сердце». «Друг, хранитель, наставник, пример всего доброго, ободритель для всего прекрасного! — писал Жуковский Екатерине Андреевне Карамзиной, вдове. — Кто имел счастие любить его, тому уже нечем заменить своей потери!.. Когда я его покидал, я чувствовал, что это навсегда... Лучшее мое чувство, чистое и высокое как религия, была моя к нему привязанность. Смерть этого чувства ни ослабить, ни изменить не может».

В Эмсе познакомился Жуковский с красивым одноруким человеком — он тоже здесь лечился. Это был Гергардт Рейтерн, бывший русский гусарский офицер, тяжело раненный в «битве народов» под Лейпцигом. Еще в юности, будучи студентом Дерптского университета, он учился живописи у Карла Августа Зенфа, одного из дерптских друзей Жуковского. После войны Рейтерн научился рисовать левой рукой. В 1819 году он вышел в отставку, женился и поселился у своего тестя в Гессен-Кассельской земле, в замке Виллингсгаузен. В Касселе он продолжал заниматься живописью под руководством пейзажиста Родена. В начале двадцатых годов он объехал Европу — был в Швейцарии и Италии. Его акварели (сцены из народной немецкой жизни и пейзажи) имели успех. Жуковский в Эмсе был совершенно очарован «Аркадией» идиллических пейзажей Рейтерна. Они стали вместе ходить на этюды и сдружились.

Вместе с Рейтерном Жуковский совершил путешествие по берегам живописного Рейна. «Я ездил полубольной, — писал он Козлову, — и весьма не столько мог воспользоваться своим путешествием, как бы хотел. Надобно было, подобно Вральману, любоваться утесами и разрушенными замками с козел. А бродить по высотам и даже по ровным местам мешала слабость». Затем Жуковский три недели провел в Францбрунне и оттуда, уже

в сентябре, прибыл в Дрезден, «где нашел свою родину, — пишет он, — ибо живу вместе с Тургеневыми». Жуковский должен был вернуться в Петербург этой же осенью, но он вынужден был просить продления отпуска, чтобы долечиться. Николай Тургенев пишет из Лондона братьям Александру и Сергею о Жуковском: «Очень радуюсь, что он с вами. Из всех людей, которых я знавал, я не видал другой души столь чистой и невинной. Я, бывало, негодовал на него, что он в стихах своих не говорит об уничтожении рабства». Сергей Тургенев приехал из Италии в Дрезден полубольным. Он был грустен, иногда целыми днями сидел в халате, не выходя из комнаты.

Жуковский в Дрездене жил очень замкнуто. «Всякое утро я просыпаюсь рано и приступаю к своей работе, — пишет Жуковский. — По-видимому, она кажется сухою — я составляю исторические таблицы; но она имеет для меня всю прелесть моих прежних поэтических работ. Весь мой день ей посвящен, и я прерываю ее только для приятной прогулки. Я почти никого не вижу и не желаю видеть. Я нахожусь здесь не в качестве путешественника; я должен здесь, как и в Петербурге, всецело принадлежать моему труду». Идея воспитания будущего царя все более увлекала Жуковского. Он предостерегает царицу от слишком *военного* воспитания мальчика: «Страсть к военному ремеслу стеснит его душу: он привыкнет видеть в народе только полк, в отечестве — казарму. Мы видели плоды этого: армии не составляют могущества государства или государя».

В «Плане учения», составленном в Дрездене в 1826 году, подробно говорится обо всех занятиях, распределенных на годы возраста великого князя от восьми до двадцати лет. Жуковский, на основе системы Песталоцци, вырабатывал свою педагогическую теорию. Он брал на себя преподавание некоторых предметов (в том числе истории) и наблюдение за другими преподавателями и за всем ходом учения. В заключительной части проекта Жуковский утверждает, что *история*... должна быть *главною наукою* наследника престола... Из нее извлечет он правила деятельности царской». Далее, в тексте объяснения, — четко сформулированные пожелания будущему царю (а косвенно и уже царствующему, так как весь этот «План учения» адресован ему). «Уважай закон и научи уважать его своим примером: закон, пренебрегаемый царем, не будет храним и народом, — пишет

Жуковский. — Люби и распространяй просвещение: оно — сильнейшая подпора благонамеренной власти; народ без просвещения есть народ без достоинства... Люби свободу, то есть правосудие, ибо в нем и милосердие царей и свобода народов... Владычествуй не силою, а порядком: истинное могущество государя не в числе его воинов, а в благоденствии народа. Будь верен слову: без доверенности нет уважения, неуважаемый — бессилен. Окружай себя достойными тебя помощниками: слепое самолюбие царя, удаляющее от него людей превосходных, предает его на жертву корыстолюбивым рабам, губителям его чести и народного блага. Уважай народ свой: тогда он сделается достойным уважения».

Эти мысли лежали в основе воспитательной программы Жуковского.

«Жизнь моя истинно поэтическая, — пишет Жуковский Вяземскому в декабре из Дрездена. — Могу сказать, что она получила для меня полный вес и полное достоинство... Не могу быть поэтом на досуге. Могу им быть только вполне, то есть посвятив себя исключительно музам... Если бы теперь я принадлежал себе, я бы вознаградил потерянное и все забыл для муз. Но моя дорога ведет меня к другому, — и я должен идти по ней, не оглядываясь по сторонам, чтобы где-нибудь не зазеваться. Теперь более чем когда-нибудь знаю высокое назначение писателя (хотя и не раскаиваюсь, что покинул свою дорогу). Нет ничего выше, как быть писателем в настоящем смысле. Особенно для России. У нас писатель с гением сделал бы более Петра Великого. Вот для чего я желал бы обратиться на минуту в вдохновительного гения для Пушкина, чтобы сказать ему: «Твой век принадлежит тебе! Ты можешь сделать более всех твоих предшественников! Пойми свою высокость и будь достоин своего назначения!..»

Кончается 1826 год. Жуковский составляет наглядные пособия для будущих занятий, читает Фенелона (он приобрел 22-томное версальское его издание 1822—1824 годов), «Начальный курс философии» Снелля, «Трактат об ощущениях» Кондильяка, «Проект воспитания и наставления принца» Эрнста Морица Арндта (1813). Особенно тщательно прорабатывает «Вопросы для совести» Фенелона... Он думает о будущей России — о могучей стране с просвещенным, трудолюбивым народом...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

(1827—1831)

В Дрездене Жуковский вместе с Александром Тургеневым посещает мастерские художников Каруса, Фридриха и Боссе. Боссе в несколько сеансов написал портрет Жуковского в рост. «Жуковский представлен идущим в деревьях, — пишет Тургенев, — вдали Монблан и его окрестности. Портрет сей выставлен будет в Петербургской академии. Сходство большое!» Боссе взял фоном Швейцарию по желанию поэта. Жуковский посещал литературный салон старой поэтессы фон Рекке, давней знакомой Гёте. Здесь встречал Тика.

По вечерам втроем — Жуковский, Сергей и Александр Тургеневы — читали что-нибудь вслух. Чтецом чаще всего был Александр Тургенев (в январе 1827 года читали книгу Прадта о Греции). Иногда Жуковский навещает Батюшкова в Зонненштейне. Он пишет в Петербург Гнедичу, что «больной все в одном положении, но доктор не отказывает от надежды», просит Гнедича похлопотать об аккуратной пересылке Батюшкову его жалованья. «Где Пушкин? — спрашивает он Гнедича. — Напиши об нем. Жажду «Годунова». Скажи ему от меня, чтоб бросил дрянь и был просто великим поэтом, славою и *благодеянием* для России, — это ему возможно! Обними его».

В начале 1827 года в Дрездене Жуковский составил подробный конспект (или план) по истории русской литературы. Он писал его по-французски. Александр Тургенев кое-где внес свои поправки. Возможно, что это проект какой-то более обширной работы, но и в нем самом есть система четких оценок и деление истории русской литературы на четыре периода: 1). «Самый продолжительный и наименее богатый произведениями словесности. Он обнимает все время между основанием государства и Ломоносовым». Этот период (сюда входят «Правда Русская», «Слово о полку Игореве», народные песни и т. д.) Жуковский заканчивает Кантемиром. 2). «От Ломоносова до Карамзина», не включая Карамзина (здесь

Ломоносов, Сумароков, Херасков, Майков, Княжнин, Костров, Бобров, Богданович, Озеров, Петров, Фонвизин, Муравьев). 3). К этому периоду отнесены Карамзин, Дмитриев, Нелединский-Мелецкий, Хемницер, Крылов, Жуковский, Батюшков, Вяземский, Востоков и Гнедич. 4). «Настоящий период еще в цветении. Уже есть писатель, который подает надежды сделаться его представителем. Это — молодой Пушкин, поэт, который уже достиг высокой степени совершенства в смысле стиля, который одарен оригинальным и творческим гением». Огромное значение придает Жуковский «Истории государства Российского» Карамзина. «Эта «История», — пишет он, — как литературное произведение — клад поучений для писателей. Они найдут там и тайну того, как надобно пользоваться своим языком, и образец того, как следует писать большое произведение. После Карамзина нельзя назвать ни одного писателя в прозе, который произвел сколько-нибудь сильное впечатление... Его искусство осталось его *тайной»*. Что касается поэзии, то тут (в отличие от прозы) «История государства Российского», как считает Жуковский, — «золотые россыпи, которые открыты для национальной поэзии... гений Карамзина осветил ярким светом минувшие времена. От его светильника поэзия зажжет свой факел! И поэт, который способен на это, существует. Он может создать свой собственный жанр. Его первые опыты — произведения мастера. Теперь он занимается трагедией, предмет которой заимствован из нашей истории; он отвергнул жалкие образцы французов, которые до настоящего времени оказывали давление на драматическую поэзию, и Россия может надеяться получить свою национальную трагедию». (Жуковский говорит о Пушкине и его трагедии «Борис Годунов».) К поэтам четвертого периода Жуковский отнес Козлова, Грибоедова, Глинку, Дельвига, Языкова и Баратынского, всех этих поэтов он просто перечислил. Более подробно остановился он перед этим на именах поэтов своего, то есть третьего, периода. О Дмитриеве сказано, что он «установил поэтический язык»; о Крылове, что он «истинный поэт... он, так же как Державин, представляет собой нашу национальную поэзию» (Жуковский здесь поставил его выше Дмитриева — «как художник он крупнее»). О Батюшкове: «Одаренный блестящим воображением и изысканным чувством выражения и предмета, он дал подлинные образцы слога... Его талант пресекся в тот момент, когда его мощь должна была раскрыться во всей своей полно-

те». О Вяземском: «Язык мощный и насыщенный. Он выражает многое в немногих словах». О Гнедиче: «Его перевод «Илиады» гекзаметрами является большой услугой, которую он оказал русскому языку». И наконец, о себе: «*Жуковский.* Мне затруднительно говорить об этом авторе, которого я знаю лично, не потому, чтобы он был в числе писателей, известных мне по их прекрасным стихам, а потому, что я сам — этот автор. Однако необходимо произнести справедливую оценку. Я думаю, что он привнес кое-что в поэтический язык... *Его стихотворения являются верным изображением его личности,* они вызвали интерес потому, что они были некоторым образом *отзвуком его жизни и чувств,* которые ее заполняли. Оказывая предпочтение поэзии немецкой... он старался приобщить ее своими подражаниями к поэзии русской... Он, следовательно, ввел новое, *он обогатил всю совокупность понятий и поэтических выражений,* но не произвел значительного переворота».

Николай Тургенев жил в Лондоне. На предложение русского правительства явиться в Россию с повинной он ответил отказом. «Какое тяжелое для меня время! — писал он. — Какие преследования, какие осуждения и приговоры! Какое ожесточение! Какие старания схватить меня где-нибудь за границею!» В Англии он был в безопасности. Тургенев не ехал в Россию и стремился доказать, что он к декабрьскому восстанию не был причастен, что его с юности занимало одно дело, одно стремление — освобождение крепостных крестьян. Что он не против монархии в России. Что он с теми, кто совершил восстание, не имел ничего общего. В этом он убедил своего брата Александра. Вдвоем они убедили в том же и Жуковского. Как только Жуковский твердо принял на веру *невиновность* Николая Тургенева (а это, конечно, не соответствовало истине, — Тургенев был одним из активнейших организаторов тайного общества, идеологов и подготовителей восстания, что вскрылось и в ходе следствия), он сразу возгорелся желанием помочь ему оправдаться, открыть ему путь на родину. Он тщательно собрал нужные материалы. У него была и копия донесения Следственной комиссии. В течение марта и апреля он составил «Записку о Н. И. Тургеневе», адресованную императору. «Тургенев осужден по одним только показаниям свидетелей, вообще несогласных между собою. Фактов, его обвиняющих, нет. Собственного же признания его быть не могло, ибо он осужден в отсутствии. Напро-

тив, в своем объяснении, присланном еще до суда, он опровергал все показания, в то время ему известные». Жуковский пишет, что в «Зеленой книге» — уставе Союза Благоденствия — «нет ничего преступного», поэтому нельзя осуждать человека за одну принадлежность к обществу, будь он даже и «учредителем сего». Жуковский пишет, что и по донесению Следственной комиссии считается, что в Союзе Благоденствия не было ничего преступного, что «преступная деятельность» возникла лишь во втором обществе — с приходом туда Рылеева, но что Тургенев в последнем не участвовал. Жуковский пространно анализирует факт *неявки* Тургенева к ответу и делает вывод: «Неявка Тургенева, принятая за подтверждение показаний и за доказательство преступления, не может быть ни подтверждением показаний, кои сами по себе ничтожны, ни доказательством преступления, существование коего ни на каких фактах не основано. Следственно Тургенев не может быть осужден как преступник, замышлявший цареубийство и ниспровержение установленного в России порядка».

К этой «Записке» Жуковский приложил письмо Тургенева к царю. «Думая только об одном освобождении от рабства крестьян, занятый исключительно сею мыслию, мыслию любимого и покойного государя, я всегда был, и мнениями и поступками, врагом беспорядка и убийства, — писал Тургенев. — Покойному государю известно было, к какому обществу я принадлежал... Он не только продолжал употреблять меня по делам службы, но принял с благоволением проект мой о рабстве».

«Записка» и письмо были отосланы, но действия никакого не произвели.

26 апреля в 8 часов утра Жуковский и Александр Тургенев выехали из Дрездена. Путь их лежал через Лейпциг в Париж. Жуковский собирался купить для библиотеки своего ученика в Лейпциге необходимые немецкие, а в Париже французские книги. В Лейпциге поселились в тихом предместье. «Мы окружены садами, — описывает его Тургенев, — и из окон видны необозримые аллеи вишен, груш и яблонь. Все в цвету и благоухает».

Город готовился к очередной международной ярмарке и был полон движения. Тургенев пишет, что в Лейпциге «книжная торговля идет изрядно... Жуковский... сделал покупку книг на 4 тыс. талеров по нашему общему выбору». Но не все было хорошо: несмотря на весну, на прогулки среди цветущих аллей, все хуже становилось

Сергею. Александр Тургенев и Жуковский с ужасом отмечали, что его постигла участь Батюшкова.

«Пока гений-хранитель Жуковский с нами, я не упаду духом, — пишет Тургенев Александру Булгакову, — но без него я не знаю, куда денусь, и как останусь один с Сережей. Он действует на него спасительно, и в самые сильные пароксизмы его слова действуют на него лучше моих». От Николая Тургенева болезнь Сергея все еще скрывалась — берегся покой изгнанника.

Около 20 мая Жуковский с Тургеневыми прибыл в Париж. «Одну неделю мы провели здесь довольно весело», — писал Жуковский Воейковой (не зная еще ничего о том, что она, уже смертельно больная, собирается ехать в Италию). Он встречался с Шатобрианом, Бенжаменом Констаном и Ламартином, но не сблизился с ними, — их сухость и чопорность не допускали откровенности с иностранцем. Чаще других виделся он с философом и филантропом Дежерандо и с Гизо — литератором, политиком, историком (начало его славе положил вышедший в 1826 году труд «История английской революции до смерти Карла I»). Жуковскому оба они пришлись по душе — один с «лицом доброго философа, несколько рассеян, задумчив, привлекательной внешности», другой — хотя политик и министр, но возвышенных стремлений, строгого образа жизни, серьезен, степенен.

Побывали русские путешественники всюду: в библиотеках, музеях, картинных галереях, в школе глухонемых, в сиротском доме, в тюрьме... Жуковский зарисовал некоторые примечательные здания, например, театр Комеди Франсез. Так прошло десять дней. Вверх дном перевернула эту хлопотливую, но более или менее спокойную жизнь смерть Сергея...

Утром 1 июня, около семи часов, Жуковский услышал сквозь сон голос Александра. Он звал на помощь. «Вскакиваю с постели, бегу к нему, — пишет Жуковский на другой день Елене Григорьевне Пушкиной. — Нахожу Сергея в судорогах. Мы зовем на помощь, укладываем его в постель, посылаем за местным врачом». Прибыл один врач, потом другой... Припадки следовали один за другим. Приняты были разные меры, но он умер.

«Александр уехал со Свечиною и провел ночь в ее доме, — писал Жуковский. — Я остался при теле нашего друга для последних распоряжений». Александр Тургенев хранил потом ларчик Сергея, который не знал, как отпе-

реть. Отпер спустя лет восемь. И там, среди разных вещиц, нашел, как он писал, «на шнурке шейном, который носил Сережа, *обшитый* портрет Александры Андреевны Воейковой». Тургенев был поражен несказанно: оба они любили одну женщину, Светлану, но Сергей молчал, никому ни звука... Может быть, оттого помутился и разум его. Искали тому и других причин, например, его присутствие в Константинополе в 1821 году, когда там была ужасающая резня (Сергей был при русской миссии), или страх за судьбу брата Николая, осужденного на смерть по делу о 14 декабря. Но что ж Сергей за трус?.. А наглухо зашитый портрет женщины на шее — рядом с крестиком — о многом говорит...

Еще около двух недель прожили Жуковский и Тургенев в Париже. Каждый день находили они минуту навестить могилу Сергея на кладбище Пер Лашез. Затем Александр поехал с Жуковским в Эмс на воды, чтобы оттуда отправиться в Лондон к брату Николаю... Но нельзя было забывать и о делах, — и Жуковский 1 июля — из Парижа — пишет письмо императрице, где, соблюдая весь положенный в таком случае эпистолярный этикет, четко очерчивает круг своих обязанностей как наставника великого князя.

«Ваш сын, государыня, — пишет он, — передан ныне на попечение двух лиц... На Мёрдера возложено нравственное воспитание; мне поручено наблюдение за учебною частью». Далее Жуковский пишет, что Мёрдер, несмотря на все его высокие нравственные качества, «хороший воин — вот и все», не имеет широкого образования и вряд ли теперь сумеет «приобрести все то, что требуется от просвещенного руководителя венценосного юноши».

«Перейдем теперь ко мне, — продолжает Жуковский. — Вам известно, государыня, что *я никогда не думал искать того места, которое я занимаю ныне при великом князе*. Вашему величеству угодно было сперва возложить на меня обязанность передать некоторые первоначальные познания вашему сыну во время вашего последнего отсутствия из России. Я следовал известной определенной системе, которую с тех пор усовершенствовал... Я вполне уверен, что приготовительное образование, потребное в первом возрасте, и затем даже научный отдел второго возраста во всех его подробностях могут быть применены с успехом по составленному мною плану». И далее Жуковский говорит, что «самая решительная сторона» воспитания цесаревича ему *недоступна* (а тем бо-

лее — Мёрдеру), — то есть «приготовление к предстоящей деятельности» *царя, императора.* «Увы, это поприще мне неизвестно», — говорит он. Открещиваясь от «науки царствовать», Жуковский предлагает поискать для этого специального наставника, человека знатного и умудренного в государственных делах. Он назвал и кандидата — графа Иоанна Каподистрию, грека, который был на службе в России с 1809 по 1822 год — дипломатом и статс-секретарем по иностранным делам.

С 1822 по 1826 год Каподистрия жил в Швейцарии. Осенью 1826 года Жуковский, бывший и ранее знакомым с ним, встретил его в Эмсе. В апреле 1827 года, в момент тяжелого кризиса греческой освободительной войны против турок, национальное собрание в Тризине избрало Каподистрию президентом Греции сроком на семь лет. «Он хорошо знает свой век и все действительные потребности своего времени. Ему знакомы все партии, которые ныне господствуют и соперничают друг с другом», — пишет Жуковский. Каподистрия, говорит он, «наблюдал бы за воспитанием в общих чертах, руководил бы всем». Однако не мог же не знать Жуковский, что первый греческий президент приступил к своей должности во время войны, длившейся уже шесть лет с переменным успехом, в период очень тяжелый и должен был создавать новое государство почти на пепелище, — сколько же было у него дел! Он попал в огненный вихрь, водоворот, не оставлявший ему ни минуты свободного времени...

Конечно, императрица не последовала совету Жуковского, но поняла, что *он берется воспитывать не царя, а человека.* Может быть, такую цель и имело письмо Жуковского.

14 июля Жуковский и Александр Тургенев прибыли в Эмс. Здесь Жуковского ждало письмо от Воейковой. «Она больна отчаянно и едет в Италию: вот все, что я узнал из письма ее, — пишет он Козлову на другой же день. — В то же время получил письмо и от тебя, и в нем об ней почти ни слова... Напиши ко мне, мой милый друг, всю правду... Опиши все, что было до сих пор с Сашею, что заставило Арендта решиться послать ее в Италию; и скажи, имеет ли она средства сделать это путешествие».

В Эмсе встретил Жуковский Рейтерна, которого он порадовал добрыми известиями: ему благодаря рекомендации Жуковского разрешено было жить за границей сколько он хочет и писать для русского двора картины, какие

пожелает сам. Как придворный художник он будет получать регулярное содержание.

3 августа Тургенев уехал из Эмса в Дрезден и потом опять в Париж, так как не добился разрешения на въезд в Англию. Жуковский с Рейтерном много рисовали в окрестностях Эмса и в конце августа отправились на родину Гёте — Франкфурт-на-Майне, старинную купеческую республику.

Жуковский и Рейтерн побывали в доме, где родился Гёте. Зашли во двор, посмотрели на колодец, на выдающиеся вперед мансарды. Все это живо напомнило им «Фауста». Потом бродили по окрестностям.

4 сентября остановились в Веймаре. В тот же день посетили Гёте. Они были не одни, как записал Гёте: «Фон Рейтерн и Жуковский, тут же г. фон Швейцар, надворный советник Мейер». Швейцер — веймарский министр. 5 сентября они снова у Гёте. Жуковский записывает кратко: «К Гёте. Разговор о рейтерновых рисунках». На этот раз присутствовал веймарский канцлер Мюллер, уже знакомый Жуковскому. Мюллер записал: «В это утро Гёте был так радостно тронут посещением Жуковского и Рейтерна, что я еще никогда не видал его более любезным, приветливым и общительным. Все, что он мог доставить этим друзьям приятного, сердечного, ободряющего в суждении, в намеке, в поощрении, в любви, — все это он дал им ощутить или высказал прямо».

Рейтерн писал жене в этот день: «Он указал мне путь художника для всей моей будущей жизни... Великолепный старец был совершенно откровенен, внимателен, общителен и неописуемо любезен, но так, что нас объял трепет, действительность ли это или сон, или какое-то высшее существо снизошло, чтобы нас возвести в свои светлые области».

6 сентября пришли они к Гёте с подарками: Рейтерн подарил ему свой рисунок «Лес в Виллингсгаузене в августе 1826 г.» (дубовая роща с мощными полузасохшими стволами), Жуковский — картину дрезденского художника Каруса. Гёте отметил в дневнике: «Прекрасный, сильный рисунок» Рейтерна и «замечательную» картину, в которой Карус «выражает восхищенному взору всю романтику...». Жуковский сопроводил картину Каруса четверостишием, озаглавленным «Приношение»:

Тому, кто арфою чудесный мир творит!
Кто таинства покров с Создания снимает,

Минувшее животворит
И будущее предрешает!

Тут же, рядом, Жуковский поместил французский перевод этого стихотворения. В дневнике Жуковского за 6 сентября записано: «К Гёте. Разговор о Елене, о Байроне. Гёте ставит его подле Гомера и Шекспира. Die Sonne, die Sterne bleiben doch echt; es sind keine Copien [1]. Прогулка по саду Гёте, дом, где он писал и сочинял Ифигению. Домик герцога. Место, где сиживали он, Шиллер, Виланд, Якоби, Гердер. Река Ильм. К Гёте. Усталость и деятельность. Мы пробыли недолго». Два посещения Гёте в один день. Утром говорили о третьем акте «Фауста», в котором действуют Елена Спартанская и Фауст; это фантасмагория с гибелью их сына Эвфориона, «нового Икара», поэта и борца («Я не зритель посторонний, а участник битв земных», — говорит он). Эвфорион — Байрон. Поэтому разговор перешел от «Фауста» к великому английскому поэту. Канцлер Мюллер описал вечернее посещение: «Когда под вечер Жуковский, Рейтерн и я посетили Гёте, он был так вял, утомлен и слаб, что мы недолго задержались. Тем не менее он остроумно говорил о том, как иные мнимые знатоки стремятся все решительно картины объявить копиями... Пускай их себе. Солнце, луну и звезды они должны же будут нам оставить и не могут выдать их за копии... Надо стараться всегда как можно более развивать и укреплять собственное свое суждение».

7 сентября Жуковский проснулся задолго до рассвета и несколько часов провел за конторкой. Он читал стихи Гёте. Потом написал стихотворение, посвященное ему, сразу же перевел его — стихами же — на немецкий язык. Перед ним лежали драгоценные подарки, врученные ему Гёте накануне: каллиграфически переписанный (писцом) экземпляр «Мариенбадской элегии» с собственноручной подписью Гёте и уже не раз отточенное гусиное перо, которым Гёте писал. Кое-что Жуковский взял на память и сам: он зарисовал с натуры загородный домик Гёте, его сад и сорвал несколько листочков в саду его городского дома — их он вклеил в альбом рядом с гравированным портретом Гёте. Стихи передал через канцлера Мюллера, но Гёте принял их равнодушно («Слишком холодно, по-моему, принял Гёте великолепное прощаль-

---

[1] «Солнце, звезды остаются неподдельны, это — не копии», — Жуковский записал слова Гёте *(нем.)*.

ное стихотворение Жуковского, хотя нашел в нем нечто восточное, глубокое»). Самому Жуковскому Мюллер писал: «Ваши прекрасные, исполненные благоговения, прощальные слова к Гёте были ему очень радостны и тронули его. Он часто вспоминает об вас с неизменным расположением и уважением... Он непрерывно работает над второй частью «Фауста»; она распадается на 5 отделений; из них третьим нужно считать «Елену». Гёте поручает мне передать вам сердечный привет».

8 сентября Жуковский был в Лейпциге (Рейтерн уехал домой). Здесь нашел Александра Тургенева, который написал оттуда брату: «Жуковский жалеет, что меня не было с ним у Гёте... Он говорит, что Гёте и Шиллер образовали его, а с нами он рос и мужался с нами, Тургеневыми, и душевное и умственное образование получил с нами, начиная с брата Андрея».

Через день Жуковский был уже в Берлине. Здесь ждало его письмо Воейковой. «Я не знала, как маменьке написать о двухгодовой разлуке, — пишет Саша, — и как к ней приехать *проездом*... Ездила к ней нарочно, пробыла у ней три недели, в которые она была при смерти больна. Две ночи и два дня мы с Мойером были в отчаянии, и я была принуждена уехать, когда маменька еще не встала с постели... Штофреген настаивает, чтобы я ехала в самых первых числах августа; мне надобно ночевать всякую ночь, больше 100 верст невозможно уехать в день, следовательно, кроме дней отдыха 17 дней до одного Берлина, а еще это не половина дороги... Кажется, по твоему маршруту, что увидимся в Берлине».

Светлана ехала на юг Франции, взяв с собой всех своих детей. Воейков постарался отравить ей последние минуты жизни в семье, написав и оставив на столе эпитафию на ее смерть. Светлана перед отъездом занималась благоустройством квартиры Жуковского в Шепелевском дворце (рядом с Зимним), где наблюдала за расстановкой всех его вещей. «Комнат у тебя четыре в анфиладе, — писала она ему, — из коих одна огромная, с прелестным камином, потом две сбоку, потом одна сбоку — с русской печью... Все чисто и весело, только ужасно высоко» (то есть на верхнем, четвертом, этаже).

12 сентября Светлана остановилась в Берлине в гостинице «Лейпциг». Узнав, что Жуковский стоит в гостинице «Петербург», она отправила ему записку, но они увиделись только на другой день. Жуковский был поражен болезненным видом и худобой Светланы. Она рассчи-

тывала пробыть в Берлине пять дней, но Жуковский продержал ее десять. Он возил ее с детьми по городу, в Потсдам и Шарлоттенбург. «Она путешествует не уставая, и, по-видимому, переезды ей приносят пользу, — пишет Жуковский. — Всякий день будет отдалять ее от севера и приближать к прекрасным южным странам... Южный воздух и спокойствие, которым она еще никогда не пользовалась, спасут ее». Берлинские дни пролетели быстро. «С нею расстался я на мосту Потсдамском; долго смотрел за нею вслед, — писал Жуковский, — и когда она исчезла на повороте, то было это навеки. В эту минуту оба мои прежние ангела перестали существовать для меня в этой жизни». Другой *ангел,* которого вспомнил Жуковский, — Маша.

Светлана медленно ехала через Виттенберг, Франкфурт-на-Майне, Страсбург, далее по Франции, отовсюду посылая письма Жуковскому. Его портрет всегда с ней: «Твоя милая рожа так ласково глядит на меня. Всякий день твой портрет больше люблю». Только 20 ноября добралась до Гиера — городка на Лазурном берегу, где остановилась. «Рай земной, — пишет она, — окруженный рощами масличными, лимонными, померанцевыми; и нет зимы». Она наняла для житья два этажа в старинном доме с садом, с видом на море и оливковой рощей. У нее с собой книги — Жуковского, конечно, а затем Фенелона, Монтеня, Гёте, Шиллера, Шекспира, Байрона, русские альманахи (в том числе «Полярная звезда», «Северные цветы»). «Дух бодр, — писала она Жуковскому, — да плоть немощна». У нее идет горлом кровь, она задыхается на каждом шагу...

Жуковский, возвращаясь, остановился в Дерпте у Екатерины Афанасьевны, провел там четыре дня. «Был у ней обыкновенный ее мигрень, — писал он Анне Петровне Зонтаг. — Она лежала одна в горнице на постели; я был подле нее один, только прелестная Катя, Машина дочь, подле меня сидела, — а все другие? Какой вихорь всех разбросал?»

Жуковский запечатывает письма символической печатью, подаренной ему Елагиной, — это изображение светящего фонаря. («Воспоминание — свет, а счастие — ряд этих фонарей, этих прекрасных светлых воспоминаний, которые всю жизнь озаряют», — говорил Жуковский.) Осенью 1827 года он потерял печатку и просил Елагину прислать другую. В Петербург как раз ехал из Москвы Адам Мицкевич, перезнакомившийся в салонах

Елагиной и Волконской со всей литературной Москвой. Он ехал с рекомендательным письмом Елагиной к Жуковскому.

«Г. Мицкевич отдаст вам мой *фонарь*, бесценный друг, — пишет Елагина 30 ноября. — Вам не мудрено покажется, что первый поэт Польши хочет покороче узнать Жуковского, а мне весело, что он отвезет вам *весть о родине* с воспоминанием об вашей сестре... Вас непременно соединит то, что в вас есть общего: возвышенная простота души поэтической». Мицкевич увидел квартиру Жуковского уже вполне приведенной в порядок: кабинет был устроен в самой большой комнате с камином, где были расставлены шкафы его библиотеки, монументальные гипсовые слепки, диваны и кресла, а также длинная конторка — рабочий стол поэта. Здесь Жуковский собирал по субботам друзей-литераторов. Остальные дни недели он работал, по выражению Вяземского, «как бенедиктинец», — все готовился к занятиям с великим князем. «Сколько написал он, сколько начертал планов, карт, конспектов, таблиц исторических, географических, хронологических! — удивлялся Вяземский. — Бывало, придешь к нему в Петербурге: он за книгою и делает выписки, с карандашом, кистью или циркулем, и чертит, и малюет историко-географические картины. Подвиг, терпение и усидчивость... Он наработал столько, что из всех работ его можно составить обширный педагогический архив».

Сюда стали приходить письма от родных и друзей. Александр Тургенев прислал ему выписку из письма брата Николая. Жуковский отвечал, по цензурным соображениям не упоминая имени Николая Тургенева: «У него открылось теперь, кажется, какое-то дружеское чувство ко мне, которого я не предполагал... Он до сих пор... смотрел на меня как на какого-то потерянного в европейской сфере. Ни моя жизнь, ни мои знания, ни мой талант не стремили меня ни к чему политическому. *Но когда же общее дело было мне чуждо?»* И далее Жуковский пишет, что знакомство с «внешним» (то есть современным) «необходимо для верности, солидности и теплоты идей». Он опасается, что совершенная погруженность в педагогические занятия ему «может со временем повредить: отдалит слишком от существенного, сделает чуждым современному и поселит в характере дикость, к которой я и без того склонен».

Жуковский навещал Козлова, тот закончил поэму

«Княгиня Наталия Борисовна Долгорукая» и передал Жуковскому рукопись для издания. Жуковский советовался с Дашковым, Блудовым, Вяземским, можно ли издавать *сейчас*. Сюжет ее живо напоминал новейшие события, так как княгиня Долгорукая в начале XVIII века отправилась добровольно в Сибирь, вслед за сосланным супругом, — Козлов предугадал отъезд жен декабристов — Трубецкой, Муравьевой и других. У этих жен уже были в руках рукописные отрывки поэмы Козлова (а одна глава была напечатана в «Северных цветах» на 1827 год). В январе 1828 года поэма была издана и имела успех. Козлов начал переводить «Крымские сонеты» Мицкевича, польский поэт побывал у него в начале 1828 года и в мае 1829-го — уже перед самым своим отъездом из России...

На четвертый этаж Шепелевского дворца часто поднимается Пушкин. «Он давно здесь, — пишет Жуковский Тургеневу. — Написал много. Третья часть «Онегина» вышла... у Пушкина готовы и 4, 5 и 6 книги «Онегина». «Годунов» — превосходное творение; много глубокости и знания человеческого сердца. Где он все это берет?»

В течение переписки с Тургеневым Жуковский почувствовал, что многие его письма пропадают где-то в пути... Это его насторожило. «Удивительное дело! — пишет он Тургеневу. — Ты только 12 ноября получил первое письмо мое. Итак, ты не получил многих. Не понимаю, что делается с письмами. Их читают, это само по себе разумеется. Но те, которые их читают, должны бы по крайней мере исполнять с некоторою честностию плохое ремесло свое. Хотя бы они подумали, что если уже позволено им заглядывать в чужие тайны, то никак не позволено над ними ругаться и что письма, хотя читанные, доставлять *должно*. Вот следствие этого проклятого шпионства, которое ни к чему вести не может. Доверенность публичная нарушена; то, за что в Англии казнят, в остальной Европе делается правительствами... Часто оттого, что печать худо распечаталась, уничтожают важное письмо, от которого зависит судьба частного человека. И хотя была бы какая-нибудь выгода от такой безнравственности, обращенной в правило! Что ж выиграли, разрушив святыню — веру и уважение к правительству? — Это бесит! Как же хотеть уважения к законам в частных людях, когда правительства все беззаконное себе позволяют? Я уверен, что самый верный хранитель общественного порядка есть не полиция, не шпионство, а нрав-

ственность правительства». Жуковский прямо говорит в этом письме об этих своих рассуждениях: «Все это для тех, кто рассудит за благо прочитать это письмо». Письма воспитателя цесаревича наверняка оказывались на столе не только у начальника III отделения собственной его императорского величества канцелярии Бенкендорфа, но и у самого царя (так же как письма Вяземского, Тургенева и других *подозрительных лиц;* Вяземский тоже резко писал в своих письмах отповеди для «читающих», имея в виду и царя).

В этом же письме Жуковский обещает Александру Тургеневу не забывать о деле его брата: «Для меня одно верно: мое *собственное убеждение* и моя готовность воспользоваться *благоприятною минутою».* Жуковский не мог не задуматься и о нравственности *отца своего воспитанника.* На форзаце изданной в 1827 году книги Греча «Пространная русская грамматика» он записал: «Я бы сказал государю: если тебя не спасет твоя любовь к народу и твое царствование, то надзор и усиленное шпионство еще менее спасут. Каков будет отец, если для созерцания за истовостью детей своих он будет портить другого, — тех не сбережет, а других погубит. Будь отец, будут и дети. Ты же государь. Шпионство есть язва народа, губящая право. А государю не честит и не льстит, но волнует его и наводит на думы. В Англии за открытие письма вешают». После декабрьского восстания доносительство приняло чудовищные размеры. Третье отделение утопало в доносах. Один из политических деятелей александровского времени, Яков де Санглен, вспоминал, что Николай I вызвал его и вручил ему для разбора и «критического прочтения» огромный рукописный фолиант — это был донос, *всего один донос на сотнях страниц.* «Это донос на всю Россию!» — сказал ему Николай...

Уроки и подготовка к ним отнимают у Жуковского все время. Он трудился с искренним увлечением, но грустно было ему, что не пишутся стихи, что почти некогда выйти на улицу, посетить салоны — Хитрово, Лаваль, просмотреть газеты — французские и немецкие. Только для Карамзиных изредка находит он время, да не забывает Козлова. «Хожу сверху Шепелевского дворца в учебную комнату моих милых учеников (вместе с великим князем занимаются его сверстники, Виельгорский и Паткуль. — *В. А.*) и более ничего, — пишет Жуковский Воейковой в Гиер, — час от часу отделяюсь далее от све-

та. Не знаю, хорошо ли это, но оно так. Мне по-настоящему не надо разлучаться с современным; напротив — надобно бы за ним следовать внимательно. Но это для меня невозможно, не умею гоняться за двумя зайцами». И в другом письме к ней же: «У нас все спит: и религия, и литература, а правительство действует без нас. Поневоле и ты будешь спать. Как ни таращь глаза, ничего не заметишь».

Жуковский чувствует себя одиноко. «В Царском Селе прошедшее бродило за мной как грустная тень, — пишет он Воейковой. — Проходя мимо первого твоего дома, Дурасовой, я зашел в него, будто для того, чтобы нанимать. Как много жизни в местах, покинутых милыми друзьями, но это жизнь мертвая. Лебеди кричат по-старому, а где вы?» — «А все прочие — где они? — продолжает он свои сетования уже в письме к Зонтаг. — Как многих нет! и как другие рассеяны. Екатерина Афанасьевна, около которой мы все собирались, почти *одна,* с маленькой внучкой и в соседстве гроба Маши; Саша с детьми у Средиземного моря; я один у Балтийского. Приютился к другой семье, живу в мире детей, но моих подле меня нет никого. Одна Дуняша на нашем старом пепелище. Помните наше последнее Светлое Воскресенье, в той церкви, в которой мы были все вместе с бабушкой и моею матушкой, и в которой после отпевали бабушку, и как скоро после того все начало крошиться! Пришла буря 1812 года; потом другая буря, хуже первой — Воейков, и все разлетелось».

А в Лондоне Николай Тургенев ждал решения своей участи. Его письмо к царю и записка о нем Жуковского попали, наконец, в руки царя. Жуковский пишет 13 марта 1828 года Александру Тургеневу в Лондон (он уже там, возле брата), что царь «мимоходом» сказал ему: «Читал маленькое, но, признаюсь, не убежден». И Жуковский раздумывает: «Что *маленькое?..* Не знаю. Я пошел за ним, хотел продолжать разговор, но не было никакой возможности. Он шел скоро и вошел в двери к императрице... С тех пор он не говорит ни слова, хотя я и много раз с ним встречался... Теперь вопрос: что мне делать? Что отвечать государю, если спросит: *чего желает Николай?* Могу ли сказать: *суда*? Кто же должен судить? И с кем должна быть очная ставка?.. Захочет ли Николай просить *милости*, чувствуя себя вполне невинным? А это одно, чего просить можно, по мнению Дашкова и Сперанского... Я сделал все, что было в моей

власти. В дополнение могу только продолжать утверждать на словах то, чему верю в сердце; но ты понимаешь, что мое убеждение не может иметь никакого веса... Признаюсь, с самого приезда моего сюда надежда, которую имели мы вместе, упала совершенно». И в следующем письме он предостерегает Александра Ивановича от излишних надежд: «Без суда, заочно, по одной бумаге, оправдания ожидать нельзя. Для этого нужно государю иметь твое и мое убеждение, которого он никогда иметь не будет».

Пушкин читал у Жуковского «Полтаву», только что законченную. («Самое прекрасное его произведение», — отозвался Жуковский.) В апреле 1828 года в присутствии Вяземского, Крылова, Грибоедова, Плетнева и Мицкевича Пушкин читал на «чердаке» Жуковского «несколько глав романа в прозе, à la Walter Scott [1], о дяде своем Аннибале», — пишет Вяземский Александру Тургеневу. Мицкевич читал «Конрада Валленрода» — Жуковский восхищался, жалел, что у него нет времени «кинуться переводить» эту любопытнейшую вещь... «Третьего дня провели мы вечер и ночь у Пушкина с Жуковским, Крыловым, Хомяковым, Мицкевичем, Плетневым и Николаем Мухановым, — сообщал Вяземский жене 2 мая 1828 года. — Мицкевич импровизировал на французской прозе и поразил нас, разумеется, не складом фраз своих, но силою, богатством и поэзиею своих мыслей... Удивительное действие производит эта импровизация. Сам он был весь растревожен, и все мы слушали с трепетом и слезами».

В Москву из Дрездена был доставлен доктором Антоном Дитрихом (который был и литератором, — он переводил на немецкий язык стихи русских поэтов) так и не вылечившийся Батюшков. В дороге он останавливался в Белёве — сломалась чека в экипаже — и пробыл там четыре дня (с 10 по 13 августа), так и не осознав, что это родной город его лучшего друга. Батюшкова и его сестру приютила Елена Григорьевна Пушкина. Больной поэт все время рисовал, варьируя излюбленные мотивы: могила с крестом, замок, ночь, деревья, неоседланные кони (это в воспоминание гибели в 1813 году его друга Петина, воина и стихотворца, которого знал и Жуковский, — они учились вместе в Московском университетском благородном пансионе). «Жихарев прислал мне

[1] Вроде Вальтера Скотта *(франц.)*.

один рисунок его, — пишет Жуковский Тургеневу. — Видно, что он над ним трудился, и прилежно. Со временем надобно будет переселить его в Петербург». Рассказав Александру Ивановичу последние события турецкой войны (об успехе в Анапе и неудачах при Шумле), Жуковский возвращается к Петербургу: «У нас же нет ничего замечательного на сцене. Да я и не очень замечательно смотрю на нее». И, как бы стыдясь чего-то, признается, что «снова принялся за стихи, но и это для моих же лекций». Жуковский переводил отрывки из «Илиады» Гомера. «По незнанию Гомерова языка лажу с Фоссовым шероховатым, но верным переводом; переводя Фосса, заглядываю в Попа и дивлюсь, как мог он при своем поэтическом даровании так мало чувствовать несравненную простоту своего подлинника, которого совершенно изуродовал жеманным своим переводом».

Жуковский не собирался переводить всю «Илиаду», и не только из-за недостатка времени, а и из этических соображений, — Гнедич готовил к печати свой гениальный труд, полный гекзаметрический перевод поэмы Гомера, который, как прекрасно понимал Жуковский, — явление не преходящее (каковы переводы «Илиады» Фосса и Попа), а принадлежащее будущим векам. Жуковский не собирался равняться с Гнедичем, переводившим с древнегреческого языка, — у него была другая задача (однако не стихотворное иллюстрирование лекции). Он подумал о том, что Гомер, как бродячий рапсод, не мог петь всю «Илиаду» (или «Одиссею») *подряд,* а если допустить, что и мог, то это были считанные разы, праздники многодневного пения. «Илиада» составлена им была из тех преданий, которые во множестве мог он узнать от своих учителей и других сказителей. Дошедшая до нас «Илиада» — один из вариантов, одна из *гомеровских композиций* на сюжеты троянских мифов и исторических событий древности. Могли существовать и *малые* варианты, стоящие рядом с «большой» «Илиадой» как произведения самостоятельные, отдельные от нее. Это по жанру похоже на *эпиллий* — завершенный по сюжету эпизод в эпической поэме (два таких эпиллия уже перевел Жуковский: «Цеикса и Гальциону» из «Метаморфоз» Овидия и «Разрушение Трои» из «Энеиды» Вергилия). Но на этот раз Жуковский не просто взял эпизод, а скомпоновал несколько отрывков, соединив их *собственным* текстом, так что получилась небольшая поэма, полная драматизма, страстей, причем Жуковский не сохраняет

эпической прямоты Гомера, а вносит в характеры героев психологическую — романтического характера — сложность (эти герои в «Малой Илиаде» Жуковского — Гектор и Ахиллес). Можно считать, что Жуковский создал по мотивам древней эпической поэмы — *романтическую* (в спорах о романтизме начала 1820-х годов нередко высказывалась мысль, что живи Гомер в «наше» время, он был бы романтиком). Жуковский не дал своей поэме названия (она печаталась в «Северных цветах» на 1829 год и в сочинениях Жуковского под заголовком «Отрывки из Илиады»). И многие не увидели в смелом опыте великого поэта настоящего его значения.

Эпизоды разделены собственным текстом Жуковского, обозначенным курсивом. «Отрывки из Илиады» нельзя назвать *переводом:* там, где Гнедич титаническим трудом добивался впечатления подлинности текста, Жуковский почти *открыто* (а в некоторых местах и *совсем*) осовременивал Гомера, вторгаясь в каждую частность. У Жуковского получилось необыкновенной красоты и глубины произведение, недостаточно оцененное современниками единственно потому, что оно попало в тень гиганта — гнедичевского перевода «Илиады»...

Вслед за этим Жуковский сделал перевод баллады Шиллера «Торжество победителей», — здесь тоже гомеровский сюжет, не вошедший в «Илиаду», но примыкающий к ней. Это как бы продолжение «Малой Илиады» Жуковского.

Жуковский читает вышедшую в 1829 году в Дерпте книгу Густава Эверса «Политика» и делает записи на полях, в которых размышляет о власти и государстве (Эверс — друг Жуковского, книгу он вручил Жуковскому с теплой дарственной надписью). «Цель государства: чтобы общество человеческое было счастливо возможною свободою, — пишет Жуковский, — то есть нравственною деятельностью, наслаждением всеми правами, возвышением достоинства человеческого... Чтобы человек в обществе смог возможно достигнуть цели бытия своего, а сия цель есть счастье, состоящее в свободном развитии всех сил...» В другой записи — мысль о народных представителях: «Каждое государство основано не на договоре, — но с течением времени идет оно к тому, чтобы из него произошел *договор.* Ибо понятия о власти и подданных *как о праве* обязательны и для государя и для подданных: народ мужает и его представители являются для заключения договора окончательно». О роли *закона*

и *просвещения* в становлении государства говорил Жуковский и в своих лекциях по русской истории. В 1829 году на основании своих же хронологических таблиц, трудов Карамзина, Шлёцера, Эверса и других историков, а также русских летописей, Жуковский пространно изложил свой взгляд на историю Древней Руси. Государство, считает он, крепнет там, где *властитель* подчиняется закону. Жуковский, рассматривая историю всех правлений от Рюрика до Андрея Боголюбского, везде осуждает *деспотизм,* как силу, которая не раз приводила Русь на край бездны... Деспотизм же, как он считает, может уничтожиться только просвещением. Однако *просвещенной монархии,* о которой мечтали деятели французского просвещения (Монтескье и другие), воспитатели немецких князей (Энгель и другие), *никогда не существовало.* Это был идеал либеральных просветителей. В России ни Петр, ни Екатерина, ни Александр не смогли хоть сколько-нибудь близко подойти к этому идеалу. Вряд ли кто-нибудь из сторонников просвещенной монархии верил в практическую возможность ее устроения, но для них, в том числе и для Жуковского, это во многом был благоприятный способ говорить открыто о законности, о правах народа и обязанностях государя, о просвещении и свободе, о неприкосновенности человеческой личности и т. д., что иногда давало хоть какие-то, пусть немногочисленные, добрые плоды. А Жуковский нередко заходил далеко — он с простодушным видом (может быть, нарочито простодушным) *открыто и часто* говорил на лекциях и писал в письмах к царю и царице вещи, которые могли звучать и как обличение существующей власти. История, говорит Жуковский в лекции по истории России, учит «властителей»: «Ваше могущество не в одном державном владычестве, — оно и в достоинстве и в благоденствии вашего народа... Там нет закона, где каждый законодатель; там нет свободы, где каждый властитель; где каждый на своем месте покорен закону (в том числе и царь. — *В. А.*), там и для всех совокупно нет другого властителя, кроме закона».

Между тем судьба готовила для Жуковского новую тяжкую утрату. Светлана после Гиера жила летние месяцы в Женеве, потом переехала Альпы, побывала в городах Северной Италии и остановилась на житье в Пизе. К февралю 1829 года силы стали ее покидать окончательно. Ее переносили даже из комнаты в комнату. Она сидела или лежала. Единственным утешением были для

нее письма родных и друзей. Перед нею всегда стоял портрет Жуковского. Из Гиера в Пизу вместе с семьей Воейковой приехал их друг — и друг Жуковского — молодой дерптский медик Зейдлиц. Но ни он, ни итальянские врачи уже ничем не могли помочь Светлане. Она умирала. Не решаясь открыть это Жуковскому, она написала о своем положении Перовскому. 4 февраля Жуковский писал ей: «Я прочел твое письмо к Перовскому: нам должно лишиться тебя; я даже не знаю, кому я пишу, жива ли еще ты, прочтешь ли ты это письмо?.. Я знаю, что в смерти нет для тебя ничего страшного... Твоя жизнь была чиста... О нас и нашей горести не беспокойся, перенести ее необходимо. Но ты будешь жить для нас в привязанности нашей к твоим детям и в заботах наших о них... Что всего дороже, все уходит *туда.* Разве ты покидаешь меня? Нет, ты становишься для меня осязательным звеном между здешним миром и тем». Саша не успела прочитать это письмо. Она скончалась 14 февраля. Жуковский получил известие об этом от Зейдлица и Кати, старшей дочери Светланы. Зейдлиц собственноручно делал гроб. Он же доставил детей Светланы в Россию. «Саши нет на свете, — оповестил Жуковский Тургенева. — ...С 15-летнего возраста до теперешнего времени была она во всем моим прелестным товарищем. Сперва как милый цветущий младенец, которым глаза любовались... потом как веселая, живая, беззаботная, как будто обреченная для лучшего земного счастья, как сама ясная надежда. Как была она мила в своей первой молодости! Точно воздушный гений, с которым так было весело мне в моем деревенском поэтическом уединении. Потом как предмет заботы и сострадания, как смиренная, но всегда веселая при всем своем бедствии, *жертва Воейкова.* Все это пропало». У Светланы много было друзей в Петербурге, но всех горше вздохнул о ней верный ее друг — слепец Иван Козлов, с которым целый вечер проговорил пришедший с печальным известием Жуковский...

Всех позднее написал Жуковский о смерти Светланы ее матери — Екатерине Афанасьевне. Это было 10 апреля. В том же месяце он выехал в Дерпт и сам — ему предстояла поездка в свите наследника в Варшаву и Берлин. Наследник же сопровождал своих родителей. Николай I решил короноваться в Варшаве польской короной, а в Берлине повидать своих прусских родственников. Жуковский ехал отдельно, сам по себе, присоединяясь к двору

лишь в необходимые моменты. Он провел с неделю в Дерпте с Екатериной Афанасьевной и Мойером, потом десять дней в Варшаве и восемь в Берлине. 23 июня в 6 часов утра Жуковский вернулся в Петербург. Словно смутный сон мелькнуло это путешествие. Жуковский думал о Светлане. Дважды проехав Дерпт (туда и обратно), Жуковский оба раза посетил могилу Маши. «А они *обе,* — писал Жуковский Елагиной о Маше и Саше, — лучшее наше во время оно, — где они? И гробы их на их жизнь похожи. Около одной скромная, глубокая, цветущая тишина: ровное поле, дорога, вечернее солнце; около другой — живое, веселое небо Италии, благовонные цветы Италии. Где-то их милые, светлые души?»

С этого года начались и педагогические разочарования. Великий князь, ученик Жуковского, увлекался парадами, смотрами, походами, любил свои разнообразные офицерские мундиры — казачий, уланский, егерский, — ему нравилось красоваться на приемах, балах, он быстро приобрел светский лоск, непринужденность, но вместе с тем и неохоту к изучению наук. На заключительных экзаменах 1829 года Жуковский в наставительной речи увещевал своего воспитанника: «На том месте, которое вы со временем займете, вы должны будете представлять из себя образец всего, что может быть великого в человеке, будете предписывать законы другим, будете требовать от других уважения к закону. Пользуйтесь счастливым временем, в которое можете слышать наставления от тех, кои вас любят и могут свободно говорить вам о ваших обязанностях; но, веря нам, приучайтесь действовать сами, без понуждения, произвольно, просто из любви к должности, иначе не сделаетесь образцом для других, не будете способны предписывать закон и не научите никого исполнять закона, ибо сами не будете исполнять его...»

Зато с какой радостью увидел Жуковский у себя другого юношу — блестяще талантливого, умного, скромного. Это был его родственник, «долбинский» воспитанник, о котором он, уехав из Долбина, никогда не забывал, сын Елагиной от первого брака — Иван Киреевский. В Москве он служил в архиве коллегии иностранных дел, в 1824 году примкнул к кружку «любомудров». С ранней юности он жил литературными интересами. Его глубоко интересовала философия (недаром он просил Жуковского купить ему за границей Шеллинга...). Он писал критические статьи («Нечто о характере поэзии Пушкина», напечатанная в «Московском вестнике» 1828 года, — о ней

Жуковский писал Елагиной: «Умная, сочная, философическая проза»). Он привез в январе 1830 года Жуковскому альманах «Денница», изданный Максимовичем в Москве, — здесь напечатано было написанное Киреевским «Обозрение русской словесности 1829 года». Жуковский прочел о себе: «Старая Россия отдыхала; для молодой нужен был Жуковский. Идеальность, чистота и глубокость чувств, святость прошедшего, вера в прекрасное, в неизменяемость дружбы, в вечность любви, в достоинство человека и благость провидения; стремление к неземному; равнодушие ко всему обыкновенному, ко всему, что не *душа*, что не *любовь*, — одним словом, вся *поэзия* жизни, все *сердце души*, если можно так сказать, явилось нам в одном существе и облеклось в пленительный образ музы Жуковского. В ее задумчивых чертах прочли мы ответ на неясное стремление к лучшему и сказали: «Вот чего недоставало нам!» Еще большею прелестью украсила ее любовь к отечеству, ужас и слава народной войны. Но поэзия Жуковского, хотя совершенно оригинальная в средоточии своего бытия... была, однако же, воспитана на песнях Германии. Она передала нам ту идеальность, которая составляет отличительный характер немецкой жизни, поэзии и философии, — и таким образом в состав нашей литературы входили две стихии: умонаклонность французская и германская. Между тем лира Жуковского замолчала. Изредка только отрывистые звуки знакомыми переливами напоминали нам о ее прежних песнях...»

Статья Киреевского вызвала целую полемику. О ней с похвалой писал Пушкин в «Литературной газете» (он отнес Киреевского к «молодой школе московских литераторов», находящейся под влиянием «новейшей немецкой философии»; статью его он нашел «занимательной» и «красноречивой»). 14 января Пушкин был у Жуковского и, как пишет Киреевский домой, «сделал мне три короба комплиментов об моей статье». Жуковский, говорит Киреевский, «взял мою статью на ночь и улегся спать. На другой день говорил, что она ему не понравилась. «Опять Прокрустова постель», — говорит он. «Где нашел ты литературу? Какая к черту в ней жизнь? Что у нас своего?..» — говорит, однако же, что эта статья так же хорошо написана, как и первая, и со временем из меня будет прок». Жуковскому не понравилось, что его юного родственника-литератора осыпают похвалами, и он ворчит.

Жуковский с огромным удовольствием читал вслух —

при Пушкине — домашний рукописный журнал Киреевских-Елагиных «Полночная дичь». «Пушкин смеялся на каждом слове, и все ему нравилось. Он удивлялся, ахал и прыгал», — пишет Киреевский. 22 января Жуковский посадил Киреевского в дилижанс до Берлина, — он ехал в Берлин и Мюнхен учиться (его брат Петр уже полгода как учился в Мюнхенском университете). «Ваня — самое чистое, доброе и умное и даже философическое творение... К несчастью, по своим занятиям я не мог быть с ним так много, как бы желал, но всё мы пожили вместе. Я познакомил его с нашими отборными авторами; показывал ему Эрмитаж». Жуковский много шутил, разыгрывал Киреевского, но однажды с грустью сказал, что хотел бы окончить учение великого князя и весь остаток жизни посвятить переводу «Одиссеи».

Жуковский по субботам занят. Теперь у него литераторы собираются по пятницам. В одну из пятниц пришел Гнедич, вернувшийся из Одессы. «Никогда не был я так неприятно поражен уединением и одиночеством жизни нашего любезного друга», — писал он Анне Петровне Зонтаг под впечатлением пустынности огромного кабинета Жуковского с низким потолком. Пушкин, Шаховской, Крылов, Гнедич, Плетнев, еще кто-нибудь, редко вместе, чаще поврозь, пристраивались в уголках диванов, грелись у камина, читали стихи... Как-то попал сюда молодой поэт, переводчик «Фауста» Гёте, Губер. «Я видел Жуковского! — писал он родным. — Так, я видел того, кто создал для русского — творенья Шиллера, кто начертал свое имя в скрижалях бессмертия».

Жуковский редко покидал дворец, но посещал изредка Козлова и графиню Лаваль, у которой продолжались литературные чтения и музыкальные концерты. Каждый раз он поручал ей передать от него самый сердечный привет ее дочери — Екатерине Трубецкой, — его глубоко тронул героический поступок ее, когда после осуждения декабристов она добровольно поехала в Сибирь к сосланному на каторгу супругу. Он знал многих из тех женщин, что последовали примеру Трубецкой, — Фонвизину, Муравьеву, Волконскую. Не было, пожалуй, ни одной семьи, перенесшей потрясение 14 декабря с его последствиями, из которой кто-нибудь не обратился с просьбой о заступничестве к Жуковскому. Он не упускал ни малейшей возможности помочь просителям. Это были многообразные просьбы об улучшении быта сосланных, о переписке, лечении, переездах, переселениях. *Всего* добиваться было

невероятно трудно. В отчаянии Жуковский решился было на фантастический, заведомо ложный шаг — просить императора не о *частностях,* а прямо об изменении всей судьбы сосланных к лучшему.

В январе этого — 1830-го — года он набросал черновик письма к царю, где писал: «Государь! Я осмелился просить вас за Александра Тургенева и упомянуть перед вами о брате его; теперь осмеливаюсь делать более: говорить о других осужденных... Время строгости для них миновало! время милости наступило! Пришла пора залечить те раны, которые в стольких сердцах болят и вечно болеть не перестанут. Государь! *произнесите амнистию!* Обрадуйте ваше сердце, Россию и Европу!.. *Произнесите амнистию».* Он писал о горе «несчастных семейств», о том, чтобы дать возможность ссыльным приносить благо отечеству, — разрешить им свободно жить в Сибири. «Несчастные гибнут без пользы для края, который служит для них темницей. А пока они живы, хотя Россия вообще и забыла о них, все же иногда их печальная участь будет тревожить умы как страшное сновидение». Письмо не было подано, но царь прослышал о нем и вызвал Жуковского. Как отметил Жуковский — «это свидание было не объяснение, а род головомойки, в которой мне нельзя было поместить почти ни одного слова».

— Что это ты писал ко мне? — спросил Николай.

— Вы знаете, — отвечал Жуковский, — что я к вам привязан. А меня бог знает кто очернил в вашем мнении.

— Слушай! Знаешь ли пословицу: скажи мне, кто твои друзья, и я скажу тебе, кто ты? Ее можно применить к тебе. Несмотря на то, что Тургенев осужден, и я тебе говорил о нем... Ты беспрестанно за него вступался и не только мне, но и везде говорил, что считаешь его невиновным.

— Да я ведь знал его прежде и знаю о нем то, чего правительство не знает. Когда вы мне сказали...

— Слушай! — перебил царь Жуковского. — Ты имел связь с Вяземским, который делал множество непозволительных поступков, был постоянным зажигателем... А тебя называют главою партии, защитником всех тех, кто только худ с правительством.

— Да кто называет? Я ничего не знаю и знать не хочу, живу у себя, делаю свое дело... Мнение обо мне вы должны почерпать из моей жизни, а не из того, что скажут другие.

— Ты при моем сыне, — грозно сказал царь. — Как

же тебе слыть сообщником людей беспорядочных или осужденных за преступление?

Аудиенция кончилась. Царь не пожелал больше слушать ничего, но дома Жуковский записал все то, что он *желал бы сказать*. Он отметил, что «результатом» разговора доволен, так как он заставил его «о многом переменить мнение и многого страшиться в будущем». И далее: «Если бы я имел возможность говорить, вот что бы я отвечал... Разве вы не можете ошибаться? Разве правосудие (особливо у нас) безошибочно? Разве донесения вам людей, которые основывают их на тайных презренных доносах, суть для вас решительные приговоры Божии? Разве вы можете осуждать, не выслушав оправдания?.. Разве могу, не утратив собственного к себе уважения и вашего, жертвовать связями целой моей жизни. Итак, правилом моей жизни должна быть не совесть, а все то, что какому-нибудь низкому наушнику вздумается донести на меня, по личной злобе, Бенкендорфу... Я не могу бегать по улицам и спрашивать у всех возможных на меня доносчиков, что мне думать, что мне делать и кого любить... Мы никогда не можем быть правыми. Поэтому в России один человек добродетельный: это Бенкендорф! Все прочие должны смотреть на него в поступках своих как на флигельмана... А он произносит свои осуждения по доносам... Я с своей стороны буду продолжать жить как я жил. Не могу покорить себя ни Булгариным, ни Бенкендорфу: у меня есть другой вожатый — моя совесть».

Жуковский все-таки не отступил, — он передал свое письмо о декабристах императрице, которой не чужды были хотя бы дела благотворительности. Она обещала поговорить с супругом. Он выслушал ее, ничего не сказал, но ничего и не сделал, а Бенкендорф получал все новые и новые доносы на Жуковского и доводил их до «высочайшего» сведения.

Уже в марте 1830 года Жуковский почувствовал, что царь снова недоволен им. Он спросил о причине императрицу. Она ответила, что царь сердится на него за то, что он «впутывается в литературные ссоры», что в журналистских дрязгах между Гречем, Булгариным и Воейковым он держит сторону последнего и пользуется придворными связями, чтобы наказывать других. Жуковский сразу понял, что это — результат доносов Булгарина. Нужно было вступиться за свое достоинство, за достоинство литератора, поэта, и Жуковский написал объяснительное письмо к царю. «Во все время моего авторства я

ни с кем не имел литературных ссор, — пишет он. — ...ибо писал не для ничтожного, купленного интригами, успеха, а просто по влечению сердца... Как писатель, я был учеником Карамзина; те, кои начали писать после меня, называли себя моими учениками, и между ними Пушкин, по таланту и искусству, превзошел своего учителя. Смотря на страницы, мною написанные, скажу смело, что мною были пущены в ход и высокие мысли, и чистые чувства, и любовь к вере, и любовь к отечеству. С этой стороны имею право на одобрение моих современников. Стихи мои останутся верным памятником и моей жизни, и, смею прибавить, славнейших дней Александрова времени. Я жил как писал: остался чист и мыслями, и делами». Это была одна жизнь. Она, как пишет Жуковский, кончилась... «Теперь живу не для себя, — продолжает он, и далее звучит в его словах плохо скрытый упрек в непонимании и неблагодарности. — Я простился с светом; он весь в учебной комнате великого князя, где я исполняю свое дело, и в моем кабинете, где я к нему готовлюсь... Каждый из учителей великого князя имеет определенную часть свою; я же не только смотрю за ходом учения, но и сам работаю по всем главным частям... Чтобы вести такую жизнь, какую веду я, нужен энтузиазм».

Новый, 1831 год Жуковский встретил один в своем кабинете. Он перечитывал письма Маши и Саши. «Такие минуты лучше быть одному с семьей воспоминаний, нежели в чужой, хотя и любезной семье, — пишет он Елагиной. — Можно сказать, что я провел эти последние минуты прошлого и первые минуты нового года между двумя гробами». О многом Жуковский думал в эту ночь. Он вспомнил свои слова из письма к царю (они были еще так свежи): «С той минуты, в которую возложена была на меня учебная часть воспитания великого князя, авторство мое кончилось, и я сошел со сцены». Да, великий князь запоминает все, что ему преподают. Но он ленив. Самолюбив. Увлекается мишурным блеском, хотя по-детски добр... Царица — с тонкой душой, но безвольна и находится под сапогом у грубоватого и весьма самолюбивого супруга, который все хлопочет о том, чтоб соблюдены были законы, а в России — тюремная тишина... Нет, нельзя «сходить со сцены» русской поэзии, — нужно вернуться на нее! Энтузиазм, отданный педагогу, — вернуть литературу... Дело «воспитания» пойдет дальше и само, — эта машина хорошо налажена...

Жуковский взглянул на стол, — там лежали большие

листы, наклеенные переплетчиком Зегельхеном на кисею: нужно делать новую хронологическую таблицу... Сам не заметил, как на месте этих листов (свернутых и убранных в шкап) оказались тома Гердера, Бюргера, Саути, Шиллера, Гебеля, — все разом; как легли рядом черновые тетради... Долго стоял он, скрестив руки на груди, над этими книгами. Он верил своему сердцу, оно говорило: да, ты счастлив, ты вернулся на родину... И как хорошо, что души Маши и Светланы (рядом с книгами лежали их письма) безмолвно одобрили его. Он знал, что *одобрили*.

Новые силы прихлынули к нему. Живя так же одиноко, он беспрерывно работал, вставая в свои пять часов утра. Он успевал все, — делать программы, хронологические и генеалогические таблицы, читать лекции и — писать, ежедневно, стихи.

Вдохновение не покидало его. Огромный мир образов, чувств, красок, словно вырвавшись из плена, золотым дождем обрушился на него... Как бы декорации прекрасных сказок (уже приближающихся) возникли «Загадки» — про «жемчужный разноцветный мост», который «из вод построен над водáми», про «пажить необозримую», где пастух с рожком серебряным пасет — «сереброрунные стада...». В шести строках маленького стихотворения весело улыбнулась весна:

Зелень нивы, рощи лепет,
В небе жаворонка трепет...

В январе он перевел два больших отрывка из «Сида», испанского героического эпоса, пользуясь не только немецким переводом Гердера, но и подлинными испанскими романсами. И снова Уланд — романтическая картина морского берега, с замком, с шумом волн; сказка о горькой и таинственной утрате.

Затем одна за другой, словно вызванные волшебной силой, стали появляться баллады: «Кубок» (из Шиллера), начато было еще в 1825 году; «Поликратов перстень» (Шиллер); «Жалоба Цереры» (Шиллер); «Доника» (Саути); «Суд божий над епископом» (Саути); «Алонзо» (Уланд); «Ленора» (это третий перевод баллады Бюргера, непохожий на первые два, но более схожий с оригиналом); «Покаяние» (Вальтера Скотта); «Королева Урака и пять мучеников» (Саути), — все это было закончено уже к началу апреля.

К маю — началу июня были написаны стихотворные повести: «Перчатка» (из Шиллера); «Две были и еще

одна» (три повести, 1-я и 2-я — баллады Саути; 3-я — переложенный в стихи прозаический рассказ Гебеля); «Неожиданное свидание» (также проза Гебеля); «Сражение со змеем» и «Суд божий» — обе из Шиллера. Тогда же — в первую половину 1831 года — были начаты: перевод отрывка из поэмы Вальтера Скотта «Мармион» — названного Жуковским «Суд в подземелье», и переложение в стихи прозаической повести Фридриха де ла Мотт-Фуке «Ундина». И наконец, начал Жуковский писать оригинальную поэму, сюжет которой позволял развернуть огромное историко-философское полотно: «Странствующий Жид».

В июле 1831 года вышли сразу два издания: «Баллады и повести В. А. Жуковского» в двух частях и «Баллады и повести В. А. Жуковского» в одном томе (они разнились составом, например, во втором издании был «Сид», а в первом его не было). Гоголь, познакомившийся с Жуковским в начале этого года (Жуковский и Плетнев помогли ему найти службу в Петербурге), писал — чуть позднее, осенью — Данилевскому: «Чудное дело! Жуковского узнать нельзя. Кажется появился новый обширный поэт... А какая бездна новых баллад!» Пушкин из Царского Села сообщает Вяземскому: «Однако ж вот тебе и добрая весть: Жуковский точно написал 12 прелестных баллад и много других прелестей». И в других письмах: «Жуковский все еще пишет»; «Жуковский написал пропасть хорошего и до сих пор все еще продолжает».

Жуковский как будто продолжал самого себя. Но Гоголь был прав: он явился в *новом* качестве. Он еще не стал, но уже становился другим поэтом, вернее, переходил к другим областям своего огромного, *обширного* таланта. Он переставал быть поэтом-лириком и становился поэтом-рассказчиком. Этот поворот наметили еще «Отрывки из Илиады». Потом возникли мечты об «Одиссее» — о полном ее переводе. Давно уже работал он над роскошным и мужественным Сидом. Давно уже привлекала его эпическим размахом библейская тема Вечного Жида, который в ожидании Второго Пришествия скитается в веках и странах. Возникли у Жуковского замыслы сказок... Давно он разрабатывает гекзаметр — многообразный, оригинальный — в «Аббадоне», «Красном карбункуле», «Цеиксе и Гальционе», в антологических стихотворениях, в повестях «Две были и еще одна», «Неожиданное свидание», «Сражение со змеем», «Суд божий», гекзаметром начал писать и «Ундину». Баллады его также складыва-

лись в некое *эпическое единство,* — он увидел в 1831 году, что этому единству недостает еще лишь немногих глав, чтоб оно стало полным отражением мира человеческих страстей — всяких, высоких и низких, живительно-радостных и мрачно-бездушных... В них соседствуют боги Олимпа, средневековые рыцари, короли и королевы, силы неба и ада, вмешивающиеся в жизнь людей. Жуковский рисует обобщенные, но впечатляющие характеры доблестных рыцарей, коварных предателей, несчастных влюбленных, безжалостных правителей, простодушных добряков.

Богатый, гибкий язык, изобретательная метрика, блеск стиха, целая буря поэтических образов и идей, — все поразило читателей «Баллад и повестей В. А. Жуковского»... И он продолжал писать, как будто не замечая, что одна из самых заветных областей его поэзии отошла от него уже в первые два-три года после смерти Маши: это *лирика.* Маша была душой его лирики. Лирическая струя, звучавшая явственно в его прежних балладах, угасла тоже. Однако есть переход поэзии Жуковского в новое качество, но разрыва — границы — не видно. Поэзия его едина. Эпос его вырос на почве его лирики.

В делах Жуковский не сразу заметил, что Петербург как-то притих и опустел. Началась холера. С каждым днем становилось все больше и больше смертных случаев. По городу начали устраивать лазареты. В июне двор, а вместе с ним и Жуковский, выехал в Петергоф. К июлю переехали в Царское Село. Оттуда Жуковский писал Тургеневу и Вяземскому в Москву: «Вы хлопочете о том, не съела ли меня холера? Нет, не съела! Жив, жив курилка! Еще не умер... Ничто прилипчивое ко мне не прилипает; это я знаю еще с детства... Пушкин мой сосед, и мы видаемся с ним часто... Я более и более за него радуюсь тому, что он женат. И душа, и жизнь, и поэзия в выигрыше».

Пушкин жил в доме Китаева на Колпинской улице, Жуковский — в Александровском дворце. Жуковский по обыкновению шутил с фрейлинами, особенно с черноокой Россет-Смирновой, которой посвящал шуточные стихи гекзаметрами. Кажется, шутки Жуковского с фрейлинами, его «арзамасские стихи» в придворном быту, во многом были маской умного шута, желающего не развлекать, а укрыться в себя при многолюдстве, при такой массе чуждых людей. Жуковский «ехал на галиматье» и вел себя неэтикетно, совершенно простодушно. Чуть ли не с первых дней его жизни во дворце маска эта была принята

окружающими. Никто, конечно, не думал, что Жуковский такой всерьез. Жуковский-поэт и даже Жуковский-наставник не имели с этой придворной маской ничего общего, поэтому личность Жуковского всегда была окружена некой тайной. Это была личность возвышенная, наделенная огромным талантом и гениальной интуицией, самоотверженной и беспредельной добротой, знанием человеческой натуры и человеческих страстей, личность сильная, но глубоко печальная, даже надмирная.

В Царском Селе Жуковский жадно бросился читать все, что сочинил Пушкин в Москве, чего не читал из старого, еще Михайловского. Характерна его записка Пушкину от июля 1831 года: «Возвращаю тебе твои прелестные пакости. Всем очень доволен. Напрасно сердишься на «Чуму»: она едва ли не лучше «Каменного гостя». На «Моцарта» и «Скупого» сделаю некоторые замечания. Кажется, и то и другое еще можно усилить. Пришли «Онегина». Сказку октавами, мелочи и прозаические сказки все, читанные и нечитанные. Завтра все возвращу».

Оба они в Царском Селе много работали. «Жуковский все еще пишет, — сообщает Пушкин Вяземскому 3 сентября, — завел 6 тетрадей и разом начал 6 стихотворений; так его и несет. Редкой день не прочтет мне чего нового; нынешний год он верно написал целый том». Летом часто виделся с Жуковским и Пушкиным Гоголь, который жил в семье Васильчиковых в Павловске в качестве учителя. Вероятно, он часто покидал Павловск, так как писал, что «почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я». Гоголь сообщает своему корреспонденту, что Пушкин пишет «сказки русские народные, — не то, что «Руслан и Людмила», но совершенно русские». Он говорит, что Жуковский тоже пишет «русские народные сказки, одни экзаметрами, другие просто четырехстопными стихами».

К этому времени Гоголь уже написал и готовил к печати первую часть «малороссийских сказок» (по определению первого их критика В. Ф. Одоевского) — «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (сюда вошли «Сорочинская ярмарка», «Вечер накануне Ивана Купала», «Майская ночь, или Утопленница», «Пропавшая грамота»). В «Литературных прибавлениях» к «Русскому инвалиду» Пушкин писал «Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость... А местами какая поэзия!»

Пушкин в Царском Селе в 1831 году написал «Сказку о царе Салтане», Жуковский — «Сказку о царе Берендее», «Спящую царевну» и «Войну мышей и лягушек», первую и третью — гекзаметрами, вторую — четырехстопным хореем с одними мужскими рифмами. Как в «Шильонском узнике» и «Суде в подземелье», Жуковский в «Спящей царевне» не побоялся «рубки» однообразных мужских рифм, — стих сказок полон непринужденной разговорности.

В октябре 1831 года Жуковский получил письмо из Москвы от Ивана Киреевского, который хотел начать издание своего журнала. «Издавать журнал такая великая эпоха в моей жизни, — писал он, — что решиться на нее без вашего одобрения было бы мне физически и нравственно невозможно... Русская литература вошла бы в него только как дополнение к европейской, и с каким наслаждением мог бы я говорить об вас, о Пушкине, о Баратынском, об Вяземском, об Крылове, о Карамзине на страницах, не запачканных именем Булгарина».

Жуковский не отвечал только потому, что сам собирался ехать в Москву, — он должен был сопровождать своего ученика, великого князя Александра Николаевича. 25 октября он выехал из Петербурга, а 28-го был уже в доме Елагиных у Красных ворот, где смог обнять своих родных после долгой разлуки, вдоволь наговориться с Авдотьей Петровной, с ее супругом, с сыновьями; была, конечно, беседа и с Иваном Киреевским об его «Европейце», — Жуковский не только благословил его, но и передал ему «Войну мышей и лягушек», то есть все, что он в это время имел свободного. Обещали Киреевскому свои стихи Баратынский и Языков. А в основном он полагался на свои силы. Повидал Жуковский и старую литературную братию: Дениса Давыдова, Вяземского, Дмитриева. Так, 29 октября Александр Тургенев пишет Пушкину: «Вчера провели мы вечер у Вяземского и Дмитриева с Жуковским. Мы вспомнили и о тебе, милый Сверчок-поэт, а Жуковский и о твоем издании в пользу семейства незабвенного Дельвига... И Чаадаев был с нами». 15 ноября Жуковский вернулся в Петербург. В книжных лавках Петербурга и Москвы продавались его «Баллады и повести». До конца года он рассылал дарственные экземпляры... 1 января 1832 года Гоголь писал Данилевскому: «Читал ли ты новые Баллады Жуковского? Что за прелесть! Он вышли в двух частях вместе со старыми».

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

(1832—1837)

В январе 1832 года в Москве вышли два первых номера журнала Ивана Киреевского «Европеец» (готов был и уже печатался и третий номер). Книжки были составлены превосходно, а статьи самого издателя — в особенности «Девятнадцатый век» — умны, талантливы, согреты истинной любовью к просвещению, к России. Жуковский читал их с глубоким чувством удовлетворения. В то же время читал «Европейца» и император. Но он читал его не из любознательности, а вследствие доноса Булгарина. Царь вызвал Бенкендорфа и втолковал ему все, что он думал, читая журнал. Бенкендорф — это было 7 февраля — направил письмо министру народного просвещения князю Ливену: «Государь император, прочитав в № 1 издаваемого в Москве Иваном Киреевским журнала под названием «Европеец» статью «Девятнадцатый век», изволил обратить на опую особое свое внимание. Его величество изволил найти, что вся статья сия есть не что иное, как рассуждение о высшей политике... Сочинитель, рассуждая будто бы о литературе, разумеет совсем иное; что под словом *просвещение* он понимает *свободу,* что *деятельность разума* означает у него *революцию,* а *искусно отысканная середина* не что иное, как *конституция.* Посему...» и т. д. Царь приказал «воспретить» издание «Европейца», так как издатель «обнаружил себя человеком неблагомыслящим и неблагонадежным».

Жуковский, прознавший, какая беда может стрястись над сыном его племянницы (его могли и сослать), при первой же встрече сказал царю, что совершенно ручается за Киреевского. «А за тебя кто поручится?» — ответил царь. Разговор на этом и кончился. Жуковский был оскорблен, он сказался больным и перестал являться в учебную комнату великого князя. Императрица, однако, сумела убедить супруга, что он должен успокоить Жуковского.

«Ну, пора мириться!» — сказал царь, встретив Жу-

ковского во дворце, и обнял его. Жуковский, однако, в это время работал над двумя письмами, вполне допуская, что после них царь уже не захочет мириться с ним, — это письма к царю и Бенкендорфу о Киреевском. И вот в руках Николая I письмо, смелость и прямота которого удивительны: «Я перечитал с величайшим вниманием в журнале «Европеец»... статьи... и, положив руку на сердце, осмеливаюсь сказать, что не умею изъяснить себе, что могло быть найдено в них злонамеренного. Думаю, что я не остановился бы пропустить их, когда бы должен был их рассматривать как цензор... Везде говорится исключительно об одной литературе и философии, и нет нигде ничего политического... Что могло дать насчет Киреевского вашему императорскому величеству мнение, столь гибельное для целой будущей его жизни, постигнуть не умею. Он имеет врагов литературных, именно тех, которые и здесь, в Петербурге, и в Москве срамят русскую литературу... Клевета искусна; издалека наготовит она столько обвинений против беспечного честного человека, что он вдруг явится в самом черном виде и, со всех сторон запутанный, не найдет слов для оправдания. Не имея возможности указать на поступки, обвиняют *тайные намерения*. Такое обвинение легко, а оправдания против него быть не может. Можно отвечать: *«Я не имею злых намерений»*. Кто же поверит на слово? Можно представить в свидетельство непорочную жизнь свою. Но и она уже издалека очернена и подрыта. Что же остается делать честному человеку и где может найти он убежище? Пример перед глазами вашего величества, Киреевский, молодой человек, чистый совершенно, с надеждою приобрести хорошее имя, берется за перо и хочет быть автором в благородном значении этого слова. И в первых строках его находят *злое намерение*... На дурные поступки его никто указать не может, их не было и нет; но уже на первом шагу дорога его кончена... Государь, представитель закона, следственно сам закон, наименовал его уже виновным. На что же послужили ему двадцать пять лет непорочной жизни? И на что может вообще служить непорочная жизнь, если она в минуту может быть опрокинута клеветою?» Киреевскому Жуковский сообщил: «Я уже писал к государю и о твоем журнале, и о тебе. Сказал мнение свое начистоту. Ответа не имею и, вероятно, не буду иметь, но что надобно было сказать, то сказано».

В письме к Бенкендорфу Жуковский более резок, чем в письме к царю. «Обвинение ни на чем не основано, —

пишет он. — Что же надлежит заключить... То, что нашелся злонамеренный человек, который хотел погубить его и растолковать статью его по-своему, не подтвердив того никаким доказательством. Клеветать на намерение легко и всегда выгодно для клеветника, ибо чем можно защититься против клеветы его?.. ему верят на слово. Почему же тот, кто убивает тайно чужую честь, имеет право на доверенность; а тот, чья честь убита, без всякой защиты перед законом, не имеет ни голоса, ни средства защитить свою лучшую драгоценность, доброе имя? Почему слову, произнесенному клеветником без доказательства: *он злодей* — должно верить, а слову, произнесенному обвиненным: *я не злодей* — и верить не должно».

Но и Бенкендорфа ни в чем нельзя было убедить, тем более что те *клеветники*, о которых писал Жуковский,— осведомители III отделения. Прощать Киреевского Бенкендорф не собирался и как мелкий, мстительный человек, — Киреевский косвенно задел его в статье «Горе от ума» — на московском театре» в рассуждении об *иностранцах*. За Киреевским учрежден был тайный полицейский надзор; на долгие годы потерял он возможность заниматься делом, о котором мечтал: учиться самому и *просвещать других* через печать...

Спустя очень короткое время по иронии судьбы Жуковский оказался за пиршественным столом с заклейменными им «клеветниками» точно так же, как Пушкин, Вяземский, Крылов и другие честные русские литераторы. Это был необыкновенный обед, данный книгопродавцем Смирдиным *всем* русским литераторам по случаю переезда его лавки из дома Гаврилова у Синего моста в дом Петровской церкви на Невском проспекте. В просторном зале библиотеки (Смирдин выдавал и книги для чтения) за длинным столом, уставленным яствами, кипел весь литературный Петербург. Пушкин, Жуковский, Крылов сидели с одной стороны, напротив — Булгарин, Греч и цензор Семенов. «Ты, Семенов, сегодня точно Христос на Голгофе», — громко сказал Пушкин. «Разбойники» повели себя по-разному: Греч зааплодировал, Булгарин скис и надулся. Сказал смелую остроту и Греч, предложив тост за здравие «господина императора, сочинителя прекрасной книги *Устав цензуры*». Затем пошли бесконечные тосты. Пили здоровье Крылова, Жуковского, Пушкина, отсутствовавших по болезни Гнедича, Батюшкова и Шишкова, «московских литераторов», а также пи-

сателей, «отошедших к покою». В конце обеда положили издать в честь праздника альманах «Новоселье А. Ф. Смирдина». Жуковский первый открыл список обязавшихся дать в альманах свои сочинения.

К началу лета 1832 года здоровье Жуковского ухудшилось. Он отправился в отпуск, испросив себе для лечения и отдыха год. Путь его лежал в уже знакомый ему Эмс. 18 июня он вместе с Александром Тургеневым, который добился разрешения на выезд в Европу, сел на пароход — Пушкин, Вяземский и Энгельгардт провожали их до Кронштадта. В каюте шампанским запили они разлуку. В Кронштадте Жуковский и Тургенев сели на пароход «Николай I». «Тридцать часов, — пишет Тургенев, — лежали мы неподвижно на палубе, смотря в небо, между тем как полу-буря заливала нас соленою водою и ломала нашу мачту... В третий день любезничали с дамами и упивались дурным зеленым чаем и шампанским, любовались неизмеримостью моря, Борнгольмом, башнями Висмара, и, наконец... согретые солнцем, увидели Травемюнде и вскричали: берег!» Из Травемюнде Тургенев сразу отправился в Любек, а Жуковский решил осмотреть это живописное место и догнал Тургенева через сутки.

В Германии во многих городах была холера (но всего сильнее свирепствовала она в Париже и Вене). Случаи заболевания холерой были и в Любеке... «Итак, если холера везде, — пишет Жуковский в Петербург, — то ее нет нигде, и весьма безрассудно ее бояться. Я и не боюсь, а смело еду вперед, куда назначено».

В Ганновере друзья расстались, обменявшись плащами на память, — Тургенев поехал в Зальцбург (Австрия), Жуковский через Дюссельдорф и Кёльн — в Эмс. До 3 августа он пил здесь по шесть стаканов целебной воды, принимал ванны, совершал прогулки — пешие и на осле, которого кличка была Блондхен (Белокурый). «Красивее его нет во всем Эмсе, — пишет Жуковский. — По его милости был уже я на всех здешних высоких горах». Поощряемый погонщиком осел, на котором сидел Жуковский, взбирался по живописным лесным дорогам на самые высокие горы — Мальберг и Бедерлей, откуда открывался вид на всю Эмскую долину с ее садами и виллами, на Рейн, протекающий невдалеке. Жуковский почувствовал себя совсем здоровым, но возвращаться ему не хочется. Он пишет, что намерен «привезти здоровья хотя на три года», а для этого нужно еще пить воды

в Вейльбахе, потом «лечиться виноградом» в Швейцарии, а зиму провести в Италии...

Жуковский устал от великого князя, от уроков, от двора... 3 августа он сел в Кобленце на пароход и поплыл вверх по Рейну. «Для того, — пишет он, — чтобы полюбоваться еще раз древним Рейном, его утесами, старинными замками и зеленым потоком». Alter Vater Rhein («дедушка Рейн»), как называют его немцы, везде прекрасен, но особенно хорош на расстоянии от Майнца до Кёльна.

В конце сентября Жуковский поселился в швейцарской деревушке Верне́.

Жуковский и Рейтерн рисовали в окрестностях, несколько раз были в Шильонском замке. Прогулки совершались и по ночам. Ночные пейзажи Жуковский тоже зарисовывал, но только словами, как, например, 25 сентября: «Прелестная лунная ночь. Прогулка по берегу озера. Сперва на пристань: плеск волны, масляные волны озера; блеск луны и бе́рега; искры, зажигающие озеро... Горы в тумане без форм... Луна и звезды над ними. Уединение берега. Освещенное окно и разговор. В за́мок... Сумрак, в котором стены; черные башни между бледно-светлыми тополями. Яркая темнота некоторых деревьев и прозрачность других. Звезды между листьями, и озеро, и горы, и небо. Двор уединенный, дорожки, стена, устланная диким виноградом».

Отдых продолжался около месяца. В середине октября Жуковский незаметно для себя начал писать. На столе у него лежали Шиллер, Уланд, «Наль и Дамаянти» Рюккерта, «Ундина» Фуке. Снова вставание в пять часов — он трудится до четырех часов дня. 31 октября написана баллада «Плавание Карла Великого» (из Уланда); 4 ноября — «Роланд оруженосец» (тоже Уланд); 8—12 ноября — драматическая повесть белым пятистопным ямбом «Нормандский обычай» (Уланд); 27 ноября продолжил работу над «Ундиной»; 2—3 декабря — баллада «Братоубийца» (Уланд); 3 декабря попробовал приступить к «Налю и Дамаянти» Рюккерта, перевел семнадцать строк начала, воспроизводя свободную ритмику книттельферса, старонемецкого стиха, каким Рюккерт перевел этот большой отрывок из «Махабхараты», но стих Жуковскому все же не пришелся по душе, он оставил поэму с мыслью перевести ее потом гекзаметром. 5—6 декабря — баллада «Рыцарь Роллон» (Уланд; но баллада Уланда изменена почти неузнаваемо). 7 декабря начал

балладу «Царский сын и поселянка» — четырехстопным «сказочным» хореем (оставил неоконченной). 8 декабря — «Старый рыцарь» (Уланд, снова пересказанный вольно). К 18 декабря были готовы уже три первые главы «Ундины». 10 января 1833 года написал балладу «Уллин и его дочь» (по Т. Кэмпбеллу); 10—17 января перевел «Элевзинский праздник» Шиллера. 13-го — басню Гёте «Орел и голубка». Рядом со всем этим в тетрадях появлялись разные стихотворные наброски, планы: он начал стихотворение «Картина жизни», поэму «Эллена и Гунтрам» (1—3 февраля) — по мотивам одного из рейнских сказаний из немецкого сборника, написал 67 строк начала и оставил. Среди намеченных к переводу произведений — «Герман и Доротея» Гёте, «Песнь о колоколе» Шиллера, «Макбет» и «Отелло» Шекспира. В начале 1833 года Жуковский дважды принимался за перевод гекзаметром повести Людвига Тика «Белокурый Экберт» из его сборника новелл «Фантазус», и за стихотворную повесть (источник ее неизвестен) под названием «Военный суд на острове Мальте» с подзаголовком «Быль» — белым пятистопным ямбом.

С конца января напала на Жуковского страсть рисовать, и весь февраль и март он бродил по горам с альбомом, легкими карандашными линиями зарисовывая все, что приглянется. В дневниках его снова появились «рисунки словом», необыкновенно выразительные: «Сияние луны. Тишина гор и их отражение в озере. Тишина и шум ручья. Яркие звезды в голубом паре. Светлая звезда в озере. Чудесный цвет западных облаков и контраст их блеска с синевою потемневших гор» (25 января); «Тишина и свет солнца, стены виноградников, покрытые плющом. Захождение солнца за Юрою; столб на воде. Край виолетовый, на нем паруса. Лодка с парусом, ее след и солнце сквозь паруса... Контраст живости запада с таинственною темнотою гор на востоке. Тишина лодок. Изменение цвета из голубого в виолетовый. Ярко-голубое небо над освещенными вершинами. Разные звуки вечерние: голоса на лодке, шум весел, пение гребцов... Пурпур в пространстве. Чувство веселия» (3 марта); «Вид на озеро от утеса. Ущелья, покрытые деревьями. Ручьи, шумящие в овраге. Наклоненные деревья и сквозь них заходящее солнце... Солнце как факел на горе» (8 марта).

В день своего рождения, 29 января, он писал Анне Петровне Зонтаг: «Природа везде природа... Какими она красками расписывает озеро мое при захождении солн-

ца... Как ярко сияет по утрам снег, удивительно чистый, на высотах темно-синих утесов... Идешь один по дороге, горы стоят над тобою... Озеро как стекло; не движется, а дышит... по горам блестят деревни, каждый дом и в большом расстоянии виден... каждая птица, летящая по воздуху, блестит; каждый звук явственно слышен: шаги пешеходца, с коим идет его тень, скрип воза, лай, свист голубиного полета, иногда звонкий бой деревенских часов... Нынче мне стукнуло 49 лет... не жил, а попал в старики».

В марте Жуковский написал Тургеневу в Рим, что решил вместе с Рейтерном побывать в Италии, — плыть морем из Марселя в Неаполь, и — недели через две — обратно тем же путем. Он просил Тургенева ждать его в порту Чивита-Веккиа, на берегу моря недалеко от Рима. Первого апреля в дилижансе отправились через Женеву в Лион. Шел дождь со снегом. Жуковского одолевали «мысли, черные как ночь». В Лионе сели на пароход, идущий по Роне в Авиньон. «На палубе хаос ящиков, людей, собак, экипажей, — записывает Жуковский в путевом дневнике. — В тесной общей каюте все места заняты спящими пассажирами, дамами вяжущими и мужчинами, читающими газеты... Мы с Рейтерном пробыли все время на палубе, предпочитая холодный мистраль стесненному воздуху каюты. Берега Роны мимо нас мелькали, и пароход быстро пролетал под железными мостами».

Авиньон встретил их сухой, совершенно весенней погодой. Далее — снова дилижанс. Каменистая дорога вела к морю по пустынному Провансу.

11 апреля отплыли. С парохода увидел Жуковский зеленый городок Гиер, где жила Светлана... Ночью миновали Антиб, Ниццу... В это время Тургенев — в Чивита-Веккиа... «Не знаю, какое действие произвело бы надо мною это величественное Средиземное море, когда бы я очутился на нем в молодые, поэтические годы жизни, — пишет Жуковский, — но и теперь... оно сильно расшевелило мое воображение: его лазурь спокойно расстилалась перед глазами моими... мыслям мечтались все сорок веков истории человеческого рода, коего главные судьбы решались на берегах этого моря... Великолепные берега Италии лежали перед глазами моими в прозрачном тумане утра».

Пароход остановился в Генуе. Потом, уже 14 апреля, в Ливорно, где Жуковский побывал на могиле Воейковой, грустно постоял перед ней в одиночестве, срисовал ее

в свой альбом. Отсюда поехал в Пизу, где она скончалась, — посмотрел на окна дома, где она жила. И затем вернулся в Ливорно на свой пароход. 16 апреля прибыли в Чивита-Веккиа, Жуковский с палубы увидел подплывшую лодку, в ней радостно размахивающего руками толстяка в широком плаще, который трепал ветер, — это был Александр Тургенев. В эту же ночь отплыли па том же «Фердинанде» в Неаполь.

Остановились в отеле «Россия». Погода стояла неприветливая: «Дождь льет ливнем, и холодный ветер свищет в окна с щелями, двери не затворяются, — вот как Неаполь нас угощает!» Тем не менее осмотрели в городе музеи, нанесли необходимые визиты, — были у русского посла Штакельберга, встретили у него Зинаиду Волконскую. Когда дождь кончился, прогулялись по набережным — по роскошной Кьяйе, по берегу, уставленному лодками, поднялись на Капо ди Монте: «Быстрейшая смена видов... богатство растений: кактусы, тополи, сплоченные виноградом... черные пинии и надо всем этим невыразимая лазурь итальянского неба». 21 апреля Жуковский с Рейтерном (Тургенев остался дома) отправились в Помпею: «Чудесный, незабвенный день... Величественность и пустынность; тишина Везувия; лазурные пары, все обнимающие; все в дыму жаркого дня... Тишина, пустота, цветы и растения — невыразимо...» Спустились в раскоп, где трудились археологи: «Явилась стена с фреском, изображающим лиру и вазу на красном фоне».

На другой день совершили великолепную поездку к Мизенскому мысу, к древним Кумам, к Полям Елисейским, уже втроем, и, как пишет Тургенев Вяземскому: «В один день в коляске и на ослах объехали все эти классические прелести; товарищи мои беспрестанно останавливались, рисовали, восхищались... сняли множество видов... на развалинах ворот Кум, которые древнее Рима, они любовались морем, и солнце жгло их... Этот день был один из любопытнейших и приятнейших для Жуковского: он видел и прекрасную природу, и такие древности, о коих найдет ме́ста в лучших поэтах и классиках. Развалины храмов у порта Мизенского, бани Нероновы, храм Юпитера... все это действовало на воображение поэта». Вечером, когда возвращались в коляске, Жуковский спал от усталости...

24 апреля поднялись к монастырю Сан-Эльмо, оттуда спускались, уже к вечеру, через бедные кварталы.

26-го Жуковский поднимался на Везувий, но до само-

го кратера не добрался, сил не хватило — послал туда своего слугу Федора. Сам дожидался его в хижине отшельника — оттуда открывался необъятный вид на Неаполь, море... Там рисовал. 27-го Жуковский и Рейтерн (Тургенев с флюсом сидел в гостинице) наняли барку с шестью гребцами и поплыли в Вико. Оттуда на ослах поехали в Сорренто, на родину Тассо: «Чудесные виды при переезде через гору, — пишет Жуковский в дневнике, — между лесов оливовых, померанцевых и лимонных, по высокому берегу моря; чудесные промоины с пещерами». Ночевали в Сорренто. «Смотрели Тассов дом...» Снова езда на ослах, — спуск по крутым скалам в Каррикатонью, потом в Салерно, древний римский порт, там ждала их нанятая барка, на которой пустились они в обратный путь по морю и вышли в Помпее, где снова рисовали. 30 апреля Жуковский был в Поццуоли на Вергилиевой могиле, вечером — в огромном театре Сан-Карло, слушал «Ромео и Джульетту» Беллини.

Жуковский решил не возвращаться из Неаполя в Марсель — продлил свое путешествие по Италии, и 2 мая вместе с Тургеневым и Рейтерном направился в Рим. Когда началась римская Кампанья, Жуковский влез на козлы, чтобы любоваться диким, суровым простором степи, окружающей Рим. От Альбано до Рима — «безлюдность, но не бесплодность... Прекрасно озаренные солнцем акведуки... Пастухи верхом...» 3-го вечером въехали в ворота Сан-Джованни, миновали Колизей, Форум, остановились на площади Испании, в гостинице «Франц». Жуковский почти не спал и едва дождался утра, — и пошли римские дни, чудовищно набитые впечатлениями, от которых распухала голова, дух захватывало.

Он посетил мастерскую Брюллова и видел «Гибель Помпеи» (так он назвал картину), портрет графини Самойловой, портрет Демидова, «множество начатого и нет ничего конченного». Был с Брюлловым в музеях Ватикана, где перед ним прошла «бездна статуй»; в Рафаэлевых ложах... Тициан, Караваджо. Вечером 5 мая познакомился с Александром Ивановым, «живописцем с добрым сердцем и энтузиазмом к своему искусству». 6 мая — развалины Диоклетиановых терм, *Моисей* Микеланджело, палаццо Боргезе, вилла Фарнезина и снова Ватикан, — и везде — в храмах, виллах, в Ватикане — великолепная, потрясающая живопись. Вечером 6-го были у Жуковского Зинаида Волконская и Стендаль, с которым был у Жуковского «спор» (наверняка о живописи). Посетил Жу-

ковский мастерские Торвальдсена («Это квартал, набитый великолепными статуями»). Был в мастерской Кипренского. Познакомился с Бруни. Поднимался в монастырь св. Онуфрия, где скончался Тассо («В библиотеке бюст с маски, зеркало, чаша, печать и рукопись... Маленькая комната Тассо в конце коридора с надписью над дверьми»).

14 мая выехали из Рима. Витербо, Радикофани... Ночь в Сиене... Флоренция. Три дня были посвящены осмотру Флоренции. Праздник живописи... 21 мая в три часа ночи и в дождь прибыли в Ливорно, остановились в гостинице «Мальтийский крест». 22-го с Рейтерном рисовали на кладбище могилу Воейковой. Море было бурно — ехать на пароходе нельзя (Жуковский страдал в сильную качку). Сели в дилижанс на Геную. Проехали Пизу, Лукку, Массу. После Массы — спуск к Карраре («окна хижин обложены мрамором, шоссе блестит от мрамора, воды льются через мраморные плотины»). 25 мая в Генуе Жуковский и Рейтерн сели на пароход, Тургенев остался («Грустное прощание с Тургеневым...»).

3 июня Жуковский прибыл в Женеву. Здесь, в течение июня, ему сделали две операции. Несколько недель вылежал в Верне, сообщая всем в письмах, что, наконец, «болезнь его зарезана» и авось не воскреснет. Александр Тургенев, спешивший в Лозанну на свидание с братом Николаем, навестил Жуковского.

17 июля начался возвратный путь на родину, куда Жуковский вез с собой Андрея, сына Воейковой, после ее смерти пребывавшего в одном из женевских пансионов. Мальчик забыл русский язык, не хотел покидать места, к которому привык, плакал. В дороге с ним было трудно.

В пути Жуковский съехался с Рейтерном — они двигались через Фрейбург, Баден-Баден, Дармштадт. В Ганау расстались, Рейтерн поехал домой, Жуковского доктор Копп отправил на две недели на воды в Швальбах и Шлангенбад, курорты возле Висбадена. 19 августа он прибыл в старинный замок Виллингсгаузен, неподалеку от Касселя, где Рейтерн с семьей жил у своего тестя Шверцеля. 20-го Жуковский записывает кратко: «В Виллингсгаузене... Прогулка по саду... Старый деревянный «мост через Неву». Семейные деревья... «Кавказ». Ель. Липа... Прогулка: деревня, кладбище. Церковь. Кассельская дорога». 21-го: «Отъезд... Рейтерн со мною до Цигенгейна. Веселая сторона, покрытая холмами и рощами». Когда

Жуковский отъезжал из Виллингсгаузена, прощался со всеми, «дочь моего Безрукого, — пишет Жуковский, — тогда 13-ти летний ребенок, кинулась мне на шею и прильнула ко мне с необыкновенной нежностью; это меня тогда поразило, но, разумеется, никакого следа на душе не оставило». Интуиция Жуковского ничего здесь не подсказала ему, а может быть, он просто не поверил ей...

В Веймаре Жуковский навещает осиротевший дом Гёте («великий добрый человек», как называл Жуковский Гёте, скончался в прошлом, 1832 году). Побывал в доме Шиллера. Беседовал с канцлером Мюллером о «Фаусте». Посмотрел в театре «Жанну д'Арк» Шиллера. 28 августа он уже в Потсдаме, где беседует с принцем Вильгельмом, а на следующий день в Берлине, во дворце, встречает Сперанского. 29-го вечером — в гостях у Радовица («Жаркий разговор о Риме и абсолютизме», — записал Жуковский). В середине сентября он приехал в Дерпт и, остановившись в гостинице «Петербург», побывал прежде всего на могиле Маши, передал ей свои воспоминания о Ливорно — о «тихом гробе» ее сестры.

Пушкин встретил Жуковского у Карамзиных и записал 24 ноября в дневнике: «Он здоров и помолодел». 17 декабря в дневнике Пушкина запись: «Вечер у Жуковского. Немецкий amateur [1], ученик Тиков, читал «Фауста» — неудачно, по моему мнению». В январе — феврале Жуковский в рукописи читал, как он шутливо называл ее — «Историю господина Пугачева» Пушкина. В одной из записок Жуковский зовет Пушкина к себе: «Порастреплем «Пугачева», — говорит он, имея в виду обсуждение рукописи. Пушкин теперь приглашаем во дворец, — император сделал его камер-юнкером, он должен был теперь являться на придворные балы и всякие церемонии, когда его звали. Это ему надоело, он решил посвятить себя целиком литературе и подал в отставку. Ему было сообщено, что в случае отставки он лишится права работать в государственных архивах. Пришлось Жуковскому хлопотать, заглаживать его «неосмотрительный» поступок.

«Прошедший месяц был бурен, — отметил Пушкин в дневнике 22 июля 1834 года. — Чуть было не поссорился я со двором, — но все перемололось. Однако это мне не пройдет». Жуковский писал ему 2 июля: «Не понимаю, что могло тебя заставить сделать глупость»; и

[1] Любитель *(франц.)*.

в другой раз о том же: «Глупость, досадная, эгоистическая, неизглаголанная глупость!» Пушкин отвечал ему: «Подал в отставку я в минуты хандры и досады на всех и на все... положение мое не весело; перемена жизни почти необходима». Пушкин пишет оправдательные письма к Бенкендорфу. Жуковский находит их слишком «сухими». «Да зачем же быть им сопливыми? — отвечает ему Пушкин. — Во глубине сердца своего я чувствую себя правым перед государем... Что мне делать? просить прощения? хорошо; да в чем?» Пушкин хотел покинуть столицу. Жуковский тогда не мог видеть его чернового стихотворения, а оно все бы раскрыло:

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить... И глядь — как раз — умрем.

На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег...

Если бы Жуковский прочитал это! «На свете счастья нет...» Как часто говорил Жуковский: «На свете много хорошего и *без счастья»*. А «обитель дальная» — для Жуковского это вечные в его сердце Мишенское и Долбино... Но мечта Жуковского о такой «обители дальной трудов и чистых нег» разбилась с замужеством Маши. За стихами Пушкина следовал прозаический набросок — мысли к продолжению стихотворения, там говорится, в частности: «Блажен, кто находит подругу — тогда удались он *домой*... труды поэтические, семья, любовь...» Жуковский был одинок. Петергоф или Царское Село нисколько не походили на деревню...

Июнь — июль 1834 года Жуковский провел в Петергофе. В дневнике его много горьких слов по поводу ученика, которому он отдал столько лет жизни своей, столько забот: «Во время лекций... великий князь слушал с каким-то холодным недовольным невниманием... Мое влияние на него ничтожно... Я для него только представитель скуки... Посреди каких идей обыкновенно кружится бедная голова его и дремлет его сердце?» (4 июня); «Великий князь не дослушал чтения; это было неприлично... Не надобно привыкать употреблять других только для себя; надобно к ним иметь внимание. А ко мне и подавно. Избави бог от привычки видеть одного себя центром

всего и считать других только принадлежностью, искать собственного удовольствия и собственной выгоды, не заботясь о том, что это стоит для других: в этом есть какое-то сибаритство, самовольство, эгоизм, весьма унизительный для души и весьма для нее вредный» (5 июня); «Он учится весьма небрежно... Ум его спит, и не знаю, что может пробудить его» (9 июня).

Конец лета Жуковский провел в Гатчине и Царском Селе. 30 августа он присутствовал при открытии Александровской колонны с венчающим ее Ангелом Мира, это гигантский — цельный — гранитный столп, самый высокий в мире. Жуковский не спал в ночь перед праздником, но не от ожидания торжеств, а просто от духоты. «Воздух давил как свинец; тучи шумели; Нева подымалась и был в волнах ее голос, — писал он. — Наконец запылала гроза; молния за молниями, зажигаясь в тысяче мест, как будто стояли над городом... иные широким пожаром зажигали целую массу облаков, и в этом беспрестанном, быстром переходе из мрака в блеск, чудесным образом являлись и пропадали здания, кровли и башни, и вырезывались на ярком свете шатающиеся мачты кораблей, и сверкала громада колонны, которая вдруг выходила вся из темноты, бросала минутую тень на озаренную кругом ее площадь, и вместе с нею пропадала, чтоб снова блеснуть и исчезнуть!» Собственно, эта гроза и открыла новый монумент Жуковскому. Празднество, начавшееся утром, при ярком солнце, уже не сверкало в небесах, а широко расползлось у подножия колонны, едва достигая верхней черты ее базиса... На деревянных помостах у Зимнего дворца толпилась знать; народ густо окружал площадь. По условному сигналу — три пушечных выстрела — начался парад стотысячной армии, проходившей мимо колонны... Вечером по всему городу пылала иллюминация...

В январе 1835 года Александр Тургенев снова уехал за границу — в Италию, Францию, Англию. Перед отъездом он много общался с Пушкиным, — эти беседы подогрели и без того живые исторические интересы Тургенева, — он с еще большим рвением собирает в архивах Европы материалы по истории России. Письма его на родину (к Вяземскому, Жуковскому) становятся все разнообразнее, содержательнее: вся европейская культурная и политическая жизнь отражается в них. Связи его умножаются, — нет в Европе известного писателя, какого-нибудь прославленного политика или ученого, с кото-

рым бы он не встречался, не беседовал, а часто и не подружился бы. Письма Тургенева, как правило, читаются целым кругом его друзей, передаются из рук в руки, — от Вяземского к Жуковскому, потом к Пушкину, Карамзиным, Козлову и т. д. В иных письмах — десятки страниц. Шлет Александр Иванович в Петербург и Москву иностранные книги, журналы, брошюры, рисунки, гравюры, альбомы, всякие памятные предметы, вроде черепаховых лир Жуковскому и Пушкину из Италии и т. п. Он неустанно едет из города в город, беспрестанно возвращается на прежние места, останавливается в гостинице, едет в университет, музеи, в парламент, в сиротские дома, тюрьмы, в библиотеки, в театр...

Письма Тургенева, адресованные «Вяземскому или Жуковскому», «Жуковскому и Вяземскому», читаются вслух на субботах Жуковского. Вяземский 29 декабря 1835 года сообщает Тургеневу, что он читал его письмо на этом «олимпическом чердаке»: «Тут Крылов, Пушкин, Одоевский, Плетнев, барон Розен etc., etc., все в один голос закричали: «Жаль, что нет журнала, куда бы выливать весь этот кипяток, сочный бульон из животрепещущей утробы настоящего!» И в следующем письме от 19 января 1836 года: «Пушкину дано разрешение выдавать журнал, род «Quarterly Review» [1]. Прошу принять это не только к сведению, но и к исполнению и писать свои субботние письма почище и получше... мы намерены расходовать тебя на здоровье журналу и читателям. Пушкин надеется на тебя». Пушкин готовит первый том «Современника». Вместе с Вяземским редактирует письма Тургенева, дает им заглавие: «Париж (хроника русского)»...

На субботах Жуковского, уже как завсегдатай, Гоголь. «Вчера Гоголь читал нам новую комедию «Ревизор», — сообщает Вяземский Тургеневу в январе. — У нас он тем замечательнее, что, за исключением Фонвизина, никто из наших авторов не имел истинной веселости... Русская веселость... застывает под русским пером... Один Жуковский может хохотать на бумаге и обдавать смехом других, да и то в одних стенах Арзамаса». Он же Тургеневу в апреле: «Субботы Жуковского процветают... Гоголь, которого Жуковский называет Гоголёк... оживляет их своими рассказами. В последнюю субботу читал он нам повесть об носе, который пропал с лица неожиданно у ка-

---

[1] Трехмесячное обозрение *(англ.)*.

кого-то коллежского асессора и очутился после в Казанском соборе в мундире министерства просвещения. Уморительно смешно!» В январе 1836 года бывал у Жуковского Виктор Тепляков, «Фракийские элегии» которого понравились Жуковскому и Пушкину (Жуковский читал их великому князю, а Пушкин отрецензировал их в «Современнике» с обширными цитатами).

И тогда же, в январе, у Жуковского появился впервые скромный воронежский прасол — Алексей Кольцов, поэт, «дитя природы» по выражению Вяземского. В начале года у Жуковского обсуждал замысел своей оперы «Иван Сусанин» Михаил Глинка, — в работе над либретто приняли участие Жуковский (в меньшей степени) и барон Розен. На эти «некоторые совещания» (по выражению Жуковского) приглашались также Одоевский и Пушкин. Вместе с Одоевским Жуковский подготовил русский текст «Гимна к Радости» для первого исполнения Девятой симфонии Бетховена, состоявшегося в Петербурге в доме Виельгорских. В марте 1836 года Глинка написал романс на стихи Жуковского «Ночной смотр» — он сам исполнил его перед своими гостями — Пушкиным и Жуковским. В марте же все посетители «чердака» Жуковского присутствовали на репетиции оперы «Иван Сусанин», происходившей в доме Виельгорских.

В апреле вышел первый номер «Современника». Среди авторов прежде всего сам Пушкин, затем Жуковский, Гоголь, Вяземский, Ал. Тургенев, князь Козловский, барон Розен и другие. Белинский в статье о «Современнике», напечатанной в 1836 году в московской «Молве», отметил, что помещенный в журнале Пушкина «Ночной смотр» Жуковского — «есть одно из тех стихотворений, которых у нас теперь в целый год является не больше одного или двух... Это истинное перло поэзии как по глубокой поэтической мысли, так и по простоте, благородству и высокости выражения».

В июне Вяземский получил через И. С. Гагарина большой цикл стихотворений Федора Тютчева, служившего тогда при русской миссии в Мюнхене. «Через несколько дней захожу к нему невзначай около полуночи, — пишет Гагарин Тютчеву, — и застаю его вдвоем с Жуковским за чтением ваших стихов и вполне увлеченных поэтическим чувством, которым они проникнуты. Я был в восхищении, в восторге, и каждое слово, каждое замечание — Жуковского в особенности — все более убеждало меня в том, что он верно понял все оттенки и всю прелесть

этой простой и глубокой мысли. Тут же решено было, что пять или шесть стихотворений будут напечатаны в одной из книжек пушкинского журнала... а затем будет приложена работа к выпуску их в свет отдельным небольшим томом. Через день ознакомился с ними и Пушкин».

Пушкин отобрал для журнала не «пять или шесть» стихотворений Тютчева, как наметили Вяземский с Жуковским, а *двадцать четыре* (они были помещены в третьем и четвертом номерах «Современника» за 1836 год). Пушкин, как вспоминает современник, взял у Вяземского стихи Тютчева и «носился с ними целую неделю...».

На одной из суббот в июле 1836 года Жуковский прочитал письмо Гоголя из Гамбурга, — Гоголь при содействии и материальной поддержке Жуковского выехал за границу — на воды в Германию и Швейцарию, работать над «Мертвыми душами» и лечиться. «Отсутствие мое, — писал Гоголь Жуковскому, — вероятно, продолжится на несколько лет... Разлуки между нами не может и не должно быть, и где бы я ни был, в каком бы отдаленном уголке ни трудился, я всегда буду возле вас. Каждую субботу я буду в вашем кабинете, вместе со всеми близкими вам... Какое участие, какое заботливо-родственное участие видел я в глазах ваших!..» И в конце лета из Парижа: «Я принялся за «Мертвые души»... Какой огромный, какой оригинальный сюжет!.. Вся Русь явится в нем! Это будет первая моя порядочная вещь... Хотелось бы мне страшно вычерпать этот сюжет со всех сторон».

11 июня Жуковский присутствовал в Академии художеств на торжестве, посвященном возвращению художника Карла Брюллова из-за границы; обеденный стол на семьдесят человек был расположен в зале, где помещалась его картина «Последний день Помпеи». 20-го числа того же месяца был прощальный вечер у Вяземского — провожали Жуковского, уезжавшего до конца июля в Дерпт. Пушкин, Крылов, Брюллов, Вяземский, французский писатель Леве-Веймар и «еще кое-кто» (как пишет Вяземский жене). Пили за здоровье Жуковского. Он ехал не только отдыхать, но и по делам. Желая обеспечить детей Воейковой, а также дочь Маши, он покупал возле Дерпта два имения — Мейерсгоф и Уннипихт. На мызе Мейерсгоф был и большой господский дом, каменный, но сильно запущенный и почти разрушившийся. Часть июня и июль 1836 года он прожил на мызе Эллистфер вместе с Екатериной Афанасьевной, Мойером и Катенькой Мойер.

Здесь он рисовал не только с натуры, но и по памяти. «Я нарисовал на память всю нашу сторону, как она была во время оно», — писал он Анне Петровне Зонтаг в августе. Он послал ей все эти рисунки — тут были виды Белёва, Мишенского (с еще не разрушенной усадьбой), Муратова. В Эллистфере Жуковский закончил «Ундину». 26 июля он написал маленькое прозаическое предисловие к ней. В Дерпте заказал художнику Майделю рисунки для будущего издания (рукопись уже ожидал Смирдин). К осени Дерпт совершенно опустел для Жуковского — Мойер вышел в отставку и переехал на житье вместе с дочерью в Орловскую губернию, в село Бунино (неподалеку от Муратова). Сюда же перебралась и Екатерина Афанасьевна Протасова. Безнадежные мечты о «родной стороне» возникают в душе Жуковского; не гаснут, но уходят в грустную глубину, где живет все утраченное... В Петербурге получил письмо от Гоголя из Веве. «Я... завладел местами ваших прогулок, — пишет он, — мерил расстояние по назначенным вами верстам, нацарапал даже свое имя русскими буквами в Шильонском подземелье... Все начатое переделал я вновь... Это будет первая моя порядочная вещь, вещь, которая вынесет мое имя». К зиме Гоголь снова уехал в Париж.

1 ноября Жуковский был у Вяземского — Пушкин читал свою новую вещь: роман «Капитанская дочка». «Много интереса, движения и простоты», — пишет о нем Вяземский. Жуковского также восхищала «простота» прозы Пушкина, ее художественная «наивность», он находил в этом приближение к эпическому стилю, к высшей красоте речи (то же он находил и в «Истории Пугачева», говоря о ней в доме Строгановых, Жуковский «откровенно восхищался этим простодушием»).

В конце ноября из Москвы приехал Александр Тургенев. 27-го он обедал у Вяземского вместе с Жуковским и Пушкиным; вечером того же дня был на премьере «Ивана Сусанина». «Я нашел Жуковского в хорошем состоянии; он всегда такой же для всех и для всего, и мы говорили обо мне, — писал Тургенев брату. — Пушкин озабочен семейными делами». Тургенев часто встречается с Пушкиным — у него дома, у Пашкова, у Карамзиных, у Ростопчиной, во французском театре, у Жуковского. Пушкин читал ему «Памятник», непосланное письмо к Чаадаеву, примечания к изданию «Слова о полку Игореве», которое он готовил. Они все больше тянулись друг к другу. Тургенев с болью видит, что Пушкину очень тяжело стало

в обществе, особенно с тех пор, как некий Дантес начал ухаживать за его женой, разыгрывать «интригу» на французский манер. «О Пушкине, — записывает он. — Все нападают на него за жену, я заступался».

Пушкин принимает всерьез то, над чем свет только улыбается. Свету это кажется забавным. Даже Софья Николаевна Карамзина, дочь историографа, женщина, далекая от всякой пошлости, умная, пишет, что Пушкин «своей тоской и на меня тоску наводит». «Жалко было смотреть на лицо Пушкина, — описывает она один из балов, — который стоял в дверях напротив молчаливый, бледный, угрожающий. Боже мой, до чего все это глупо!» И в другом письме: «Это было ужасно смешно...»

Жуковский был очень встревожен сложившимся положением — назревала дуэль между Пушкиным и Дантесом. Он взялся быть посредником между Пушкиным и приемным отцом Дантеса — бароном Геккерном, нидерландским посланником в Петербурге. Геккерн хотел, чтобы Дантес и Пушкин встретились для переговоров. 9 ноября днем Жуковский пришел к Пушкину и сообщил ему об этом предложении. Пушкин твердо отказался от встречи с Дантесом. Тем не менее Жуковский вечером прислал ему записку: «Я не могу еще решиться почитать наше дело конченным. Еще я не дал никакого ответа старому Геккерну... Ради Бога, одумайся. Дай мне счастие избавить тебя от безумного злодейства, а жену твою от совершенного посрамления». Жуковский понимал, конечно, что Пушкин не может дать Геккерну другого ответа, но мысль о дуэли приводит его в ужас, — может быть, не только литературная и придворная жизнь поэта под угрозой, но и его существование вообще! Жуковский, однако, знал, что Пушкин — великолепный стрелок, он уверен был, что жертвой в случае дуэли падет Дантес. Поэтому и писал: «Дай мне счастие избавить тебя от безумного злодейства», т. е. от *убийства человека.*

Жуковский добивается от Пушкина — и от Геккерна с Дантесом — прекращения дела и *молчания* обо всем, что случилось (вызов Пушкиным Дантеса, хлопоты Геккерна и т. д.). Но Пушкин не сохраняет тайны. Не хочет следовать советам Жуковского. В конце концов Жуковский пишет: «Хотя ты и рассердил и даже обидел меня, но меня все к тебе тянет — не брюхом, которое имею уже весьма порядочное, но сердцем, которое живо разделяет то, что делается в твоем... Обещаюсь не говорить более о том, о чем говорил до сих пор... Но ведь тебе, может

быть, самому будет нужно что-нибудь сказать мне. Итак, приду... И выскажи мне все, что тебе надобно: от этого будет добро нам обоим». Жуковский, увидев, что все его усилия «погасить» воинственное («угрожающее») состояние Пушкина не удаются, перестал говорить о «злодействе» и прочем, хлопотать, и высказал то настоящее, что было у него *на сердце,* — он дал понять Пушкину, что оно «разделяет то, что делается» в его сердце (именно «разделяет», то есть *сочувствует).*

26 января 1837 года Пушкин написал «ругательное» (по определению Александра Тургенева) письмо к Геккерну, где он говорил: «Я заставил вашего сына играть роль столь жалкую, что моя жена, удивленная такой трусостью и пошлостью, не могла удержаться от смеха... Я не могу позволить, чтобы ваш сын, после своего мерзкого поведения, смел разговаривать с моей женой и — еще того менее — чтобы он отпускал ей казарменные каламбуры и разыгрывал преданность и несчастную любовь, тогда как он просто трус и подлец».

27 января вечером Жуковский приехал к Вяземским на Моховую. Их не оказалось дома. Он зашел в соседнюю квартиру, к Валуеву, зятю Вяземского. «Получили ли вы записку княгини? — спросил Валуев. — К вам давно послали. Поезжайте к Пушкину: он умирает; он смертельно ранен».

Жуковский, потрясенный этим известием, побежал с лестницы вниз, сел в коляску и велел гнать на Мойку. Но потом решил заехать в Михайловский дворец — он вызвал Виельгорского, находившегося там, и сообщил ему о случившемся. В квартире Пушкина увидел он Вяземского, Валуева, Мещерского и двух докторов — Спасского и Арендта. «Каков он?» — быстро спросил Жуковский. «Очень плох, он умрет непременно», — прямо ответил Арендт. Жуковскому рассказали о том, как произошло случившееся. Как Пушкин утром, встретив Данзаса на улице, отвез его к д'Аршиаку. Пока секунданты совещались, Пушкин спокойно сидел дома и занимался делами «Современника». За час до отбытия на дуэль написал он письмо к сочинительнице Ишимовой. «Это письмо есть памятник удивительной силы духа, — пишет Жуковский, — нельзя читать его без умиления, какой-то благоговейной грусти: ясный, простосердечный слог его глубоко трогает, когда вспоминаешь при чтении, что писавший это письмо с такою беззаботностию через час уже лежал умирающий от раны...»

Когда Пушкина привезли, его осмотрел доктор Шольц. «Не желаете ли видеть кого из ваших ближних приятелей?» — спросил он. Пушкин, глядя на свои книжные полки, сказал задумчиво: «Прощайте, друзья!» Потом выразил желание видеть Жуковского. Явился Арендт... Вскоре приехал и Жуковский. Почти вслед за ним появился Александр Тургенев. Состояние жены Пушкина, как пишет Жуковский, — «было невыразимо; как привидение, иногда прокрадывалась она в ту горницу, где лежал ее умирающий муж; он не мог ее видеть... но он боялся, чтобы она к нему подходила, ибо не хотел, чтобы она могла приметить его страдания, кои с удивительным мужеством пересиливал... «Что делает жена? — спросил он однажды у Спасского. — Она, бедная, безвинно терпит! в свете ее заедят». Вообще с начала до конца своих страданий (кроме двух или трех часов первой ночи, в которые они превзошли всякую меру человеческого терпения) он был удивительно тверд. «Я был в тридцати сражениях, — говорил доктор Арендт, — я видел много умирающих, но мало видел подобного...»

На другой день Пушкин прощался с женой, детьми, друзьями. «Я подошел, — пишет Жуковский, — взял его похолодевшую, протянутую ко мне руку, поцеловал ее: сказать ему ничего я не мог, он махнул рукою, я отошел». Жуковский поехал во дворец...

Он отстоял Данзаса и оградил (как он думал) от жандармов бумаги Пушкина — это было огромной важности дело, от которого зависела судьба еще не изданных трудов Пушкина и, может быть, вообще всех его сочинений. В эту ночь с Пушкиным сидел Даль. Жуковский, Вяземский и Виельгорский находились в соседней комнате. «С утра 28-го числа, — пишет Жуковский, — в которое разнеслась по городу весть, что Пушкин умирает, передняя была полна приходящих. Одни осведомлялись о нем через посланных спрашивать об нем, другие — и люди всех состояний, знакомые и незнакомые — приходили сами. Трогательное чувство национальной, общей скорби выражалось в этом движении, произвольном, ничем не приготовленном. Число приходящих сделалось наконец так велико, что дверь прихожей (которая была подле кабинета, где лежал умирающий) беспрестанно отворялась и затворялась; это беспокоило страждущего; мы придумали запереть дверь из прихожей в сени, задвинули ее залавком и отворили другую, узенькую, прямо с лестницы в буфет, а гостиную от столовой отгородить ширма-

ми... С этой минуты буфет был набит народом; в столовую входили только знакомые, на лицах выражалось простодушное участие, очень многие плакали».

Пушкин умирал. «Я стоял вместе с графом Виельгорским у постели его, в головах; сбоку стоял Тургенев, — описывает Жуковский последние часы Пушкина 29 января. — Даль шепнул мне: «Отходит». Но мысли его были светлы... Даль, по просьбе его, взял его под мышки и приподнял повыше; и вдруг, как будто проснувшись, он быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал: «Кончена жизнь». Даль, не расслышав, отвечал: «Да, кончено; мы тебя положили». — «Жизнь кончена!» — повторил он внятно и положительно. «Тяжело дышать, давит!» — были последние слова его. В эту минуту я не сводил с него глаз и заметил, что движение груди, доселе тихое, сделалось прерывистым. Оно скоро прекратилось. Я смотрел внимательно, ждал последнего вздоха; но я его не приметил. Тишина, его объявшая, казалась мне успокоением. Все над ним молчали. Минуты через две я спросил: «Что он?» — «Кончилось», — отвечал мне Даль. Так тихо, так таинственно удалилась душа его. Мы долго стояли над ним молча, не шевелясь, не смея нарушить великого таинства смерти, которое совершилось перед нами во всей умилительной святыне своей. Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было на нем в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась: руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха после тяжелого труда. Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо! Это был не сон и не покой! Это не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу; это не было также и выражение поэтическое! Нет! какая-то глубокая, удивительная мысль на нем развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовольствованное знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось у него спросить: «Что видишь, друг?..» Таков был конец нашего Пушкина».

Когда тело Пушкина вынесли в соседнюю комнату, Жуковский запечатал двери кабинета своей печатью. Он поехал к Виельгорскому; еще до дуэли к Виельгорскому приглашен был и Пушкин, так как должен был отмечаться день рождения Жуковского. «29 января. День рожде-

ния Жуковского и смерти Пушкина», — записал в дневнике Александр Тургенев.

«На другой день, — пишет Жуковский, — мы, друзья, положили Пушкина своими руками в гроб; на следующий день, к вечеру, перенесли его в Конюшенную церковь. И в эти оба дни та горница, где он лежал в гробе, была беспрестанно полна народом. Конечно, более десяти тысяч человек приходило взглянуть на него: многие плакали; иные долго останавливались и как будто хотели всмотреться в лицо его». 1 февраля было совершено отпевание. 2 февраля Тургенев пишет: «Жуковский приехал ко мне с известием, что государь назначает меня провожать тело Пушкина до последнего жилища его... Вместо Данзаса назначен я, в качестве старого друга, отдать ему последний долг. Я решился принять... Я сказал, что поеду на свой счет и с особой подорожной». (В этот же день в руки Тургеневу попал список стихотворения Лермонтова «Смерть поэта». «Стихи Лермонтова прекрасные», — отметил он в дневнике. Он читал это стихотворение Жуковскому и Козлову, — пока еще неполное, без последней строфы.)

3 февраля в десять часов вечера была отпета последняя панихида. «Ящик с гробом поставили на сани, — пишет Жуковский, — сани тронулись; при свете месяца несколько времени я следовал за ними; скоро они поворотили за угол дома; и все, что было земной Пушкин, навсегда пропало из глаз моих». Был приказ Николая I псковскому губернатору (специальный чиновник обогнал Тургенева) распорядиться, чтоб похороны прошли как можно тише, при совершении лишь необходимых церковных обрядов. «6 февраля, в 6 часов утра, отправились *мы* — я и жандарм!!. все еще рыли могилу; мы отслужили панихиду в церкви и вынесли на плечах крестьян и дядьки гроб в могилу... Я бросил горсть земли в могилу, выронил несколько слез — вспомнил о Сереже, — и возвратился в Тригорское».

7 февраля Тургенев послал письмо с адресом: «В. Жуковскому или князю Вяземскому»: «Мы предали земле земное вчера на рассвете... Везу вам сырой земли, сухих ветвей — и только... Нет, и несколько неизвестных вам стихов П.». В тот же день, 7 февраля, Жуковский перевез рукописи для разборки к себе на квартиру, — там они были «приняты на сохранение» представителем III отделения Дубельтом, помещены в отдельной комнате и запечатаны двумя печатями — Жуковского и Дубельта.

Данное Николаем Жуковскому право сжечь все то из бумаг покойного, что могло бы «повредить» его памяти, было отменено. Все эти меры Жуковский считал оскорбительными для себя, но надо было терпеть, чтобы сделать все возможное. При нем Дубельт читал письма из архива Пушкина. Жуковский по этому поводу писал в неотправленном письме к Николаю: «Хотя я сам и не читал ни одного из писем, а предоставил это исключительно моему товарищу генералу Дубельту, но все было мне прискорбно, как сказать, присутствием своим принимать участие в нарушении семейственной тайны; передо мной раскрывались письма моих знакомых; я мог бояться, что писанное в разное время и в разные лета, в разных противоположностях духа людьми, еще существующими, в своей совокупности, произвело впечатление, совершенно ложное на счет их, — к счастью, этого не случилось».

К 25 февраля бумаги были разобраны, а 8 марта Александр Тургенев записал в дневнике: «Жуковский читал нам свое письмо к Бенкендорфу о Пушкине и о поведении с ним государя и Бенкендорфа. Критическое расследование действий жандармства; и он закатал Бенкендорфу, что Пушкин погиб оттого, что его не пустили ни в чужие краи, ни в деревню, где бы ни он, ни жена его не встретили Дантеса». Вот что писал Жуковский шефу жандармов и начальнику III отделения собственной его императорского величества канцелярии: «Генерал Дубельт донес, и я, с своей стороны, почитаю обязанностию также донести вашему сиятельству, что мы кончили дело, на нас возложенное, и что бумаги Пушкина все разобраны. *Письма* партикулярные прочтены одним генералом Дубельтом и отданы мне для рассылки по принадлежности; рукописные *сочинения,* оставшиеся по смерти Пушкина, по возможности приведены в порядок; некоторые рукописи были сшиты в тетради, занумерены и скреплены печатью; переплетенные книги с черновыми сочинениями и отдельные листки, из коих нельзя было сделать тетрадей, просто занумерены. *Казенных* бумаг не нашлось никаких... Приступая к напечатанию полного собрания сочинений Пушкина и взяв на себя обязанность издать на нынешний год в пользу его семейства четыре книги «Современника», я должен иметь пред глазами манускрипты Пушкина и прошу позволения их у себя оставить с обязательством не выпускать их из своих рук... На меня уже был сделан самый нелепый донос. Было сказано, что три пакета были вынесены мною из

горницы Пушкина. При малейшем рассмотрении обстоятельств такое обвинение должно бы было оказаться невероятным... Это, во-первых, было бы не нужно; ибо все вверено было мне, и я имел позволение сжечь все то, что нашел бы предосудительным: на что же похищать то, что уже мне отдано... Буду говорить о самом Пушкине. Смерть его все обнаружила... Годы проходили; Пушкин созревал; ум его остепенялся. А прежнее против него предубеждение... было то же и то же... в 36-летнем Пушкине видели все 22-летнего... В ваших письмах нахожу выговоры за то, что Пушкин поехал в Москву, что Пушкин поехал в Арзрум. Но какое же это преступление? Пушкин хотел поехать в деревню на житье, чтобы заняться на покое литературой, ему было в том отказано под тем видом, что он служил, а действительно потому, что не верили. Но в чем же была его служба? В том единственно, что он был причислен к иностранной коллегии. Какое могло быть ему дело до иностранной коллегии? Его служба была его перо... Для такой службы нужно свободное уединение. Какое спокойствие мог он иметь с своею пылкою, огорченною душой, с своими стесненными домашними обстоятельствами, посреди того света, где все тревожило его суетность, где было столько раздражительного для его самолюбия, где, наконец, тысячи презрительных сплетней, из сети которых не имел он возможности вырваться, погубили его. Государь император назвал себя его цензором. Милость великая... Но, скажу откровенно, эта милость поставила Пушкина в самое затруднительное положение... На многое, замеченное государем, не имел он возможности делать объяснений; до того ли государю, чтобы их выслушивать?.. А если какие-нибудь мелкие стихи его являлись напечатанными в альманахе (разумеется, с ведома цензуры), это ставилось ему в вину, в этом виделись непослушание и буйство, ваше сиятельство делали ему словесные или письменные выговоры... Наконец, в одном из писем вашего сиятельства нахожу выговор за то, что Пушкин в некоторых обществах читал свою трагедию прежде, нежели она была одобрена. Да что же это за преступление? Кто из писателей не сообщает своим друзьям своих произведений для того, чтобы слышать их критику? Неужели же он должен по тех пор, пока его произведение еще не позволено официально, сам считать его не позволенным?.. Такого рода запрещения вредны потому именно, что они бесполезны, раздражительны и никогда исполнены быть

не могут. Каково же было положение Пушкина под гнетом подобных запрещений? Не должен ли был он необходимо, с тою пылкостью, которая дана была ему от природы и без которой он не мог бы быть поэтом, наконец прийти в отчаяние, видя, что ни годы, ни самый изменившийся дух его произведений ничего не изменили в том предубеждении, которое раз навсегда на него упало и, так сказать, уничтожило все его будущее?.. Он просто русский национальный поэт, выразивший в лучших стихах наилучшим образом все, что дорого русскому сердцу... Ему нельзя было тронуться с места свободно, он лишен был наслаждения видеть Европу, ему нельзя было произвольно ездить и по России... Многие благоразумные люди не шутя уверены, что было намерение воспользоваться смертию Пушкина для взволнования умов... Пушкин умирает, убитый на дуэли, и убийца его француз, принятый в нашу службу с отличием; этот француз преследовал жену Пушкина и за тот стыд, который нанес его чести, еще убил его на дуэли. Вот обстоятельства, поразившие вдруг все общество и сделавшиеся известными во всех классах народа, от Гостиного двора до петербургских салонов... Жертвою иноземного развратника сделался первый поэт России, известный по сочинениям своим большому и малому обществу... Нужно ли было кому-нибудь особенно заботиться о том, чтобы произвести в обществе то впечатление, которое неминуемо в нем произойти долженствовало?.. Разве погиб на дуэли не Пушкин? Чему же дивиться, что все ужаснулись, что все были опечалены и все оскорбились? Какие же тайные агенты могли быть нужны для произведения сего неизбежного впечатления?.. Здесь полиция перешла за границы своей бдительности. Из толков, не имевших между собой никакой связи, она сделала заговор с политическою целию и в заговорщики произвела друзей Пушкина, которые окружали его страдальческую постель... В минуту выноса, на которой собралось не более десяти ближайших друзей Пушкина, жандармы наполнили ту горницу, где молились о умершем, нас оцепили, и мы, так сказать, под стражею проводили тело до церкви. Какое намерение могли в нас предполагать? Чего могли от нас бояться? Этого я изъяснить не берусь. И, признаться, будучи наполнен главным своим чувством, печалью о конце Пушкина, я в минуту выноса и не заметил того, что вокруг нас происходило; уже после это пришло мне в голову и жестоко меня обидело».

Рукописи и черновые тетради Пушкина остались у Жуковского. Среди готовых, но неопубликованных вещей были «Медный всадник» и «Каменный гость» (то и другое было известно Жуковскому и Тургеневу). «Нашлось несколько начатых стихотворений и мелких отрывков; также много начато в прозе и собраны материалы для истории Петра Великого: все это будет издано», — сообщил Жуковский Дмитриеву. Он перелистывал черновые тетради Пушкина, бесчисленные исправления его не удивляли (его собственные черновики исчерканы иногда еще более), но еще раз убедился он, что «то, что кажется простым, выпрыгнувшим прямо из головы на бумагу, стоит наибольшего труда... С каким трудом писал он свои легкие, летучие стихи! Нет строки, которая бы не была несколько раз перемарана. Но в этом-то и заключается тайная прелесть творения. Что было бы с наслаждением поэта, когда бы он мог производить без труда? — все бы очарование его пропало» (Дмитриеву).

Одну из величайших утрат понес Жуковский — со смертью Пушкина опустели для него и Петербург, и русская литература, и даже Россия. «Память Пушкина, — писал он Дмитриеву, — должна быть и всегда будет дорога отечеству. Как бы много он сделал, если бы судьба ему вынула не такой тяжелый жребий... Наши врали-журналисты, ректоры общего мнения в литературе, успели утвердить в толпе своих прихожан мысль, что Пушкин упал; а Пушкин только что созрел как художник и все шел в гору как человек, и поэзия мужала с ним вместе».

Жуковский вместе с друзьями взял на себя издание «Современника» — ему много помогал в этом Плетнев, на которого вскоре перешли все заботы по журналу. Жуковский же добился разрешения на издание полного собрания сочинений Пушкина, которое начнет выходить со следующего — 1838 года. Многие из неопубликованных произведений Пушкина он готовил к печати сам, кое-что в них по требованию цензуры поправлял, но это было неизбежно. С февраля 1837 года многие свои письма Жуковский запечатывал «талисманом». «Это Пушкина перстень, — писал он, — им воспетый и снятый мной с мертвой руки его».

В это грустное время словно дух Пушкина просил Жуковского не покидать пера. Он решился продолжить перевод поэмы Рюккерта (из «Махабхараты») «Наль и Дамаянти» и начал работу заново — гекзаметром. В марте же вышла, наконец, из печати и «Ундина». Посылая

Дмитриеву экземпляр, Жуковский полушутя писал ему: «Наперед знаю, что вы будете меня бранить за мои гекзаметры. Что же мне делать? Я их люблю; я уверен, что никакой метр не имеет столько разнообразия, не может быть столько удобен как для высокого, так и для самого простого слога. И не должно думать, чтобы этим метром, избавленным от рифм, было писать легко. Я знаю по опыту, как трудно». Однако «брани» не послышалось ни с какой стороны. Плетнев в своей рецензии на «Ундину», напечатанной в апреле в «Литературных прибавлениях» к «Русскому инвалиду», объясняет это следующим образом: «Давно уже не выходило книги, которая бы так заняла все классы читателей, как «Ундина». Но мы ничего необыкновенного не находим в том, что ее появление на русском языке произвело всеобщий у нас восторг. Если бы и содержание поэмы не было до такой степени ново, увлекательно и трогательно, то стихи Жуковского, это (по выражению одного поэта) неземное блаженство души, изъясненное верными и стройными звуками, сами собою должны были так подействовать на все вкусы. Но вот что удивляет нас, и что в самом деле неизъяснимо: чем Жуковский наэлектризовывает русские слова (те же самые, которые и в «Словаре российской академии»), что они во всех размерах, при всяком содержании, с каждым предметом, во всяком тоне расплавляют сердце и наполняют счастием все бытие наше?»

Гоголь назвал «Ундину» «чудом» и «прелестью». Герцен в связи с «Ундиной» писал о Жуковском: «Как хорош, как юн его гений!» Из простой сказки Фуке Жуковский сделал поэму. В ней появилось то, что у Фуке отсутствовало: голос автора, чаще скрытый, но иногда и явный.

В образе Ундины, исполненном поистине вечной поэтической красоты, Жуковский слил характеры двух дорогих для него женщин, оставивших его одиноким в этом мире, — Саши и Маши. Проказливая Ундина — это Саша, еще девочкой, веселая непоседа и милая озорница, которая стригла усы кошкам. Задумчивая и тихая — Маша, которая была полна страдальческой, полублаженной грусти еще в отрочестве. Но Ундина не отражение их, она навеяна ими, и не только их ранней молодостью, а и всей их жизнью. Поэтому понятна становится та явная, сквозящая в каждой строке поэмы любовь автора к образу своей фантазии. Отступают на задний план *сказочные события,* а вперед выходит их *живой смысл.*

После смерти Пушкина Жуковский стал грустнее и, как он сам почувствовал, старее. Человек, утративший все, кроме поэтического таланта, но не потерявший доброты и «уважения к жизни», — таков он и на портрете, написанном Карлом Брюлловым в 1837 году. Может быть, этого портрета и не было бы, если б Брюллов не обратился к Жуковскому за помощью, — он хотел выкупить из крепостной зависимости молодого художника и стихотворца из малороссиян — Тараса Шевченко, друзья Шевченко и земляки его — Сошенко и Мокрицкий, — художники оба, постоянно просили Брюллова помочь Тарасу. 2 апреля 1837 года Мокрицкий записал в дневнике: «После обеда призвал меня Брюллов. У него был Жуковский, он желал знать подробности насчет Шевченка. Слава богу: дело наше, кажется, примет хороший ход. Брюллов начал сегодня портрет Жуковского и препохоже».

В апреле же пришел «вопль» от Гоголя, находившегося в Риме. Средства его были на исходе, а он работал над «Мертвыми душами». «Вы один в мире, которого интересует моя участь, — писал Жуковскому Гоголь. — Вы сделаете, я знаю, вы сделаете все то, что только в пределах возможности». Гоголь жалуется, что русские художники («иные рисуют хуже моего») имеют по 3000 в год; актеры («я не был бы плохой актер») — 10 000, — «но я писатель — и потому должен умереть с голоду». Он просил выхлопотать ему под каким-нибудь видом «содержание от государя». И хотя Третье отделение еще все кипело негодованием на Жуковского за его разносное письмо Бенкендорфу о Пушкине, Жуковский начал хлопоты за Гоголя и сумел добыть для него денег. Гоголь получил их. Гоголь борется с трудностями, но работает... А Пушкина уже нет.

У Жуковского на столе тетрадь, переплетенная в коричневую кожу, — «Черновая книга Александра Пушкина» тиснуто на обложке. Она была пуста — Пушкин ничего не успел внести в приготовленную книгу. 27 февраля 1837 года (через месяц после дуэли Пушкина) Жуковский вписал сюда стихотворное посвящение к «Ундине». Начальные строфы его продиктованы тяжкой скорбью поэта:

Бывали дни восторженных видений;
Моя душа поэзией цвела;
Ко мне летал с вестями чудный Гений;
Природа вся мне песнию была.

Оно прошло, то время золотое;
С природы снят магический венец;
Свет узнанный свое лицо земное
Разоблачил, и призракам конец.

В начале апреля Жуковский снова открыл эту тетрадь — открыл, чтобы писать в ней. Он взял XXI том немецкого Гердера, где была помещена его «греческая антология», некоторые стихи были переведены прямо на полях книги (Жуковский давно начал работу над ними). В «Черновой книге Александра Пушкина» появились *черновики* девяти стихотворений, семь из них из Гердера, антологические: «Роза»; «Лавр»; «Надгробие юноше»; «Голос младенца из гроба»; «Младость и старость»; «Фидий» и «Завистник»; два — оригинальные — «Судьба» и стихотворение без названия («Он лежал без движенья...»). Все это стихи философские. И самые сильные из них как раз два последних.

В стихотворении «Судьба» Жуковский не следует за Гердером (у которого есть три стихотворения об этом, и везде немецкий поэт говорит о тщетности попыток сопротивляться року), он по-своему осмысливает библейскую притчу, им же не раз использованную (например, в альбоме Воейковой, в прозаической записи). Антологического в этом стихотворении только традиционный элегический дистих. Оно явно написано с мыслью о Пушкине, и вместе с последним в цикле («Он лежал без движенья...») составляет некое единство, так как и оно — еще более явно — связано с Пушкиным.

Вот эти стихи, вписанные в альбом черными чернилами, испещренные поправками:

С светлой главой, на тяжких свинцовых ногах между нами
Ходит судьба! Человек, прямо и смело иди!
Если, ее повстречав, не потупишь очей и спокойным
Оком ей взглянешь в лицо — сам просветлеешь лицом;
Если ж, испуганный ею, пред нею падешь ты — наступит
Тяжкой ногой на тебя, будешь затоптан в грязи!

* * *

Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе
Руки свои опустив. Голову тихо склоня,
Долго стоял я над ним, один, смотря со вниманьем
Мертвому прямо в глаза; были закрыты глаза,
Было лицо его мне так знакомо, и было заметно,
Что выражалось на нем, — в жизни такого
Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья
Пламень на нем; не сиял острый ум;

Нет! Но какою-то мыслью, глубокой, высокою мыслью
Было объято оно: мнилося мне, что ему
В этот миг предстояло как будто какое виденье,
Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось:
Что видишь?

Второе стихотворение — переложение отрывка из собственного письма Жуковского к Сергею Львовичу Пушкину о смерти его сына — Александра Пушкина («Голова его несколько наклонилась; руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха после тяжкого труда...» [1] И далее до слов: «Всматриваясь в него, мне все хотелось у него спросить: «Что видишь, друг?»). Пушкин — «прямо и смело» шел, «спокойным оком» взглянул в лицо Судьбе, погиб, но зато не был ею «затоптан в грязь»... И вот он лежит, мертвый, но как бы «просветлевший лицом» (выражение из первого стихотворения), потому что Судьба открыла ему что-то высокое, таинственное («какою-то мыслью, глубокой, высокою мыслью Было объято оно»). Это маленькая двухчастная поэма о Пушкине, но вместе с тем ясно, что на место Пушкина Жуковский ставит и себя, делая эти стихи декларацией своего нравственного родства с Пушкиным.

Однако Жуковскому пришлось надолго покинуть свой рабочий кабинет, его оторвали от стихов, но он очень надеялся, что это последняя жертва его двору. На 27 апреля был назначен отъезд великого князя Александра Николаевича, окончившего свое учение, в путешествие по России. Среди многих других лиц в сопровождающие был назначен и Жуковский, наставник, закончивший главное свое дело при великом князе.

Выехали из Петербурга 2 мая. 3-го прибыли в Новгород. В Твери, после бала, данного великому князю местным дворянством, Жуковский написал первое свое письмо с дороги к императрице, где отмечал, что не ждет от путешествия «большой жатвы положительных практических сведений о состоянии России: для этого мы слишком скоро едем, имеем слишком много предметов для обозрения, и путь наш слишком определен; не будет ни

[1] Не навеяи ли этот образ строками Петрарки из первой главы поэмы «Триумф смерти» в прозаическом пересказе К. Н. Батюшкова («Опыты в стихах и прозе», Спб., 1817, часть 1-я, статья «Петрарка»): «Она покоилась, как человек по совершении великих трудов; и это называют смертию слепые человеки».

свободы, ни досуга, а от этого часто и желания заняться, как следует, тем, что представится нашему любопытству». Поезд в одиннадцать экипажей, поливаемый постоянным дождем, мчался по грязной дороге от Твери к Ярославлю. «Наше путешествие можно сравнить с чтением книги, в которой теперь великий князь прочтет одно только оглавление, дабы получить общее понятие о ее содержании», — пишет Жуковский из Ярославля.

Программа была везде одна: осмотр некоторых достопримечательных мест, монастырей и соборов, больниц, тюрем, казарм, училищ, прием депутаций, потом бал (если город губернский). Уже в третьем письме к императрице Жуковский испрашивает разрешения оставить свиту на десять дней для посещения Белёва, чтобы повидаться с родными, «коих давно не видал и потом долго не увижу». Далее мелькнули Ростов, Переславль-Залесский, Юрьев-Польско̀й, Суздаль, Шуя, Иваново. 14 мая прибыли в Кострому. Далее, по пустынным северным лесам, в четверо суток добрались до Вятки, города чиновников и ссыльных. Здесь была устроена для гостя выставка промышленных изделий. Пояснения давал молодой чиновник, который удивил Жуковского своей интеллигентностью, живой и умной речью. Это был Александр Иванович Герцен, бывший здесь в ссылке. Жуковский обещал добиться для него перевода в Петербург.

По пути на Ижевские и Котело-Воткинские оружейные заводы Жуковский записывал в дневнике (он уже давно научился справляться с тетрадью и карандашом даже при быстрой скачке): «Виды гор. Покрыты камнями и елями. Везде горизонт ограничен видами леса. Дым. Снег... Быстрые лошади. Прекрасная дорога. Пустынность». Бедная Пермь на крутом берегу величественной Камы. Здесь осаждали гостей с прошениями раскольники, жаловавшиеся на притеснения, и ссыльные поляки, просившие возвращения на родину. 26 мая в четыре часа дня близ станции Решоты достигли высшей точки Уральских гор, — это была граница Азии и Европы. В тот же день в Екатеринбурге осматривали золотопромывательный завод, монетный двор, гранильные мастерские с уральскими самоцветами. Отсюда ездили в Невьянск и Тагил осматривать литейные заводы; спускались в малахитно-медный рудник, видели железную дорогу, построенную на заводе крестьянином Черепановым. И всюду прошения, прошения — поток прошений.

С горы Благодать открылась глазам Жуковского ве-

ликолепная панорама Рифейских гор... В дороге он рисовал. Но не пышные встречи и нарядные виды, а печальные пейзажи, убогие деревеньки, заводы, панорамы суровых и бедных городов... 31 мая путешественники вступили в пределы Сибири. Одну ночь провели в Тюмени, к другой — подоспели в Тобольск, тогдашнюю сибирскую столицу. При свете иллюминации переправились через Иртыш, — присутственные места и дом губернатора на крутизне берега «представляли волшебный замок на воздухе», как писал Юрьевич. В этом-то «замке» и ночевал Жуковский вместе со всеми своими попутчиками. На другой день был вихрь обычных мероприятий, бал. Среди этого вихря Жуковский нашел, однако, время зарисовать место гибели Ермака, указанное ему жителями, и принять местного стихотворца Евгения Милькеева. Он принес свои первые опыты. Жуковский долго беседовал с ним, читал его стихи и, увидев, что это настоящий талант, обещал ему помощь. Уже в следующем году Милькеев был в Петербурге, потом в Москве, но в дальнейшем ему не повезло... Побывал у Жуковского и автор «Конька-Горбунка» Петр Павлович Ершов, посещавший субботы Жуковского в Петербурге, — он служил в Тобольске учителем. Ершов пишет, что он принят был Жуковским в Тобольске «как друг».

Из Тобольска вернулись в Тюмень и, перевалив обратно за Урал, поехали к югу — в Курган. Пошли пески и болота, небольшие березовые рощи. На пути лежал Ялуторовск. В нем жили на поселении шесть декабристов, — Жуковский намеревался посетить их, в особенности Якушкина, своего давнего знакомого, и Черкасова, сына своего белёвского приятеля, барона Черкасова, жившего в селе Володькове. И вдруг за две станции до Ялуторовска ямщики, везшие Жуковского, сбили прохожую женщину. Он приказал остановиться, помог внести пострадавшую в экипаж и отвез на станцию, где оставил ей денег, а местному начальству написал, чтоб оно позаботилось о ее излечении. Таким образом Жуковский отстал от великого князя и попал в Ялуторовск уже тогда, когда тот выехал из него. Жуковский не решился еще раз отстать, но за эту нерешительность потом многие годы казнил себя. («Когда вспомню об этом, — писал он, — досадую и горюю, как горевал и досадовал тогда».) Не повидав ни Черкасова, ни Якушкина, Жуковский помчался догонять свиту...

В дневнике Жуковского появляется запись: «6 июня.

Троицын день. Курган. У меня Розен. Его изломленная нога». Речь идет о бароне Андрее Евгеньевиче Розене, отбывшем шесть лет каторги (из десяти присужденных ему) и поселенном с 1832 года в Кургане. Когда Жуковский его увидел, он был на костылях, так как сильно вывихнул ногу, а губернатор Горчаков не пускал его в Тобольск к врачу... Когда прибыл поезд наследника, местные власти запретили ссыльным выходить на улицу. Тогда они собрались в доме своего товарища М. М. Нарышкина («это прелестная дача с прекрасным садом на берегу Тобола, и у берега красивая беседка; это лучший дом во всем городе Кургане», — писал Юрьевич). Здесь были сам Нарышкин с женой (урожденной Коновницыной), Розен, Лорер, Лихарев, Назимов, Фохт, позднее появился Бриггем.

Наследник со свитой остановился в доме как раз напротив дома Нарышкина. Розен на костылях явился к наследнику, но не был принят. Было раннее утро. Он отправился домой. У крыльца увидел дрожки исправника. «Кто приехал?» — спросил он. «Генерал!» — ответил кучер. Розен вошел в дом и увидел Жуковского, который утешал плачущую жену его, ласкал его детей. Жена Розёна встречалась некогда с Жуковским у Карамзиных. «Душе отрадно было свидание с таким человеком, — пишет Розен, — с таким патриотом, который, несмотря на заслуженную славу, на высокое и важное место, им занимаемое, сохранил в высшей степени смирение, кротость, простоту, прямоту и без всякого тщеславия делал добро где и кому только мог. И после свидания в Кургане он неоднократно просил за нас цесаревича».

Времени у Жуковского было в обрез. Вместе с Розеном поехал он к Нарышкину. «С каким неизъяснимым удовольствием встретили мы этого благородного, добрейшего человека! — пишет Лорер. — Он жал нам руки, мы обнимались. «Где Бриггеп?» — спросил Василий Андреевич и хотел бежать к нему, но мы не пустили и послали за Бриггеном. Когда он входил, Жуковский со словами: «Друг мой Бригген!» — кинулся ему на шею». (Жуковский пишет: «Ни одного из встреченных мною в Кургане я не знал прежде».) Здесь же был ссыльный поляк, 72-летний князь Воронецкий. Он был болен, но не хотел умереть на чужбине. Декабристы сказали Жуковскому, что они не просят наследника за себя, — пусть лучше поможет он старому поляку возвратиться на родину (Жуковский добился этого). «Простясь с ни-

ми, я живо почувствовал, что такое изгнание», — писал Жуковский.

По пути из Кургана в Златоуст Жуковский начал писать ходатайство о судьбе декабристов перед императором — оно было отправлено со специальным фельдъегерем.

Перед Симбирском, 23 июня, был доставлен ответ. Царь разрешил некоторым из поселенных в Тобольской губернии декабристов поступить в Отдельный Кавказский корпус солдатами. Лихарев, Назимов, Лорер, Одоевский, Черкасов и некоторые другие декабристы оказались вместо холодной Сибири — в *теплой* (как они называли Кавказ), — но у них появилась надежда выслуги чина и отставки... Жуковский не собирался на этом окончить свои действия в пользу декабристов, — в письме к императрице он упоминает о жене Нарышкина, добровольно поехавшей в Сибирь (а она была фрейлиной императрицы), о Якушкине, Бриггене, Муравьеве-Апостоле, — он пишет о семьях декабристов: «А их дети, оставленные в России или родившиеся в изгнании; а их родные, для которых давно совершившееся бедствие не состарилось, а свежо и живо, как в первую минуту!» — пишет он.

И опять мелькают города. Жуковский устал, но всей душой вбирает он в себя панораму проносящейся мимо него России. Он рисует и бегло, вповалку, заносит в дневник разные, иногда совсем казалось бы незначительные, приметы (как зна́чимы бывают такие мелочи для памяти, тем более для памяти *поэта*!): «24 июня. Пребывание в Симбирске... Рисование на *венце*. Город с пустырями; прекрасный вид на Волгу и Волошку»; «25 июня. При выезде из города вид на луговую сторону Волги. Она влево удалилась. Справа Свияга. Дорога нивами. Дубовая роща. Кладбище с часовнею в роще». Далее: «Деревня с мельницею на прекрасном ручье. От нее — на горы, пересеченные долинами, покрытыми пашнями и рощами березовыми... *Все бы это рисовать*. Сосновая роща. Стадо по ребру горы... В русском поклоне есть что-то очень важное, значущее... Вся сторона имеет характер благородной красоты: равнины пашней, окруженные высотами, коих формы грациозны и все покрыты лесом темной зелени».

Посетили село Троицкое, родину поэта Дмитриева, потом — Сызрань, Хвалынск. Жуковский записывает: «26 июня... Хвалынск довольно опрятный город. Дом; в окна деревья. У хозяина хорошие фрукты. При выезде из города с одной стороны Волга, с другой уже пески, из-

вестковые холмы далее. Дорога идет вдоль правого, или нагорного берега Волги». Саратов, Пенза, Мокшанск, Нижний Ломов. «3 июля. Пребывание в Тамбове... Прекрасные комнаты, золото, бронза, малахит, а все-таки тараканы. Поутру прогулка: две хорошие улицы — Астраханская и Дворянская... Множество лачужек и мазанок. Рисовал с кладбища». Далее — Козлов, Липецк... Около Воронежа Жуковский рисовал в живописной деревне Приваловке.

5 июля приехали в Воронеж: «Поездка по городу. Рисовал у тюремного замка». На другой день разыскал Кольцова, — на виду у всех жителей (нарочно) прогуливался с ним пешком и в экипаже, беседуя о его жизни, слушая его стихи, был у него дома, познакомился с семьей, пил чай, пригласил Кольцова на следующий день к себе. Жуковский старался всячески ободрить его, приглашал в Петербург, обещал поместить его стихи в «Современнике», советовал собирать народные песни и сказки... Кольцов писал Краевскому о посещении Жуковским Воронежа: «Ангел имеет столько доброты в душе, сколько Василий Андреевич: он меня удивил до безумия... Не только кой-какие купцы, даже батька не верил коечему, теперь уверились... Словом мне теперь жить и с горем стало теплей дюже».

Снова понеслись экипажи по пыльным дорогам — приближались родные края Жуковского. В один день миновали Задонск и Елец — 8-го числа въехали в Тулу. «9 июля. Пребывание в Туле. Встал в 5 часов. Прогулка по Туле. Тени прошедшего живут на местах, где мы жили... Я вспоминал физиономии людей. Рисовал...»

В Туле Жуковский получил разрешение покинуть свиту на десять дней для посещения родных своих мест. «Жуковский из Калуги едет на свою родину, в Белёв, — записывает Юрьевич, — и соединится с нами опять в Москве».

В Белёве его ожидали Екатерина Афанасьевна Протасова с внучками и Авдотья Петровна Елагина. Его ждал весь Белёв, приготовившийся чествовать его в городском саду. Елагина по подписке собрала средства, и был приготовлен серебряный лавровый венок, а городской голова А. Ф. Новиков приготовил речь... Вечером 13-го же числа Жуковский въехал в Белёв. Ранним утром следующего дня он нанес визит городничему Колениусу, голове и предводителю дворянства Тараканову. Потом, как пишет Жуковский, «у меня представление всех белёвских

властей». Пришел и бывший слуга его Максим, — он скромно стоял «в сторонке и с шестью сыновьями». Приехала баронесса Черкасова, благодарила за сына.

Жуковский объехал город, останавливался в разных местах и рисовал. Переехал за Оку и рисовал оттуда вид Белёва. Потом отправился в Мишенское. «Вырубленный лес по большой дороге, — записал он в дневнике. — Мельница близ деревни. Олешняк и вся гора облезли. Двор, и дом, и пруд, и деревня, но *прежнего нет*. На месте старой садовой рощи молодая. Только два камня. Многие из рощиц срублены». Вместо старой бунинской усадьбы Жуковский увидел какой-то длинный и низкий дом (он построен был совсем недавно по приказанию теперешней владелицы Мишенского Анны Петровны Зонтаг, пребывающей в Одессе) и разные постройки вокруг. Только церковь та же. Не оказалось и беседки на Греевой Элегии...

В новом доме, построенном из сохранившихся бревен старой усадьбы, Жуковский увидел знакомые кресла и столы, памятные с детства портреты, остаток библиотеки Марьи Григорьевны Буниной в простом шкафу... По-старому были кладбище и дубовая часовня-усыпальница, где Жуковский поклонился праху отца, Варвары Афанасьевны Юшковой, сестры своей... «Река времен... река времен!..» — печально думалось ему. «Я приехал взглянуть на своих и на свою родину, — писал он. — Нашел, что все состарилось, многое же и совсем исчезло... Время большой обжора... Я поглядел на наше Мишенское, — в нем все так изменилось, так все вверх дном, что я в другой раз и заглянуть в него не захочу. Оно мне дорого прошедшим, а след этого прошедшего уничтожен частью временем (что грустно, но не обидно), частию рукой человеческой, что грустно и обидно».

16 июля купечество и дворянство города поднесло ему хлеб-соль; были произнесены речи, а от увенчания серебряным венком ему как-то удалось уклониться.

19 июля в Белёв прибыл великий князь со всей своей свитой и остановился в доме купца Бунакова. Утром он осмотрел дом, где проездом из Таганрога скончалась в 1825 году императрица Елизавета Алексеевна, затем Спасопреображенский мужской монастырь. «В Белёве великий князь посетил дом, некогда принадлежавший Жуковскому, — пишет Юрьевич, — и тем восхитил до бесконечности и прежнего и нового его владельца — протоколиста Емельянова». Неожиданный этот случай как бы

вернул Жуковскому на несколько мгновений прекрасное прошлое — он увидел себя в своем кабинете у полукруглого окна, молодым; увидел Машу, смотрящую вместе с ним на дали за Окой. День был яркий, солнечный. Переливалась и сверкала внизу река, свежей зеленью сияли луга, уходящие вдаль... А небо, лазурное небо, — только в счастливом сне можно увидеть такое... С глазами, полными слез, вышел Жуковский из этого дома... Великолепный поезд наследника укатил из Белёва. Жуковский остался. 21 июля он «рисовал за городом»; вечером — «катанье на лодке». Только утром 22-го выехал он из Белёва. Снова Козельск с его спокойной Жиздрой, потом Калуга и далее — Малоярославец, Боровск...

24 июля Жуковский прибыл в Москву. В этот же день побывал у Муравьевой, у Шевырева, слушал пение цыган в доме графа Потемкина на Пречистенке. 25-го к нему на квартиру — в Кремле — пришел его старый друг Алексей Михайлович Тургенев, с которым они на другой день рано утром, в 5 часов, поехали на Воробьевы горы. Но им не повезло — Москва была закрыта облаками. Ожидая, что с восходом солнца они разойдутся, Жуковский послал в село на горах за молоком и черным хлебом. «Между тем густое облако кое-где проредело, — пишет Тургенев. — *Чистая душа* уселся в тени столетнего вяза и начал снимать вид».

Повсюду, куда он должен был являться как один из сопровождающих наследника, Жуковский отделялся и устраивался в сторонке рисовать.

3 августа московские литераторы устроили в Сокольниках праздник в честь Жуковского. Обед готовил бывший повар В. Л. Пушкина Влас (или Блэз, как звал своего повара Василий Львович). Присутствовали Шевырев, Аксаков, Загоскин, Нащокин, Денис Давыдов, Баратынский, Погодин. Были приглашены цыгане, — до поздней ночи разносились по рощам удалые песни, звуки бубнов... 5 августа приехал из Петербурга И. И. Дмитриев, — Жуковский посещает его ежедневно, бывает с ним в Английском клубе. 8-го он крестил у Погодина.

9 августа поезд наследника, а с ним и Жуковский, двинулся на Владимир. Быстро проехали Ковров, Вязники, Гороховец, Муром, Касимов, Рязань, Зарайск и Венёв... 17 августа остановились в Туле. 18-го через Мценск прибыли в Орел. Следующий день Жуковский выговорил для себя — поехал в Муратово с Воином Губаревым (у которого весь мир сошелся на Вольтере). «Самая худ-

шая поездка, — записал он. — Пожар в Муратове. Остатки... Разросшийся сад. Дуняшин цветник». Опустело Муратово — столь дорогое для него, и для Маши, место. Большой дом был разобран и продан Воейковым. Пруд спущен. От парка почти не осталось следов. Но вот — одичавшие цветы, когда-то посаженные Дуняшей Киреевской. Яблони в саду разрослись, нижние большие ветки обломились, засохли, не пробраться сквозь этот бурелом... Поехал в Бунино — Мойера не застал (он находился в это время в Дерпте); Екатерина Афанасьевна была одна (Катя, дочь Маши, жила у Елагиных, а сестры Воейковы уехали в Петербург), свидание с нею было печально — одинокая старуха осталась ни с чем. Поехал в Чернь — и там никого из прежних знакомцев. «Печальный день!» — заключил Жуковский записи 19 августа.

Курск... Как и везде тут — приемы, бал. Жуковский посетил могилу Богдановича, автора «Душеньки». Ночью, по пути в Харьков, поезд наследника попал в сильную грозу. В Липцах Жуковский отстал, ночевал на станции один. Один подъезжал утром к Харькову. Экипаж еле тащился в грязи мимо плетней и мазанок. 23-го были в Полтаве: 24-го переправлялись через Псёл. Потом миновали Кременчуг. Наконец прибыли в Вознесенск, город военных, где назначены были большие маневры. Сюда прибыл император, здесь собрались иностранные дипломаты, генералы. Русских войск сюда было стянуто несметное количество — триста пятьдесят эскадронов кавалерии и тридцать батальонов пехоты... Жуковского все это не интересовало, он оставил наследника и поехал в Крым, один, не связанный никакими предписаниями.

26 августа Жуковский уже сидел за чаем у Анны Петровны Зонтаг в Одессе. «27 августа. Осматривал город с Анною Петровною... 28 августа. Прогулка по городу. Осмотр дома графа Воронцова... Обед на хуторе Анны Петровны... Ввечеру в театре... 29 августа. Обозрение карантина. Рисование на пристани». Жуковский побывал в музее, в библиотеке, в Ришельевском лицее. Сам город ему не понравился: весь из камня, дома почти одной высоты, мало зелени, пыль, жара, вокруг города — пески и скалы.

31 августа выехал в Николаев. Дорога часто приближалась к морю, иногда шла у самой воды. Чаще всего берег громоздился голыми скалами. Море с шумом разбивалось о камни, в небольших заливах стояла зловон-

ная вода... 1 сентября проехал Николаев, увидел широкий Буг, корабельную верфь, отметил кратко — «Город красивый». Далее пошла голая степь. Посреди степи — Херсон... 2 сентября проехал Перекоп — началось путешествие по Крыму.

«4 сентября. Выезд в дождь. В Мамут-Султане останавливался у Мемет-мурзы. Пил кофе. Ел пироги саурма-берек. Курабье — пирожки из муки и меда. Каймак и кебан борит на сковороде (мед, масло). Переезд через Таушан-Базар в Алушту. Великолепная долина между высоких утесов... Кутузовский источник» (здесь М. И. Кутузов был ранен турками в глаз в 1774 году)... «5 сентября. Пребывание в Карабаге. Целый день дождь и попеременно сильный ветер. Обход виноградника. До 170 сортов... Кипарисы. Фиговое, миндальное, ореховое, каштановое деревья; лавр, крупная рябина... Прогулка к Кучук-Ламбату... Хаос камней... Ввечеру луна. Потом сильная буря и дождь. 6 сентября. Поутру рисовал. В девять часов отправились верхом через Биюк-Ламбат в Партенит. Татарская хижина в Биюк-Ламбате. В гостиной дивные полотенцы. На очаге казанок, на полу пшено... Женская часть. Хаос корзин, тряпья, жестяных кувшинов, алькоран. Плоская кровля и трубы... Переезд через хребет Аюдаг и Артек. Вид залива... Спуск темною ночью в Никиту... 7 сентября. Поутру рисовал. Осматривал с Гартвигом Никитский сад, учрежденный для обогащения плодами жителей Крыма Ришелье...». 7-го посетил Жуковский Магарач, Массандру, Ялту, Мисхор... Осмотрел строившийся в Алупке дворец графа Воронцова... «9 сентября... Ай-Петри. Сосновый и дубовый лес. Просвет на Симеиз и Кикинеис. Въезд по крутизне... Обед у Мемет-мурзы; его сыновья Селамет Гассан и Шехан Бей. Обед из шорбы (суп), беле балык (форель), пилавы и сармы. Рисованье. Мулла... Путешествие в темноте до Бахчисарая. Скрип арбы... Равнина. Месяц. Бахчисарай. Путешествие пешком... Дворец. Осмотр горниц ночью. Двор. *Пушкина фонтан*... 10 сентября... Чуфут-Кале. Проводник — караим... Вид от Чатырдага до Севастопольского рейда... Завтрак у караима. Пирог и варенье... После обеда рисованье... Прекрасный вид собравшегося народа. Караимы в белых чалмах... Музыка из тамбуринов и скрипок, и песни».

14 сентября в коляске отправился к Байдарским воротам, сначала в гору, потом спуск... «Грозное дыхание моря. Чудесный вид Байдарской долины при вечернем

освещении. Яркий общий свет. Свет красный сквозь облака... Фиолетовые горы на зеленом поле...»

И еще поездки — Кореиз, Аутка, Ялта, Массандра, Никита, Ай-Даниль, Гурзуф — все верхом... 25 сентября вернулся в Симферополь, а 1 октября был уже в Екатеринославе, здесь заболел и не выходил из комнаты. С 5 по 7 октября Жуковский осматривал Киев. На обратном пути в Москву, в Воронеже он снова встретился с Кольцовым. 27 октября в Туле увидел газету с некрологом И. И. Дмитриева. «Проезжая через Тулу, где я начал жить, — писал Жуковский Вяземскому, — где были и первые мои уроки, и первая любовь, и первые стихи, где я в первый раз в жизни услышал и полюбил имя Дмитриева вместе с именем Карамзина, я нашел в трактире на столе тот № газеты, где напечатана статья о нем Шевырева... В нашем прошедшем два самые яркие для нас лица: Карамзин и Дмитриев... Первый визит мой в Москве был на погребенье — уж не предсказание ли это какое? Уж и меня не придется ли вам хоронить в нынешнем году? Оно было бы и кстати».

Подъезжая к Петербургу вечером 17 декабря, Жуковский увидел зарево пожара. Горел Зимний дворец... Отважно, но тщетно боролись с пламенем солдаты лейб-гвардии Преображенского полка. Однако из дворца было вынесено все ценное, в том числе картины, и спасен Эрмитаж со всеми его коллекциями. Остался цел и Шепелевский дворец — Жуковский снова поселился на своем «чердаке». Сюда пришло письмо Гоголя, написанное в Риме 30 октября 1837 года: «Я получил вспоможение... Вы, все вы! Ваш исполненный любви взор бодрствует надо мною! Тружусь и спешу всеми силами совершить труд мой. Жизни, жизни! еще бы жизни! Я ничего еще не сделал, что бы было достойно вашего трогательного расположения. Но может быть это, которое пишу ныне, будет достойно его. По крайней мере мысль о том, что вы будете читать его некогда, была одна из первых, ожививших меня во время бдения над ним! Храни Бог долго, долго прекрасную жизнь вашу».

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

(1838—1840)

Во второй половине января 1838 года к Жуковскому пришел молодой офицер в форме Гродненского гусарского полка, только что возвращенный из Кавказской ссылки. Он читал Жуковскому стихи, отрывки из «Тамбовской казначейши» и рассказывал о своем путешествии по Кавказу и в Тифлис. Он приходил к Жуковскому несколько раз. 15 февраля он писал в Москву М. А. Лопухиной: «Я был у Жуковского и отнес ему, по его просьбе, «Тамбовскую казначейшу»; он повез ее к Вяземскому, чтобы прочесть вместе; сие им очень понравилось, — и сие будет напечатано в ближайшем номере «Современника» (Лермонтов уже печатался в «Современнике» — во втором номере за 1837 год там было помещено «Бородино»). Жуковский подарил Лермонтову экземпляр «Ундины» с собственноручной надписью. Издателем «Современника» с этого года был Плетнев, ему и была передана поэма (к неудовольствию Лермонтова, он напечатал ее с искажениями и сокращениями, изменив и название — на «Казначейшу»).

2 февраля 1838 года в Петербурге было отпраздновано 70 лет со дня рождения и 50-летие литературной деятельности Ивана Андреевича Крылова. «Из лиц, к поэту ближайших по дружбе, составлен был комитет для учреждения праздника, — пишет П. А. Плетнев. — Под председательством Оленина там были: Жуковский, князь Вяземский, Плетнев, Карлгоф и князь Одоевский. Предположили в день рождения Крылова дать обед в зале Дворянского собрания, что было в доме г-жи Энгельгардт. Гостей соединилось около 300 человек». Были произнесены речи, пелись куплеты Вяземского, посвященные юбилею; Блудов прочитал посвященное Крылову стихотворение Бенедиктова. Жуковский произнес речь, которая очень порадовала Крылова и не понравилась Уварову, министру народного просвещения, присутствовавшему здесь. Знаменательно, что Уваров в своей речи на юбилее говорил

от имени царя, а Жуковский — от имени всей России (Уваров из речи Жуковского, представленной предварительно, вычеркнул упоминание о Пушкине, но Жуковский не принял этого в расчет). «Наш праздник, на который собрались здесь немногие, есть праздник национальный; когда бы можно было пригласить на него всю Россию, она приняла бы в нем участие с тем самым чувством, которое всех нас в эту минуту оживляет, и вы от нас немногих услышите голос всех своих современников. Мы благодарим вас... за *русский народ,* которому в стихотворениях своих вы так верно высказали его ум и с такою прелестью дали столько глубоких наставлений». Жуковский отметил, что басни Крылова «обратились в родные пословицы, а народные пословицы живут с народами и их переживают». В этой речи Жуковский говорил о Дмитриеве — «предшественнике» Крылова, и о Пушкине, который, «едва расцветший и в немногие годы наживший славу народную, вдруг исчез, похищенный у надежд, возбужденных в отечестве его гением» (Уваров морщился при этих словах, показывая, что он не одобряет именования Пушкина *гением).* «Воспоминание о Дмитриеве и Пушкине,— говорил Жуковский, — само собою сливается с отечественным праздником Крылова».

Жуковский готовится к путешествию по Европе, которое должно явиться продолжением поездки наследника по России. Отъезд назначен был на конец апреля. Жуковский принимает у себя по субботам литераторов, — в феврале в его кабинете снова появился скромный, застенчивый Кольцов. Сам Жуковский бывает в доме Одоевского, у Козлова и с каким-то особенным чувством — у графини Ростопчиной, молодой поэтессы, которая в первую же зиму своего пребывания в Петербурге 1836/37 года своим умом, красотой и талантами привлекла на свои вечера цвет русской литературы (Пушкин успел подружиться с ней). Стихи Ростопчиной все чаще появляются в журналах и альманахах, ее имя становится известным, даже популярным. Жуковский находил в ней лирический талант, обещающий большое развитие.

Часто появляется Жуковский в мастерской Брюллова. 24 февраля он «с благоговейным восторгом стоял перед картиною, — пишет ученик Брюллова Мокрицкий, — и, сильно тронутый выражением головы Спасителя, он обнимал художника, поздравил его с счастливым исполнением идеи». В этот же день к художнику пришел Кольцов. Брюллов хотел было не принять его за недосугом, но «Жу-

ковский молвил слово в пользу Кольцова, и я ввел в студию дорогого гостя. Василий Андреевич отрекомендовал его Брюллову», — записал в дневнике Мокрицкий. 27 марта у него записано, что Брюллов писал этюд с натурщика, «а Жуковский приловчился на кушетке против картины с цыгаркою. Обещал сидеть смирно и ни слова не молвить. Недолго продолжалось это красноречивое молчание... Поэты наши разговорились порядком: капелла Сикстина, Микеланджело и Рафаэль были предметом их разговора. Было что послушать мне, стоявшему здесь...». Жуковский — сам художник, человек с тонким вкусом, хорошо знавший европейскую живопись, ценил Брюллова очень высоко. Пытаясь помочь ему снова выбраться в Италию, в том же 1838 году, в июле, он писал: «С чувством национальной гордости скажу, что между всеми живописцами, которых произведения мне удалось видеть, нет ни одного, который бы был выше нашего Брюллова и даже был бы наравне с Брюлловым. У него решительно более творческого гения, нежели у всех их вместе (Жуковский имеет в виду современных немецких живописцев. — *В. А.*)... Его «Христос на кресте», по моему мнению, выше всего, что написала кисть в новейшее время. Но я боюсь за его будущее: он в Петербурге исчахнет, ему там душно, ему необходима Италия... Брюллов более полутора года прожил в Петербурге, и в эти полтора года он был два раза болен жестокою простудою, а солнечного света почти во все продолжение длинной нашей зимы у него не было... Большое будет горе для моего русского сердца, если этот гений погаснет, не оставив ничего такого, что бы прославило его отечество».

Весной 1838 года благодаря Жуковскому и Брюллову был освобожден от крепостной зависимости Тарас Шевченко. Он был маляром в петербургской мастерской Ширяева и посещал учебные залы Общества поощрения художников. В 1837 году он познакомился с Венециановым, который помог многим талантливым молодым людям из крепостных добиться освобождения. Венецианов, ища возможностей для помощи Тарасу, обратился к Жуковскому. В начале 1837 года Шевченко по заказу Жуковского написал портрет Елизаветы Нахимовой, дочери смотрителя Зимнего дворца. Друзья Шевченко — молодые художники, ученики Брюллова — показали Брюллову рисунки Шевченко, и он похвалил их. Они попросили Брюллова сделать что-нибудь для их друга, и он поехал к помещику Энгельгардту, надеясь убедить его отпустить

талантливого юношу. Брюллов вернулся раздраженный: «Это самая крупная свинья в торжковских туфлях!» — сказал он о помещике. Шевченко пришел в отчаяние... Жуковский, узнав о его состоянии, написал ему несколько ободряющих слов (Шевченко потом много лет носил эту записку в кармане). К Энгельгардту поехал Венецианов, он приступил к делу прямо и спросил о цене, за какую может он отпустить Тараса. Энгельгардт запросил 2500 рублей. Надо было их добывать, Брюллов решил написать портрет Жуковского и разыграть его в лотерею. В апреле 1837 года портрет был готов, или почти готов, а потом все дело затянулось на целый год, так как Жуковский уехал в путешествие по России. Лотерея произошла только в апреле 1838 года в Аничковом дворце. Отпускная Тарасу Шевченко была подписана 22 апреля, Энгельгардт прежде подписания получил всю сумму. Царская семья, купившая билеты, к 25 апреля внесла только 1000 рублей. Остальные деньги внесли Брюллов и Жуковский.

25 апреля Мокрицкий записал: «Пошел я к Брюллову... Скоро пришел Жуковский с гр. Виельгорским. Пришел Шевченко, и Василий Андреевич вручил ему бумагу, заключающую в себе его свободу». Брюллов оставил портрет у себя и просил Мокрицкого снять с него копию. 27 апреля Мокрицкий пишет: «Вчера поутру начал я копировать портрет Жуковского... В три приехал Жуковский для сеанса» (Мокрицкий мог сверять копию с натурой, а Жуковский не ленился приезжать и сидеть — ему здесь было хорошо). Еще в 1839 году Баратынский видел портрет Жуковского в мастерской Брюллова (он был там и в 1849-м — портрет так и не попал в Зимний дворец, заново отстроенный к марту 1838 года).

В эти же предотъездные дни Жуковский привел в порядок и сдал «в опеку, учрежденную по делам покойного Пушкина, все бумаги его», вместе с тем и все его произведения, «найденные после его смерти и приготовленные в копии для издания в печать» (в 1838 году вышли в свет 8 томов сочинений Пушкина — несколько томов в следующие годы).

3 мая был прощальный обед у Виельгорских, прямо от них Жуковский тронулся в путь и на другой день около девяти часов вечера, не заезжая ни к кому, миновал Дерпт (надо думать, что он поклонился праху Маши, — ведь это было потребностью его одинокой души). «Уехал почтенный наш Василий Андреевич, — писала

родственница Вяземского Кологривова Плетневу. — Его отъезд для многих важная сердечная утрата... Но всегда милый, всегда добрый, всегда и во всем неземной, он и в минуту отъезда не забыл о тех, которым с таким радушием обещал свое покровительство».

До 24 мая великий князь находился в Берлине. Жуковский опять попал в скучную суету визитов, приемов, балов и парадов. Он старался улучить всякую минуту, чтобы пообщаться с художниками, — бывал у скульптора Рауха, художника Крюгера, который налитографировал портрет русского поэта (он продавался потом в Петербурге в книжной лавке Смирдина). 21 мая приехал в Берлин Вяземский, он рассказал, что пароход, на котором он плыл из Петербурга, сгорел в море, в виду немецких берегов. Почти все пассажиры спаслись (на пароходе были жена Ф. И. Тютчева, с детьми, молодой И. С. Тургенев). 27 мая Жуковский отплыл на пароходе, «набитом как бочонок с сельдями» высокопоставленными лицами, сопровождавшими великого князя и Николая I в Швецию.

30-го Жуковский осматривал Стокгольм. Дневник его очень краток. «Я веду журнал, — пишет он, — то есть записываю для бедной моей памяти то, что каждый день случится, в немногих словах, как ни попало, карандашом, пером, полными фразами или только знаками». Со времени путешествия по Швеции Жуковский, числясь при особе великого князя, по сути, путешествует один, соблюдая лишь заданный маршрут и присоединяясь к свите там, где этого избежать было нельзя. Жуковский изучал страну, рисовал. Он откровенно пренебрегал своими обязанностями наставника. Настолько, что даже друзья упрекали его в этом, например, Александр Тургенев в письме к Вяземскому: «Нельзя не огорчаться на него... что он не исполнил святой, неотклонимой от него обязанности, для коей приставили его к наследнику... У него должна была быть одна мысль: заронить искры, пробуждать чувства, обращать, отвращать от балов и парадов... Заговаривать о важном, хотя бы и не слушали его, не отвечали ему...» Но Жуковский закончил «воспитание» наследника задолго до сложения с себя звания наставника. Князь также не был в претензии на то, что ему не мешают показать себя в европейских дворцах, покрасоваться на парадах. Жуковский с презрением пишет, что половина времени князя «жалким образом» тратится на «церемониальные визиты, длинные и нездоровые обеды, душные балы и разные радости этикета». «Мне не дано никакого особен-

ного поручения, — пишет он, — и я имею более досуга для занятий путешественника».

Жуковский был в Упсале, где осмотрел университет, спускался в Даннеморские рудники, плыл по Готскому и Трольготскому каналам. 17 июня он прибыл в Копенгаген. 26-го явился к нему с визитом датский поэт Эленшлегер, «король скандинавских бардов».

29 июня на пароходе «Геркулес» отправился Жуковский в Травемюнде, потом в Любек и Ганновер. Дорогой преследовал путешественников дождь. 22-го через Геттинген (здесь Жуковский побеседовал с историком Геереном), Кассель и Марбург Жуковский прибыл во Франкфурт-на-Майне, где нашел Александра Тургенева. 26 июля он был уже в Эмсе, здесь встретил Шевырева. Они вместе совершали прогулки по горам; Жуковский много рисовал. 25 августа с душевным трепетом въехал Жуковский в ворота Веймара. «Мысли о Гёте и Шиллере дают особенную прелесть этим местам», — записал он в дневнике. Несколько раз в течение недели посетил он дом Гёте, побывал на его могиле, — его сопровождал канцлер Мюллер, занимавшийся изданием сочинений Гёте и писанием его биографии. 4 сентября выехали. Снова замелькали немецкие, а потом австрийские города, где Жуковский осматривал музеи, галереи, всевозможные достопримечательности: Нюрнберг, Регенсбург, Мюнхен, Инспрук... Инспрук — уже за Альпами. Впереди лежала Италия.

Миновали Верону, Брешию, Бергамо... 1 октября остановились в городке Комо на живописном и уже знакомом Жуковскому озере Комо. Он изучает итальянский язык, путешествует по горам, плавает по озерам Комо и Маджоре — на последнем посещает Борромейские острова. В Комо Жуковский получил письмо из Турина от Тютчева: «Некогда, милостивый государь, я пользовался вашею благосклонностью. И в последнее время, я знаю через князя Вяземского и других ваших петербургских друзей, вы не раз отзывались обо мне с участием... Вы известились, может быть, о моем несчастии, о моей потере?.. И та, которой нет... сколько раз по возвращении своем из Петербурга и рассказывая мне про свою тамошнюю жизнь, упоминала она мне про вас... Вот почему, не будучи ни суевером, ни сумасбродом, я от свидания с вами жду некоторого облегчения... Вы недаром для меня перешли Альпы... Вы принесли с собою то, что после нее я более всего любил в мире: отечество и поэзию... Не вы ли сказали где-то: *в жизни много прекрасного и кроме*

счастия. В этом слове есть целая религия, целое откровение... Но ужасно, несказанно ужасно для бедного человеческого сердца отречься навсегда от счастия. Простите. Вера моя не обманет меня. Я увижусь с вами».

Тютчев приехал в Комо. Они вместе катались по озеру на пароходе. 19 октября Жуковский записал: «Глядя на север озера, он сказал: «За этими горами Германия». Он горюет о жене, которая умерла мученическою смертию, а говорят, что он влюблен в Мюнхене». Жена Тютчева была на пароходе, который сгорел в мае у берегов Пруссии, — она спасла детей, но сама простудилась и, так и не оправившись, 9 сентября 1838 года скончалась. В одну ночь у ее гроба Тютчев поседел. Он думал, что не переживет этой ночи. Однако он действительно был «влюблен в Мюнхене», и эта любовь — его вторая жена, Эрнестина Дёрнберг, которой он писал, что «не будь ее» в то страшное для него время, — он бы не вынес страдания... В течение нескольких вечеров Тютчев приходил к Жуковскому. Жуковский молча выслушивал печальные излияния Тютчева, но его собственная душа страдала другим — *ей* родным страданием, — милое, единственное на свете лицо Маши стояло перед ним так, как будто никогда не исчезало. «Как можно думать, что Маши — *нет?* Она *была...* И я иду, хотя и долгим путем, но иду к ней!» — думал Жуковский. *Отчаяния* он не принимал — *оно не глубоко.* Излияний о своем всегдашнем горе — своей разлуке — Жуковский не то чтобы не допускал, он их вообще не представлял себе. Но он Тютчеву сочувствовал, он видел его слезы...

Они вместе поехали в Милан. С 22 по 29 октября они осмотрели в Милане все, что возможно (не исключая, конечно, знаменитого собора), побывали всюду в сопровождении астронома Фризиани, куда можно было успеть за неделю, а вечерами беседовали. По рекомендации Фризиани Жуковского принял нелюдимый и знаменитый автор «Обрученных» Алессандро Манцони, — они беседовали часа два. «Эти немногие минуты были для меня счастливы, как в старину подобные минуты с Карамзиным». Жуковский принес с собой сочинения Манцони, и тот сделал на них дарственную надпись. Но настал и день разлуки, Тютчев вернулся к службе в Турин, а Жуковский через Кремону, сидя на козлах рядом с кучером, поехал в Фузину и оттуда на лодке, морем, в Венецию. Он писал отсюда — из Венеции, «прелестной, чудной всем тем, что в ней есть, и еще более тем, что в ней было. Но

прелесть ее существует для меня еще более в воображении, ибо во все почти время нашего здесь пребывания была пасмурная, дождливая погода; мы даже видели снег».

4 ноября Жуковский пишет Козлову: «Подумай, откуда пишу к тебе. Из Венеции! При этом имени перед закрытыми глазами твоими являются Тасс, Бейрон и тысячи гигантских и поэтических теней прошедшего. Я живу на берегу Большого канала; в тех горницах, которые занимал император Александр. Есть у меня угольная горница; окна, как везде в Италии, до полу и с балконами. Выйду на один балкон, передо мною широкий канал и что-то очень похожее на вид из окон Зимнего дворца, на Биржу и Адмиралтейство: такое же широкое пространство вод...»

6 ноября Жуковский поднялся на кампани́ле — колокольню собора, — оттуда увидел всю Венецию. Оказалось, что она вся крыта красной черепицей и похожа на сказочное чешуйчатое животное. Вышло солнце, и повсюду засверкала вода. Стали видны отмели, проливы, каналы, острова, на севере — далекие отроги Альп. Паруса в море. Голубое дрожащее марево на горизонте. Потом Жуковский плыл в гондоле. В Венеции каждое палаццо — музей и картинная галерея; владельцы их — обедневшие аристократы или богачи-выскочки, купившие их у аристократов, охотно пускали иностранцев, беря небольшую плату. Жуковский побывал во дворцах Редзонико, Монфроне, Гримани, Барбериго, Пизани, Микели, Пезаро, он подплывал прямо к ступеням мраморных лестниц и поднимался в залы, в которых иногда под потолком перелетали птицы и летучие мыши, вместо обоев были старые гобелены и на всем лежал толстый слой пыли... Он задирал голову, разглядывая растрескавшиеся плафоны, всматривался в почерневшие полотна Гвидо Рени, Луки Джордано, Мазаччо, и опять — Тициана, который прожил бы, казалось ему, лет двести, если б в возрасте около ста лет не умер от чумы: он один придал Венеции не меньше пышности и блеска, чем все ее кондотьеры, веками свозившие сюда военные трофеи — мрамор, яшму, урпур и бархат, золото и бронзу... Дворцы — творения Сансовино, Ломбарди и Палладио — блистали на солнце остатками разбитых стекол и давно нечищенным мрамором колонн. Трубы, балконы, карнизы — все рушилось, осыпалось...

Жуковский засыпал и видел во сне тяжелую как масло воду узких каналов, монахов в грубых коричневых ря-

сах и сандалиях, позеленевший мрамор, показавшийся из-под разъеденной сыростью штукатурки, бесшумные призраки черных гондол, слепящее золото византийских фресок в соборе, клубящийся пурпур одежд на картинах венецианских мастеров, сырое белье, в изобилии развешанное на веревках, переброшенных через каналы, цветы в киотце на наружной стене дома у лика Мадонны... Здания Венеции словно излучают нежный, смутный цвет — розовато-малиновый, красновато-терракотовый... Вода из нежно-голубой становилась сине-зеленоватой, к вечеру — сиреневой... Жуковский был на рыбном базаре, заваленном диковинными обитателями морских глубин, в армянском монастыре на острове Сан-Джорджо, в театре Фениче, в Арсенале, где строились некогда грозные галеры, угрожавшие Турции, Греции, Риму... Здесь ветшают захваченные некогда венецианцами турецкие бунчуки и знамена, трофеи битвы при Лепанто — арбалеты, панцири и шлемы, копья и щиты... Два древних мраморных льва из Афин сторожат вход в Арсенал.

22 ноября выехали из Венеции на барке, высадились в Фузине, и дорога пошла вдоль Бренты, по берегам которой громоздились полуразвалившиеся венецианские бастионы. На реке — стаи черных лодок... Дорога тоже полна движения — идут покорные ослики, навьюченные корзинами и тюками, несутся переполненные пассажирами двухколесные седиолы — не меньше десяти человек набито в крошечный экипаж, рассчитанный на двоих: и все смеются, насвистывают, перекликаются со встречными... В деревне Аркуа Жуковский осмотрел домик, где жил последние годы и умер Петрарка, его скромную гробницу в саду. Зарисовал серую стену и оконце, увитое виноградом, а вокруг все было так, как во времена певца Лауры... Это было место воспоминаний...

И странно, Жуковский не ощущал здесь себя на чужбине, чужбина — это Германия, Австрия, Англия, даже Швейцария. Но не Италия. И почему так — бог знает... После Феррары пошли горы, затем холмы Тосканы. 24 ноября ночевали в Болонье. С 25 ноября по 1 декабря Жуковский осматривал во Флоренции художественные сокровища. Он был во дворце Питти, в Уффици, но тысячи скульптур и полотен всех времен и народов в десятках залов невозможно было осмотреть и за год... Жуковский остановился у полотен Боттичелли. Мечтатель Боттичелли, со своей волшебной, чисто линей-

ной красотой, — мастер, который умел соединить в одном мгновении покой и порыв. Синее небо блещет в просветах между темными листьями. Флора задумчиво опустила руку в передник, полный лепестков, сейчас она бросит еще пригоршню цветов на луг, где танцуют неулыбчивые, но прелестные Грации. Амур целится в юношу, который беспечно пытается сбить палкой яблоко. Нимфа, которую испугал сатир, кинулась к Флоре, ища защиты. Флора ничего не слышит, смотрит прямо на Жуковского, словно спрашивая: «Ты еще не разучился радоваться?» Он осмотрел капеллу Медичи, где жил в мраморе гений Микеланджело. Видел в замке Барджелло фреску, на которой Джотто сохранил для будущих поколений облик Данте... Видел небольшую скамью у южной стены собора, где любил отдыхать Данте. 1 декабря выехали из Флоренции.

Были краткие остановки в Сиене, рассыпавшейся на трех холмах; Аквапенденте, Монтефьясконе, Витербо, Рончильоне... После этого последнего Жуковский забрался на козлы, несмотря на холод и дождь. Он вглядывался в даль. И вот с одного из пригорков различил на горизонте купол собора святого Петра. Это был Рим. В полях Римской Кампаньи, несмотря на поздний осенний месяц, было солнечно и даже тепло. Зеленела трава между бурых камней. Одинокие дубы шумели свежей листвой, стройные пинии четко рисовались на возвышениях, а вдали, замыкая горизонт, как будто плыли бледно-голубые горы. Приглядевшись, можно было различить вдали темные линии древних акведуков... Прямо у дороги, опершись на длинный посох, стоял рослый молодой пастух, вокруг бедер которого была обернута баранья шкура шерстью наружу. Временами Ромула и Рема пахнуло на душу Жуковского от этой фигуры...

Вот уже и Тибр — с желтой, почти коричневой водой, которая, как и все вокруг, словно спит со времен цезарей. Глинистые отмели, несколько лодок на берегу.. Вот и ворота дель Пополо. Огромный их карниз поддерживают колонны, по бокам — статуи Петра и Павла. Бурые зубчатые стены осыпались, проросли кустами. Слева над ними громоздились крыши и рощи холма Пинчио, с его бульварами.

— Пассапорти, синьоры! — Два жандарма, обтрепанные таможенники. Несколько монет перешло в их руки. Въезд в Рим был свободен. Это случилось 4 декабря.

Остановившись в гостинице «Франц», Жуковский по-

слал записку к Гоголю, приглашая его прийти на другой день. «Да будет благословен и тот кучер, который принес мне вашу записку, и дорога, по которой ходил он... Сохрани вас небесные силы! бегу обнять вас», — отвечал Гоголь. Он явился к Жуковскому с Шевыревым, и они втроем пустились в город. «Жуковский настолько влюблен в Рим, что ему от этого двадцать лет или того меньше, если такое возможно, — пишет Долли Фикельмон из Рима Вяземскому в эти дни. — Он ходит туда и сюда, он в постоянном восхищении, никогда не устает и забывает обо всем». В кафе Греко и в ресторанчике Лепре Жуковский нашел многих своих знакомых немецких и русских художников. В последующие дни он часто заходил в мастерские Иванова, Бруни, Живаго, Никитина, Маркова, Габерцетеля, Иордана. Однажды он обошел все мастерские вместе с великим князем, это нужно было для поддержки художников. Великий князь вынужден был сделать ряд заказов.

Сначала Жуковский осматривал город с Гоголем и Шевыревым. «Шевырев вечно на кафедре, — записал он 7 декабря, — и все готовые, округленные, школьные мысли; Гоголь весь минута, он живет Италиею». Потом они чаще стали ходить вдвоем, оба они, Гоголь и Жуковский, брали с собой альбомы и карандаши. «Я теперь так счастлив приездом Жуковского, что это одно наполняет меня всего, — пишет Гоголь. — Свидание наше было очень трогательно. Первое имя, произнесенное нами, было Пушкин. Поныне чело его облекается грустью при мысли об этой утрате. Мы почти весь день осматривали Рим с утра до ночи». 10 декабря Жуковский был с Гоголем у Иванова, в его мастерской, затаившейся во дворе большого дома, видел уже полностью подмалеванное — огромное — «Явление Христа народу» (по настоянию Жуковского великий князь оставил эту картину за собой — художнику назначена была пенсия по три тысячи рублей в год). Иванов подарил Жуковскому три рисунка — «Иисус в винограднике», первый эскиз «Явления Христа народу» и «Жених, покупающий своей невесте кольцо».

Наследник поручил Жуковскому приобрести на его имя несколько картин у русских художников, а их в Риме было около тридцати человек. Жуковский перепоручил это Бруни, а затем Иванову. «Я бегал как угорелый, — писал Иванов, — к каждому из 30 человек, чтобы согласить на заказ или покупку и назначить цену, не спал две ночи, писал и переписывал бумаги, снося жестокие слова

некоторых товарищей... Любезные соотечественники вломились в кабинет к Жуковскому и откричали ему свои недовольства, закончив все свои доказательства междоусобною ссорою в его глазах». В конце концов заказы и покупка были утверждены.

С 18 по 25 декабря Жуковский и Гоголь почти неразлучны. Их мало интересует знаменитая Корсо — эта длинная щель, застроенная дворцами (Дориа-Памфили, Киджи, Русполи и т. д.), она интересна только в карнавал, до которого, правда, недалеко. Они рисовали у Колизея, на Форуме, на вилле Мильс, сидя на обломках, обросших зеленью, рядом паслись козы, играли мальчишки. Гоголь писал в «отрывке» «Рим» (1839) о темных улицах и переулках, из которых мало-помалу «начинает выдвигаться древний Рим, где темной аркой, где мраморным карнизом, вделанным в стену, где порфировой потемневшей колонной, где фронтоном посреди вонючего рыбного рынка, где целым портиком перед нестаринной церковью, и, наконец, далеко, там, где оканчивается вовсе живущий город, громадно воздымается он среди тысячелетних плющей, алоэ и открытых равнин необъятным Колизеем, триумфальными арками, останками необозримых цезарских дворцов, императорскими банями, храмами, гробницами, разнесенными по полям».

1 января 1839 года Жуковский ездил с Гоголем в Тиволи, рисовал древние храмы Весты и Сивиллы, стоящие над пропастью, куда со страшным шумом многими каскадами низвергается река Анио. С горы, на которой расположен городок, видны гигантские развалины виллы Адриана, среди них часовня, сделанная из камней дома Горация. 7 января они снова отправились в сторону Тиволи, весь день, ветреный и холодный, ездили на осликах среди развалин виллы Адриана. 8-го отправились в музеи Ватикана. С 9 по 12 января бродили по всему городу, заходя во дворцы, церкви, галереи, всюду, где была живопись.

15-го поехали в Альбано. Выехав из Неаполитанских ворот, снова пересекли Кампанью. Через несколько часов поднялись в Альбанские горы; несмотря на зиму, все здесь зеленело: дубы, пинии, кипарисы и оливы. Долго любовались круглым озером серо-стального цвета, гуляли на дороге, ведущей в Кастель-Гандольфо, — над ней густо смыкались кроны деревьев, на каждом шагу журчали родники... 17 января Жуковский был с Гоголем у старого итальянского художника Каммучини, автора исторических картин. 18-го в кафе Лепре на улице Кон-

дотти, в «русской комнате», в обществе соотечественников Гоголь отметил свой день рождения. 22 января Жуковский рисовал его на вилле Волконской сидящим на террасе и любующимся старинным собором Иоанна Латеранского. 24-го Жуковский рисовал Гоголя рисующим развалины Колизея. 28-го он изобразил Гоголя, Шевырева и Волконскую, беседующими возле заросшей растениями стены древнего акведука, примыкающего к дому виллы Волконской. С 23 января в Риме шел карнавал. «Ковры в окнах. Маски», — записал Жуковский. С каждым днем карнавал становился все неистовее. 26 января: «С Гоголем... Чудный, ревучий день карнавала. Мы в масках на омнибусе... Толпы». 28 января Жуковский с Гоголем бросились в самую гущу неистовства, — их засыпали известкой, затолкали, оглушили. 31-го: «Идущий тихо становится бегущим бешено... бой сверху вниз и по бокам... Как бы хоть раз прокричать, промычать, прореветь! Непрерывный гул».

1 февраля великий князь выехал из Рима в обратный путь. «Я по обыкновению опоздал», — записал Жуковский. Опоздал откровенно, желая ехать в одиночку... Через неделю Гоголь послал ему письмо: «Два первые дни я решительно не знал, за что приняться... Верите ли, что иногда, рисуя, я, позабывшись, вдруг оборачиваюсь, чтобы сказать слово вам, и, оборотившись, вижу и как будто слышу пустоту».

На пути, в Генуе, Жуковский встретил Тютчева — они вместе прибыли в Турин. «Я прежде знал его ребенком, — писал Жуковский о Тютчеве тетке его, Н. Н. Шереметевой, — а теперь полюбил созревшим человеком; он в горе от потери жены своей... Он человек необыкновенно гениальный».

В Турине Жуковский ежедневно встречается с Тютчевым и выслушивает его страстные, трагические монологи, в которых он изливал свою скорбь. «Карамзин духом», — записывал о нем Жуковский, а это в его устах была высшая похвала человеку, противостоящему страданиям. Тютчев оказывался возле Жуковского и на всех приемах и обедах, так как замещал в Сардинском королевстве русского посланника. После того как он оказался рядом с Тютчевым за обедом у короля, Жуковский записал шутливо: «Деспот есть, беспрестанно возрождающийся».

19 февраля Жуковский прибыл в Вену.

Он откровенно писал императрице, что все время, ко-

торое можно было употребить для полезных осмотров и отдыха, для князя «задушено представлениями, балами... всем тем, что можно было бы видеть и не покидая Петербурга... нет времени одуматься и побыть с собою на просторе». Жуковский, рискуя быть отозванным в Россию, действовал в основном по своей программе, и в Вене — особенно.

Жуковский испытал и необыкновенное ощущение, когда, в дождь и ветер, преодолев семьсот ступеней, поднялся на башню собора св. Стефана. Шляпу пришлось снять, ее унесло бы крутящейся и воющей водяной пылью. Облака тысячами жгутов проносились в тысячи разновеликих окошек и щелей, прорезанных в мраморе. Все гудело. Башня казалась хрупкой, плывущей и медленно падающей...

Дыхание забивало ветром... Это, может быть, и обычное для путешественников, посещающих Вену, дело, оказало на Жуковского огромное действие. Ему показалось, что небо наслало на него забытые им вихри вдохновения... И он устыдился своей беспечной жизни на дорогах Европы. Он сказался больным и перестал являться на приемы и обеды.

Лейб-медик Енохин сообщил великому князю, что Жуковский простужен и должен высидеть неделю дома. У него на столе были изданный в Париже в 1825 году французский прозаический перевод «Лузиад» Камоэнса и пьеса австрийского драматурга Фридриха Гальма «Камоэнс». За день до того Жуковский видел в венском Бургтеатре пятиактную драму Гальма (это был псевдоним барона Мюнх-Беллингхаузена) «Гризельда», написанную на сюжет новеллы Боккаччо. Пьеса была отлично построена и имела успех... «Камоэнс» (он написан Гальмом в 1837 году) — другое дело. Прекрасная вещь, но ставить на сцене ее не стоило, — это ряд диалогов и монологов, происходящих в бедной комнате умирающего поэта. Но и не Гальм, не его пьеса заставили Жуковского глубоко погрузиться в свои думы и взять перо. И, собственно, даже не высокая, истинно поэтическая судьба Камоэнса, спасшего свои «Лузиады» во время кораблекрушения, много странствовавшего и воевавшего на чужбине и скончавшегося в одиночестве, в беднейшем госпитале Лиссабона со словами, как говорят: «Я умираю в своем отечестве и вместе с ним...»

В речах Камоэнса и его собеседника Кеведо Жуковский решил высказать свои думы о поэзии, о судьбе ис-

тинного поэта вообще. Эта драма (поэма или повесть, или, как у Пушкина — «маленькая трагедия») явилась вдруг перед ним как некая таинственная книга с чистыми листами, сквозь которые просвечивало пламя. Жуковский ходил из угла в угол с дымящейся сигарой. Забыл о Вене. Обо всем. Забыл, даже, что будет возвращаться в Россию. Со всех сторон надвигалась вечность и требовала от него исповеди — перед тем, как... Он даже не дрогнул, подумав о смерти...

Камоэнс и Васко Кведедо, молодой поэт, — две стороны души самого Жуковского, разорванный сомнениями и получивший цельность в споре с самой собой. Все чаще думалось ему, что *гений чистой красоты,* посещающий поэта, — не нужен тем, кто живет рядом с ним. С каким горьким сожалением смотрел Пушкин на неуспех своего «Современника», сколько заветных стихотворений или не печатал, или вовсе не окончил, оставив их в своей душе жить во всей их целости... Как раздулись самодовольством торгаши Булгарины!.. Вот и он, Жуковский, уже не раз «оканчивал» свое поэтическое поприще, уходил из мира торгов, где неуютно и диковато было нагому Гению... Но пробивались сквозь глушь современности молодые голоса... С удивлением прислушивался Жуковский к голосу неумирающей и возрождающейся Красоты. Нет, не он так считал, что *поэзия вечна,* — в него жизнь вливала эту веру, и он принимал ее. Среди молодых голосов начинал звучать и голос *молодого Жуковского,* который приходил к *Жуковскому старому...* Небесная поэзия — великое земное дело. Если Торговля загасит ее пламенник — человечество утеряет во тьме путь к своему настоящему. Если поэзия твое призвание — нельзя ему изменить...

От Гальма не оставалось ничего. Жуковский опустил почти все ремарки. Он вторгся в каждую строку и, забывая о «переводе», десятками строк пишет свое. Стиль «Камоэнса» — это стиль лирики Жуковского (элегий, «Невыразимого», «Лаллы Рук», «Таинственного посетителя»). В «Камоэнсе» выявилась вся *трагическая* суть поэзии Жуковского — выявилась в тот момент, когда у него, как у Камоэнса:

В прошедшем ночь, в грядущем ночь; расстроен,
Разрушен гений; мужество и вера
Потрясены, и вся земная слава
Лежит в пыли... Что жизнь моя была?
Безумство, бешенство...

Старый Жуковский говорит молодому Жуковскому (ибо молодой Жуковский готов был повторить свой путь тысячу раз с верой в будущее):

Слепец! тебя зовет надежда славы,
Но что она? и в чем ее награды?
Кто раздает их? и кому они
Даются и не все ль ее дары
Обруганы завидующей злобой?
За них ли жизнь на жертву отдавать?..

И вот что молодой Жуковский отвечал:

Нет, нет! не счастия, не славы здесь
Ищу я: быть хочу крылом могучим,
Подъемлющим родные мне сердца...
И пусть разрушено земное счастье,
Обмануты ласкавшие надежды
И чистые обруганы мечты...
Об них ли сетовать? Таков удел
Всего, всего прекрасного земного!
Но не умрет живая песнь твоя;
Во всех веках и поколеньях будут
Ей отвечать возвышенные души.
Ты жил и будешь жить для всех времен!
Прямой поэт, твое бессмертно слово!

И вот как Жуковский представил себе, после спора с самим собой, конец своего земного пути (и он знал, что будет именно *так*!):

Мой дух опять живой исполнен силы;
Меня зовет знакомый сердцу глас;
Передо мной исчезла тьма могилы,
И в небесах моих опять зажглась
Моя звезда, мой путеводец милый!..
О! ты ль? тебя ль час смертный мне отдал,
Моя любовь, мой светлый идеал?..

И вот драгоценная рукопись защелкнута в маленький красный портфель... Жуковский равнодушно выехал из Вены, равнодушно ходил по Штутгарту и Карлсруэ. Потом было плавание по Рейну, краткие посещения Майнца, Дюссельдорфа и других немецких городов.

«Мы бросили весну за Альпами и скачем от нее без памяти на север», — писал Жуковский. 20 марта по Рейну прибыли в Роттердам. В тот же день въехали в Гаагу, столицу Голландии. Почти месяц пробыл Жуковский в стране, отвоеванной ее жителями у моря, в стране дамб и каналов, городов, построенных на сваях, тысяч и тысяч ветряных мельниц, не только мелющих зерно, но и отка-

чивающих воду. В каждом городе — голландская живопись, старые мастера. В Амстердаме — царство Рембрандта. В Заандаме Жуковский был в домике, где под именем плотника Петра Михайлова жил Петр I. Здесь, среди многих надписей на стене, Жуковский оставил свою — маленькое стихотворение, оканчивающееся строкой: «Здесь родилась великая Россия».

Из Дордрехта на пароходе отплыли в Англию. 21 апреля Жуковский записал «Проснулся уже в устье Темзы». Вскоре он оказался, по его словам, в «огромной бездне, которая называется — Лондон».

Отношения Жуковского с князем не ладились. Однажды он записал, по обыкновению, скупо, но красноречиво: «У великого князя. Странность моего положения». Жуковский — лишний в свите, он не имеет никакого «поручения», его лишь терпят. Он явно не придворный, лишен показной представительности, скучает там, где наследник весь оживлен...

В Англии, в мае месяце, неожиданно совершилось в жизни Жуковского одно из самых значительных событий. После поездки в Эпсом, где он рисовал скачущих жокеев, Жуковский попал в Итон, городок, где вся жизнь концентрировалась вокруг аристократического колледжа. На мраморной доске у входа в одно из зданий колледжа Жуковский прочитал имя Томаса Грея, который здесь учился, а потом был в Кембридже доктором прав и профессором новой истории. Сколько разных чувств всколыхнулось в душе Жуковского при имени Грея! С горьким, щемящим чувством увидел он сквозь годы белые столбики беседки на холме Греева Элегия в Мишенском, и сразу же — пустой, словно чужой, тот же холм после набега на Мишенское «американского корсара» Зонтага; вспомнил он лицо Андрея Тургенева, который прощался и плакал — они оба плакали, расставаясь. Андрей уезжал в Петербург, уходил из жизни... Его «Элегию» вспомнил, в которой так зазвучал Грей...

Жуковский пересек на пароходе Темзу и оказался в Виндзоре, как раз напротив Итона. Там ему указали, как пройти в Сток-Поджс, деревеньку, возле которой находятся знаменитое Сельское кладбище и памятник певцу его — Томасу Грею (элегия Грея была переведена на разные языки 150 раз). Жуковский зарисовал сначала памятник Грею — мраморный гроб, вознесенный на широкий квадратный постамент, на плоскостях которого высечен весь текст знаменитой элегии, — в некотором отдале-

нии на рисунке видно само кладбище, укрытое густыми дубами и вязами, с часовней и готической башенкой. На нем царствуют камень и плющ. Здесь простор и тишина... Жуковский сделал еще два рисунка — часовни и близлежащих могил, башни, «пышно плющом украшенной». Весь день до ночи провел он на кладбище и возле памятника — с необыкновенным волнением читал и перечитывал знакомые с юности английские строки, высеченные на камне... И когда ударил вечерний колокол, и он увидел стадо, которое пастух не торопясь гнал к деревне, Жуковский вытер слезы и долго стоял, сдерживая подступающие рыдания, слушая затихающий колокольный звук. «Так! — думал он. — Грей был при начале моей жизни; он же помогает мне проститься с нею». Сама собой возникла и прозвучала гекзаметрическая строка:

Колокол поздний кончину отшедшего дня возвещает...

И уже в Лондоне, в своей комнате, занес он в тетрадь следующие строки:

С тихим блеяньем бредет через поле усталое стадо;
Медленным шагом домой возвращается пахарь, уснувший
Мир уступая молчанью и мне. Уж бледнеет окрестность,
Мало-помалу теряясь во мраке, и воздух наполнен
Весь тишиною торжественной...

Закончил он эту работу уже в Петербурге, в конце июня... Так явился второй перевод элегии Грея, в котором слились воедино черты элегического и эпического стиля, — стиль молодого Жуковского и стиль «старого», автора «Ундины», отрывков из «Илиады», переводов из Вергилия, Гебеля... Вместо шестистопного ямба явился трехстопный дактиль, одна из русских разновидностей гекзаметра. Вместо четко выделенных поэтических строф — течение повествовательной речи из строки в строку сплошным массивом. Ушли словесные приметы стиля карамзинской эпохи. Жуковский пишет, что он, перечитав на кладбище в Сток-Поджс «прекрасную Грееву поэму», «вздумал снова перевести ее, как можно ближе к подлиннику». Но перевел он ее ближе не только к подлиннику, а и к своей теперешней жизни, — он отразил в ней свой новый, эпический стиль. Тем самым стало у Жуковского не два перевода английской элегии, а два собственных произведения (их переводность — качество

третьестепенное). Второму переводу «Сельского кладбища» он придавал большое значение, но скорее не литературное, а биографическое (относительно собственной жизни), — он в том же году издал его вместе с рисунками отдельной брошюрой и с небольшим предисловием (где, в частности, говорил, что первый перевод посвящен был Андрею Тургеневу, а этот — «посвящаю Александру Ивановичу Тургеневу в знак нашей с тех пор продолжающейся дружбы и в воспоминание о его брате»), и напечатал в «Современнике», также с приложением рисунков.

Вернувшись в Гаагу, великий князь поехал в Дюссельдорф, а Жуковский во Франкфурт-на-Майне, где встретил Александра Тургенева и Рейтерна. Отсюда Жуковский вместе с Рейтерном поехал в Виллингсгаузен. В день прибытия сюда, 7 июня, он записал в дневнике: «Обед под старыми деревьями. Ввечеру музыка. Чудный вечер». 8-го: «Рисованье. Елизавета. Завтрак под деревом... Музыка... Бетховен и Мендельсон». Жуковский собирался отсюда в Россию, вместе с ним должен был ехать и Рейтерн.

Краткую отметку в дневнике: «Елизавета», — Жуковский чуть позднее так раскрыл: «Я провел только два дня в замке Виллингсгаузен, и в эти два дня были для меня минуты очаровательные. Дочь Рейтерна, 19-ти лет, была предо мною точно как райское видение, которым я любовался от полноты души... Мне было жаль себя; смотря на нее и чувствуя, что молодость сердца была еще вся со мною, я горевал, что молодость жизни миновалась, и что мне надобно проходить равнодушно мимо того, чему бы душа могла предаться со всем неистощенным жаром своим... Это были два вечера грустного счастья. И всякий раз, когда ее глаза поднимались на меня от работы (которую она держала в руках), в этих глазах был взгляд невыразимый, который прямо вливался мне в глубину души... Этот взгляд говорил мне правду, о которой я не смел и мечтать».

9 июня Жуковский отправился вместе с Рейтерном в Берлин и потом в Штеттине сел на русский военный пароход, который привез их в Петергоф. Это было уже 23 июня. Только здесь Жуковский решился сказать Рейтерну: «Там, в Виллингсгаузене, я видел то, что мне вполне было бы счастием, но я увидел это уже поздно; мои лета не позволяют мне ни искать, ни надеяться, ни даже желать такого счастия, однако, я в глубине души уве-

рен, что оно именно то, какое мне надобно!» Рейтерн отвечал: «Я здесь не могу и не должен с своей стороны ничего делать. Вижу, что это несбыточно. Однако, ищи; если она сама тебе отдастся, то я наперед на все согласен. Ни от меня, ни от матери она не услышит об этом ни слова». Это был единственный их разговор. Рейтерн, вызванный как придворный художник в Петербург, прожил здесь с семьей до октября этого года. Жуковский изредка бывал у них.

24 июня Жуковский навестил Козлова.

В июле бывал Жуковский у Дашкова, Вяземского, на музыкальных вечерах у Виельгорских. В Петербурге Жуковский поселился уже не в Шепелевском дворце (ему не хотелось больше подыматься на высоту четвертого этажа, а может быть, и вообще жить *во дворце*...), а в доме доктора Фольборта, бывшем Толя, на Невском проспекте — против Малой Морской, во втором этаже.

16 июня скончался Александр Федорович Воейков, но не вдовцом, после смерти Светланы он женился. Жуковскому рассказали, что в бумагах этого почти всеми презираемого человека нашли записки и счета, о которых никто не знал, оказывается, он в течение многих лет содержал несколько бедных вдов и сирот, тратя на это в месяц до ста рублей. Жуковский был поражен. Воейков даже не пытался поправить этим свою репутацию! Он не гнался за славой *доброго* человека, хотя, как видно, был им... «Вот и разгадывай тут природу человека!» — думал он. Но он не подумал, что это было следствием его собственного влияния на Воейкова... Эта весть обрадовала Жуковского. Воейков словно перечеркнул все содеянное им зло...

10 августа в Петербург приехал Мойер, — 11-го Жуковский обедал у Дюме с ним и Рейтерном. 17 августа Жуковский и Мойер выехали в Москву, — Жуковский ехал на Бородинский праздник, потом в отпуск на сентябрь и часть октября — в родные места. Праздник должен был состояться в честь открытия монумента, воздвигнутого на поле сражения. А так как наследник был владельцем знаменитого села Бородина, — он был назначен командовать на параде сводным полком.

Жуковский присутствовал на маневрах стопятидесятитысячного войска. Он живо вспомнил события 1812 года: «Накануне сражения все было спокойно: раздавались одни ружейные выстрелы, которых беспрестанный звук можно было сравнить со стуком топоров, рубящих в ле-

су деревья. Солнце село прекрасно, вечер наступил безоблачный и холодный... Тишина, которая тогда воцарилась повсюду, неизобразима... И с первым просветом дня грянула русская пушка, которая вдруг пробудила повсеместное сражение... Мы стояли в кустах на левом фланге, на который напирал неприятель; ядра невидимо откуда к нам прилетали; все вокруг нас страшно гремело, огромные клубы дыма поднимались на всем полукружии горизонта... Во все продолжение боя нас мало-помалу отодвигали назад... Вдали царствовал мрак, все покрыто было густым туманом осевшего дыма, и огни биваков неприятельских горели в этом тумане тусклым огнем, как огромные раскаленные ядра. Но мы недолго остались на месте: армия тронулась и в глубоком молчании пошла к Москве, покрытая темною ночью. Во что мои глаза видели здесь за 27 лет».

Весь день 26 августа 1839 года Жуковский провел среди войск. Узнав, что во время маневров «многие повторяли» его «Певца во стане русских воинов», он писал, что это его «тронуло до глубины сердца. Жить в памяти людей по смерти не есть мечта: это высокая надежда здешней жизни. Но меня вспомнили заживо, новое поколение повторило давнишнюю песню мою на гробе минувшего». Это вдохновило Жуковского на новую песнь, и он в два дня написал «Бородинскую годовщину». «Итак, привел Бог по прошествии четверти века, — отметил он, — на том же месте, где в молодости душа испытала высокое чувство, повторить то же, что было в ней тогда, но уже не в тех обстоятельствах. Чего не случилось в этот промежуток времени между кровавым сражением Бородинским и мирным, величественным его праздником!»

«Бородинская годовщина» — параллель к «Певцу во стане русских воинов»; здесь названы имена тех же героев, но отмечены они не пламенным прославлением их доблестей, а печалью по ним:

И вождей уж прежних мало:
Много в день великий пало
На земле Бородина;
Позже тех взяла война;
Те, свершив в Париже тризну
По Москве и рать в отчизну
Проводивши, от земли
К храбрым братьям отошли.

Где Смоленский, вождь спасенья?
Где герой, пример смиренья,

Введший рать в Париж, Барклай?
Где, и свой и чуждый край
Дерзкой бодростью дививший
И под старость сохранивший
Все, что в молодости есть,
Коновницын, ратных честь?

Неподкупный, неизменный,
Хладный вождь в грозе военной,
Жаркий сам подчас боец,
В дни спокойные мудрец,
Где Раевский? Витязь Дона,
Русской рати оборона,
Неприятелю аркан,
Где наш Вихорь-Атаман?..

И далее, далее...

Память вечная вам, братья!
Рать младая к вам объятья
Простирает в глубь земли;
Нашу Русь вы нам спасли!..

Это был реквием былому, плач по героической эпохе в жизни страны и в своей жизни. Этим стихотворением он *второй раз* (после второго «Сельского кладбища») замкнул круг своей поэтической судьбы.

Сразу после праздника и парадного обеда Жуковский уехал в Москву и не присутствовал на дальнейших приемах «бородинского помещика». 29 августа он выслал наследнику печатный экземпляр своего реквиема при письме, но что это было за письмо! Пожалуй, и в камне оно могло бы пробудить добрые чувства. «Одним из самых привлекательных эпизодов этой чудной картины были израненные, безрукие и безногие, иные покрытые лохмотьями бедности, бородинские инвалиды, которые сидели на подножии памятника или, положив подле себя свои костыли, отдыхали на гробе Багратиона. Некоторые бедняки притащились издалека: кто пешком, кто на телеге... Признаюсь вам, мне было жестоко больно, что ни одного из этих *главных героев дня* я после не встретил за нашим обедом. Они, почетные гости этого пира, *были забыты,* воротятся с горем на душе восвояси, и что скажет каждый в стороне своей о сделанном им приеме, они, которые надеялись принести в свои бедные дома воспоминание сладкое, богатый запас для рассказов и детям и внукам? И кажется мне, справедливость бы требовала, что не одни теперь служащие, но отставные раненые и неимущие были включены в число тех, кои, как я слышал,

должны теперь получать то жалованье, которое в эпоху Бородина они получали. Им-то оно и нужно, а их так немного».

В одной из строф реквиема Жуковский помянул генерала Коновницына. Его же имя возникло и в письме: «В Бородине дрался Коновницын, а Коновницын был честью русского войска. Дочь его в молодости лет выпила всю чашу горести за чужую вину; эта дочь умоляет государя великодушного взглянуть с благоволением на преступного мужа ее, который не жалел жизни в сражении, чтобы загладить вину свою... Нарышкин представлен за храбрость в офицеры... День Бородинский громко вопиет к царю: помяни милосердием храброго Коновницына!» — это просьба о полном прощении декабриста Нарышкина, которому после проезда наследника через Курган было разрешено вступить рядовым в Кавказскую армию. Но это еще не все. «Я видел в Москве Е. Ф. Муравьеву, — пишет далее Жуковский. — Ее положение на старости лет ужасно: оба сына, для которых жила она, в изгнании... С старшим сыном поехала в Сибирь жена; он схоронил ее; на руках его осталась дочь; эта дочь чахнет: уже суровый климат имел на нее разрушительное влияние; только перемена климата на более теплый может спасти бедную жизнь младенца... Изгнаннику грозит наказание третье: смерть дочери; и уже не одна судьба, а с нею и приговор государя должны решить, умереть ли этому младенцу или нет. Не могу поверить, чтобы государь (если бы он это знал), государь, нежный отец своих детей на троне, мог не войти в чувства отца, который все отец, хотя и колодник».

Жуковский просит, но находит такие слова, на которые трудно не отозваться делом, чтобы не выглядеть извергом... И, однако, Нарышкин еще семь лет воевал на Кавказе рядовым, а дочь Никиты Муравьева — Софья, или Нонушка, как ее звали домашние, которой тогда было десять лет, — выехала из Сибири только после смерти отца, когда ей было четырнадцать лет (ее взяла к себе бабушка, Екатерина Федоровна Муравьева).

В Москве Жуковский (он с 1 сентября в отпуске) живет в Кремле, бывает каждый день у Елагиных, где встречает всю литературную Москву. У Елагиных была в гостях и Анна Петровна Зонтаг, приезжавшая из Одессы на праздник и для встречи с Жуковским (она рассказала в письме к своей знакомой о том, что в августе 1839 года Жуковский продал свою карету, чтобы помочь

выкупиться на волю «одному очень даровитому музыканту, известному в Москве, которого барин определил в повара»). 15 сентября приехал в Москву Александр Тургенев.

16-го Жуковский выехал в Белёв. Здесь он не задержался и 18-го был в Черни, а 19-го в Брагине возле Бунина, где нашел Мойера и Екатерину Афанасьевну. Он застал их за обедом, и Екатерина Афанасьевна, неожиданно увидев Жуковского, страшно испугалась... Сюда же на следующий день понаехали помещики — Боборыкин, Плещеев Петр, Бурнашов, Деревицкий. 20 сентября Жуковский записывает: «С Мойером о Мейерсгофе»; 21-го: «План дома»; 22-го: «Утром план»; 23-го: «План». Жуковский задумал обосноваться в имении Мейерсгоф под Дерптом, чтобы, как он писал, «переселиться туда на покой и поэзию в кругу моих милых», — он желал перетянуть туда Мойера с дочерью и Екатерину Афанасьевну. В Брагине Жуковский обсуждал с Мойером план перестройки полуразрушенной усадьбы в Мейерсгофе. 24 сентября всем обществом отправились в Муратово, где гуляли, рисовали, играли в шахматы. В Муратове Жуковский пробыл до 3 октября (может быть, он останавливался в своем бывшем доме в Холхе, так как дома Протасовой к тому времени не существовало). 5 октября он проездом в Белёв всего на один час (так и отмечено в дневнике) заглянул в Мишенское. Не больше пробыл и в Белёве, но успел повидать своего бывшего слугу Максима с семейством. Уже 6 октября в 11 часов вечера он был в Москве. «Я увидел опять все родные места, — писал он, — и милые живые и милые мертвые со мной все повидались разом; все это совокупилось в одно, как будто для того, чтобы поставить живую грань между всем прошедшим моим и будущим».

В Москве Жуковский провел всего три дня — 7, 8 и 9 октября, нашел здесь Александра Тургенева и Гоголя. Вместе бывают они у тетки Тютчева Шереметевой, у Елагиных, у Муравьевой. 9-го: «Ввечеру чтение Гоголя» (очевидно, из «Мертвых душ»). 10-го Жуковский выехал в Петербург. Вскоре сюда же явились Тургенев и Гоголь. Гоголь поселился у Жуковского. У Одоевского и Карамзиных Жуковский встречает Лермонтова, которого Софья Николаевна Карамзина назвала «блестящей звездой», восходящей «на нашем литературном горизонте». Жуковскому уже известны «Бэла» и «Фаталист», многие стихи и поэмы, напечатанные и еще не изданные, молодого ге-

ния. В октябре он прочел только что законченного «Мцыри». 24 октября записал: «Поездка в Петербург (из Царского Села. — *В. А.*) с Виельгорским по железной дороге. Дорогою чтение «Демона». 5 ноября: «Вечер у Карамзиных... Лермонтов».

27 ноября Сергей Тимофеевич Аксаков пришел к Жуковскому навестить Гоголя. Жуковский сказал, что Гоголя нет дома. «Я засиделся у него часа два, — писал Аксаков. — Говорили о Гоголе... Наконец, я простился с ласковым хозяином и сказал, что зайду узнать, не воротился ли Гоголь... «Гоголь никуда не уходил, — сказал Жуковский, — он дома и пишет. Но теперь пора уже ему гулять. Пойдемте». И он провел меня через внутренние комнаты к кабинету Гоголя, тихо отпер и отворил дверь — я едва не закричал от удивления: передо мной стоял Гоголь в следующем фантастическом костюме: вместо сапог длинные шерстяные русские чулки выше колен; вместо сюртука, сверх фланелевого камзола, бархатный спенсер; шея обмотана большим разноцветным шарфом, а на голове — бархатный малиновый, шитый золотом кокошник, весьма похожий на головной убор мордовок. Гоголь писал и был углублен в свое дело, и мы, очевидно, ему помешали». Жуковский и Аксаков ушли. В середине декабря Гоголь уехал с Аксаковым в Москву.

Каждую неделю бывал Жуковский у Козлова, который чувствовал себя плохо, но как бы собственными руками решительно отодвигал от себя свой конец, заставляя читать себе любимые произведения, сочиняя стихи. Посещения Жуковского он отмечал в своем дневнике: «Ноября 7-го. Жуковский приехал пить чай со мной. Он со мной говорил о своем «Камоэнсе», которого он мне пришлет, о моих детях, обо всем, что у меня на сердце: он взял на себя все с большею, чем когда-либо, нежностью дружбы» (речь шла между ними о судьбе семьи Козлова после его смерти). 3 декабря ночью Козлов сочинил великолепный сонет — мужественную исповедь перед лицом конца. «Душа моя Иваныч, — пишет Жуковский 4 декабря в ответ на присылку этого стихотворения, — я тебя не забыл, иначе себя бы забыл... Буду около девяти часов, чтоб тебе самому прочитать «Камоэнса». Твоя «Молитва» удивительно хороша. Посылаю тебе «Оберона» Виланда, — не читай его ни с кем: прочтем вместе. Я его сам давно не читал и почти забыл, перечитывать будет приятно, особенно с тобою» (Жуковский надеялся, что Козлов вдохновится «Обероном» и будет его

переводить, — большая работа — на многие дни поддержка для духа). Вечером Жуковский приехал. Спокойно и долго говорили они о завещании Козлова, — выяснив все детали, приступили к чтению «Камоэнса»... Потом Козлов остался один, — поэма потрясла его. Сколько тут было близкого для него! Он понял, что Жуковский, когда писал это, думал обо всех — о себе, о Пушкине, о нем — о Козлове. И несколько раз в тишине ночи повторил слова последнего монолога Камоэнса:

...ты — поэзия, тебя я узнаю;
У гроба я постиг твое знаменованье.
Благословляю жизнь тревожную мою!
Благословенно будь души моей страданье!

Жуковский был у Козлова на рождество. «Жуковский читал мне стихи, — записал 25 декабря Козлов, — оставался очень долго». 26 декабря Жуковский был разбужен дома раньше обычного — ему сообщили, что скончался Дашков (а он перед визитом к Козлову был у Дашкова 25-го и беседовал с ним). 29-го Жуковский был на погребении своего старого товарища, арзамасца.

В середине января 1840 года заболел воспалением мозга Козлов. Жуковский и Александр Тургенев навещали его ежедневно. 29 января, в день своего рождения, Жуковский пишет наследнику в ответ на его приглашение, что не может к нему прийти: «Сбираюсь идти к Козлову, который при последнем издыхании. Вероятно, мне в день своего рождения придется положить в гроб и его, как за три года перед сим положил Пушкина». Жуковский прислал к Козлову сиделку — ту самую, которая ухаживала за Пушкиным в предсмертные его дни.

Квартира Козлова полна народу. Елизавета Алексеевна Верещагина, родственница Лермонтова (и Козлова), 29 января писала дочери в Штутгарт: «Мы теперь в хлопотах больших, у нас наш Козлов очень болен и, кажется, отправится, то мы всякой день там... От 6 и 7 часов утра до двух ночи дверь не перестает действовать, только и разговору вот уже неделю в Петербурге, что автор-поэт слепой Козлов умирает... Жуковский, его друг, раза три заезжает... Тургенев... всякий день по нескольку раз бывает у Козлова». 30 января с утра Козлов был еще в памяти, но беспокойство его росло. Он поминутно требовал к себе то жену, то сына, то дочь. Услышав голос Жуковского, подозвал его и отчетливо сказал: «Слушай, Базиль! *И мертвый страшен был лицом,* — вот что ты завт-

ра здесь увидишь». Жуковский взял Козлова за руку, стал что-то говорить, но вдруг побледнел и невольно ахнул: душа поэта-слепца отлетела! Строка из поэмы Жуковского «Двенадцать спящих дев» стала предсмертными словами Козлова. 5 февраля состоялись похороны — на новом кладбище Александро-Невской лавры. Там простились с Козловым его жена, дети, друзья — Жуковский, Тургенев, Вяземский. Возле могил Карамзина и Дельвига появилось новое надгробие...

Жуковский приступил к изданию нового двухтомного собрания стихотворений Козлова.

В январе 1840 года явился к Жуковскому молодой стихотворец Николай Некрасов — он принес свою первую книгу, которую в типографии начали уже печатать: «Мечты и звуки». Жуковский просмотрел листы и сказал: «Если хотите печатать, то издавайте без имени. Впоследствии вы напишете лучше, и вам будет стыдно за эти стихи». Некрасов внял совету Жуковского, и книга вышла под именем «Н. Н.». В «Современнике» за этот год (№ 2) Плетнев похвалил «Мечты и звуки». А Белинский в «Отечественных записках» (№ 3) разнес их в пух и прах («посредственность в стихах нестерпима», — писал он). Некрасов поверил не Плетневу, а Жуковскому и Белинскому и стал уничтожать экземпляры сборника, отданные на комиссию книгопродавцам. Это-то помогло ему найти верный, *свой,* путь...

В январе же — письма от Гоголя из Москвы. Он никак не может добыть денег для отъезда в Рим. Московские книгопродавцы не берут его старых сочинений за «хорошие деньги», норовят за бесценок. «Все идет плохо: бедный клочок земли наш, пристанище моей матери, продают с молотка... предположение мое пристроить сестер так, как я думал, тоже рушилось». Гоголь просит Жуковского: «Сделайте складку, сложитесь все те, которые питают ко мне истинное участие, составьте сумму в 4.000 р. и дайте мне взаймы на год». Он просит Жуковского добиться, чтоб его засчитали в какую-нибудь должность в Римском представительстве — «подумайте обо мне с кем-нибудь из людей должностных и знающих. Не придумается ли какое средство». Жуковский не нашел для Гоголя должности при посланнике, но занял *для себя* 4000 рублей и переслал их Гоголю. «Рим мой! — восклицает обрадованный Гоголь в ответном письме. — Обнимаю вас несчетно, мой избавитель!»

В середине января 1840 года вышел номер журнала



Город Веве на берегу Женевского озера.
Рис. В. А. Жуковского.

В. А. Жуковский
в Швейцарии.
Рис. Г. Рейтерна.



А. С. Пушкин.
Гравюра Н. Уткина.



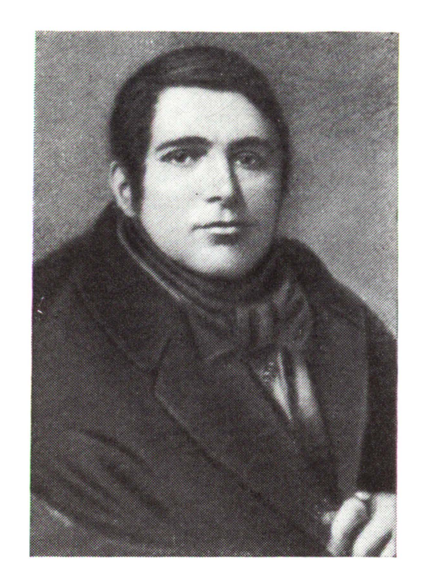
В. А. Жуковский
и А. И. Тургенев
в Париже.
Гравюра Бушарди.



В. А. Жуковский в Неаполе. 1833 г.
Рис. Г. Рейтерна.



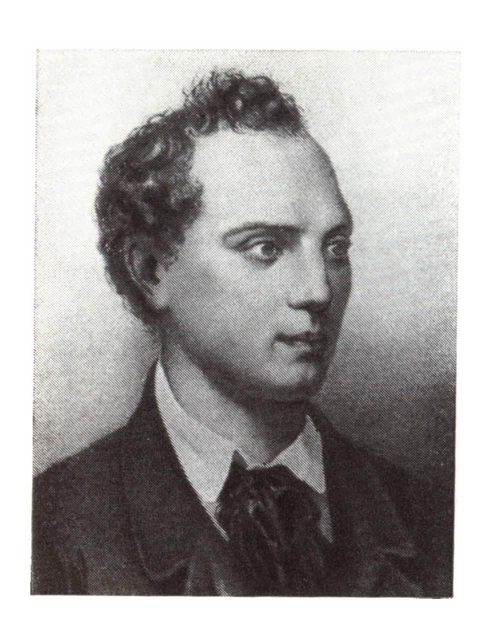
И. И. Козлов.
Гравюра К. Я. Афанасьева.



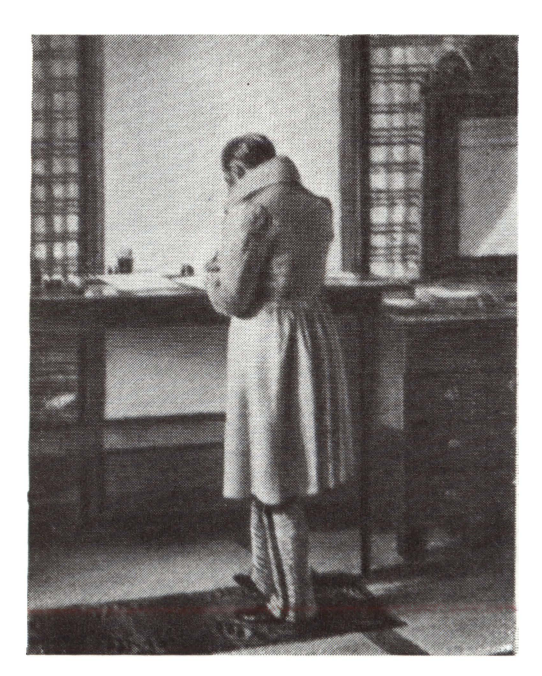
П. А. Плетнев.

Субботнее собрание у В. А. Жуковского.
Изображены слева направо:
П. А. Плетнев, В. Ф. Одоевский, А. В. Кольцов,
Н. В. Гоголь, А. С. Пушкин, М. И. Глинка,
И. А. Крылов, Н. И. Кривцов, М. Ю. Виельгорский,
И. И. Козлов, А. Н. Карамзин.

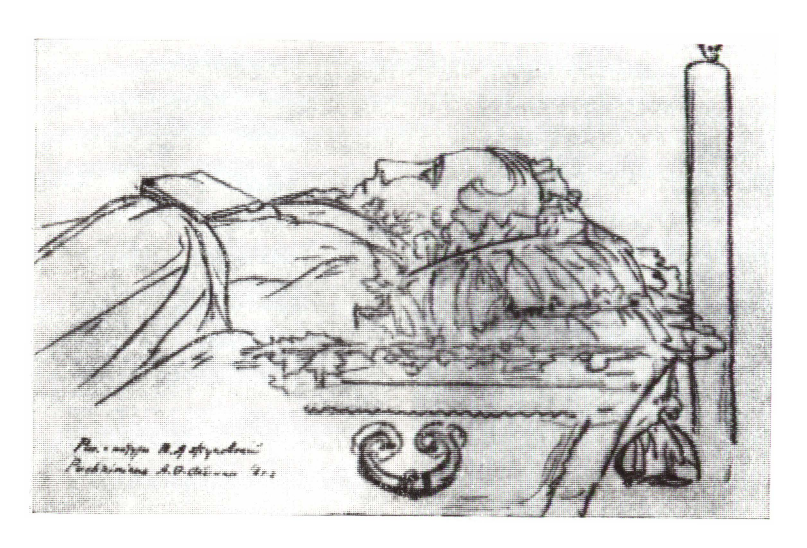




Е. А. Баратынский.



В. А. Жуковский у письменного стола.
Рис. Г. Рейтерна.



Пушкин
в гробу.
Рис.
В. А. Жуковского.
1837 г.

Кабинет
А. С. Пушкина.
Над столом
портрет
В. А. Жуковского.



Москва.
Рис. В. А. Жуковского.

Уголок Белёва.
Офорт В. Полякова.

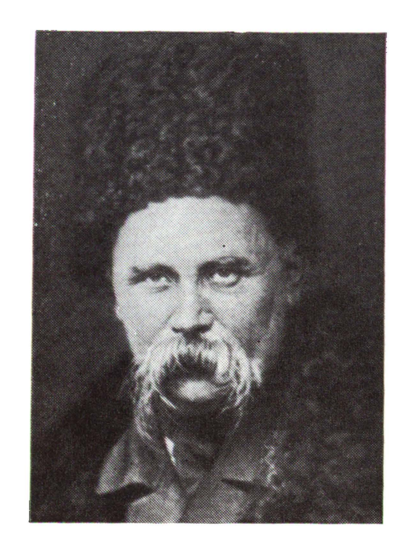


Е. И. Мойер-Елагина
(дочь М. А. Протасовой).
Рис. В. А. Жуковского.

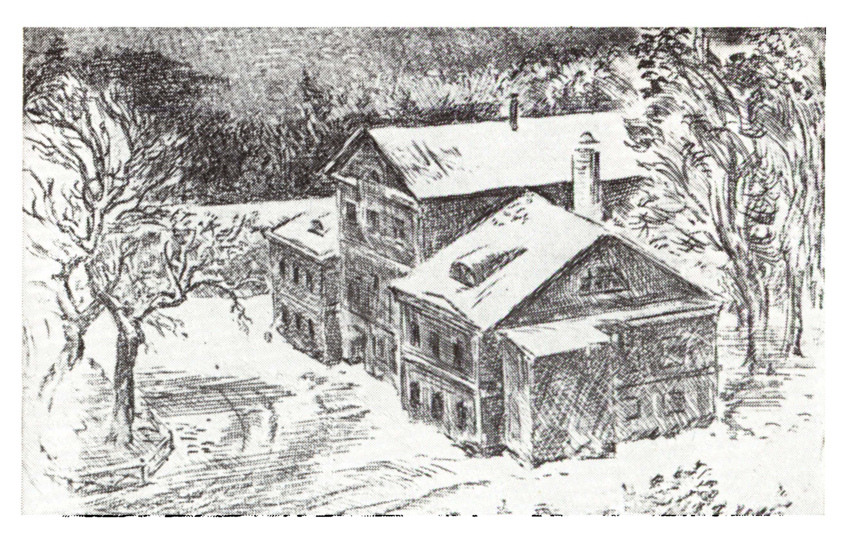




А. В. Кольцов.



Т. Г. Шевченко.



Дом Елагиных в Москве. *Офорт В. Полякова.*

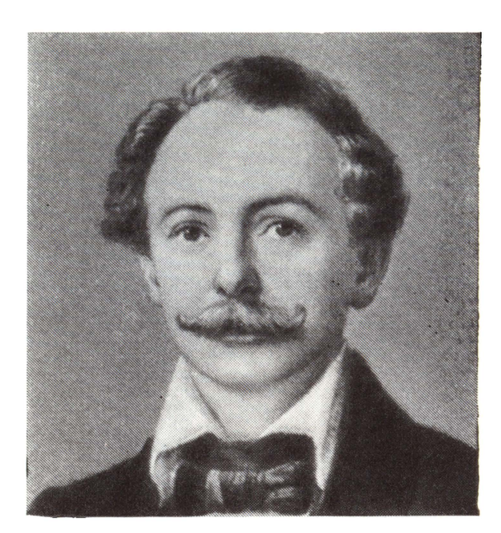


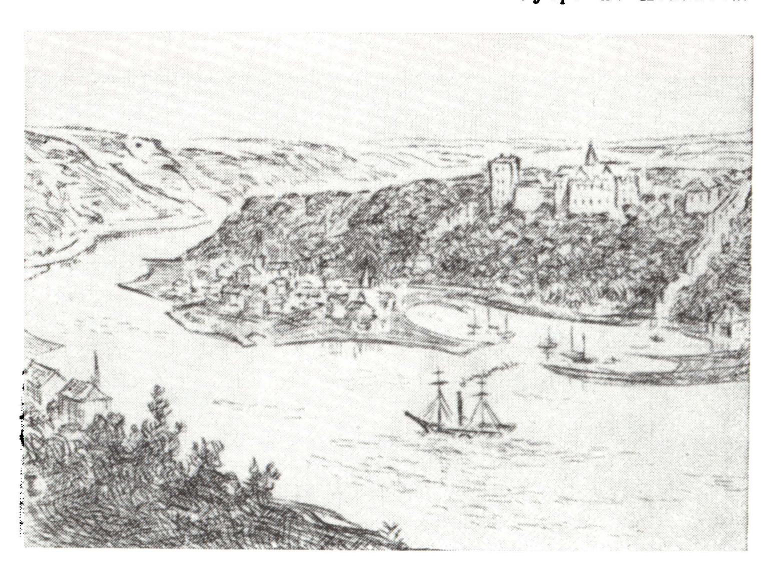
Н. В. Гоголь на террасе виллы З. А. Волконской в Риме.
Рис. В. А. Жуковского. 1839 г.



В. А. Жуковский. *С портрета работы Гильдебрандта.*

Г. Рейтерн.



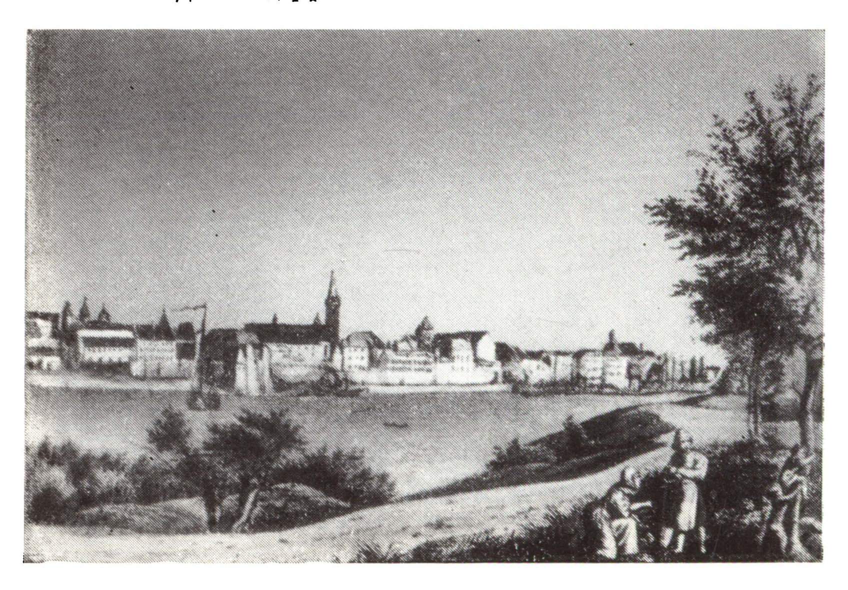


Рейн.
Офорт В. Полякова.

В. А. Жуковский.
Рис. Г. Райта.



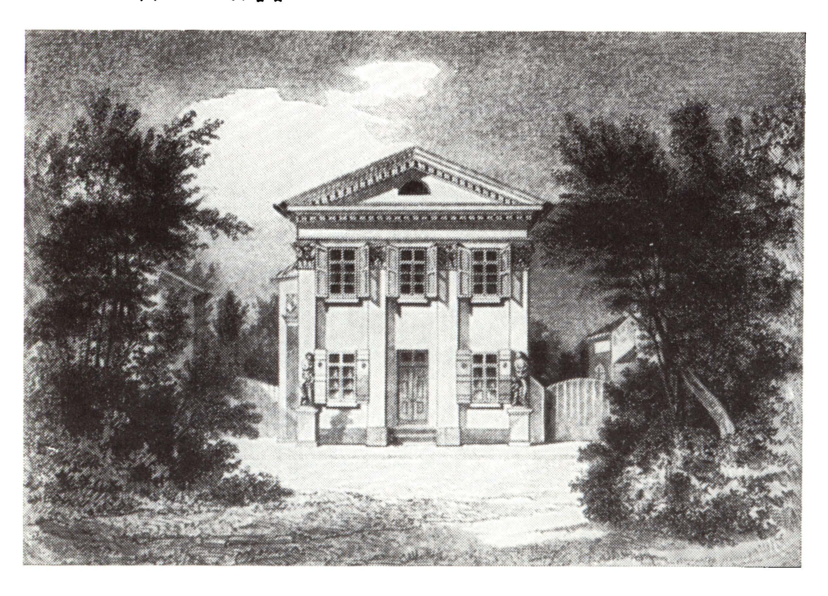
Город Дюссельдорф.

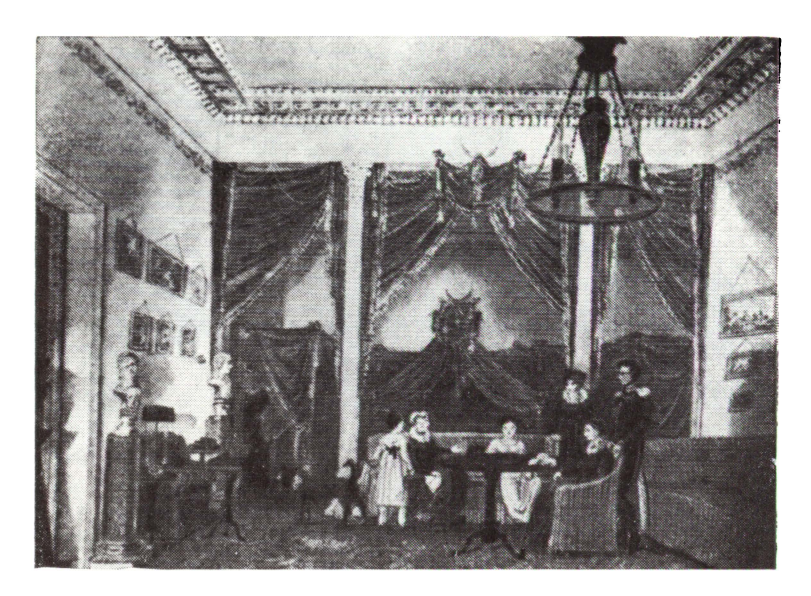


Е. Е. Рейтерн,
жена
В. А. Жуковского.
Худ. Зон.



Дом
В. А. Жуковского
в Дюссельдорфе.





Гостиная. *Рис. В. А. Жуковского.*

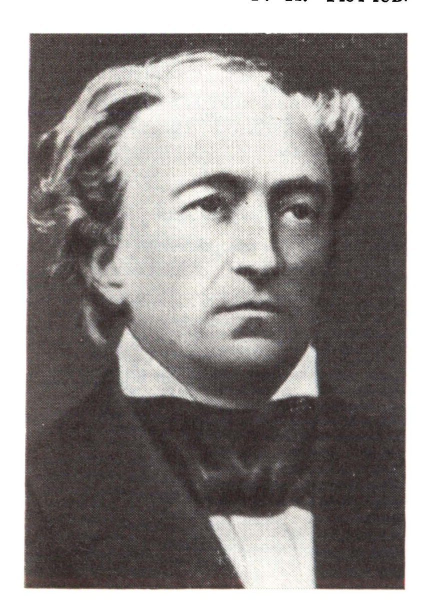
Дом В. А. Жуковского во Франкфурте-на-Майне.





П. В. Жуковский —
сын поэта.
Дагерротип.

Ф. И. Тютчев.



П. А. Вяземский.
Рис. А. С. Пушкина.





Дом в Баден-Бадене, где жил и умер В. А. Жуковский.

Ахъ! не съ нами обитаетъ
Генiй чистой красоты!
Лишь порой онъ навѣщаетъ
Насъ съ небесной высоты!
Чтобъ о небѣ сердце знало
Въ темной области земной,
Лучшей жизни покрывало
Приподъемлетъ онъ порой
И во всемъ, что здѣсь прекрасно,
Что нашъ мiръ животворитъ,
Убѣдительно и ясно
Онъ съ душею говоритъ!
А когдажъ насъ покидаетъ,
Въ даръ любви, у насъ въ виду
Въ нашемъ небѣ зажигаетъ
Онъ прощальную звѣзду.

1821 Декабрь 29.

Жуковскiй

Автограф стихотворения
В. А. Жуковского.

Краевского «Отечественные записки» со статьей Белинского об «Очерках русской литературы» Николая Полевого. То, что Жуковский прочитал там о себе, не могло его не взволновать. «Что в русской литературе могло бы предсказать появление «Руслана и Людмилы» и «Кавказского пленника»? — писал Белинский. — Да и сам Жуковский... не начал ли он писать языком таким правильным и чистым, стихами такими мелодическими и плавными, которых возможность до него никому не могла и во сне пригрезиться? Не ринулся ли он отважно и смело в такой мир действительности, о котором если и знали и говорили, то как о мире искаженном и нелепом, — в мир немецкой и английской поэзии? Не был ли он для своих современников истинным Коломбом?.. И как не любить горячо этого поэта, которого каждый из нас с благодарностию признает своим воспитателем, развившим в его душе все благодарные семена высшей жизни, все святое и заветное бытия? ...Жуковский вводит вас в сокровенную лабораторию сил природы, — и у него природа говорит с вами дружним языком, поверяет вам свои тайны, делит с вами горе и радость, утешает вас... Жуковский выразил собою столько же необходимый, сколько и великий момент в развитии духа целого народа, — и он навсегда останется воспитателем юных душ, полных стремления ко всему благому, прекрасному, возвышенному, ко всему святому и заветному жизни, ко всему таинственному и небесному земного бытия. Недаром Пушкин называл Жуковского своим учителем в поэзии, наперсником, пестуном и хранителем своей ветреной музы: без Жуковского Пушкин был бы невозможен и не был бы понят. В Жуковском, как и в Державине, нет Пушкина, но весь Жуковский, как и весь Державин, в Пушкине, и первый едва ли не важнее был для его духовного образования. О Жуковском говорят, что у него мало своего, но почти все переводное: ошибочное мнение! — Жуковский поэт, а не переводчик: он воссоздает, а не переводит, он берет у немцев и англичан только свое, оставляя в подлинниках неприкосновенным их собственное, и потому его так называемые переводы очень несовершенны как переводы, но превосходны как его собственные создания... Жуковский и в глубокой старости останется тем же юношей, каким явился на поприще литературы».

Жуковский был совершенно поражен. В статье Белинского — все правда... Белинский, как бы зная, что

Жуковский сознательно замыкает круг своего поэтического творчества, подводит итоги этого круга с мудростью гениального теоретика, с пониманием родной души. Ничего так не нужно было Жуковскому, как вот такого читателя, человека со стороны, неизвестного ему, возросшего на чтении и его стихов! Однако вот в чем дело: Белинский проник в самую сокровенную мечту его — совершить *круг второй,* как бы другим, вторым Жуковским, но вытекшим из первого («Жуковский и в глубокой старости останется...»). Новое поколение с верой в него протягивает ему дружественную руку! Жуковский принял этот итог, и вера его в возрождение своего стихотворного гения укрепились. Все это так, нужна только тихая пристань. Он увидел на миг в своем воображении свернутые паруса корабля на картине Клода Лоррена. В душе Жуковского росло безотчетное чувство последнего плавания...

Жуковский был назначен сопровождать великого князя в Дармштадт. Там он должен был некоторое время давать уроки русского языка принцессе Марии Гессенской, невесте русского наследника. Этим назначением он не был доволен. Он мечтал об отставке и тихом рабочем кабинете на живописной мызе Мейерсгоф неподалеку от могилы Маши...

26 февраля, незадолго до отъезда, он отдал цензору А. В. Никитенко три тома новых произведений Пушкина и просил просмотреть их в течение недели — это было дополнение к уже изданным семи томам. Перед отъездом у Жуковского — переписка с Елагиной по поводу «Библиотеки народных сказок», которую издавать он уговорил Смирдина. Переводчицами сказок разных народов должны были стать Елагина и Зонтаг, Петр Киреевский также предполагал принять участие в этих книгах...

«Минута отъезда точно буря. Нет минуты. Еду нынче ввечеру», — сообщает Жуковский Елагиной 5 марта. 12-го он был уже в Варшаве — здесь навестил сестру Пушкина, Ольгу Сергеевну (ее муж, Николай Иванович Павлищев, служил при Правительственном совете в Польше). 13-го запись: «Рассказ о погребении Пушкина» (рассказывал, очевидно, Жуковский). В Варшаве шел все время густой снег. При снежной буре выехали 15-го из Варшавы. 26-го через Дрезден, Берлин и Виттенберг прибыли в Веймар, где Жуковский — с новым волнением — осматривал уже так знакомые ему «горницы Шил-

лера, Виланда, Гердера и Гёте». В веймарском театре давали «Орлеанскую деву» Шиллера. («Это лирическая поэма, а не драма», — отметил Жуковский.)

На пути во Франкфурт, в Ганау, ждал Жуковского Рейтерн со своей дочерью. На другой день, 30-го, как пишет Жуковский: «Мой Безрукий явился с дочерью во Франкфурт, мы вместе обедали у Радовица, а ввечеру отец и дочь заехали к нам в трактир (на обратном пути в Ганау); он пошел повидаться с великим князем, а дочь осталась со мною... В эти немногие минуты моя мечта несколько раз сквозь сон пошевелилась в душе моей; что-то похожее на домашнее счастие заодно с таким милым, чистым созданием как привидение мелькнуло передо мною и улетело».

Весь апрель и половину мая Жуковский занимался назначенными уроками в Дармштадте. С 17 мая по 4 июня у него был отпуск, он поехал в Дюссельдорф к своему Безрукому, в то время он жил там. «Две недели пролетели для меня как две светлые минуты, — пишет Жуковский. — Наконец, надобно было сбираться в дорогу». На Рейне, в ожидании отправления парохода, Жуковский и Рейтерн разговорились. «Помнишь ли, о чем я говорил тебе в Петербурге? — сказал Жуковский. — Теперь, более нежели когда-нибудь почувствовал я всю правду того, что говорил тогда. Я знал бы где взять счастие жизни, если бы только мог думать, что оно мне дастся». Рейтерн повторил свои прежние слова, сказав, что все зависит от решения дочери.

В Эмсе Жуковский написал письмо с просьбой об отставке и отдал его самому царю. «Какой будет результат моей просьбы — я не знаю, и не забочусь о том...» «Государь, — писал Жуковский, — я хочу испытать семейного счастия, хочу кончить свою одинокую, никому не присвоенную жизнь... На первых порах мне невозможно будет остаться в Петербурге: это лишит меня средства устроиться так, как должно; во-первых, не буду иметь на то способов материальных, ибо надобно будет всем заводиться с начала». Далее Жуковский просит освободить его от места «наставника при великом князе». Двор уехал, а Жуковский остался. «Накануне был вокруг меня двор, я был прикован ко всем его суетам (хотя и никогда не был им порабощен совершенно), — записывает Жуковский, — и посреди всех этих сует чувствовал себя одиноким, хотя и был в тревожной толпе... И вдруг все это пропало как сон, все это уже позади

меня, я один... я свободен, прошлая жизнь осыпалась с меня и лежит на моей дороге, как сухой лист вокруг дерева, воскресающего с весною».

В другом письме Жуковский просит вместо пенсии дать ему взаймы сумму для восстановления каменного дома на мызе Мейерсгоф и для заведения всем хозяйством, а также разрешения ему жить три года в Германии и собирать все это время сведения и пособия для разработки в России художественного образования. Жуковскому дана была отставка, но просьба о займе (весьма скромная при отказе от пенсии) показалась императору «безмерной», императрица, да и наследник, воспитанный Жуковским, присоединились к мнению императора об «алчности» Жуковского. Поэт был оскорблен. «Император даровал мне двухмесячный отпуск, — писал Жуковский императрице, — но не соблаговолил высказаться о моем будущем. Великий князь дает мне понять, что мои просьбы превысили меру, и эти слова, с которыми ему никогда не следовало бы обращаться ко мне... смешивают меня с толпой людей алчных, которые только и думают, что о деньгах... И вы тоже разделяете это мнение, столь несправедливое по отношению ко мне... Вы изменили свое мнение обо мне. А я все-таки не заслуживаю того; тем более у меня причин прилепиться к дружескому сердцу, чтобы подле него найти и душевный мир и истинную цену жизни». Письмо это было подписано без обязательных формул — просто «Жуковский». Это было беспримерное по резкости и крайней «неэтикетности» письмо. Просимый заем ему дан не был.

Затем последовало объяснение Жуковского с дочерью Рейтерна, — он получил согласие. Рейтерн с женой благословили их. «Вы спросите, — пишет Жуковский родным, Екатерине Афанасьевне, Елагиной и другим в общем письме, — как мог я так скоро решиться? Как мог мой выбор пасть на молодую девушку, которой я почти втрое старее, и которой я не имел времени узнать коротко. На все это один ответ: я не искал, я не выбирал, я не имел нужды долго думать, чтоб решиться; нашло, выбрало и решило за меня провидение... Но здесь есть более нежели вера, есть живая, нежная, исключительная любовь молодого сердца, которое вполне отдалось мне. Как это могло сделаться, я не понимаю. Не почитая этого возможным и в твердом уверении, что в мои лета было бы и безрассудно и смешно искать и надеяться взаимной любви от молодой 19-летней девушки, я при всех моих

с нею встречах, как ни влекло меня к ней чувство, ни словом, ни взглядом не показывал никакого особенного ей предпочтения; и мог ли я себе что-нибудь подобное позволить? Подобным чувством можно забавляться в большом свете, но как играть им при таком чистом, непорочном создании?.. И, несмотря на все это, она *моя*... Она сама почитала это чувство безрассудным, и потому только не открыла его ни отцу, ни матери, что оно казалось ей сумасшествием, от которого ей самой надлежало себя вылечить... Кто меня привел на эту дорогу, он и поведет по ней... Я гонюсь не за многим: жизнь спокойная, посвященная труду, для которого я был назначен и от которого отвлекли обстоятельства... Итак, милые мои друзья, благословите меня и примите в ваши дружеские объятия мою милую, добрую, непорочную Елизавету».

Итак — Жуковский жених. Долли Фикельмон видела его невесту во Франкфурте. «Прелестна, ангел Гольбейна, — писала она 29 августа 1840 года, — один из этих средневековых образов, — белокурая, строгая и нежная, задумчивая и столь чистосердечная, что она как бы и не принадлежит к здешнему миру».

В октябре Жуковский поехал в Россию, один, без невесты, улаживать свои дела перед уходом на окончательный покой. «Он сохранил всего себя лучше нас, — писал 1 октября Александр Булгаков Тургеневу. — Я нашел его моложе себя, а он годов старее... Я поцеловал его руку за то, что он, наконец, дал себе щастие единственное, высочайшее». В Петербурге Плетнев, разыскивая приехавшего Жуковского, отправился к Карамзиным. «Вошел я в ту минуту, когда Жуковский кончил рассказ о своем сватовстве... Он привез и портрет невесты, писанный в Дюссельдорфе знаменитым Зоном. Вообразите идеал немки. Белокурая, лицо самое правильное; потупленные глаза, с крестиком на золотом шнурке; видна спереди из-под платья рубашечка; края лифа у платья на плечах обшиты тоже чем-то вроде золотого узенького галуна; невыразимое спокойствие, мысль, ум, невинность, чувство — все отразилось на этом портрете, который я назвал бы не портретом, а образом. Точно можно на нее молиться. Самая форма картины, вверху округленной, с голубым фоном, — все производит невыразимое впечатление. Весь вечер мы любовались на этот образ».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

(1841—1844)

Новый 1841 год Жуковский встретил у Одоевского вместе с Михаилом Виельгорским, Крыловым, Плетневым и другими. 3 января он уже в Москве, у Елагиной. Он грустен, задумчив, и задумчив тревожно. Отдавшись на волю судьбы, он увидел, что должен прощаться со всеми и со всем, что есть вокруг памятного и родного; прощаться и спешить... Он смутно, слабо надеялся, что сможет что-то — как бы Машино — придать неведомой ему душе «ангела Гольбейна». Повторения того, что было сделано тогда, давно, в Мишенском, Муратове, Белёве, конечно, не могло быть. И не должно было быть. И грех быть ему! Нет, нет! Но ведь недаром какая-то таинственная сила заставила ее детски-чистую душу потянуться к нему, к его душе. И слишком много было всякого, что могло угасить это неведомо зачем родившееся в ней чувство... И вот, не успев ничего обдумать, он жених. Но он ничего и не собирался обдумывать! И не знал, что теперь будет с ним и с нею. Он говорил друзьям и родным о семье, об уголке, где, вдали от сует, он будет работать...

В Москве вышел первый номер «Москвитянина», издаваемого Погодиным. Он жарко обсуждался у Елагиных-Киреевских. Шевырев писал в этом номере: «В наших искренних, дружеских, тесных сношениях с Западом мы не примечаем, что имеем дело как будто с человеком, носящим в себе злой, заразительный недуг... Мы целуемся с ним, обнимаемся, делим трапезу мысли, пьем чашу чувства... и не замечаем скрытого яда в беспечном общении нашем...» («Фу ты, как боится он заразы!» — с усмешкой подумал Жуковский.) И. И. Давыдов в той же книжке доказывал, что «германская философия у нас невозможна... Философия, как поэзия и всякое творчество, должна развиться из жизни народа». Федор Глинка напечатал в «Москвитянине» стихотворение «Москва»:

Кто царь-колокол поднимет?
Кто царь-пушку повернет?..

Сам издатель — Погодин, — не говоря прямо, бранит Петра, европеизировавшего в России все: «Россия Европейская, дипломатическая, политическая, военная, Россия коммерческая, мануфактурная, Россия школьная, литературная, — есть произведение Петра Великого... дома, на улице, в церкви, в училище, в суде, в полку, на гулянье — все он, всякий день, всякую минуту, на всяком шагу!» Московские славянофилы уже с первых книжек «Москвитянина» начали поворачивать к «всеславянской идее»... Совсем новая — кипела в спорах, собиралась в гостиных, новая для Жуковского Москва! Он удивлялся, что вот хотя бы Шевырев — словно бы больше, чем он, Жуковский, любит Россию... И не соглашался с этим. И не собирался бояться «гниющего Запада». Но и без них свято верил, что у России — самобытный путь... Он вспоминал Христа Джотто, снега Юнгфрау, Рафаэлеву Мадонну, «базельского соловья» Гебеля, скамеечку Данте во Флоренции и качал головой... Кто знает, на каких головокружительных высотах перемешивается дыхание России и Европы? На каких космических ветрах замешено их духовное родство?..

Москва провожала Жуковского на Запад. Он был любим славянофилами — добрый человек, русский человек и великий поэт. Они знали, что среди «чумного царства» он останется свеж и правдив. Хомяков устроил в честь него вечер у себя дома и сочинил стишки:

Москва-старушка вас вскормила,
Восторгов сладостным млеком,
И в светлый путь благословила
За поэтическим венком...

«Вот и московская жизнь прошла как сон, — пишет Жуковский 14 марта из Петербурга Елагиной, — вот уж я теперь могу сказать, что я на возвратном пути, что я еду прямо к своему счастию, и что Петербург теперь только станция на дороге... доберусь ли? а когда доберусь, долго ли продлится блаженный сон? и не дай бог проснуться!» В Петербурге Жуковский получил от невесты несколько писем. Читать в них было нечего. «Во всех одно и то же, — отметил он, — сердечное, чистое, прелестное одно и то же. Все ее письма — как журчание ручья в уединенной, спокойной долине; слышишь все один и тот же звук... это голос без слов, все выражающий, что душе надобно».

Близился отъезд. В марте к Жуковскому обратился

А. В. Никитенко, некогда освобожденный из крепостного состояния стараниями друзей-литераторов во главе с К. Ф. Рылеевым. Никитенко попросил Жуковского помочь выкупиться его матери и брату, еще остававшимся крепостными. Уже 14 апреля Никитенко пишет: «Дело о матери моей и брате кончилось так хорошо только благодаря вмешательству Жуковского». 5 мая Никитенко отправил «увольнительные акты» матери и брату...

12 апреля Жуковский был у Карамзиных — это были проводы Лермонтова, попытки которого выйти в отставку не удались. Он ехал на Кавказ. Были Плетнев, Одоевский, Соллогуб, Наталия Николаевна Пушкина, Ростопчина. («Во время всего ужина и на прощанье Лермонтов только и говорил об ожидавшей его скорой смерти», — писала Ростопчина.) По свидетельству А. П. Шан-Гирея, Лермонтов перед отъездом давал ему «различные поручения к Жуковскому». А бабушка Лермонтова, Е. А. Арсеньева, 18 апреля обратилась к С. Н. Карамзиной: «Вы так милостивы к Мишиньке, что я смело прибегаю к вам с моею просьбою, попросите Василия Андреевича... и Василий Андреевич извинит меня, что я его беспокою, но сердце мое растерзано».

15 апреля Жуковский был на похоронах А. С. Шишкова. Он сказал: «Это наш последний долг истинно честному и правдивому человеку». Вяземский отметил, что Шишков был «человек с постоянною волею... имел личность свою, и потому создал себе место в литературном и даже государственном нашем мире. А у нас люди эти редки». Целая эпоха ушла с Шишковым! Романтики с искренним уважением помянули патриарха-старовера литературного...

Считанные дни оставались... Но дочери Саши Воейковой, сироты... Как уехать, не обеспечив их? И происходит что-то не очень понятное... Жуковский, готовящийся через два-три года вернуться с супругой и поселиться под Дерптом на мызе Мейерсгоф, продает этот Мейерсгоф, где хотел он основать «колонию» родных (призвать сюда Протасову, Мойера...). Мызу купил доктор Зейдлиц, друг Жуковского, дал 115 тысяч. Эти деньги Жуковский положил в банк на имя сестер Воейковых... Но мебель, мебель-то, что заведена была Жуковским в Петербурге, что стояла и в Шепелевском дворце, могла бы дождаться владельца, где-нибудь припрятанная? «Вместе с имением Жуковского я приобрел всю его мебель и переместил ее тотчас в свою квартиру», — пишет Зейдлиц (его квартира была в Галерной улице). Библиотеку и коллекции картин,

рисунков и скульптуры Жуковский отдал на хранение в Мраморный дворец. «Но он передал мне три небольшие свои картины, — вспоминает Зейдлиц, — с тем, чтобы они висели у меня над его большим письменным столом, так, как прежде они висели у него самого. Это были: превосходный портрет Марии Андреевны Мойер, писанный профессором Зенфом в Дерпте; гробница ее на дерптском кладбище и гробница покойной А. А. Воейковой в Ливорно... Подошел он, грустный, к своему письменному столу.

— Вот, — сказал он, — место, обожженное свечой, когда я писал пятую главу «Ундины». Здесь я пролил чернила, именно оканчивая слова Леоноры: «Терпи, терпи, хоть ноет грудь!» — и в глазах его навернулись слезы... Жуковский, опершись на руку, задумчиво смотрел на три упомянутые картины. Вдруг он воскликнул:

— Нет, я с вами не расстанусь! — и с этими словами вынул из рам, сложил вместе и велел отнести в свою карету».

Жуковский вез с собой обручальные кольца, на которых уже выгравирована была дата венчания его: 21 мая.

И последнее распоряжение в Петербурге: решено перевести часть собственной пенсии на имя овдовевшей Анны Петровны Зонтаг, племянницы, «одноколыбельницы», — надо было как-то обеспечить ее старость. В будущем положил передать ей весь доход от публикации поэмы «Наль и Дамаянти». «Какова вы, душа моя? — писал он ей перед отъездом. — Сколько знаю вас — а ведь мы, кажется, друзья с колыбели — смело могу поручиться, что вы главное горе жизни сносите с тем высоким достоинством, которое все земные утешения делает не нужными».

Последнее прощание с друзьями. Последний раз в Дерпте. Несколько минут у могилы Маши... «Прощай, мой несравненный Жук! дай Господи тебе всего хорошего!» — слышит он ее голос из прошлого. «Дурачок, когда так много воспоминаний общих, то прошедшее — друг вечный! Сих уз не разрушит могила...» И, наконец, ободрительное, истинно дружеское: «Женись, Жуковский! c'est la seule chose qui te manque pour être parfait!». (это единственное, чего тебе недостает, чтобы быть совершенным). Все оборвалось в его душе. Он машинально сорвал несколько травинок и сунул их в карман. Качаясь на сиденье, он не думал, куда едет. Словно его кто-то вез, тащил. Душа его была так смята, скомкана, точно птица, попавшая в струю урагана...

Через две недели он прибыл в Ганау (здесь семь месяцев тому назад простился он с невестой). На другой день — по железной дороге — помчался в Майнц, заказал для себя и Рейтернов номера в гостинице и отправился по Рейну на пароходе «Виктория» в Кёльн, навстречу невесте. Здесь он узнал, что Рейтерны уехали в Бонн. Недоумевая, Жуковский взял место в мальпосте и через полтора часа был там. Отсюда все поехали в Майнц, где ночевали. Потом ехали по железной дороге и ночевали в Гейдельберге. Весь следующий день тащились в душном вагоне до Людвигсбурга... «Признаюсь, — писал Жуковский, — для меня эта тревога была тяжела: с 3-го мая по 21-е я был в беспрестанном движении; ехав день и ночь, был утомлен от дороги и жара... В самый день, назначенный для моей свадьбы, я не имел минуты свободной для того, чтобы войти в себя и дать душе свободу заняться на просторе тем, что ей предстояло».

Венчание произошло в русской посольской церкви в Штутгарте. «Отец держал венец над своею дочерью; надо мной не держал его никто: он был у меня на голове...» Из русской церкви тотчас перешли в лютеранскую — свадебный обряд был повторен (невеста была лютеранка).

В июле Жуковский поселился в Дюссельдорфе в прекрасном двухэтажном особняке, украшенном колоннами и скульптурами. «Дом, в котором живу, — сообщает Жуковский в Петербург, — принадлежит уже не к городу Дюссельдорфу, а к смежному с ним местечку; он отделен от города прекрасным парком. С южной стороны моего дома находится этот парк: сквозь тенистые липы его, растущие на зеленом холме, видны из окон моих городские здания. На западе у меня Рейн, скрытый за деревьями; но в ясный вечер бывает на него вид прекрасный с верхнего балкона; тогда низкие берега его, покрытые мелкими селениями и рощами, принимают цвет фиолетовый и почти сливаются с широкою рекою, ярко сияющей на заходящем солнце, покрытой судами, бегущими в разных направлениях, и колыхаемой пароходами, которых дым далеко видится, и колокола, а иногда и пушки, звучно ввечеру раздаются. С севера окружает мой дом маленький сад (150 шагов в окружности); за садом мой собственный огород, снабжающий обильно мой стол картофелем, салатом, горохом и подобною роскошью; за огородом поле, на горизонте которого городское кладбище, мимо этого кладбища идет большая дорога. На восток от моего дома продолжение парка... Положение дома моего весьма уединен-

ное. Он вне всякого городского шума... Я убрал этот домишко так удобно, что не могу желать себе приятнейшего жилища: в нем есть картинная галерея, есть музеум скульптуры и даже портик, под которым можно, не выходя из дома, обедать на воздухе. В саду есть пространная беседка... Я должен прибавить, что самая большая горница моего дома принадлежит не мне, а моему тестю Рейтерну. В ней он учредил свой atelier [1], где теперь работает весьма прилежно».

Отсюда Жуковский летом 1841 года выезжал в Ганау, — там встретил больного, одряхлевшего раньше времени Языкова. («Жуковский, — писал Языков брату, — приказал мне оставаться до весны под надзором Коппа».) Осенью неожиданно нагрянула в новое жилище Жуковского Авдотья Петровна Елагина — она ехала на воды и заглянула в Дюссельдорф для того, чтобы познакомиться с женой Жуковского. Ее посещение он назвал «минутным» — она спешила... Побывали у Жуковского Александр Кошелев и Михаил Погодин. «Описать его покои, — говорит Погодин, — выйдет ода... Древний и новый мир, язычество и христианство, классицизм и романтизм являются на стенах его в прекрасных картинах. Здесь сцены из Гомера, там жизнь Иоанны д'Арк, впереди Дрезденская и Корреджиева Мадонны, молитва на лодке бедного семейства, Рафаэль и Дант, Сократ и Платон. В Помпее археологи называют один дом домом поэта по каким-то неясным приметам, но дом Жуковского с первого взгляда никому нельзя назвать иначе».

«Я поселился в Дюссельдорфе не по выбору, — писал Жуковский в Петербург, — здешняя сторона не имеет ничего привлекательного (кроме разве Академии живописи); я поселился здесь подле родных моей жены... для того, чтобы здесь *на чуже* приготовить свою жизнь *на родине*, т. е. прожив с возможною экономиею несколько времени, скопить столько, чтобы начать как должно свою домашнюю жизнь по возвращении в милое отечество... Сколько продолжится эта приготовительная жизнь, я не знаю; но все мои планы будущего относятся к тому будущему, которое для меня только в России существует и существовать может». «Постараюсь, чтоб мое пребывание за границею, — пишет он, — не осталось бесплодным для русской литературы». Он и здесь находит возможность помочь талантливым людям. «У меня давно лежит пись-

[1] Мастерскую *(франц.)*.

мо, полученное мною на имя вашего высочества из Рима от живописца Иванова, которому вы поручили написать для вас большую картину, изображающую Спасителя, являющегося Иоанну Крестителю, — пишет Жуковский великому князю Александру Николаевичу. — Узнаете сами, чего он желает, из письма его. От себя прошу вас его не оставить: он замечательный художник... Не дайте пасть этому таланту, который может сделать честь Отечеству».

«Семейное счастие», о котором многие годы мечтал Жуковский, к которому подошел, наконец, с бодрыми словами и наружной решительностью, навалилось на него с редкой тяжестью. Жена скинула на пятом месяце и слегла, едва оставшись в живых. «Не более семи месяцев, как я женат; но в это короткое время успел прочитать все *предисловие* моего будущего. Теперь знаю содержание открытой передо мною книги; знаю и радостные, и печальные страницы ее; знаю, какое должно быть заключение; не знаю только, дойду ли до него». Он уже говорит о новом для него виде *страдания:* «Страдания одинокого человека суть страдания эгоизма; страдания семьянина суть страдания любви», и прибавляет: «Я уже это испытал на себе». Рядом — четкая мысль: «Семейная жизнь есть школа терпения». Болезнь сломила Елизавету Евграфовну, супругу Жуковского, — ее юное лицо стало задумчивым и даже мрачным; воля ее была парализована до того, что уже после выздоровления она не только не могла ничего делать, но долгими неделями не поднималась с постели. Жуковский, полный сострадания, предпринимал все, что только мог, чтобы вылечить, укрепить, пробудить ее. Он захлопатывался до отчаяния...

Она видела, как он заботливо благоустраивал дом, — комнаты приобретали благородный, поэтический вид, — всюду были бюсты, гравюры, книги... В его кабинете появился высокий стол (такой, как в Петербурге), за которым он, с утра, писал стоя. Он заканчивал осенью 1841 года перевод «Наля и Дамаянти». Читал жене Рюккертов текст, затем то же (отрывок из «Махабхараты») в переводе Боппа и еще какой-то перевод... Он был ласков, деятелен. Не пытался мучить жену изучением русского языка. Трудно было ему, когда он замечал, что мысль его о своем семейном будущем упиралась как бы в черную стену. Он боролся с отчаянием. Это было тем труднее, что он ослаб телом, устал.

Он уже почти кончил работу над «Налем и Дамаянти»;

надо было переписать эту большую, в 200 страниц, поэму. «Здесь писаря русского, — пишет он в Петербург, — с начала мира не бывало; надобно самому приниматься за скучный труд, который, конечно, продолжится с месяц, и это от того, что у меня глаза хворают. После обеда и ввечеру при свечах не могу ни читать, ни писать, и чтобы не испортить глаз совсем, должен себе в этом отказывать». В конце декабря он послал поэму в Петербург, сопроводив ее словами: «Эта индейская поэзия имеет прелесть несказанную, и светлая простота ее стоит наравне с гомерическою». Конечно, и «Наль и Дамаянти» были подходом Жуковского к Гомеру, к «Одиссее»... Именно в исходе 1841 года решил он окончательно, что посвятит конец своей жизни переводу «Одиссеи», а если бог даст — и «Илиады»...

Разом увидел он все неисчислимые трудности этой работы, но понял также, что само Провидение (или Судьба, или Логика жизни — как ни назови) поставило его перед необходимостью совершить этот *подвиг*. «Лирическая, вдохновенная пора поэзии для меня миновалась; могу быть только болтливым сказочником, как то бывает со всеми под старость; и если воображение мое, охлажденное временем, не может более вымышлять, то могу по крайней мере рассказывать за другими. Хочу передать России Гомеровы сказки и принялся за перевод «Одиссеи», — пишет Жуковский в Петербург. «Я перевожу Одиссею, — сообщает он в другом письме. — С греческого, — спросите вы? Нет, не с греческого, а вот как: здесь есть профессор, знаток греческого языка; он переводит мне *слово в слово* Одиссею, т. е. под каждым греческим словом ставит немецкое. Из этого выходит немецкая галиматья; но эта галиматья дает мне порядок слов оригинала и его *буквальный* смысл; поэтический же смысл дает мне немецкий перевод Фосса и несколько других переводов в прозе: один немецкий и два французских и еще один архиглупый русский (в прозе). Из всего этого я угадываю *истинный* смысл греческого оригинала и стараюсь в переводе своем наблюдать не только *верность поэтическую* — что главное — но и *верность буквальную*, сохраняя по возможности самый порядок слов... Для чего я выбрал этот труд? Для того, чтобы дать себе великое наслаждение выразить на нашем языке во всей ее детской простоте поэзию первобытную: буду стараться, чтобы в русских звуках отозвалась та чистая гармония, которая впервые раздалась за 3.000 лет перед сим под ясным небом Греции. Это наслаж-

дение полное. Новейшая поэзия, конвульсивная, истерическая, мутная и мутящая душу, мне опротивела». «Перевод Одиссеи, если он удастся, будет памятником, достойным отечества, и который хочу я оставить ему на своей могиле», — пишет Жуковский. Дюссельдорфский эллинист профессор Грасгоф собственноручно переписал по-гречески «Одиссею», поставив под каждым греческим немецкое слово с объяснением грамматического смысла первого...

Между тем на родине появились в печати новые восторженные слова Белинского о поэзии Жуковского, — в статье «Русская литература в 1841 году» (журнал «Отечественные записки», т. I за 1842 год). «До него, — писал Белинский о Жуковском, — наша поэзия лишена была всякого содержания, потому что наша юная, только что зарождавшаяся гражданственность не могла собственною самодеятельностью национального духа выработать какое-либо общечеловеческое содержание для поэзии: элементы нашей поэзии мы должны были взять в Европе и передать их на свою почву. Этот великий подвиг совершен Жуковским... Он ввел к нам *романтизм,* без элементов которого *в наше время невозможна* никакая поэзия. Пушкин, при первом своем появлении, был оглашен *романтиком.* Поборники новизны называли его так в похвалу, староверы — в порицание, но ни те, ни другие не подозревали в Жуковском представителя истинного романтизма. Причина очевидна: романтизм полагали в форме, а не в содержании... Романтизм — это мир внутреннего человека, мир души и сердца, мир ощущений и верований, мир порываний к бесконечному... таинственная лаборатория груди человеческой, где незримо начинаются и зреют все ощущения и чувства, где неумолкаемо раздаются вопросы о мире и вечности, о смерти и бессмертии, о судьбе личного человека, о таинствах любви, блаженства и страдания... Итак, развитие романтических элементов есть первое условие нашей человечности. И вот великая заслуга Жуковского! Трепет объемлет душу при мысли о том, из какого ограниченного и пустого мира поэзии в какой бесконечный и полный мир ввел он нашу литературу». В этом же году, в том же журнале Белинский отметил: «Жуковский — поэт не одной своей эпохи: его стихотворения всегда будут находить отзыв в юных поколениях, приготовляющихся к жизни». Жуковский не мог не согласиться с оценками Белинского — вернее и глубже нельзя было выразить суть его творчества, как сам он считал — отошедшего. Да

и Белинский писал о нем как о поэте первых трех десятилетий века.

Жуковский чувствовал себя теперь иным, новым поэтом. На его столе громоздились разные издания Гомера, Грасгофов манускрипт; он с раннего утра вчитывался в строки «Одиссеи» сразу по десятку разных изданий. К середине 1842 года он уже перевел две первые песни и был доволен ими. На особенном столике лежали кучей письма — прочитанные, с отметками красным карандашом. Две, три недели смотрел он на эту кучу, не имея сил сесть за ответы. День за днем точила его совесть — ведь письма-то от друзей, от родных... Месяц назад начал ответ Анне Петровне, и вопрос-то какой важный! Дочь ее выходит замуж за австрийского консула в Одессе — Гутмансталя, уезжает в Европу; старушка остается одна... Он утешал ее, постарался убедить (в который раз!), что «жизнь есть школа смирения», и что «разлуки истинной нет, когда есть верная любовь». Начато письмо 1 марта. 27 марта он приписал: «Неизлечимая болезнь для меня моя эпистолярная лень... У меня теперь перед глазами куча не ответствованных писем и я, глядя на них, точно как в горячке».

В июне 1842 года Гоголь прислал Жуковскому уже изданную первую часть «Мертвых душ» и прозаический отрывок «Рим» (отдельный оттиск из «Москвитянина»). «Ради бога, — пишет Гоголь, — сообщите мне ваши замечания. Будьте строги и неумолимы как можно больше...». «Много труда и пути и душевного воспитанья впереди еще! — пишет он. — Чище горнего снега и светлей небес должна быть душа моя, и тогда только я приду в силы начать подвиги и великое поприще, тогда только разрешится загадка моего существования».

Гоголь готовился ко второму и третьему томам «Мертвых душ» как к трудному духовному подвигу... В июле Гоголь пишет Жуковскому из Гаштейна: «Я получил три строки руки вашей... Благодарю вас и за них, но если бы вы к ним прибавили хотя одну строчку о *Мертвых душах*, какое бы сильное добро принесли вы мне... До сих пор я еще ничего не слышал, что такое мои *Мертвые души* и какое производят впечатление». 2 ноября Жуковский собрался с ответом: «Еще я не послал к вам критики на ваши «Души», потому что это работа большая, а я не скоро могу решиться на длинное письмо... Теперь не место говорить о мертвых душах. Я взял перо, чтобы сказать вам о живой душе; порадуйтесь со мною: у меня

за четыре дня пред сим родилась дочка... Пусть будет пока для вас довольно этого известия; оно стоит критики и, верно, вам будет приятно».

30 октября родилась дочь Жуковского Александра.

Опять шли письма — поздравления «старому другу, молодому отцу и счастливому мужу» (как писала Смирнова-Россет). Но Гоголь ждал от него критики. А Вяземский снова тащил Жуковского с Олимпа в самую гущу литературной «существенности»: «Ты, вероятно, получаешь «Москвитянина» и читал «Мертвые души», — писал он ему 21 ноября 1842 года. — Мне часто приходило в голову, что тебе следовало бы написать на эту книгу рецензию и дать окончательный суд этому творению. Во-первых, любопытно было бы знать твое мнение и какое впечатление произвело на тебя *в чужбине* чтение этой книги, а во-вторых, иные так бранят ее, другие так превозносят, что нужен в этой разноголосице приговор великого и полномочного судии. Молчание в таком случае людей, имеющих право и, следовательно, *обязанность* говорить, есть прискорбный признак равнодушия нашего к отечественной литературе. Мы сами, удалившись от места действия и от непосредственного участия, виноваты в упадке ее. Мы без боя уступили поле Булгариным, Полевым и удивляемся и негодуем, что невежество и *свинтусы,* как говорит Гоголь, торжествуют. Тут раскрылось бы тебе прекрасное поприще: говоря о «Мертвых душах», можно вдоволь наговориться о России и в рецензии на книгу написать рецензию на весь народ и весь наш быт. Одиссея Одиссеею, да и матушка Россия чего-нибудь да стоит, хоть эпитафии. Между тем Гоголю нужно услышать правду о себе, а не то от проклятий и акафистов не мудрено голове его и закружиться, да и закружилась. Не забывай, что у тебя на Руси есть апостольство и что ты должен проповедовать Евангелие правды и Карамзина за себя и за Пушкина».

Вяземский посвящал Жуковского как бы в патриархи русской литературы и, по своему старому обыкновению, грудью наступал на него, требуя действий и не понимая его при всей своей любви к нему... Но и Жуковский не совсем понял себя в это время, в своей новой жизни, так как утверждал в письме от 1 января 1843 года, что «для других обыкновенно семейный быт идет рядом со всеми другими событиями жизни, я, напротив, начинаю свою семейную жизнь, разделавшись со всем прочим. Общественное дело мое, взявшее лучшие мои годы, конче-

но... Из прошедшей моей деятельности сохраню только давно оставленную авторскую». Но общественные дела будут непрестанно тревожить его жаждущее покоя сердце.

1 января он читает проповеди средневекового мистика Таулера и что-то из Фенелона («разговор о прочитанном с применением к себе», — отмечает он в дневнике). Это смутные и безнадежные попытки вернуться душой в 1810-е годы. 2 января с неким Овеном, графом Грёбеном и Рейтерном — «разговор о письме к королю Гервега». Немецкий политический поэт Гервег, выразитель — по словам Жуковского — «враждебного, всеразрушающего демократизма». Жуковский пытается «не слышать визгов сумасшедшего Гервега и комп., которым рукоплескает еще не образумившаяся молодежь, посреди которой встречаются и молокососы с проседью». Гервег — автор книги стихов, выдержавшей семь изданий в течение 1841—1842 годов. Прусский король Фридрих-Вильгельм IV (считавший себя другом Жуковского и переписывавшийся с ним), имевший некоторые прогрессивные стремления, вызвал Гервега и имел с ним откровенную беседу. Гервег, будучи революционером-радикалом, не постеснялся прямо выложить королю все, что он думает о его правлении, и предложить ряд преобразовательных мер. Затем Гервег выступил в печати с письмом к королю, в котором изложил всю свою программу демократизации Пруссии. Об этом письме (оно было напечатано 24 декабря 1842 года в одной из лейпцигских газет) и шел разговор в доме Жуковского. Король приказал выслать Гервега из Пруссии. Жуковского возмущала не «наглость» Гервега, взявшегося учить короля, — ему не нравились стихи его, полные, казалось ему, голой — без поэзии — политики. Его удивлял шумный успех стихов Гервега, тревожило явление многочисленных подражателей... Трудно, трудно было хранить спокойствие! Так и тянуло выступить с разносной брошюрой, с защитительными словами о подлинной поэзии, с напоминанием о Шиллере и Гёте... Но Жуковский заставлял себя молчать и переводил «Одиссею». Перед его окном — деревья парка. С началом весны сюда прилетели соловьи... Неспокойно и дома. «Начало года тревожное, — заносит он в дневник. — Болезнь жены, нервические припадки, головные боли, сильная боль в боку, тошнота». Советы дюссельдорфского доктора не помогают, он теряет доверие. Больная лежит в постели с самых родов до мая 1843 года.

В марте Жуковский набросал вчерне две небольшие стихотворные повести — «Маттео Фальконе» (по стихотворному переложению Адальбертом Шамиссо новеллы Мериме) и «Капитан Бопп» (явно заимствованный сюжет, но неизвестно откуда), — обе пятистопным ямбом без рифм. Они мыслились как пополнение к «собранию повестей для юношества» в стихах, которое уже складывалось в книгу.

10 июня Гоголь писал Языкову из Висбадена: «Во Франкфурте встретил я Жуковского, который посвежел, словом — в здоровье самом надлежащем, жене его также лучше. При нем тоже две песни Одиссеи... да в пятистопных стихах еще две повести без рифм. Да виды есть еще на большое сочинение. Словом, Жуковский так себя ведет, как дай Бог и нам всем, которые его гораздо помоложе... Отсюда я еду в Эмс, куда Жуковскому назначено с женою пробыть три недели». Жуковский пробыл в Эмсе пять недель. Отсюда Гоголь уехал в Баден-Баден, а Жуковский в Швальбах, где провел около трех недель.

В сентябре и октябре в Дюссельдорфе жил Гоголь, — он обедал и часто проводил у Жуковского целые дни. 8 сентября Гоголь сообщает Шевыреву: «Жуковский благодарит тебя за поклон и отвечает тем же; он трудится за Одиссеей. Две песни уже есть... Единственная пиэса, которая была у него отделана, послана им Плетневу под названием «Маттео Фальконе». Она прекрасна». 24 сентября Гоголь запрашивает Плетнева: «Получили ли «Маттео Фальконе» от Жуковского? Я интересуюсь знать о нем. Хоть это и не мое дитя, но я его воспринимал от купели и торопил к появлению в свет. Вы заметили, я думаю, что он переписан моею рукою».

«Пребывание Гоголя было мне полезно», — отметил в своем дневнике Жуковский.

Как хотелось Жуковскому покоя, семейной идиллии, соединенной с поэтическим трудом! И хотя на подобный рай были в его тогдашней жизни только слабые намеки, он поддерживал легенду об этом. Я живу, писал он в Петербург, «не разнообразно, просто, тесно, но хорошо и вполне удовлетворительно».

Вяземский, до которого доходили подобные известия, писал Жуковскому 1 января 1844 года: «Хочу верить... что ты счастливейший из смертных, что жена и малютка твоя необыкновенно милые создания и что в твоем дюссельдорфском углу веет миром и благоденствием золотого века. Хотелось бы посмотреть на эту живую идиллию,

лучшую поэму твоего создания, ибо нет сомнения, что без поэзии ты не смог бы устроить себе такую участь». Малютка дочь очень утешала Жуковского, но она уже начинала мешать в своем детском лепете русские и немецкие слова. Жена не знала почти ни слова по-русски, и, конечно, не могла прочесть стихов своего мужа, разделить с ним наслаждение работы над «Одиссеей», помочь переписать... Таким образом в их жизни не было главного — духовного общения. Она знала французский язык. Общение только на немецко-французском уровне культуры не могло удовлетворить Жуковского, хотя он и пытался как можно полнее использовать его, — что ему оставалось? Но вообще к началу 1844 года здоровье Елизаветы Евграфовны пришло в очень плохое состояние. Доктор Копп советовал Жуковским переселиться в более сухое место, например, во Франкфурт-на-Майне. Одна мысль о том, что надо сниматься с места всем домом, уносила покой... Сняться, однако, пришлось.

Как и в Дюссельдорфе, дом Жуковского во Франкфурте-на-Майне находился в тихом месте — в пригороде Саксенгаузен, в парке, на берегу реки. Почти от самой ограды дома, трехэтажного с четырехскатной крышей, к воде шли ступени — тут была лодочная пристань, — всегда можно было нанять крытую лодку с гребцом и плыть на прогулку или в город, на другую сторону Майна. Невдалеке перекинут был через тихие воды старинный мост. Вниз по течению, на пути в Ганау, возвышался средневековый замок Румпенгейм. За ним голубой пирамидой подымалась гора Таунус. Мимо окон дома проходили пароходы, под колесами которых пенилась и бурлила зеленоватая вода...

20 июля 1844 года Жуковский пишет Гоголю, что «принимается опять за Одиссею». 12 августа: «Одиссея снова закипает. Все прежнее снова перечитал, поправил и нахожу, что теперь хорошо. И далее, далее...» В сентябре навестил Жуковского Александр Иванович Тургенев — как раз пришло в это время письмо Вяземского о смерти Баратынского («Как жаль Баратынского... Бедная вдова возвратилась сюда с детьми», — Баратынский скончался в Неаполе; позднее Вяземский писал: «Смерть Баратынского безмолвною и невидимою тенью проскользнула в этом обществе высоких патриотов»). «Ты поразил нас вестию о Баратынском, — отвечал Вяземскому Тургенев. — Теперь о нем, то есть о Жуковском. Я здесь блаженствую сердечно в милом, добром, умном семей-

стве, изнеженный всеми комфортабельностями жизни, достойными шотландской сивилизации и всей классической дружбы Жуковского и его ангела-спутника (ангел беременна уже пятый месяц и в генваре должна родить; вероятно — мальчика)... Ты знаешь, какой мастер Жуковский устраиваться, но он превзошел здесь себя во вкусе уборки дома, мёблей, картин, гравюр, статуек, бюстиков и всей роскоши изящных художеств. Все на своем месте, во всем гармония, как в его поэзии и в его жизни... Он встает в семь часов (Жуковский приписал на полях: «В пять») и беседует с Гомером (перевод «Одиссеи» на 8-й песни и перевод, по его мнению, коему я верю как чужому, прекрасный и лучше всех других). В девять мы вместе завтракаем, и милая жена-хозяйка разливает сама кофе моккский... 12-го часа Жуковский опять с Гомером, потом опять с Морфеем, то есть спит до первого часа, закрываясь от мух «Аугсбургскою газетой», которую, как немецкий европеец, получает, но не всегда читает... От часу до двух — мелкие поделки или визиты. В два обедаем. После обеда — болтовня, и при солнце, под деревьями, в саду. Тут являются иногда к чаю или к моему молоку, разбавленному водой, сестры, мать, отец... Музыка — они поют и играют. Жуковский гуляет с час; что за колдун Жуковский! Знает по-гречески меньше Оленина, а угадывает и выражает Гомера лучше Фосса. Все стройно и плавно и в изящном вкусе, как и распределение и уборка кабинета».

И вот уехал старинный друг. Написал с дороги. «В твоем письме много для меня трогательного, — отвечал ему Жуковский. — Мне старику удалось в своей семье тебя на старости полелеять... Кажется мне, что жива еще наша молодость: было теперь что-то, напомнившее те горницы Московского университета, где мы сбирались около брата Андрея, который мне живо памятен... Некоторые замечания в письме твоем на счет моей роскошной, сибаритской, как ты называешь ее, жизни, справедливы, но не совсем. Я мог бы иные издержки и устранить, но ты совершенно ошибаешься на счет причины, побуждающей меня устраивать красно и чисто мои горницы: я это делаю *не для других,* а чисто для себя. Если б у меня был дом на необитаемом острове, и тот бы я устроил приятным для глаз образом».

Гоголь не видел в быту Жуковского никакого сибаритства. В октябре он снова приехал во Франкфурт. «На верху у меня гнездится Гоголь, — пишет Жуков-

ский Тургеневу, — он обрабатывает свои Мертвые души». Ни Жуковский, ни Гоголь не придавали вещам вещественного смысла. Всякая вещь в их комнатах — и вещь, и символ, одна из составных частей необходимой для глаз картины. Гоголь занимал комнату «на верху» — и нет сомнения, что в ней было пустынно и просто, и что эта комната с приездом Гоголя сразу теряла свой жуковский вид. Гоголь мог работать лишь в своей обстановке. Жуковский — в своей. Так, под одной крышей на берегу Майна двигались вперед «Мертвые души» и перевод «Одиссеи».

В конце 1844 года Жуковский только однажды отвлекся от своего великого труда, написав «Две повести. Подарок на Новый год издателю Москвитянина», этим издателем (негласным, в память истории с «Европейцем») стал с 1845 года Иван Киреевский. Появлению этих «Двух повестей» помог и Гоголь, который, как он писал Языкову, «подзадорил Жуковского, и он в три дня с небольшим хвостиком четвертого отмахнул славную вещь». Это были рассказанные пятистопным белым ямбом истории об Александре Македонском (из Шамиссо) и Будде (из Рюккерта), которые Жуковский соединил полушуточными рассуждениями, обращенными к Киреевскому.

Жуковский сочувствовал основной — славянофильской цели издателя. «Пришел час, — писал он Жуковскому, — когда наше православное начало духовной и умственной жизни может найти сочувствие в нашей так называемой образованной публике, жившей до сих пор на веру в западные системы»; но хотел отвратить его от другого намерения — «задавить петербургские журналы». В конце «Двух повестей» (появившихся в первом номере «Москвитянина» за 1845 год) Жуковский советует издателю:

...Будь в своем журнале
Друг твердый, а не злой наездник правды;
С журналами другими не воюй...

Однако журнальной войны Киреевскому было избежать невозможно — его статьи в «Москвитянине» одних восхищали, других раздражали, как, например, Герцена и Белинского, напавших на Киреевского и его журнал в «Отечественных записках». Возникли разногласия и внутри редакции «Москвитянина», в результате которых Киреевский оставил его редактирование на третьем но-

мере... Московские славянофилы снова оказались без своей трибуны... Жуковский не стремился вникнуть в перипетии журнальной войны. Он и вообще считал, что Киреевскому не обязательно писать для печати: почему бы не писать для души, для собственного развития, без полемических целей.

В № 11 «Отечественных записок» — рецензия Белинского на 9-й том сочинений Жуковского. Белинский подробно пишет о трудности для читателя приобрести сочинения русских писателей («У нас книги дороже золота»), в том числе Жуковского: «Первых восьми томов сочинений этого поэта теперь почти нет в лавках... их нельзя приобрести дешевле сорока пяти рублей... Кто не желал бы иметь у себя собрания сочинений Жуковского? Скажем более: кто из образованных людей не *обязан* иметь их?» Белинский информирует читателя о содержании 9-го тома: «Он заключает в себе уже известные публике новые стихотворения знаменитого поэта: «Наль и Дамаянти», индейская повесть, с немецкого; «Камоэнс», драматический отрывок, подражание Гальму; «Сельское кладбище», Греева элегия, новый перевод; «Бородинская годовщина»; «Молитвой нашей Бог смягчился»; «Цвет завета». Если этот том объемлет собою и всю деятельность поэта от 1838 до 1844 года, то нельзя сказать, чтоб он теперь меньше писал, нежели прежде, потому что эти все девять томов (за исключением переводов в прозе) написаны им в продолжение сорока лет. Самый избыток достоинства в сочинениях Жуковского еще более заставляет сожалеть об умеренности в их количестве... Его теперь особенно занимает не сущность содержания, а простота формы в изящных произведениях, — и надобно сказать, что в этой простоте с ним было бы трудно состязаться какому угодно поэту... При этой простоте стих Жуковского так легок, прозрачен, тепел, прекрасен, что благодаря ему вы можете прочесть от начала до конца «Наль и Дамаянти»... Говорят, Жуковский переводит теперь «Одиссею» *с подлинника:* утешительная новость! При удивительном искусстве Жуковского переводить его перевод «Одиссеи» может быть образцовым, если только поэт будет смотреть на подлинник этой поэмы прямо по-гречески, а не сквозь призму немецкого романтизма». Это прочел и Гоголь (конец года он проводил у Жуковского), и тут появилась у него мысль написать о переводимой Жуковским «Одиссее»...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

(1845—1847)

Год 1845-й начался радостным событием: 1 января в половине седьмого утра у Жуковских родился сын Павел. Сам же он пятую неделю болел, было с ним, как он писал, «что-то похожее на то», что его «уже два раза выгоняло из России больного». Жуковский плохо спал по ночам. За несколько дней до наступления нового года уехал из Франкфурта в Париж Гоголь, — нервы его пришли в расстройство; доктор Копп отправил его к парижским врачам. Жуковский, старавшийся у себя дома поддерживать Гоголя, вдруг, оставшись один, сам впал в меланхолию. Что написал он Гоголю, неизвестно, но тот отвечал 1 января: «Дарю вас *упреком.* Вы уже догадываетесь, что упрек будет за излишнее принимание к сердцу всех мелочей и даже самых малейших неприятностей... Вы так награждены богом, как ни один человек еще не награжден... Он внушил вам мысль заняться великим делом творческим, над которым яснеет дух ваш и обновляются ежеминутно душевные силы; он же показал над вами чудо, какое едва ли когда доселе случалось в мире: возрастание гения и восходящую, с каждым стихом и созданием, его силу, в такой период жизни, когда в другом поэте все это охладевает и мерзнет».

Гоголь видел в переводе «Одиссеи» великое гениальное дело. Читанные ему Жуковским песни (тогда были переведены двенадцать из двадцати четырех) привели его в энтузиазм. «Вся литературная жизнь Жуковского, — писал он Языкову в начале 1845 года, — была как бы приготовлением к этому делу. Нужно было его стиху выработаться на сочинениях и переводах из поэтов всех наций и языков, чтобы сделаться потом способным передать вечный стих Гомера, — уху его наслушаться всех лир, дабы сделаться до того чутким, чтобы и оттенок эллинского звука не пропал... Вышло что-то чудное. Это не перевод, но скорее воссоздание, восстановление, воскресение Гомера. Перевод как бы еще более вводит в древнюю

жизнь, нежели сам оригинал... По-моему, все нынешние обстоятельства как бы нарочно обстановились так, чтобы сделать появление Одиссеи почти необходимым в настоящее время... именно то время, когда слишком важно появление произведения стройного во всех частях своих, которое изображало бы жизнь с отчетливостью изумительной, и от которого повевало бы спокойствием и простотой, почти младенческой. Одиссея произведет у нас влияние как *вообще на всех,* так и *отдельно на каждого».*

Вяземский, признавая перевод «Одиссеи» *литературным событием,* назвал это ожидание «совершенного переворота в русской жизни» от «Одиссеи» *ребячеством,* хотя и ребячеством гения («Такие ребячества встречаются и у Руссо»). Но вот 28 января пишет Жуковскому из Москвы Иван Киреевский: «Одиссея ваша должна совершить переворот в нашей словесности, своротив ее с искусственной дороги на путь непосредственной жизни. Эта простодушная искренность поэзии есть именно то, чего нам недостает, и что мы, кажется, способнее оценить, чем старые хитрые народы, смотрящиеся в граненые зеркала своих вычурных писателей. Живое выражение народности греческой разбудит понятие и об нашей, едва дышащей в умолкающих песнях».

Конечно, и Киреевский ошибся, думая, что какое-нибудь, пусть и самое величайшее, художественное произведение может на Руси что-то «своротить», — конечно (как отметит позднее Белинский), «Одиссея» в переводе Жуковского станет подобно «Илиаде» в гениальном переводе Гнедича чтением *для немногих* (со временем все же для все большего числа читателей), — но не ребячество это, а трагическая вера в силу просвещения, напрасная, если желать его света *для всех.* («Как будет простой народ читать «Одиссею»...?» — резонно спросит Белинский Гоголя чуть позднее.) Иван Аксаков напишет отцу (когда письмо Гоголя к Языкову будет опубликовано сразу в нескольких журналах): «Прочел я письмо Гоголя об Одиссее. Многое чудесно хорошо... но появление ее в России не может иметь влияния на современное общество... влияние ее на русский народ — мечта. Точно будто наш народ читает что-нибудь — есть ему время! А Гоголь именно налегает на простой русский народ... Но как хороши эти незыблемые, величавые создания искусства между нашей мелкою деятельностью».

Жуковский собирался в этом году вернуться в Россию. Но болезнь его продолжалась. 19 февраля он пи-

шет: «Я все еще не оправился: днем тревожит меня иногда биение сердца, а по ночам изменяет мне сон... Доктора осуждают меня на Киссинген». Елизавета Евграфовна после родов так ослабела, что не вставала с постели несколько месяцев... «Одиссея» временно остановилась. Но Жуковский, как подлинный художник, не мог совсем не работать — в феврале и марте он создал среди болезней и хандры целый ряд стихотворных произведений — все белым пятистопным ямбом: «Выбор креста», повесть (из Шамиссо); «Повесть об Иосифе Прекрасном»; три сказки: «Кот в сапогах», «Тюльпанное дерево» и «Сказка о Иване-царевиче и Сером Волке». В десять дней он закончил эту довольно обширную и замечательную вещь, в которой объединил несколько русских сказочных сюжетов. Все эти сказки Жуковский отправил Плетневу для «Современника», где они и были напечатаны в этом и следующем году. Многим понравился простодушный «Кот в сапогах», но «Сказка о Иване-царевиче и Сером Волке» очаровала всех, столько в ней непринужденности, народных красок, добродушного юмора (и даже в конце немного арзамасской «галиматьи»)...

20 февраля приехал из Парижа Гоголь. От Плетнева и Вяземского пришли письма с предложением участвовать в подписке на памятник Крылову в Петербурге. «Благодарю за уведомление о Крылове... — пишет Жуковский Плетневу. — Какая была бы истинно русская биография, если бы собраны были все подробности его жизни, и если бы написал эту биографию тот, кто часто слушал и видел Крылова, и кто мог бы перенести в слог свой и его слово, и его лицо, и его ужимки. Я бы задал сюжет для романа: «Иван Андреевич Крылов», где бы к правде примешать и вымысел. Это было бы дополнением к его басням. Но кто напишет такой роман?» Вяземскому Жуковский отвечал: «Прошу тебя записать за меня в листе подписчиков на памятник Крылову столько, сколько ты найдешь сам приличным: заплачу по приезде в Петербург, а приезд мой в Петербург или, лучше сказать, мой проезд через Петербург на житье в Москву имеет последовать в будущем 1846 году; я сначала хотел собраться в нынешнем, но захворал... Жена, хотя уже и более семи недель миновалось после родов, не поднималась, напротив, ее осудили на совершенную неподвижность, и долго ли эта неподвижность продлится, не ведаю... Надеюсь, что нынешний год и жену и меня крепко поставит на ноги.

Во всяком случае я принял твердое намерение возвратиться в 1846-м».

«Что бы нам всем со временем съехаться и дожить век свой под прародительской тенью Ивана Великого?» — мечтает Жуковский. Но, пишет он Смирновой все о том же, — «устаревшая машина моя от малейшего потрясения расходится врозь»... Гоголь мало ободряет Жуковского. «Он похварывает, жалуется на нервы», — пишет Жуковский Смирновой. «Что делать? Терпение! Терпение! Это — пароль и лозунг жизни!» — восклицает он... И между тем по просьбе Жуковского Авдотья Петровна Елагина подыскивает ему подходящий дом в Москве...

В мае, проездом из Киссингена в Россию, побывал у Жуковского Александр Иванович Тургенев. Прощание их было грустным. Оба они почувствовали, что это их последнее свидание... Тургенев страдал одышкой, был мрачен. Он увидел, что Жуковский одряхлел, но поразился силе его духа: среди болезней — сказки, многочисленные черновики, наброски. Из последнего — был большой отрывок идиллии о старом нищем (очевидно, по детским воспоминаниям), начало стихотворного перевода прозаической повести Тика «Эльфы» из сборника «Фантазус», еще стихотворное начало чего-то — повести или сказки — под названием «Чаша слез»... И манускрипт «Одиссеи», руки Грасгофа, уже сильно почерканный Жуковским, раскрыт на XIII песне... Тургенев спешил в Москву. Он боялся умереть на чужбине. Не помогали ему в последнее время и воды — ни Карлсбад, ни Эмс, ни Киссинген... Тургенев уехал. Вскоре Жуковский послал доверенность Зейдлицу на получение по приложенному списку своих вещей, книг и картин, оставленных на хранение в Мраморном дворце, — все это предполагалось отправить в Москву...

В июне 1845 года пришло письмо из Кургана от декабриста Александра Бриггена, с которым Жуковский познакомился там во время путешествия своего в 1837 году. Бригген переводил с латинского языка «Записки о Галльской войне» Цезаря, просил помощи Жуковского в издании и разрешения посвятить их ему. Жуковский отвечал, что препятствий к напечатанию такой книги не видит, и начал хлопоты об этом, написал Дубельту. Издание было разрешено, однако не осуществилось, хотя Жуковский выкупил у Бриггена рукопись за 2500 р. в расчете на доход от продажи книги, который он также собирался переслать ссыльному переводчику. На титуль-

ном листе рукописи стояло: «Посвящаю В. А. Жуковскому, душою и стихами поэту и другу человечества, в знак личного уважения и преданности нелицемерной». Жуковский всячески поддерживал и одобрял труд Бриггена, советовал ему продолжить переводы, — от Цезаря перейти к Тациту и Титу Ливию («Мы бедны хорошими переводами классиков древних»), а вообще заняться «составлением избранной библиотеки из древних историков», — тексты Жуковский обещал выслать. («Здесь, за границею, мне будет легко найти книги, и они обойдутся дешевле»). «Труд, — пишет Жуковский Бриггену, — великий волшебник: он всемогущий властитель настоящего. Какими бы глазами ни смотрело на нас это *настоящее*, дружелюбными или суровыми, труд заговаривает его печали, дает значительность и прочность его летучим радостям. И в Кургане это волшебство равно действительно, как и на берегу Майна».

В июле, сделав последние поправки в «Сказке о Иване-царевиче и Сером Волке», Жуковский послал ее Плетневу с просьбой поместить в «Современнике» (что тот и сделал в том же году). Жуковский ему пишет, что эта сказка «во всех статьях русская, рассказанная просто, на русский лад, без примеси посторонних украшений», в которую ему хотелось «впрятать многое характеристическое, рассеянное в разных русских народных сказках». В июле же по предписанию Коппа Жуковский вместе с женой поехал на воды в Швальбах и провел там около месяца. 4 сентября он отправил Гоголю письмо в двух экземплярах в разные места: «Для чего не уведомляете вы нас о себе? — запрашивает он. — Что с вами делается? Как вы? Где вы? Куда вы?.. Мы об вас в тревоге». Гоголь уехал от Жуковского в июне в Карлсбад, потом в Грефенберг (он был болен и, как писал Жуковскому, «не мог добиться от докторов, в чем именно состоит болезнь моя»). «От нас вот какое предложение, — пишет ему Жуковский, — возвращайтесь прямо к нам и поселитесь опять у нас в доме: вам с вашею теперешнею слабостию разъезжать по свету не можно... У нас ждет вас приют родной, и вам у нас будет спокойно и беззаботно». Но Гоголь осенью отправился в Рим...

17 сентября получил Жуковский от Елагиной известие, что в Москве для него нанят дом. В ответ Жуковский просит держать этот дом за ним до 1 апреля 1846 года. Елагина писала также о помолвке Кати Мойер (дочери Маши) и своего старшего сына — Василия Алексееви-

ча Елагина и о желании и ее самой и молодых навестить Жуковского во Франкфурте до свадьбы. «Я желаю быть посаженным отцом Кати с Ек. Афанасьевной или с вами», — писал Жуковский. Однако Елагиной с молодыми не удалось побывать во Франкфурте-на-Майне. Свадьба была назначена на 11 января (день рождения Авдотьи Петровны) 1846 года. Жуковский не мог не подумать о том, что Маша была бы счастлива тем, что жених ее дочери — сын ее лучшего друга, «Дуньки» ее...

Как хотелось помчаться туда, к родным своим... Но обстоятельства... Да еще хорошо было бы приехать на родину с подарком — с полным переводом «Одиссеи». А переезд и сам по себе тяжел. «Вдруг умру, не окончив труда?» — думал Жуковский. «Мыслью о переезде своем в Россию не смущайте себя и не считайте это делом важным, — успокаивал его Гоголь. — Там или в ином месте, все это не более, как квартира и ночлег на дороге... С неоконченным делом приехать на родину невесело». Вяземский звал его прямо в Остафьево. («Дома у меня в Москве уже нет, я продал его».) «Что бедный Гоголь? — запрашивает Вяземский. — Он, говорят, все хворает и ничего не пишет. Что за черная немочь напала на нашу литературу? Кого убьют, кто умрет, кто изнеможет преждевременно. Слава Богу, что хоть ты-то держишься старой, богатырской породы и не унываешь. Твой Иван-царевич нас всех пленил».

В самом конце года пришла из Москвы весть о кончине Александра Тургенева. «Он был старейшим из моих товарищей на этом свете», — писал Жуковский. «Мой пятидесятилетний товарищ жизни, мой добрый Тургенев переселился на родину и кончил свои земные странствования», — сообщает Жуковский Гоголю 24 декабря. «Я считаю великим для себя счастием, — писал он Булгакову, — что он в последнее время (ведя так давно кочевую жизнь по Европе) отдохнул (и два раза) под моею семейною кровлею... Я бы желал, чтобы бумаги, оставшиеся в Москве после Александра, не были тронуты... до моего прибытия... Надобно их сохранить и привести в порядок». Н. А. Мельгунов сообщал Жуковскому из Москвы, что Тургенев готовил к печати письма Карамзина со своими примечаниями. Когда он внезапно заболел, — его лечил его друг, известный врач и благотворитель Гааз. За неделю до смерти Тургенев собирал деньги для голодающих одной из провинций Лифляндии. Каждый день являлся он к пересыльному замку на Воробьевых горах,

где беседовал с каторжниками, записывал, если думал кому помочь, наделял деньгами и одеждой. Там, на горах, он простудился, что и привело его к смерти.

Для Жуковского это была тяжкая потеря. Едва начав выздоравливать, он, поддавшись горю, вновь захворал, — все вернулось: «биение сердца, прерывчатый пульс, кровотечение, одышка, слабость и всякие другие неприятности», — как он сообщал в конце декабря 1845 года Гоголю... В январе 1846 года он записывает в дневнике: «Ослабление глаз. Надобно заранее готовиться к слепоте: помоги Бог переносить ее: это заживо смерть». И Гоголю: «Глаза слабеют и даже и с очками трудно становится читать. Я уже начинаю обдумывать средства, как облегчить бы себе занятия в таком случае, когда совсем ослепну. Состояние слепоты имеет и свои хорошие стороны; но сколько лишений!» Жуковский придумал себе для писания — на случай слепоты — картонную «машинку» с прорезями для строк, и туда закладывалась бумага. Можно было писать на ощупь... Он сообщал Бриггену, что у него «в беспорядке глаза (из коих правый получил уже бессрочный отпуск)». Елизавета Евграфовна пишет Елагиной в январе 1846 года, что у Жуковского «общий упадок сил», что, не имея возможности прогуливаться, «пользуется машиною, которая заменяет ему движение верховой езды», — еще одна «машина», нечто вроде деревянного коня. Жуковский не сдается. «Дети его очаровывают, — пишет Елизавета Евграфовна. — Их веселость развлекает его» (они играют на ковре в детской, гуляют в саду, утром и вечером приходят вместе с матерью в кабинет отца). Но если бы он перестал *творить* — болезни одолели бы его вконец...

В январе или феврале 1846 года Жуковский начал новый труд — поэму «Рустем и Зораб», свободный перевод из Рюккерта (а Рюккерт взял это из «Шах-Наме» Фирдоуси). Писал он поначалу по нескольку строк в день. Как всегда, он изменил стихотворный размер подлинника, он выбрал, а вернее, создал для этого произведения особый рисунок разностопного ямба, почти ритмизованную прозу. Строки, написанные больным Жуковским, дышат силой, он изображает могучего персидского богатыря, его подвиги... Он вводит в рассказ свои собственные эпизоды — ночное прощание Гурдаферид с убитым Зорабом и прощание с Зорабом его верного скакуна. «Мой перевод не только вольный, но своевольный, — писал Жуковский Зейдлицу, — я многое выбросил и мно-

гое прибавил... Это была для меня усладительная работа». Он говорит в одном из писем: «Пока еще вижу и могу писать, буду пользоваться этим благом, как могу». К середине апреля следующего года эта огромная вещь была закончена. Но все-таки главной своей задачей он считал перевод «Одиссеи», а он пока не двигался вперед. Поэтому 19 марта 1846 года, в разгар работы над «Рустемом и Зорабом», он и писал Гоголю: «У меня поэтический запор все еще продолжается. Гомер спит сном богатырским. Авось пробудится».

В мае Жуковский выступает перед великим князем Александром Николаевичем (а через него и перед императором) с новым ходатайством за декабристов. «Если бы в эту минуту я находился близ государя, — пишет он, — я бы свободно сказал ему... я бы сказал ему: «Государь, дайте волю вашей благости... Двадцать лет изгнания удовлетворяют всякому правосудию»... Если же не могу говорить прямо царю, то говорю прямо его наследнику». И далее: «Я вспомнил теперь особенно о двух. Одного я видел в Кургане, другого хотел видеть в Ялуторовске, но это не удалось мне (вы помните эти обстоятельства нашего путешествия). Первый есть Бриггев... Я получил от него перевод Кесаревых записок... Другой Якушкин... Скажу вам, что Бриггена я видел только один раз в жизни, в Кургане; Якушкина же я знал ребенком, когда еще он был в пансионе; после я с ним никогда не встречался; следовательно, говорю об обоих без личного пристрастия».

В июле Жуковский пил воды в Швальбахе. Здесь, 18 июля, он принялся за исполнение давно задуманного труда — «Повести о войне Троянской», планы которой были им уже тщательно разработаны. В ней должно было быть 17 глав, примерно около шести тысяч строк, написанных гекзаметром.

В Швальбахе Жуковский написал первую главу: «Сбор войска в Авлиде», где в полной мере отразились его глубокое знание материала и виртуозное владение гекзаметром. В следующие дни Жуковский правил написанное, но эту работу пришлось по каким-то причинам отложить, а 22 июля в Швальбах приехал Гоголь.

Они обсуждали приготовленную Гоголем еще в Риме первую тетрадь «Выбранных мест из переписки с друзьями». 30 июля, из Швальбаха, Гоголь отправил эту часть своей новой книги в Петербург, Плетневу, который взялся быть ее издателем. Жуковский одобрил самую идею такой книги — собрания писем, но отдель-

ные места по его совету были убраны. Такую же избранную переписку задумал собрать и сам Жуковский. В октябре Гоголь приехал проститься, он отправлялся — через Италию — в Палестину. Жуковский подарил ему записную книжку в зеленом шагреневом переплете, с которой он с этих пор не расставался...

После Швальбаха жизнь Жуковского во Франкфурте стала еще тяжелее. «Последняя половина 1846 года была самая тяжелая не только из двух этих лет, но и из всей жизни! Бедная жена худа как скелет, и ее страданиям я помочь не в силах: против черных ее мыслей нет никакой противодействующей силы! Воля тут ничтожна, рассудок молчит... Расстройство нервическое, это чудовище, которого нет ужаснее, впилось в мою жену всеми своими когтями, грызет ее тело и еще более грызет ее душу. Эта моральная, несносная, все губящая нравственная грусть вытесняет из ее головы все ее прежние мысли и из ее сердца все прежние чувства, так что она никакой нравственной подпоры найти не может ни в чем и чувствует себя всеми покинутою... Это так мучительно и для меня, что иногда хотелось бы голову разбить об стену!»

Жуковский занимается с детьми. «Теперь они могут уже играть вместе с братом, — пишет он, — но игра часто обращается в драку и они часто так царапаются, что, наконец, дабы спасти их глаза, надобно было употреблять красноречие розги». Он рисует для них картинки и наклеивает их на картон — исподволь начинает их учить. В конце января заболели тифом Рейтерн, его младший сын и старшая, двадцатишестилетняя дочь. Рейтерн и сын его выздоровели... Дочь умерла. Это жестоко осложнило состояние жены Жуковского. «Нервы ее сильно расстроены, — пишет он Гоголю, — беспрестанная тоска физическая, выражающаяся в страхе смерти, и беспрестанная тоска душевная... Она почти ничем не может заниматься, и никто никакого развлечения ей дать не может. Чтение действует на ее нервы; разговор только о своей болезни». «Может быть, я на краю жизни, как при конце этой страницы», — оканчивает Жуковский свое письмо к Смирновой.

В феврале Плетнев прислал Жуковскому экземпляр «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя. «Твоя книга теперь в моих руках, — сообщает Жуковский Гоголю. — Я ее уже всю прочитал... Я все это прочитал с жадностью, часто с живым удовольствием,

часто и с живою досадою на автора, который (вопреки своему прекрасному рассуждению о том, что такое слово) сам согрешил против слова, позволив некоторым местам из своей книги (от спеха выдать ее в свет) явиться в таком неопрятном виде... Я намерен ее перечитать медленно в другой раз и по мере чтения буду писать к автору все, что придет в голову о его мыслях или по поводу его мыслей... Итак, Гоголёк, жди от меня длинных писем; я дам волю перу своему и наперед не делаю никакого плана... Я часто замечал, что у меня наиболее светлых мыслей тогда, как их надобно импровизировать в выражение или в дополнение чужих мыслей. Мой ум, как огниво, которым надобно ударить об кремень, чтобы из него выскочила искра. Это вообще характер моего авторского творчества; у меня почти все или чужое, или по поводу чужого — и все, однако, мое. Ты наперед должен знать, что я на многое из твоей книги буду делать нападки... но эти нападки будут более на форму, нежели на содержание. Горе и досада берет, что ты так поспешил... Если б вместо того, чтобы скакать в Неаполь, ты месяца два провел со мною во Франкфурте, мы бы все вместе пережевали и книга была бы избавлена от многих пятен литературных и типографических».

Гоголь в письме к Жуковскому от 10 февраля оправдывался так: «Произошла совершенная бестолковщина. Больше половины писем остановлены цензурой... нужных писем... Вышла не то книга, не то брошюра. Лица и предметы, на которые я обращал внимание читателя, исчезнули, и выступил один я, своей собственной личной фигурой, точно как бы издавал книгу затем, чтобы показать себя». 6 марта Гоголь пишет Жуковскому: «Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее... Признаюсь, радостней всего мне было услышать весть о благодатном замысле твоем писать письма по поводу моих писем. Я думаю, что появление их в свет может быть теперь самым приличным и нужным у нас явлением, потому что после моей книги все как-то напряжено... Появление твоих писем может теперь произвести благотворное и примиряющее действие. Но как мне стыдно за себя, как мне стыдно перед тобою, добрая душа! Стыдно, что возомнил о себе, будто мое школьное воспитание уже кончилось и могу я стать наравне с тобою... Ты кротко, без негодованья подаешь мне братскую

руку свою». Гоголя поразило именно *негодование*, почти единодушное, с каким российская пресса, а также многие друзья его набросились на «Выбранные места...». Как быстро вспыхнул на месте любви и почитания гнев, заглушивший отдельные голоса одобрения... Получив письмо Белинского из Зальцбрунна, Гоголь написал обширное возражение, но, сочтя его все-таки ненужным, порвал; ответил коротко, сухо. «Тебе крепко досталось от наших строгих критиков, — писал Гоголю Жуковский. — Виню себя в том, что не присоветовал тебе уничтожить твое завещание и многое переправить в твоем предисловии».

Гоголь раздумывает в Неаполе, куда ехать: в Иерусалим, или, сначала в Швальбах, или в Остенде... Жуковский зовет его пожить «если не в одном доме, то в одном месте». Он сообщает Гоголю 12 марта, что еще не принимался за продолжение «Одиссеи»: «Надобно размахаться, прежде нежели начать снова полет. И я размахался тем, что кончил «Рустема и Зораба», которого (в этом я уверен) ты прочтешь с удовольствием, ибо в этом отрывке, составляющем целое, высокая поэзия не древней Греции, не образованного Запада, но пышного, пламенного Востока».

Рукопись поэмы Жуковский отправил в Петербург. Ему отвечали Вяземский и Плетнев. Вяземский: «Поздравляю тебя и себя и всех православных с Зорабом Рустемовичем. Славный молодец! Я плакал как ребенок, как баба или просто как поэт на слезах — читая последние главы. Бой отца с сыном, кончина сына — все это разительно, *раздирательно хорошо*... Удивительно, что за свежесть, за бойкость, за сила, за здоровенность в языке и в стихе твоем. Так и трещит он молодостью и богатырством». Плетнев: «Благодарю вас за то высокое наслаждение, которое вы доставили мне присылкою Рустема... Когда дошел до последних глав, то слезы текли у меня, и я так был счастлив, как давно этого не случалось со мною».

Осенью 1847 года Плетнев отдал в цензуру первую половину «Одиссеи» и «Рустема и Зораба», — они должны были войти во 2-й и 3-й тома «Новых стихотворений» Жуковского, которые он печатал в типографии В. Гаспера в Карлсруэ (одновременно эти книги составили 8-й и 9-й тома пятого издания полного собрания его сочинений). Для этого случая типография завела русский шрифт.

В июле 1847 года Гоголь и Жуковский съехались в Эмсе. К ним присоединился Хомяков, которому Жуковский был особенно рад. «Он мне всегда был по нутру, — писал Жуковский Вяземскому. — Теперь я впился в него, как паук голодный в муху: навалил на него чтение вслух моих стихов, это самое лучшее средство видеть их скрытые недостатки». Они читали «Одиссею». Хомяков предложил написать примечания к «Одиссее», но Жуковский счел их ненужными. Конечно, они — все трое — от души поговорили о России. «Я рад, что ты освежился русским духом в беседе с Хомяковым, замечательно умным и приятным человеком», — отвечал Вяземский Жуковскому. Вяземский, очевидно, как и Жуковский, с вниманием прислушивался к славянофильским идеям Хомякова и его соратников, но, сочувствуя их патриотизму вообще, многого не принимал. «В подробностях они большею частью правы, — писал он Жуковскому, — но подведите все это под одно заключение, к одному знаменателю, и все это рассеется, испарится. Во всяком случае тут одно очень нехорошее начало: враждебство ко всему чужеземному... Боже упаси раболепствовать нам перед Западом, жить одною жизнью его и действовать беспрекословно и необдуманно по одному его лозунгу. Но подавать ему руку, брать из руки его то, что нам подобает и пригодиться может, это дело благоразумия».

После отъезда из Эмса Гоголя и Хомякова прибыл сюда Федор Тютчев, — «нарочно для меня и для Одиссеи», — писал Хомякову Жуковский. Окончено было это новое чтение уже в доме Жуковского во Франкфурте. «Мне было с ним весьма по душе, — писал Жуковский. — Какой оживленный, острый, поэтический и привлекательный ум». Тютчев уехал в Россию. Для Жуковского же возвращение на родину — все еще только страстная мечта. «Мое долговременное отсутствие, — пишет он, — становится мне тошно: мне необходимо надобно освежить себя воздухом родины и взглянуть на стольких милых душе, с которыми я так давно розно».

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

(1848—1850)

В последние дни 1847 года Гоголь в Неаполе писал Жуковскому большое письмо, настоящую исповедь (письмо это он задумал поставить вместо «Завещания» при втором издании «Выбранных мест», дав ему название «Искусство есть примирение с жизнью»). «Хотелось бы поговорить о том, о чем с одним тобой могу говорить: о нашем милом *искусстве,* для которого живу и для которого учусь теперь как школьник, — писал Гоголь. — Так как теперь предстоит мне путешествие в Иерусалим, то хочу тебе исповедаться; кому же, как не тебе?.. Вот уже скоро двадцать лет с тех пор, как я, едва вступавший в свет юноша, пришел в первый раз к тебе, уже совершившему полдороги на этом поприще. Это было в Шепелевском дворце... Ты подал мне руку и так исполнился желанием помочь будущему сподвижнику! Как был благосклонно-любовен твой взор!.. Что нас свело, неравных годами? Искусство. Мы почувствовали родство, сильнейшее обыкновенного родства. От чего? От того, что чувствовали оба святыню искусства... И едва ли не со времени этого первого свиданья нашего оно уже стало *главным* и *первым* в моей жизни, а все прочее *вторым».*

Гоголь вспоминает, как начинал он писать, как совершенствовалась душа его, какие мучительные трудности вставали на его пути, — о «Ревизоре», «Мертвых душах». «Выпуск книги «Переписка с друзьями», — продолжает Гоголь, — с которою (от радости, что расписалось перо) я так поспешил, не подумавши, что прежде, чем принести какую-нибудь пользу, могу сбить ею с толку многих, пришелся в пользу мне самому... В самом деле, не мое дело поучать проповедью. Искусство и без того уже поученье. Мое дело говорить *живыми образами,* а не рассуждениями. Я должен выставить *жизнь* лицом, а не трактовать о жизни... Искусство есть водворение в душу стройности и порядка, а не смущения и расстройства... Искусство должно выставить нам все

дурные наши народные качества и свойства таким образом, чтобы следы их каждый из нас отыскал прежде в себе самом и подумал бы о том, как прежде с самого себя сбросить все, омрачающее благородство природы нашей. Тогда только, и таким образом действуя, искусство исполнит свое назначение и внесет порядок и стройность в общество!» И в заключение: «Очень, очень бы хотелось, чтобы привел бог нам опять пожить вместе, в Москве, вблизи друг от друга. Перечитывать написанное и быть судьей друг другу теперь будет еще более нужно, чем прежде... Прощай, мой родной!»

Жуковский в конце января 1848 года написал обширный ответ Гоголю, но не отослал, так как не знал точно, где он сейчас — в Неаполе или едет в Иерусалим. В марте, отсылая письмо это к Елагиной в Москву, он пишет: «Приложенное письмо... я посылаю вам для сообщения его С. П. Шевыреву, издателю «Москвитянина»: если он найдет его годным для журнала своего, то пускай напечатает». Шевырев с радостью напечатал письмо (в № 4 за этот год). «Прекрасное, трогательное письмо твое застало меня за твоею книгою: я был занят *прикреплением* к бумаге некоторых мыслей, которые бродили в голове при чтении твоей статьи о том, *что такое слово;* твое письмо пришло кстати; оно дополняет печатную статью», — пишет Жуковский, обращаясь к Гоголю. Так начата была не осуществленная Жуковским книга писем к Гоголю. В начале письма Жуковский обозначает главную тему его: «Хочу длинным обходом придти с тобою к выражению Пушкина: *слова поэта суть уже дела его».*

Это письмо — выражение заветных мыслей Жуковского о поэзии. Среди них мысль о действии поэзии на душу: «Это действие не есть ни умственное, ни нравственное — оно просто власть, которой мы ни силою воли, ни силою рассудка отразить не можем. Поэзия, действуя на душу, не дает ей ничего определенного: это не есть ни приобретение какой-нибудь новой, логически обработанной идеи, ни возбуждение нравственного чувства, ни его утверждение положительным правилом; нет! это есть тайное, всеобъемлющее, глубокое действие откровенной красоты, которая всю душу обхватывает и в ней оставляет следы неизгладимые, благотворные или разрушительные, смотря по свойству художествен-

ного произведения, или, вернее, смотря по духу самого художника».

Это и мысль о недостижимости художественного совершенства: «Спросят: кто же из поэтов вполне осуществил идеал поэта? Ответ самый простой: никто. Еще ни один ангел не сходил с неба играть перед людьми на лире и печатать свои стихотворения у Дидота или Глазунова. Но здесь главное не в достижении, а в стремлении достигнуть». Жуковский разворачивает и свой поэтический тезис «Жизнь и поэзия — одно» (1824 года): «Поэт, свободный в выборе предмета, не свободен отделить от него самого себя: что скрыто внутри его души, то будет вложено тайно, безнамеренно и даже противунамеренно и в его создание; что *он сам,* то будет и его создание. Если он чист, то и мы не осквернимся, какие бы образы, нечистые или чудовищные, ни представлял он нам, как художник; но и самое святое подействует на нас как отрава, когда оно нам выльется из сосуда души отравленной». Среди *чистых* называет Жуковский Вальтера Скотта, Карамзина, Байрона. «Дух высокий, могучий, — пишет он о Байроне, — но дух отрицания, гордости и презрения... Байрон сколь ни тревожит ум, ни повергает в безнадежность сердце, ни волнует чувственность, — его гений все имеет высокость необычайную... Он прямодушен в своей всеобъемлющей ненависти — перед нами титан Прометей». Письмо заканчивалось стихами (немного измененными) из «Камоэнса».

Чуть ли не против воли Жуковского (как сам он и говорил выше) ворвалась в его письмо и буйная современность. «Теперь поэзия служит мелкому эгоизму; она покинула свой идеальный мир и, вмешавшись в толпу, потворствует ее страстям, льстит ее деспотическому буйству и, променяв таинственное святилище своего храма (к которому доступ бывал отворен только одним посвященным) на шумную торговую площадь, поет возмутительные песни толпящимся на ней партиям», — пишет он.

«Лава льется волнами, — пишет он в Петербург, — все опрокинуто, и чего еще ждать в Германии?.. И в каких благоприятных обстоятельствах родилось это новое чудовище революции!.. Более, нежели когда-нибудь утверждается в душе моей мысль, что Россия посреди этого потопа (и кто знает, как высоко подымутся волны его) есть ковчег спасения... Я не политик и не могу иметь доверенности к своим мыслям; но кажется мне,

что нам в теперешних обстоятельствах надобно китайскою стеною отгородиться от всеобщей заразы... Ход Европы не наш ход; что мы у нее заняли, то наше; но мы должны обрабатывать его у себя, для себя, по-своему, не увлекаясь подражанием, не следуя движению Запада, но и не вмешиваясь в его преобразование. В этой отдельной самобытности вся сила России».

...Франкфурт клокотал. Толпы бедняков с оружием в руках запрудили улицы. Мясники с дубинами охраняли от них лестницу колокольни, где висел набатный колокол. Власти заседали в ратуше. Почти все жители были вооружены. Но порох пока не загорался... «Война может всякую минуту вспыхнуть, — пишет Жуковский Елагиной. — Если бы были крылья, сию же минуту мы перелетели бы в Россию... Если бы я был один, я давно бы уже был в России». Там, писал он, — «все покой, устройство, безопасность, все, что любишь, все, что сердцу свято; там защитное пристанище для всего, что мое драгоценнейшее в жизни».

Жуковский принял решение ехать в Россию. Но этого нельзя было сделать быстро: Елизавета Евграфовна снова заболела. Он повез ее в апреле в Ганау к Коппу. Копп предписал ей шестинедельное лечение в Эмсе. «Потом две недели отдыха, — пишет Жуковский Елагиной, — потом в дорогу — но какую дорогу выберем, этого теперь еще определить невозможно. Мы поедем прямо в Ригу, оттуда в Дерпт, где я намерен оставить жену на зиму, сам же поеду в Петербург и буду к вам». В Ганау Жуковский получил письмо от Гоголя из Иерусалима и отвечал ему: «Когда ты будешь читать в Полтаве это письмо, я буду уже, если Бог сохранит нас посреди этого землетрясения, на пути в Россию. Но прежде надобно жене полечиться в Эмсе... она несказанно страдает. Да и у меня третья неделя болят глаза, что принуждает меня не своеручно писать, а диктовать письмо мое к тебе». «Весьма может случиться, — прибавляет он, — что *все* мы сойдемся под отечественным небом».

В число *всех* входил и Вяземский. В июне 1848 года он пишет Жуковскому: «Ты бежишь от революций, а здесь мы встретим тебя холерою, которая губительною лавою разлилась по всей России и в Петербурге свирепствует с большим ожесточением. Более тысячи человек занемогает в день и наполовину умирает... Все бивакируют как могут и убежали из города как после пожа-

ра... У вас свирепствуют люди, а у нас свирепствует природа». Все лето и до глубокой осени гостила в Петербурге холера... Она открылась и в Лифляндии. Перед отъездом в Эмс Жуковский, как он писал Вяземскому в августе, «сдал свой дом во Франкфурте, все свои мебели продал или раздарил, все свое нужное уложил и отправил: оно теперь в Штеттине и скоро будет в Петербурге». В Эмсе узнал о холере... В августе поселился с женой в Кронтале близ Содена. «Уж увидимся ли когда-нибудь? — сетует он в письме к Елагиной. — Горе берет; горе от разлуки, горе от причины этой разлуки. Бедная моя жена! Бедная моя семейная жизнь!»

С начала сентября Жуковский живет в Баден-Бадене. Здесь тоже назревает восстание. Во Франкфурте-на-Майне 17 сентября произошла битва между защитниками франкфуртского парламента и прусскими войсками — все улицы были перегорожены баррикадами: к ночи их разнесли пушками... В Баден-Бадене нельзя было свободно выйти на улицу. Жуковский вынужден как-то устраивать семейный быт. Он нанял дом, из последних сил хлопотал об удобствах. И в то же время ему казалось, что вот-вот все обрушится, вспыхнет, — он был в самом мрачном расположении духа. Он пишет Плетневу, что «часто думает о смерти». Он почти не верит в свое возвращение на родину. «Вся моя жизнь разбита вдребезги, — пишет он в Петербург. — Если бы я не имел от природы счастливой легкости скоро переходить из темного в светлое, я впал бы в уныние... Тяжелый крест лежит на старых плечах моих; но всякий крест есть благо... Того, что называется земным счастием, у меня нет... Того, что называется обыкновенно счастием, семейная жизнь не дала мне; ибо вместе с теми радостями, которыми она так богата, она принесла с собою тяжкие, мною прежде не испытанные, тревоги, которых число едва ли не перевешивает число первых почти вдвое. Но эти-то тревоги и возвысили понятие о жизни; они дали ей совсем иную значительность».

В окрестностях Бадена было неспокойно; однако в самом городе к концу октября стало тихо. 27-го числа Жуковский взялся за Грасгофов манускрипт «Одиссеи», — перевод застрял некогда на конце XIII песни. То место, которое предстояло теперь перевести и которое перечитывал он много раз, вдруг потрясло его особенной какой-то близостью его измученному духу. Сонного Одиссея вместе с его сокровищами феакийцы вы-

несли с корабля на берег Итаки, покрытый туманом. Проснувшись, он не узнал своей родины, не понял, что это — конец долгого и трудного странствования... Афина рассеивает туман, —

...окрестность явилась;
В грудь Одиссея при виде таком пролилося веселье;
Бросился он целовать плододарную землю отчизны...

По воле Афины должен был Одиссей явиться в свой дом в виде нищего старика...

...богиня к нему прикоснулася тростью.
Разом на членах его, вдруг иссохшее, сморщилось тело,
Спали с его головы златотемные кудри, сухою
Кожею дряхлого старца дрожащие кости покрылись,
Оба столь прежде прекрасные глаза подернулись струпом,
Плечи оделись тряпицей, в лохмотья разорванным, старым
Рубищем, грязным, совсем почерневшим от смрадного дыма;
Сверх же одежды оленья широкая кожа повисла,
Голая, вовсе без шерсти; дав посох ему и котомку,
Всю в заплатах, висящую вместо ремня на веревке...

«О, если бы так вернуться на родину! О, если бы я был один!» — прошептал он, положив перо. О, волшебник Гомер! Никому и невдомек, что это он *себя* описал в образе нищего. Мимоходом бросил на полотно последней своей поэмы *автопортрет...* Нежданная встреча с Гомером пробудила Жуковского... 20 декабря 1848 года он закончил XVI песнь.

Между тем 8-й том его сочинений, где была помещена первая половина «Одиссеи», изданная Гаспером в Карлсруэ, достиг России и был там многими прочитан. «Это явление, несущее ободрение и освежение в наши души», — писал Гоголь Плетневу об «Одиссее» в ноябре 1848 года. Шевырев отметил в «Москвитянине», что в переводческой деятельности Жуковского любви к России «гораздо более, чем в возгласах театрального патриотизма, который хотя и на родине, но отдалился от нее и духом, и словом своим, и до того отказался от всего русского, что не в силах понимать прекрасного языка русской Одиссеи. Можно жить в Германии и носить в себе родину в убеждении своего ума и сердца и в языке, как носит ее Жуковский. Можно жить на родине — и все-таки быть иностранцем и по образу мыслей, и по языку своему».

Жуковский переводит «Одиссею» и особенно остро тоскует о далеком-родном. «Помогите мне, — пишет он Елагиной 1 января 1849 года, — загладить сколько воз-

можно мой грех... Первое, я слишком забыл моего старика Максима... Если мой старик умер, то научите, что я могу сделать в пользу его близких... Вторая, более тяжкая вина моя, которую едва ли можно будет сколько-нибудь поправить, состоит в том, что я остался в долгу у честного Андрея Калмыка, который так усердно служил мне и обо мне заботился во время моего рыцарствования в 1812 году; с октября месяца до моего возвращения в конце кампании в Муратово он был со мною... Я обещался позаботиться о его дочери, дать ей приданое... Теперь как поправить?»

Он шлет письмо Анне Петровне Зонтаг в родное Мишенское, где она поселилась после Одессы: «Вы живете там, где каждая тропинка, каждый уголок имеет для вас знакомое лицо и родной голос». Советует ей писать мемуары: «Какое было бы это занятие, полное, животворное, воскресительное для прошедшего, живительное для настоящего... для вас, моя милая, для вас, живущих над нашею колыбелью, недалеко от гробниц наших прежних, в виду нашей церкви... недалеко от тех кучек, которые означают фундамент разломанного нашего дома». Советы тут же переходят в рассказ о работе над «Одиссеей»: «Я запрег тройку Пегасов в русскую телегу, посадил на козлы Гомера и скачу во всю Аполлоновскую с Одиссеею. Уж теперь подъехал к XX станции... Работа льется как по маслу; типография у меня сбоку; корректур могу делать сколько хочу, а в корректуре поправляется гораздо лучше, нежели в рукописи... Никогда я еще так свежо и живо не писал. Вторая часть, думаю, будет лучше первой; но для перевода она труднее... Дать России Гомера живьем великая радость. Меня не забудут... Жалею, что нет для меня суда Пушкина: в нем жило поэтическое откровение».

Жуковскому *стукнуло,* как он говорит, шестьдесят шесть лет. Отмечая день рождения (29 января 1849 года), он невольно задумался о «двойнике» этого дня — дне смерти... А в Петербурге в этот день, 29 января, Вяземский собрал у себя почитателей и друзей Жуковского. Как сообщал Плетнев Гроту — «Вяземский отпраздновал у себя юбилей в честь 50-летней музы Жуковского», соединив этот юбилей с днем рождения. Было около восьмидесяти гостей. Блудов читал стихи Вяземского, посвященные Жуковскому. Потом Михаил Виельгорский, аккомпанируя себе на фортепьяно, про-

пел «шуточные стихи» — Вяземского же, где выражались совсем не шуточные чувства.

Владимир Одоевский припомнил время своего учения в Московском университетском благородном пансионе (он учился там лет двадцать спустя после Жуковского): «Мы теснились вокруг дерновой скамейки, где каждый по очереди прочитывал Людмилу, Эолову арфу, Певца во стане русских воинов, Теона и Эсхина; в трепете, едва переводя дыхание, мы ловили каждое слово, заставляли повторять целые строфы, целые страницы, и новые ощущения нового мира возникали в юных душах... Стихи Жуковского были для нас не только стихами, но было что-то другое под звучною речью, они уверяли нас в человеческом достоинстве, чем-то невыразимым обдавали душу — и бодрее душа боролась с преткновениями науки, а впоследствии — с скорбями жизни. До сих пор стихами Жуковского обозначены все происшествия моей внутренней жизни, — до сих пор запах тополей напоминает мне Теона и Эсхина».

Подробный протокол праздника под заглавием «29 января 1849 года» с подписями всех гостей был отправлен Жуковскому. «Живое эхо, как добрый гений, принесло ко мне этот голос родины. Как он меня трогает! Как он сильно меня к вам тянет! Но дотянет ли наконец?» — откликнулся Жуковский. «Такое торжество похоже на поминки, — писал он Вяземскому, — только не по мертвом, а по живом, которому его отсутствие придает какую-то идеальность, подливая каплю грусти по нем в пировую чашу веселья и давала живому, невидимому лицу его ту таинственность, какую получает для нас образ живущих за гробом. Видишь, что я немного кокетствую и кобенюсь, просясь заживо в мертвецы: это и быть не может иначе. Я так много на веку моем воспевал мертвецов, что саван должен мне казаться праздничным платьем. Но кокетство мое не означает, чтобы я не жалел, что с вами не был на моем празднике... Воображаю милую, лучезарную фигуру Виельгорского за фортепьянами во время пения».

Он пишет Вяземскому об «Одиссее»: «Последняя часть Одиссеи привлекательнее первой; это беспрестанная идиллия, описание, простой быт семейный в хижине пастуха, с которым весьма мало разнится и быт во дворце царском... Я врезался в свойство Гомеровых стихов (и этим обязан я Пушкину, то есть его критике на некоторые стихи мои в первых опытах подражания Гомеру)».

Жуковский переводит одну песнь за другой — они поочередно идут в типографию Гаспера. Жуковский пишет Вяземскому, что переводит и забывает, и корректуры читает, как новое, свежим взглядом. 24 апреля перевод был окончен.

«Известие, что перевод ваш уже почти кончен, удивило и обрадовало всех нас, — писал Жуковскому Иван Киреевский. — Я, признаюсь вам, не воображал Гомера в той простоте, в той неходульной поэзии, в какой узнал его у вас. Каждое выражение равно годится в прекрасный стих и в живую действительность. Нет выдающегося стиха, нет хвастливого эпитета; везде ровная красота правды и меры. В этом отношении, я думаю, он будет действовать не только на литературу, но и на нравственное настроение человека».

На выход «Одиссеи» (сначала первой части) отозвались журналы — «Отечественные записки» (Лавровский, «Сравнение перевода Одиссеи Жуковского с подлинником на основании разбора 9-й рапсодии»); «Современник» («Одиссея и журнальные толки о ней»); «Сын Отечества» (здесь ядовитый «разбор» барона Розена «неумелых» гекзаметров Жуковского и его поэм, написанных без рифмы и без меры). Было замечено много мелких недостатков стиля. Не всем пришлась по вкусу та романтическая окраска, которую — невольно, по свойству своей натуры, — придал поэме Гомера Жуковский. Но общий голос решил, что перевод — капитальнейший, и что лучшего — нет.

Когда в Карлсруэ — столице Баденского герцогства — допечатывалась «Одиссея», там произошло восстание. После битвы на улицах и взятия народом и солдатами арсенала баденский герцог бежал, сидя на передке пушки вместе с военным министром, — их сопровождало всего пятьдесят человек. В мае восставшими захвачен был и Баден-Баден. «В Бадене льется кровь», — пишет Жуковский. Он с семьей вынужден был покинуть город. «Наше путешествие или бегство из Бадена в Страсбург было довольно тревожное, — сообщает Жуковский Александру Булгакову. — Оно случилось в самый день вспышки бунта в Карлсруэ. Поехав из Бадена по железной дороге, уже на первой станции нашли мы главную квартиру Струве (в тот самый день освобожденного бунтовщиками). Перед нашим вагоном и позади его около тридцати вагонов, все наполнены солдатами и пьяною чернью с заряженными ружьями, косами, дубинами и прочими конфектами;

крик, шум, топот, стрелянье из ружей; и на каждой станции надобно было ждать: одни выходили из вагонов, другие в них лезли — с криком, песнями, воем, лаем, стрельбой; наконец до десяти героев село на кровле нашего вагона».

Жуковский приехал в Страсбург. Туда к нему и явился редактор Рейф, — он привез последнюю корректуру последнего листа «Одиссеи». Рейфу удалось все отпечатанные экземпляры отправить по Рейну в Мангейм, потом в Кёльн, а из Кёльна по железной дороге в Штеттин. Отсюда на пароходе вторая часть «Одиссеи» была отправлена в Петербург... Жуковский поехал в Базель, оттуда в Берн, — затем до середины июля он жил с семьей в Интерлакене, в Швейцарии. Несмотря на отдых и горный воздух, он пришел в очень болезненное состояние, — вернулась бессонница, расстроились нервы, начался «беспорядок в кровообращении», как он пишет. Жене его также стало хуже.

Тем не менее в августе, уже из Баден-Бадена, он вынужден был ехать на несколько дней в Варшаву, испросить позволения остаться за границей еще на год для лечения своей жены, так как последний, данный ему, срок кончался. «Пишу тебе из Варшавы, — сообщает Жуковский Булгакову 1 сентября, — за два часа до моего отъезда... Еду обратно в Баден, где оставил жену больную; нет никакой возможности перевезти ее на зиму в наш климат. А ты мне все пишешь: обасурманился, зажился, бросил Россию; это меня печалит и сердит».

Из Варшавы Жуковский приехал больной, в мрачнейшем расположении духа. Попытки что-то писать ничего не дали. «До настоящей минуты не могу приняться ни за какую работу, и этой силы не могу дать себе произвольно», — пишет он 29 сентября. Он мечтает о переводе «Илиады». После столь полной проработки Грасгофова манускрипта он уже читает по-гречески. У него на столе перевод Гнедича. Ему приходит на мысль проделать такой странный опыт: взять у Гнедича все лучшие строки, а неудачные (по его мнению...) перевести самому. Будет общий перевод, — ведь многого лучше Гнедича на русский язык не передашь...

Жуковский начал готовиться к работе — подбирать книги, переводы «Илиады» на разные языки. Решил все-таки заказать профессору Грасгофу буквальный подстрочный перевод «Илиады» на немецкий язык, написал ему в Дюссельдорф — знаменитый эллинист обещал подго-

товить рукопись, но на это, как сообщил он, нужно потратить не менее двух лет. 2 октября 1849 года Жуковский сделал попытку перевода начала второй песни, перевел девять строк, остался недоволен ими. Через день он опять принялся за вторую песнь, но уже не с начала. Он стал перелагать так называемый «каталог кораблей» — перечень ахейских военачальников и их войск, прибывших под стены Трои. Над этим каталогом бился он среди недомоганий до 17 октября, чувствуя, как непрочное вдохновение стремительно угасает... Не удалось ему продвинуть вперед и «Повесть о войне Троянской». Сделал он попытку продолжить давно задуманного «Странствующего Жида» (во Франкфурте-на-Майне было написано около двадцати строк), — и это не пошло. В досаде бросил все и начал готовить азбуку в картинках для дочери.

Всю осень ждал он откликов от друзей на «Одиссею». 6 декабря писал П. В. Нащокину: «Я напечатал до ста экземпляров (для раздачи моим соотечественным друзьям и знакомым) Одиссеи и Рустема, которые мне самому кажутся лучшим из всего, что мне случалось намарать на бумаге пером моим, — почти ни один не сказал мне даже, что получил свой экземпляр. Если так приятели и литераторы, то что же простые читатели?» (Ни Смирнова, ни Карамзины, ни Виельгорский, ни Блудов не откликнулись на присланное.) Откликнулся Гоголь из Москвы: «Никакое время не было еще так бедно читателями хороших книг, как наступившее... Шевырев пишет рецензию; вероятно, он скажет в ней много хорошего, но никакие рецензии не в силах засадить нынешнее поколение, обмороченное политическими броженьями, за чтение светлое и успокаивающее душу... Временами мне кажется, что 2-й том «Мертвых душ» мог бы послужить для русских читателей некоторою ступенью к чтению Гомера. Временами приходит такое желание прочесть из них что-нибудь тебе, и кажется, что это прочтенье освежило бы и подтолкнуло меня».

20 января 1850 года Жуковский отвечал: «Наконец, мой милый Гоголёк, я получил от тебя что-то похожее на письмо, после двух лет разлуки, и какой разлуки? Во время это случилось столько с тобою, что было бы довольно материалов для продолжительной переписки... Все мои друзья молчат как мертвые. Ни один даже из учтивости не поблагодарил меня за присылку «Одиссеи»... Зима у нас жестокая, какой никогда здесь не бывало... Мы должны остаться в Бадене до конца июня, провести июль в

Остенде, потом возвратиться в Россию и провести зиму в Ревеле... Кончив свой большой труд, я вдруг остался без дела, как корабль, который плыл с попутным ветром на всех парусах и вдруг, охваченный штилем, остановился посреди неподвижного моря и лениво покачивается на одном месте... Из этой неподвижности я вышел, однако, принявшись после эпической поэмы за азбуку, то есть принявшись за обучение грамоте моей Сашки. И так как это дело должно совершаться по моей собственной, мною самим изобретенной методе, то оно имеет характер поэтического создания и весьма увлекательно, хотя начинается чисто с азбуки и простого счета... Между тем берет меня подчас и охота побеседовать с моею старушкою музою; хотелось бы пропеть мою лебединую песнь, хотелось бы написать моего «Странствующего Жида»... Знаешь ли, что ты можешь помочь мне весьма значительно в этом поэтическом предприятии? План «Странствующего Жида» тебе известен: я тебе его рассказывал и даже читал начало... Мне нужны локальные краски Палестины. Ты ее видел... Передай мне свои видения; опиши мне просто (как путешественник, возвратившийся к своим домашним и им рассказывающий, что где с ним было) то, что ты видел в Святой земле; я бы желал иметь перед глазами живописную сторону Иерусалима, долины Иосафатовой, Элеонской горы, Вифлеема, Мертвого моря, Пустыни искушения, Фавора, Кармила, Степи, Тивериадского озера, долины Иорданской... набросай мне несколько живых картин без всякого плана, как вспомнится, как напишется... Буду ждать твоего ответа — утвердительного или отрицательного, и до тех пор не примусь за свое Лебединое пение». И Гоголь прислал такое описание — великолепное, живописное...

Жуковский по получасу в день занимается с дочерью. Он сетует на то, что все свои педагогические работы отослал вместе с прочими вещами в Петербург, что надо делать все заново. «Глаза служат плохо; работать долго стоя, как я привык прежде, уже не могу, ноги устают; сидя работать также долго не могу», — жалуется он Плетневу. Жалоба в это время легко возникает в его письмах, словно сама переходит на бумагу из души. «Не покоем семейной жизни дано мне под старость наслаждаться; беспрестанными же, всякую душевную жизнь разрушающими страданиями бедной жены моей уничтожается всякое семейное счастие... Крест мой не легок, иногда тяжел до упаду...»

Плетнев, искреннейший почитатель таланта Жуковского, не одобрил его педагогических затей, а именно того, что Жуковскому захотелось создать свой начальный курс обучения детей, чтобы родители могли им пользоваться без помощи учителей. «Эту работу, — пишет Плетнев, — не хуже вас совершат многие из педагогов. Высший же ваш талант как поэта и вообще как писателя есть исключительно ваше назначение. Отвратиться от обязанностей, с ним соединенных, есть тяжкий грех. Вы спросите, что же начать вам!.. Помните мою идею о мемуарах. Их можно вести так скромно, а между тем так назидательно для века и интересно для потомства». От писания воспоминаний Жуковский в ответном письме отказался очень решительно: «Нет, сударь, не буду писать своих мемуаров... Мемуары мои и подобных мне могут быть только *психологическими,* то есть историею души; событиями, интересными для потомства, жизнь моя бедна... а что жизнеописание без живых подробностей? Мертвый скелет или туманный призрак. Журнала я не вел и весьма, весьма сокрушаюсь об этом — сокрушаюсь не потому, что теперь лишен возможности писать мои мемуары, а потому, что много прошедшего для меня исчезло, как небывалое. И потому еще не могу писать моих мемуаров, что выставлять себя таким, каков я был и есмь, не имею духу. А лгать о себе не хочется... Впрочем, если напишется, в последнем, еще не существующем томе сочинений моих, будет нечто вроде мемуаров, но только в одном литературном смысле». Защищая свою педагогику, Жуковский пишет: «Нет, мой милый, это педагогическое занятие не есть просто механическое преподавание азбуки и механический счет: это *педагогическая поэма...* И мне совсем не скучна и не суха моя работа, хотя я и должен приводить в систему буквы и цифры; она до сих пор шла так удачно, что моя малютка ни разу еще не чувствовала скуки и что для нее часы учения всегда были приятны».

Жуковский начинает понемногу учить и сына Павла, которому исполнилось пока только пять лет. Жуковский доволен Сашей, называет ее в письмах «гениальной». К Павлу у него особенное чувство: «Я бы желал, чтобы вы увидели Павла *теперь,* — пишет он Елагиной, — он верно бы напомнил вам меня мальчиком. В нем все мое». Жуковский, готовя свой начальный курс обучения, думает о сыне. Ему хотелось бы и подольше пожить, чтобы дать сыну настоящее образование.

В последний год Жуковский, как бы экзаменуя себя, набрасывает небольшие прозаические отрывки — философские рассуждения. Ему хотелось изложить свои представления о христианстве, самодержавии, нравственности, истории, вообще о человеке. Он думал впоследствии составить из этого книгу под заглавием «Философия невежды». «И этот титул будет *чистая правда,* — пишет он. — Я совершенный невежда в философии. Немецкая философия была мне доселе неизвестна и недоступна; на старости лет нельзя пускаться в этот лабиринт: меня бы в нем целиком проглотил минотавр немецкой метафизики, сборное дитя Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля и пр. и пр.». Это были попытки, как он говорил, писать «на белой бумаге ума», без подготовки, по своему только разумению.

В этих отрывках Жуковский как бы продолжил нравственные искания своей молодости, когда он упорно, изо дня в день, стремился повернуть свою душу ко всему доброму... На шестьдесят восьмом году жизни он пишет о себе: «Никто не может тебе вредить, кроме тебя самого. И потому бойся только себя и ни в коем случае себе самому не вверяйся. Благоразумен и осторожен бываешь ты только тогда, когда остаешься в самом себе, и в своей болезни, своей немощи, своих недостатков и слабостей, своего ничтожества с глаз не спускаешь».

В августе 1850 года Жуковский, еще не дождавшись подстрочника Грасгофа, принялся за «Илиаду» и перевел всю первую песнь. Мысли своей взять все лучшие строки из Гнедича он не исполнил — это оказалось делом несбыточным. Гомер, конечно, един, но Гнедич и Жуковский — разные поэты, разные натуры; даже русский язык, который, как будто, тоже един, — у каждого из них свой. Поэтому первая песнь «Илиады» у Жуковского перевелась вся заново, и, несмотря на тождественность содержания во всех его деталях, приняла отчетливый отпечаток стиля *Жуковского-гекзаметриста* (гекзаметры Жуковского — не греческие, они его собственное создание, неповторимое и легко узнаваемое, как именно принадлежащее Жуковскому).

Он остановился на первой песни. У него болели глаза, а он хотел еще сделать все необходимые пособия для обучения своих детей. Для одной только наглядной азбуки он нарисовал акварелью около пятисот (!) разных картинок. «Теперь составляю наглядную арифметику, таблицы и карты для священной истории и атлас всемирной

истории... Постараюсь кончить в Бадене часть древней истории этого атласа», — пишет Жуковский Анне Петровне Зонтаг. «Глаза слабеют и слух тупеет... — пишет он Плетневу. — Я уже выдумал себе машину для писания в случае слепоты. Надобно придумать отвод и от глухоты».

Плетнев сообщал Жуковскому, что присланный им в рукописи том прозы (статьи и философские отрывки) застрял в петербургской цензуре, требовавшей от автора исключения «опасных» мест и «исправления мыслей» (им было странно и подозрительно, что стихотворец пустился умствовать...). «Возьмите назад манускрипты мои из цензуры, — отвечал рассерженный Жуковский. — Я раздумал их печатать... Я не покину пера, но навсегда отказываюсь от печатания. Буду писать про себя... но без всякой гордой мысли автора, который полагает, что всякое написанное им слово есть драгоценная перла... Искренне скажу вам, что меня эта перспектива одинокой, ничем не тревожимой работы радует; есть что-то очаровательное в этой тайне души, доступной только ей одной и еще немногим... Страсть печатать есть надменность». Он просил передать отвергнутую цензурой рукопись Елагиной, чтобы она хранилась у нее до его приезда в Россию.

Родные усиленно звали его в Москву. Гоголь писал ему 16 декабря 1850 года из Одессы: «Хотелось бы очень прочесть тебе все, что написалось. Если бог благословит возврат твой в Россию будущим летом, то хорошо бы нам съехаться хоть на месяц туда, где расположишься ты на летнее пребыванье, будет ли это в Ревеле, Риге или где инде. Мы туда бы выписали Плетнева, Смирнову и еще кого-нибудь... Уведомь меня, мой добрый, близкий, близкий моему сердцу».

Жуковский вспоминал Александра Тургенева, — как рвался он в Москву, как боялся умереть на чужбине...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ — И ПОСЛЕДНЯЯ

(1851—1852)

С начала 1851 года Жуковский по нескольку часов в день проводит в темной комнате — левый глаз его ослеп, правый почти постоянно воспален. 29 января, в день своего рождения, он так же сидел в темноте, набираясь сил для участия в семейном торжестве... 68-летие его праздновало вместе с ним несколько русских, в том числе Александр Кошелев, который много рассказывал Жуковскому о Гоголе. «Он обрадовал меня известием, что «Мертвые души» идут шибко вперед, — пишет Жуковский Гоголю 1 февраля. — Он знает, что ты читал многое Хомякову; но Хомяков не сказал, что, как и каково, сохраняя данное тебе обещание не произносить никакого суждения. Но для меня довольно знать, что ты пишешь, и что *пишется* — дело будет, верно, хорошо кончено». Жуковский сообщает Гоголю о своем намерении вернуться в Россию этой весной или летом.

Жуковскому больно оттого, что его ранят подозрениями в нежелании возвращаться в Россию некоторые из родных и друзей. Чаадаев: «Зажились вы в чужой глуши; право, грех!» Дочь Маши — Катя, теперь Екатерина Ивановна Елагина, — корит Жуковского за то, что его дети, русские, до сих пор не видали России. 9 мая Жуковский отчитывает Плетнева: «Ваше обвинение совсем несправедливо: вы спрашиваете, зачем я вас маню обещаниями приехать в Россию, и все не еду. Неужто думаете вы, что я играю тут комедию? Рад бы в рай, да грехи не пускают. Причина, которая меня удерживает на чуже, не радостная; она всю семейную жизнь портит. Вот и теперь я не на шутку готовлюсь к отъезду. Дом для меня будет нанят в Дерпте... Отправлю вперед пожитки... Но могу ли знать, что случится с женою, которой болезнь уже шестой год судьбу мою разрушает. Вам легко вдалеке на просторе судить и осуждать... Мой отъезд из Бадена пока твердо назначен в конце июня...

Каждый день утром и вечером между прочими молитвами говорю перед богом: возврати меня в Отечество!»

В мае 1851 года в Дерпт из Петербурга переселился Зейдлиц. Жуковский пишет ему о своем намерении первоначально жить в Дерпте. «Еще я должен предупредить тебя, — продолжает он, — что я скалю зубы на тот высокий стол, который ты купил у меня при отъезде. Если он существует, то ты должен будешь его мне перепродать: он столько времени служил мне, столько моих стихов вынес на хребте своем... Мне будет весело возвратиться к старому другу, если только он еще существует».

29 июня Жуковский сообщает Авдотье Петровне Елагиной свой маршрут:

14 июля ст. стиля — выезд из Бадена.

15—20 июля — переезд из Франкфурта в Дрезден.

21 июля — 2 августа — пребывание в Дрездене.

3—12 августа — переезд из Дрездена в Дерпт.

13 августа — пребывание в Дерпте.

14—15 августа — переезд в Петербург (едет один Жуковский, семья остается в Дерпте).

16—17 августа — пребывание в Петербурге.

18—20 августа — переезд в Москву.

21 августа — прибытие в Москву.

Жуковский просит всех родных собраться к этому времени в Москву для свидания с ним. Однако за два дня до отъезда из Бадена Жуковский заболел — у него сильно воспалился глаз, и доктор Гугерт рекомендовал ему до выздоровления не выходить из темной комнаты. «Итак, — пишет он Елагиной, — мы увидимся, душа моя, не прежде, как весною будущего 1852 года». С этого времени Елагиной пришлось писать Жуковскому письма по-французски, чтобы жена могла ему их прочитывать. «Для меня мучение писать *душе моей* на языке красивых фраз, — признавалась она. — Может быть это потому, что я привыкла с Жуковским к языку, каждое слово которого напоминает мне его стихи, составлявшие всю мою молодость, мое счастье и самое дорогое мое занятие».

Положение сложилось самое отчаянное. Как тут не приуныть... Но душа Жуковского не хотела поддаваться ни возрасту, ни тяжким обстоятельствам. Плетнев лучше многих понимал Жуковского, но и он читал письмо его от 1 сентября с искренним изумлением. «Я человек

изобретательный! — писал Жуковский уже после восьми недель заточения в собственном кабинете. — Вот, например, я давно уже приготовил машинку для писания на случай угрожающей мне слепоты — эта машинка пригодилась мне полуслепому: могу писать с закрытыми глазами; правда, написанное мне трудно самому читать; в этом мне поможет мой камердинер. И странное дело! почти через два дни после начала моей болезни загомозилась во мне поэзия и я принялся за поэму, которой первые стихи мною были написаны тому десять лет, которой идея лежала с тех пор в душе неразвита и которой создание я отлагал до возвращения на родину и до спокойного времени оседлой семейной жизни. Я полагал, что не могу приступить к делу, не приготовив многого чтением, — вдруг дело само собою началось, все льется изнутри; обстоятельства свели около меня людей, которые читают мне то, что нужно и чего сам читать не могу, именно в то время, когда оно мне нужно для хода вперед: что напишу с закрытыми глазами, то мне читает вслух мой камердинер и поправляет по моему указанию: в связи же читать не могу без него; таким образом леплю поэтическую мозаику и сам еще не знаю, каково то, что до сих пор слеплено ощупью, — кажется, однако, живо и тепло... Думаю, что уже около половины (до 800 стихов) кончено: если *напишется так, как думается*, то это будет моя лучшая, высокая, лебединая песнь. Потом, если Бог позволит кончить ее, примусь за другое дело, за «Илиаду». У меня уже есть точно такой немецкий перевод, с какого я перевел «Одиссею»; и я уже и из «Илиады» перевел две песни... Для «Илиады» же найду немецкого лектора: он будет мне читать стих за стихом: я буду переводить и писать с закрытыми глазами, а мой камердинер будет мне читать перевод, поправлять его и переписывать. И дело пойдет как по маслу».

«Вот истинный жрец Муз, несмотря на преклонность лет и недуги старости!» — с восхищением восклицает Плетнев в письме к Гроту, изложив ему все, что сообщил Жуковский.

8 июля Жуковский пометил в верхнем углу листа дату, — в этот день начал он поэму об Агасфере «Вечный Жид». Он знал об опытах Шиллера и Гёте на эту тему. Он помнил, что Батюшков в 1821 году уничтожил среди многих своих никому не известных сочинений *нечто* (поэму?) под названием «Вечный Жид»... Слыхал

он и о большой поэме ссыльного Кюхельбекера «Агасвер», писанной в Сибири в 1832—1846 годах... Грандиозность сюжета захватила Жуковского так, что он приступил к работе с юношеским жаром и трепетом. Конечно, ему хотелось больше рассказать не о приключениях проклятого Христом сапожника, а о собственной своей душе. Перед ним среди книг о Палестине лежало письмо Гоголя с описанием его путешествия туда. Жуковский думал о Гоголе; с мыслью о нем начал писать первые строки.

Несколько огромных тем пересеклось в сознании Жуковского — история христианства, вообще вся история мира, философский вопрос обретения веры, судьба личности на фоне грандиозных событий, значение природы и поэзии в жизни человека... Древний Рим, первые христиане, закат Рима, Наполеон на острове Святой Елены — вот фон, на котором выступает колоритная фигура *романтического изгнанника* (так знакомого по поэмам романтической эпохи!), но укрупненного, с чертами эпического величия.

Это была новая попытка создания романтического эпоса, некая, может быть, неосознанная попытка дать объединяющий эпилог для всего русского цикла романтических поэм, за всю половину века... Как много значила для русских поэтов-романтиков личность поверженного, изгнанного Наполеона! И очень странно, что Иван Киреевский не понял Жуковского, отметив: «Для чего Агасвер сходится с Наполеоном, до сих пор непонятно» (хотя всю поэму читал он «с сердечным восхищением»). Для Жуковского в этом эпизоде как бы дрогнули и прозвучали струны многих братских лир: Пушкина, Лермонтова (и собственное — «В двенадцать часов по ночам...»)...

Рисуя судьбу Агасфера, Жуковский громоздит глыбы исторических эпох. И только один он способен был из самой середины урагана, рушащего города и целые империи, пройдя сквозь ревущие толпы и даже сквозь раскаленную лаву Везувия, выйти к своему уединенному жилищу и размышлять о том, что всего важнее на земле для души человека:

Природа врач, великая беседа...
...Нет, о, нет,
Для выраженья той природы чудной,
Которой я, истерзанный, на грудь
Упал, которая лекарство мне

Всегда целящее дает — я слов
Не знаю. Небо голубое, утро
Безмолвное в пустыне; свет вечерний,
В последнем облаке летящий с неба;
Собор светил во глубине небес;
Глубокое молчанье леса; моря
Необозримость тихая, иль голос
Невыразимый в бурю; гор — потопа
Свидетелей — громады; беспредельных
Степей песчаных зыбь и зной; кипенья,
Блистанья, рев и грохот водопадов...

Агасфер незаметно для читателя превращается в самого Жуковского, в великого поэта, пронизавшего своим сознанием толщу веков, ныне подводящего итог своей жизни и своему творчеству. «Вечный Жид» — глубоко выстраданная поэма, настоящий символ веры Жуковского, полное выражение его личности. Поэма, хотя в ней (вместе с полным стихотворным изложением «Апокалипсиса») больше двух с половиной тысяч строк, фрагментарна, во многих местах написана лишь начерно, — поэт работал спешно, даже лихорадочно, в полной тьме и в присутствии посторонних людей — помощников...

Болезнь продолжалась. Отъезд в Россию был назначен на май следующего года. Жуковский звал Вяземского, который находился в Париже, пожить у него в Бадене в течение апреля. Плетнев прислал Жуковскому две стихотворных книги Аполлона Майкова, изданных в 1842 и 1847 годах. Он отвечал Плетневу 15 ноября: «Благодарю вас за доставление стихов Майкова: я прочитал их с величайшим удовольствием. Майков имеет истинный поэтический талант...» — «Майкову я передал слова ваши, — писал Плетнев. — Он ждал приговора вашего, как голоса судьбы своей. Он точно молод, лет девять, как вышел он из нашего университета. Я очень надеюсь, что его служение музам будет достойно таланта его».

В декабре Жуковский послал Плетневу новые стихи, которые написал он неожиданно и для себя самого, — «Царскосельский лебедь». «Посылаю вам, — пишет он,— новые мои стихи, биографию Лебедя, которого я знавал во время оно в Царском Селе... Мне хотелось просто написать картину Лебедя в стихах, дабы моя дочка выучила их наизусть; но вышел не простой Лебедь». — «Майков оживотворен тем, что вы о нем ко мне писали, — отвечал Плетнев. — Я с ним прочитал вместе вашего Лебедя, — и он в восторге от него. В самом деле, что за прелесть русский язык под пером вашим! Сколько восхити-

тельных картин и глубоко трогательных мыслей вы соединили в жизни старика-лебедя».

Жуковский и в самом деле задумал не более как маленький сборничек стихов для своих детей, — он написал «Птичку», «Котика и козлика», «Жаворонка» и небольшую сказку «Мальчик с пальчик», — все это и замыкал «Царскосельский лебедь», резко выделившийся на этом детски-чистом и простодушном фоне. Это была полная высокой печали, совершенная в своей поэтической красоте элегия, в полном смысле слова лебединая песня Жуковского... Но и ее истоки — в глубине жизни поэта. Этот сюжет в нем жил давно, ждал своего часа. Еще 19 мая 1825 года Александра Андреевна Воейкова записала в своем дневнике: «Жуковский сделал сегодня восхитительное сравнение между следом, который лебедь оставляет на воде, и жизнью человека, которая должна всегда протекать бесшумно, оставляя за собою светлый и сияющий след, взирая на который отдыхает душа».

Вяземский получил «Царскосельского лебедя» в Париже. «Ах ты, мой старый лебедь, пращур лебединый, да когда же твой голос состареется? — писал он Жуковскому. — Он все свеж и звучен, как и прежде. Не грешно ли тебе дразнить меня своими песнями, меня, старую кукушку, которая день и ночь только все кукует тоску свою. Стихи твои прелесть... «Лебедь» твой чудно хорош... Завидую твоей духовной бодрости и ясности души». Вяземский болен, у него расстроены нервы. «Если по крайней мере сумел бы я научиться у тебя рано вставать, — пишет он. — Это было бы уже для меня большое пособие в моей болезни теперь... Но проснуться в 5 часов утра кажется мне наказанием».

Это были последние письма и последние стихи в жизни Жуковского — последние его радости... Среди них — две короткие весточки от Гоголя, последняя — от 2 февраля 1852 года. «Много благодарю за книги и за доброе письмо, — писал Гоголь. — Не упрекай, что ничего другого не мог и не сумел тебе написать, как только: «Бог в помощь!» Что вспоминаю о тебе часто в моих грешных молитвах, об этом бы не следовало и писать. Горячей бы гораздо мне следовало о тебе молиться, как о человеке, которому я много, много должен». Гоголю мечтал Жуковский читать «Вечного Жида», — свое последнее творение — в Москве... Надежда на встречу с Гоголем поддерживала его дух... Да и долго ли оставалось ждать?

Гугерт полагал, что в мае Жуковские смогут двинуться на родину... Кончался февраль. А в марте пришло письмо Плетнева с известием о смерти Гоголя... «Какою вестью вы меня оглушили, и как она для меня была неожиданна! — отвечал Жуковский... — Я потерял в нем одного из самых симпатических участников моей поэтической жизни и чувствую свое сиротство в этом отношении». В следующем своем письме Плетнев прислал пространную выписку из пятого номера «Москвитянина» (за март 1852 года) — статью Погодина о последних днях Гоголя. Гоголь — это было для всех очевидно — страдал, мучился, но, как честно ответил Погодин, «в чем именно заключались его страдания, как они начались — никто не знает, и никому не сказывал он об них ничего, даже своему духовнику». Гоголь «уклонялся под разными предлогами от употребления пищи», «был уже слаб и почти шатался». Описание последних часов Гоголя, когда он уже приобщился и соборовался, когда «закричал самым жалобным, раздирающим голосом: оставьте меня! не мучьте меня!» — докторам, которые хотели осмотреть его, — сразило Жуковского. Страшно было ему слышать (письмо читал камердинер Василий) и о том, как Гоголь жег второй том «Мертвых душ», как ворошил тетради, чтобы лучше горели... как лег на диван потом и плакал... Жуковский сидел один в своем кабинете с затемненными окнами, без света. Так просидел он несколько часов и, наконец, лег на диван.

Он уже не вставал. С каждым днем ему становилось все хуже. Из Штутгарта приехал русский священник Иоанн Базаров, из Франкфурта — тесть Жуковского — Рейтерн. Ни тот, ни другой не дождались рокового дня. Когда Базаров уезжал, Жуковский пожал ему руку: «Прощайте! Бог знает, увидимся ли еще... Как часто и я отходил так от одра друзей моих, и уж больше их не видал!»

Жуковский спокойно готовился к смерти. «Василий! — сказал он камердинеру. — Ты, когда я умру, положи мне сейчас же на глаза по гульдену и подвяжи рот; я не хочу, чтобы меня боялись мертвого».

12 апреля в 1 час 37 минут ночи он скончался.

Его похоронили на загородном кладбище, в склепе, где на одной из каменных плит были выбиты его стихи: «О милых спутниках, которые сей свет присутствием своим животворили, не говори с тоской *их нет,* а с благодарностью *были»*.

В августе того же года слуга Жуковского Даниил Гольдберг отвез прах его на пароходе в Петербург

29 августа состоялись похороны в Александро-Невской лавре. Гроб несли студенты Петербургского университета. Из соратников Жуковского не осталось уже почти никого — на похоронах были Плетнев, Тютчев. Была Авдотья Петровна Елагина (она похоронила с Жуковским свое самое святое и дорогое, чего не могли восполнить многочисленные дети и внуки...). Была дочь слепого поэта Козлова (Жуковского похоронили рядом с ним; оба они — вблизи Карамзина) — Александра Ивановна, подвижница, добрая душа, всю свою молодость посвятившая отцу... Была Евдокия Ростопчина.

За несколько дней до этих похорон, в пути, где-то на дорогах Орловщины, Тютчев сочинил стихотворение «На смерть Жуковского»:

1

Я видел вечер твой. Он был прекрасен!
В последний раз прощаяся с тобой,
Я любовался им: и тих, и ясен,
И весь насквозь проникнут теплогой...
О, как они и грели и сияли —
Твои, поэт, прощальные лучи...
А между тем заметно выступали
Уж звезды первые в его ночи...

2

В нем не было ни лжи, ни раздвоенья —
Он все в себе мирил и совмещал.
С каким радушием благоволенья
Он были мне Омировы читал...
Цветущие и радужные были
Младенческих первоначальных лет...
А звезды между тем на них сводили
Таинственный и сумрачный свой свет...

3

Поистине, как голубь, чист и цел
Он духом был; хоть мудрости змииной
Не презирал, понять ее умел,
Но веял в нем дух чисто голубиный.

И этою духовной чистотою
Он возмужал, окреп и просветлел.
Душа его возвысилась до строю:
Он стройно жил, он стройно пел...

4

И этот-то души высокий строй,
Создавший жизнь его, проникший лиру,
Как лучший плод, как лучший подвиг свой,
Он завещал взволнованному миру...
Поймет ли мир, оценит ли его?
Достойны ль мы священного залога?
Иль не про нас сказало божество:
«Лишь сердцем чистые, те узрят бога!»

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА В. А. ЖУКОВСКОГО

1783, 29 **января (ст. стиля)** — родился в селе Мишенское Тульской губернии.

1790—1794 — учение в пансионе Роде и Главном народном училище Тулы.

1797—1800 — учение в Московском университетском благородном пансионе.

1801—1802 — служба в Соляной конторе; перевод произведений Коцебу, Флориана; отъезд в Мишенское; перевод элегии Грея «Сельское кладбище».

1804—1807 — выход перевода «Дон Кихота» в шести томах. Элегия «Вечер». Ода «Песнь барда над гробом славян-победителей».

1808—1810 — редактирование «Вестника Европы».

1810—1812 — жизнь в Белёве, Мишенском, Муратове.

1811 — смерть М. Г. Буниной и Е. Д. Турчаниновой (матери).

1812 — участие в Отечественной войне. Создание «Певца во стане русских воинов».

1813 — возвращение в Муратово.

1814 — жизнь в селе Долбино; творческий взлет «Долбинской осени».

1815 — отъезд в Дерпт, затем в Петербург. Основание «Арзамаса». Выпуск первого тома «Стихотворений». Знакомство с А. С. Пушкиным.

1816 — выход второго тома «Стихотворений».

1817 — назначен учителем русского языка к невесте великого князя Николая.

1820—1822 — путешествие за границу: Берлин, Дрезден, Швейцария, Северная Италия. Встречи в Веймаре с Гёте, Перевод «Шильонского узника» Байрона.

1823 — смерть М. А. Протасовой (Мойер).

1824 — сопровождает Батюшкова для лечения в Дерпт, отправляет оттуда в Зонненштейн. Назначен наставником великого князя Александра Николаевича.

1825 — во время восстания декабристов находится в Зимнем дворце.

1826 — лечится в Эмсе; живет в Дрездене.

1827 — находится вместе с А. И. Тургеневым в Париже. Поездка в Веймар к Гёте.

1828 — живет в Шепелевском дворце в Петербурге, по субботам у него литераторы (Пушкин, Гоголь, Козлов, Крылов, Кольцов, Одоевский и др.). Создана «Малая Илиада».

1829 — смерть в Пизе А. А. Воейковой.

1830 — письмо к императору в защиту декабристов. Творческий взлет, большой цикл баллад, новые замыслы. Работа над «Сидом» Гердера, «Ундиной» Фуке.

1831 — живет с Пушкиным и Гоголем в Царском Селе, пишет стихотворные сказки. В Петербурге холера. Стихи Ж. и Пушкина на взятие Варшавы.

1832 — письмо к Николаю I в защиту И. В. Киреевского. Летом в Эмсе. Путешествие по Рейну. Жизнь на берегу Женевского озера. Работа над «Ундиной», «Налем и Дамаянти», переводом рейнских сказаний, «Белокурого Экберта» Тика.

1833 — путешествие с Александром Тургеневым в Италию. Затем — Веймар, Берлин.

1834—1835 — в Петербурге.

1836 — участие в «Современнике» Пушкина.

1837 — дуэль и смерть Пушкина. Письмо Ж. к отцу Пушкина о последних днях поэта. Ж. принимает меры к сохранению бумаг Пушкина. Пишет письмо Бенкендорфу, обвиняя его в травле Пушкина. Путешествие по России. Встреча с декабристами. Письмо в защиту декабристов. Путешествие по Крыму.

1838 — участие в юбилее Крылова, в освобождении из крепостной зависимости Тараса Шевченко. Путешествие по Европе (Германия, Дания, Швеция, Австрия, Италия, Голландия, Англия). В Вене перевел «Камоэнса»; в Англии — во второй раз — «Сельское кладбище».

1839 — участие в празднике на Бородинском поле (открытие памятника; 25 лет взятия Парижа). Стихотворение «Бородинская годовщина».

1840 — в Германии встречается с Рейтерном и его дочерью. Делает предложение. Подает в отставку. Едет в Россию.

1841 — венчается в русской церкви в Штутгарте, поселяется в Дюссельдорфе. Начал переводить «Одиссею».

1842 — родилась дочь Александра (ум. 1899).

1845 — родился сын Павел (ум. 1912). Пишет стихотворные повести и сказки. Его навещают Гоголь, А. Тургенев, Тютчев и другие русские люди.

1848 — события революции 1848 г., Ж. очевидец их во Франкфурте, Баден-Бадене, Карлсруэ. С сентября живет в Баден-Бадене.

1849 — окончен перевод «Одиссеи». Начало работы над «Илиадой».

1850 — работа над философскими заметками для книги под условным названием «Философия невежды».

1851 — полуослепший, в темной комнате, работает над поэмой «Вечный Жид», пишет последнее стихотворение — «Царскосельский лебедь». Составляет маршрут возвращения в Россию.

1852 — смерть Ж. в Баден-Бадене 12 апреля (ст. стиля). 29 августа похоронен в Петербурге на кладбище Александро-Невской лавры.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Жуковский В. А. Сочинения. Издание 7-е, под ред. П. А. Ефремова, т. VI. Письма. СПб., 1878.

Жуковский В. А. Полное собрание сочинений, т. I—XII, под ред. А. С. Архангельского, СПб., изд. г-ва А. Ф. Маркс, 1902.

Жуковский В. А. Дневники. С прим. И. А. Бычкова. СПб., 1903.

Жуковский В. А. Письма к А. И. Тургеневу. М., изд. «Русского архива», 1895.

«Уткинский сборник». Письма В. А. Жуковского, М. А. Мойер и Е. А. Протасовой. Под ред. А. Е. Грузинского. М., 1904.

Жуковский В. А. Собрание соч. в 4-х томах. М. — Л., «Художественная литература», 1959—1960.

Жуковский В. А. Стихотворения. Поэмы. Проза. Вступ. ст. В. Я. Лазарева. Сост. и прим. В. В. Афанасьева. М., «Современник», 1983.

Афанасьев В. В. «Жизнь и лира». М., 1977.

Афанасьев В. В. «Родного неба милый свет...» (В. А. Жуковский в Туле, Орле и Москве). М., 1980 (2-е изд., 1981).

«Библиотека В. А. Жуковского в Томске». Часть I. Издательство Томского университета, Томск, 1978.

«Библиотека В. А. Жуковского в Томске». Часть II. Изд-во Томского университета, Томск, 1984.

Лобанов В. В. Библиотека В. А. Жуковского (описание). Изд-во Томского университета Томск, 1981.

Веселовский А. Н. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». Пгр., 1918.

Власов В., Назаренко И. «Минувших дней очарованье». Изд. 2-е, дополн. Под ред. и с предисл. Н. А. Милонова. Тула, 1983.

Зейдлиц К. К. Жизнь и поэзия В. А. Жуковского. СПб., изд. «Вестника Европы», 1883.

Иезуитова Р. В. Жуковский в Петербурге. Л., 1976.

Лазарев В. Я. Уроки Василия Жуковского. М., «Правда», 1984.

Плетнев П. А. О жизни и сочинениях В. А. Жуковского. СПб., 1853.

Резанов В. И. Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского. Вып. 1—2. Пб., 1906—1916.

Сакулин П. Н. М. А. Протасова-Мойер по ее письмам (Известия отд. русского языка и словесности Имп. Ак. наук, т. XII, кн. 2. СПб., 1907, с. 1—44).

Семенко И. М. Жизнь и поэзия Жуковского. М., 1975.

Соловьев Н. В. История одной жизни. А. А. Воейкова-«Светлана», т. I—II. Пгр., 1915—1916.

Тихонравов Н. С. Сочинения, т. 3, часть I. М., 1898 («В. А. Жуковский», с. 380—503).

«Проблемы метода и жанра», вып. 9 и 10. Изд-во Томского университета, Томск, 1983 (статьи о творчестве В. А. Жуковского).

«Художественное творчество и литературный процесс», вып. 5. Изд-во Томского университета, Томск, 1983 (статьи о творчестве В. А. Жуковского).

«Жуковский и русская культура», — отчет о Всесоюзной научной конференции к 200-летию со дня рождения В. А. Жуковского в Институте русской литературы АН СССР (Пушкинском доме). Сост. С. А. Кибальник. Отд. оттиск из журнала «Русская литература», 1983, № 3.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Афанасьев В. В.

А 94 Жуковский. — 2-е изд. — М.: Мол. гвардия, 1987. — 399 с., ил. — (Жизнь замечат. людей. Сер. биогр.; Вып. 10 (665)).

В пер.: 1 р. 80 к. 100 000 экз.

Эта книга — жизнеописание великого русского поэта В. А. Жуковского (1783—1852), создателя поэтической системы языка, ритмов и образов, на основе которой выросла поэзия Пушкина и многих других русских поэтов XIX — начала XX веков. В. А. Жуковский принял доброе участие в судьбе многих литераторов: Пушкина, Козлова, Баратынского, Кюхельбекера, Гоголя, Шевченко и других, а также сосланных в Сибирь декабристов. Это первая полная его биография. Книга рассчитана на массового читателя.

А $\frac{4702010200—196}{078(02)—87}$ 159—88

ББК 83.3Р1
8Р1

На обложке:

1. Фронтиспис к изданию стихотворений В. А. Жуковского 1849 г., т. I. Рис. В. А. Жуковского.
2. В. А. Жуковский. Гравюра Ф. Вендрамини с оригинала О. А. Кипренского.

ИБ № 5761

Виктор Васильевич Афанасьев

ЖУКОВСКИЙ

Зав. редакцией С. Лыкошин
Редакторы В. Калугин, О. Ярикова
Серийная обложка Ю. Арндта
Художественный редактор А. Степанова
Технический редактор Р. Сиголаева
Корректоры: Л. Четыркина, И. Тарасова, В. Авдеева, В. Назарова

Подписано в печать с готовых матриц 27.04.87. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 21,0 + 1,68 вкл. Условн. кр.-отт. 24,67. Учетно-изд. л. 24,3. Тираж 100 000 экз. (50 001—100 000 экз.). Цена 1 р. 80 к. Заказ 1734.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

1 р. 80 к.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ